

И. ВАСИЛЕНКО

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАМОРЫША



И. ВАСИЛЕНКО

**ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗАМОРЫША**

ЛЕНИНГРАД 1948

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

И. ВАСИЛЕНКО

**ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗАМОРЫША**



РИСУНКИ Б. ВИНОКУРОВА

Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1962

И. Д. ВАСИЛЕНКО

Произведения Ивана Дмитриевича Василенко полюбились широким массам взрослых и юных читателей не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Прежде чем стать писателем, Иван Дмитриевич переменял много профессий: был половым в чайной для босяков, учителем, счетоводом. После Октябрьской революции Василенко вел большую работу в органах народного образования.

В 1934 году Иван Дмитриевич тяжело заболел. Трудно окаяться прикованным к постели человеку, привыкшему всегда находиться в гуще жизни. Но Василенко находит в себе силы остаться полезным людям. Он становится писателем. В 1937 году, когда Иван Дмитриевич написал свою первую повесть «Волшебная шкатулка», ему было сорок два года. С присущей ему энергией Василенко всей душой отдается новой профессии.

Читатели тепло встретили произведения Ивана Дмитриевича Василенко. Вдохновенная работа над осуществлением новых замыслов помогла Ивану Дмитриевичу побороть болезнь.

В годы Отечественной войны Василенко работал в армейских газетах, но не забывал и своих юных читателей.

Основные темы творчества И. Д. Василенко — это любовь к Родине, вера в советского человека, вдохновенный труд. С особенной силой прозвучала тема труда в повести «Звездочка».

Сейчас Иван Дмитриевич работает над циклом новых, во многом автобиографических повестей, объединенных одним героем — Митей Мимоходенко — и общим названием: «Жизнь и приключения Заморыша».

В этой книге печатаются четыре повести цикла: «Общество трезвости», «Весна», «Подлинное скверно» и «В неосвященной школе». В них рассказывается об интереснейших событиях, происходивших в начале XX века в одном из портовых городов на юге России.



П О В Е С Т Ь П Е Р В А Я

ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ

НЕ ТРЕБА

Когда я родился, то принялся громко кричать. Меня спеленали и положили около матери. Я еще немного покричал и затих. И так долго молчал, что мать встревожилась. Она потрогала меня и с недоумением увидела, что рука ее стала красной. Думая, что ей это показалось, она потрогала меня другой рукой. Но и другая рука покраснела. Стало ясно, что я истекаю кровью. Очевидно, бабка слабо перевязала пупок. Отец всполошился. Он был уверен, что если я умру некрещеным, то на том свете попаду прямо к черту в лапы. Поэтому он стал у моего изголовья и прочитал «Отче наш». Но, конечно, это было не настоящее крещение. Настоящее — это когда крестит священник. Волостной сторож дед Тихон бегал по улицам (дело происходило в большой деревне Матвеевке, где отец служил волостным писарем) и искал

священников. В деревне их было трое. Но все они в этот зимний морозный день ходили по хатам, кропили святой водой стены и пели «Во Иордане-крещающуюся». Наконец их удалось сыскать, и они стали, каждый со своим причтом, прибывать в наш дом. Что это было за сборище! Три священника, три дьякона, три псаломщика да еще певчих с дюжину, тогда как для крещения младенца было достаточно одного батюшки и одного псаломщика. Чтоб не возникло раздора среди духовных особ, отец предложил им крестить меня сообща. И вот я, таким образом, оказался крещенным тремя попами, что, кажется, удавалось не каждому даже наследному принцу.

Во время молитв и священных песнопений я молчал как рыба, но, когда бородатый и брюхатый отец Иоанн окунул меня в воду, я слабо пискнул.

— Э-э, — сказал матери дед Тихон, — да он, Акимовна, еще кормильцем вашим будет!

Обо всем этом мне не раз потом рассказывала мать, и слова деда Тихона меня почему-то трогали до слез. Они часто помогали мне вернуться на правильный путь в моей жизни, полной приключений.

Своего тепла мне не хватало, поэтому я долго лежал на печи в деревянной шкатулке. Лежал большею частью молча, будто обдумывал, стоит ли мне, такому хилому, пускаться в дальнейшее плавание: жизнь-то ведь не шутка, не дашь сдачи — так тебе и на голову сядут. Изредка я попискивал, и тогда все переглядывались: жив еще!

Все-таки из шкатулки я вылез и зажил на общих основаниях. Постепенно я стал разбираться в родственных отношениях и окружающей обстановке. Самое теплое, мягкое и приятное существо на свете — это моя мама. Бородатый мужчина, из которого время от времени шел дым, был мой отец. Драчливый мальчишка, значительно крупнее меня, — мой брат Витька. А патлатая девчонка, таскавшая меня на руках попеременно с мамой и тайно от нее шлепавшая меня, — моя сестра Машка.

Подрастая, я узнавал и многое другое, например то, что мы живем в деревне, а деревня — такое место, где живут мужики. Мужики — это люди, которые сеют пшеницу и жито. Пшеницу, когда ее обмолят, они отвозят в мешках в город и там сдают на хлебную сыпку греку-живодеру Мелиареси, а сами едят хлеб житный.

Кроме нас и мужиков, в деревне еще жили пан Шаблинский, доктор, батюшка с дьяконами и псаломщиками, фельдшер, урядник и учитель. Они хлеб ели пшеничный, махорку не курили, мужикам говорили «ты» и землю не пахали. Но между собой тоже различались. Доктор и батюшка были в одной компании, учитель и фельдшер — в другой, а к нам в гости ходил только псаломщик.



Важнее всех был пан Шаблинский, поэтому и дом его стоял не на улице и даже не на площади, как, например, дом батюшки, а на горке, в стороне. От пана, точнее — от пани, и пошли перемены в нашей жизни.

Однажды Маша, в голове у которой, как я еще тогда подозревал, гулял ветер, вздумала повести меня и Витьку к панам в гости. Целый день она стирала наши рубашки и штанишки, до блеска начищала пахучей ваксой дырявые башмаки, а под конец умыла нас яичным мылом, взяла за руки и повела на горку. По дороге она рассказывала, что стулья у пана хрустальные, стол серебряный, а ножи золотые. Этими ножами пан, пани и паненок режут толстое вкусное сало и едят сколько захочется. У нас с Витькой потекли слюнки.

— Маша, а нам они дадут сала? — спросил Витя.

— А как же! И сала, и пряников, и орехов, — сказала моя умная сестрица.

Чугунные ворота были раскрыты, и мы по усыпанной гравием аллее пошли к большому белому дому с колоннами. Около дома стояла худая, бледная барыня в голубой накидке и держала в костлявой руке палочку с очками на кончике. Перед барыней вертелся лысый, с розовыми щеками мужчина. Он что-то ей говорил, а что, мы не знали: все слова были непонятные.

— Здравствуйте! — сказала Маша и протянула барыне руку.

Барыня поднесла к глазам очки на палочке и осмотрела через них сначала Машину руку, а потом нас с Витей.

— Николя, — сказала она мужчине, — что это такое?

Мужчина тоже осмотрел нас, поморгал и ответил:

— Я полагаю, Надін, это дети.

— Да, но чьи дети? — строго спросила она.

Мужчина опять осмотрел нас, потянул носом и пожал плечами.

— Вот этого я, Надін, сказать не могу. От них чем-то пахнет. Кажется, гуталином. Да, да! Гуталином, я теперь это ясно чувствую... Или ваксой.

— Ах, да я вас не спрашиваю, чем от них пахнет! Я спрашиваю, заче-ем они здесь!

— Мы пришли играть с вашим панычем, — объяснила Маша. — В горелки. Он умеет в горелки?

Барыня выпучила глаза.

— Николя, вы что-нибудь понимаете?

Мужчина поморгал, подумал и опять пожал плечами:

— Как вам сказать, Надін? Не очень.

— Це писаревы диты, — сказал бородатый мужик в фартуке и с лопатой в руке.

— Писаревы дети?! Пришли играть с Коко?! Николя, я еще раз спрашиваю вас: что происходит вокруг нас?

Маша, которая все время смотрела на барыню с раскрытым ртом, тут сказала:

— Тетя, у вас глаза вылазят.

— Что-о? — протянула барыня. И вдруг затряслась, упала головой на плечо лысого и застонала: — Николя, гоните!.. Умираю!.. Гоните!..

— Гони!.. — крикнул мужику лысый.

— Тикайте швыдче! — шепнул нам мужик.

Маша схватила нас за руки, и мы что было духу бросились бежать.

Когда дома узнали, как нас угостили у панов, отец заволновался:

— Ну, беда! Выгонят! Пожалуются в городе становому, и меня в два счета выгонят. Надо извиниться.

И он стал писать барыне письма. Напишет, прочтет, скомкает бумагу — и опять за перо. А дверь скрипнет — он весь сожмется.

Но становой не появлялся, и вообще все шло по-ста-

рому. Отец расхрабрился, порвал все письма и презрительно хмыкнул:

— Черта пухлого я стану извиняться перед барами!

Одно письмо все-таки уцелело, и я много лет спустя нашел его в бумагах отца. Вот оно:

Ваше Превосходительство!

Имею честь покорнейше просить Вас, проявите великодушие и простите моих неразумных детей за дерзкое поведение. Обязуюсь, Ваше Превосходительство, впредь воспитывать их в сознании своего положения и в глубоком уважении к Вашему Высокопревосходительству и всему Вашему семейству.

К сему

волостной писарь Степан Мимоходенко.

Решив, что ему и черт не брат, отец перешел в наступление и принялся ругать панов в самом волостном правлении в присутствии старшины, богатого мужика Чернопузенко. Да заодно и о царе выразился неуважительно. Дня три спустя Чернопузенко привел в правление плюгавого человечка и показал ему пальцем на отцов стул, а отцу сказал:

— Не треба.

— Чего не треба? — спросил отец.

— Не треба нам таких. Съезжай с квартиры.

В тот же день отец снял во дворе попа Ксенофонта старый флигелек в одну комнату с кладовкой, и мы на руках стали переносить туда наше имущество из казенной квартиры при волостном правлении.

— Черт с ними! — сказал отец. — Проживем и без мироедов. Хватит штаны протирать в канцеляриях. Буду свиней разводить. Есть свиньи, которые приносят по шестнадцати поросят. Верное дело!

Он куда-то съездил и вернулся со свиньей — такой огромной, что смотреть на нее приходили даже из соседних деревень.

— Купил за бесценок! — хвастался отец, заплативший за свинью все, что было припасено про черный день. — А кормить будем тем, что останется от обеда.

Но скоро выяснилось, что от обеда не остается ничего, так как и обеда, в сущности, не было. Маша, Витя и я

ходили по улицам и собирали колосья, упавшие с крестьянских арб. Зерно, добытое таким образом, и служило нам обедом то в виде кутьи, то в виде супа или лепешек. Если б не корова Ганнуся, подкармливавшая нас парным молочком, то хоть волком вой. Маша к тому времени прошла в школе Ветхий завет и теперь говорила: «Что ж, Руфь тоже собирала колосья, а в нее какой-то богач влюбился. Может, и в меня кто-нибудь влюбится». Но ни в Машу, ни в нас с Витькой никто не влюблялся. Зато поп Ксенофонт, завидя нас на дороге, где копошились в пыли его куры и клевали оброненные колосья, кричал дребезжащим от старости голосом из окошка своего дома: «Нищие! Голодранцы! Уйдите сейчас же с дороги, паршивцы!»

Как и предвидел отец, чудо-свинья принесла ровно шестнадцать поросят. Но оттого ли, что от наших обедов почти ничего ей не оставалось, или по какой другой причине, она издохла. Вслед за ней издохли и все шестнадцать поросят.

А тут еще Ксенофонт, заметя, что в нашей борьбе с курами за оброненные колосья мы явно берем верх, вызвал к себе отца и сказал:

— Мне куры дороже вашей квартирной платы.

— Что ж, — ответил отец, — я могу и прибавить.

Ничего прибавить он не мог, так как уже несколько дней мучился, раздумывая, откуда взять деньги для очередной квартирной платы.

— Не треба, — решительно отклонил поп. — Вы и без того задержали плату за целых десять дней. Очищайте флигель.

— Батюшка, в молитве господней говорится: «И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим», — напомнил отец.

Ксенофонт поморщился:

— Толкование невежественное и своекорыстное! «Долги» сказано в смысле прегрешений. А к данному случаю больше подходит: «Воздайте кесареви — кесарево, а божие — богами».

— Эх, батюшка, — не сдавался отец, — вспомните Юдифь: она тоже собирала колосья, однако ж царь Давид не осудил ее за это и даже женился на ней.

— Невежество! — скривил Ксенофонт рот. — Это была

не Юдифь, а Руфь, и женился на ней не царь Давид, а Во-
оз, царю ж Давиду она приходилась бабкой. Невежество!

— Ну, бабкой так бабкой, а колосья все-таки соби-
рала, — стоял на своем отец.

Поп показал на дверь:

— Изыди!

Придя домой, отец сказал:

— Черт с ним, с попом и его курами! Переедем в го-
род. Дети подрастают, их учить надо. Мне в городе уже
кое-что предложили. Вот съезжу и окончательно дого-
ворюсь. Верное дело!

В ГОРОД!

При одной мысли, что мы переезжаем в город, у ме-
ня в груди сладко щекотало. За восемь лет своей жизни
я в городе ни разу не был, но сколько чудесного о нем
наслушался! Например, Маша рассказывала, что там
идешь-идешь по улице, глянул, а прямо под ногами у те-
бя часы серебряные лежат. Положил часы в карман, по-
шел дальше — что-то под деревом блестит. Нагнулся —
брошь золотая. Может, Машка и врала, но разве не из
города отец привозил перед рождеством и пасхой
головку голландского сыра и копченую колбасу с пер-
чиком! Разве не из города привозили золотистые паху-
чие франзольки¹, когда я болел и фельдшер запрещал
давать мне обыкновенный пшеничный хлеб! Разве не в
городе купил отец мне и Вите красного и блестящего,
как огонь, сатина на рубашки!

Город! Да там каждый день крутятся под шарманку
карусели с лошадками и каретами, те самые, разодетые
в шелк, бархат и серебряную бахрому карусели, которые
приезжают к нам в деревню только раз в году, в пре-
стольный праздник. Даже паны приводили своего паны-
ча покататься на них. А мы каждый день будем в горо-
де кататься! Вот! Пусть пани, которая прогнала нас,
теперь лопнет от зависти.

Как он выглядит, город, я не знал и представлял его
в своем воображении, как мог. Против волостного прав-
ления, где мы раньше жили, протянулась коновязь —
длинное бревно на вбитых в землю кольях. Однажды я

¹ Ф р а н з ó л ь — маленькая белая булочка.

сел на нее, обхватил ногами бревно, а головой опрокинулся вниз. И мир в моих глазах стал другим: деревья, избы, колокольня с золоченым крестом — все показалось праздничным, все купалось в голубом небе. И я от радости закричал: «Ой-ой-ой!.. Как в городе!..»

Кочевать из деревни в деревню было для нашей семьи делом привычным, но переехать на постоянное жительство в город — не так просто. К тому же на переезд нужны были деньги.

— Придется продать корову, — сказал отец.

Мама всплеснула руками:

— Продать Ганнусю! Кормилицу нашу!..

Ганнусей мы все гордились: она слыла первой красавицей в стаде. Даже голос ее, каким она требовала открыть ей ворота, когда возвращалась с пастбища, был самым приятным из всех коровьих голосов.

Отец вздохнул и отправился искать покупателя. Вскоре он вернулся с коротконогим толстым мужиком, еще более богатым, чем старшина Чернопузенко. В руке мужика была веревка, которую он и принялся без разговоров накручивать на рога коровы.

— Прощай, Ганнуся! — сказала мама, поцеловала корову в белое пятнышко на лбу и вытерла свои повлажневшие глаза концом головного платка.

— Прощай, Ганнуся! — собезьянничала Маша. Дотянуться до пятнышка она не смогла и чмокнула корову в ее черный нос.

Мы с Витей заморгали глазами.

Мужик намотал конец веревки на руку и повел нашу корову со двора. Пошла она покорно, но в воротах повернула к нам голову и жалобно замычала.

— Иди, иди с богом! — сказал ей отец.

Наутро во двор въехали две арбы. Мы вытащили из флигеля деревянные табуретки, полуразвалившийся комод, корыто, разохшиеся бочки. Все это уложили на арбы и увязали веревками. Потом и сами уселись сверху. В это время на своем балконе появился Ксенофонт.

— На, выкуси, — сказал отец и с высоты арбы показал ему кукиш.

Ксенофонт издали не сразу рассмотрел, что это ему показывает бывший квартирант, а когда рассмотрел, то и сам сложил свои персты в такую же фигуру.

Так, напутствуемые поповским кукишем, мы выехали со двора. На передней арбе — отец с Витей, на задней — мама, Маша, я и работник мужика, который увел нашу Ганнусю, заплатанный Фома. День был воскресный, хозяева сидели на глиняных завалинках у своих хат, одни лузгали семечки, другие дымили махоркой, и все молча провожали глазами наши арбы.

Вот и последняя хата, убогая хибарка с выпирающими из-под гнилой соломы стропилами, с запыленным окошком и повалившимся плетнем, — хата вдовы Митрофановны.

А дальше, на горке, размахивает крыльями ветряная мельница. Ух, что за крылья! Когда одно опускается до земли, другое поднимается к самому небу. Ударит такое крыло по нашей арбе — и в щепки... А отцу хоть бы что! Правит прямо на мельницу.

Но вот и мельница позади. Я оглядываюсь на деревню, и глаза мои застилаются слезами: то ли мне Ганнусю жалко, то ли вдову Митрофановну, когда-то угостившую меня вареной кукурузой, то ли всех нас, прогнанных из родной деревни. Но тут я вспоминаю, что едем мы не куда-нибудь, а в город, где все как в сказке, и душа моя замирает в сладостном ожидании необыкновенного.

Лошади идут шагом, скрипят арбы, дребезжит подвезанная к задку пустая цибарка. А кругом, до тех манящих мест, где небо сходится с землей, ровно и пустынно. Если б не светло-желтые копны скошенной пшеницы, похожие на огромные соломенные шляпы, то хоть шаром покати. По голубому небу плывут белые, как вата, тучки. Наплывет такая тучка на солнце — и кругом все потускнеет. Но это только на минутку. Вдали на землю ляжет светлая позолота, она быстро пронесется нам навстречу, и опять все кругом засияет. Изредка повстречается арба, так высоко нагруженная скошенным хлебом, что лошадь кажется игрушечной, прошелестит колосьями — и опять никого.

Сбоку дороги закопошился суслик, похожий на большую крысу. Он поднялся на задних лапках, а передние приложил к щекам, повертел во все стороны головой, точно кого-то выискивая в этой бесконечной степи, и свистнул.

— Ой, какой хорошенький! — завизжала Маша.

— Шоб вин здох! — сплюнул Фома. — Обжора! Ну

и ел бы ти зерна, шо сыплются сами на землю. А вин подкусэ знызу, и колоски падают. Ось якый чертяка, цей ховражок!

Маша прикусила язык.

Засмотревшись на суслика, я не заметил, как отец слез с арбы и пошел с ней рядом. Когда я опять посмотрел на арбу, то увидел, что Витька сидит в ней один и держит в руках вожжи. На минутку он повернул ко мне голову, и я чуть не заплакал от обиды: с таким презрением глянул он на меня.

Фома еле заметно усмехнулся в свои длинные усы и протянул мне вожжи:

— А ну, хлопчик, поддержи, а я сигарку сверну.

И, пока он курил, я изо всех сил сжимал в руках черные замусоленные ремни. Но Витька больше не обернулся. Он так и не видел, что я тоже правил лошадьё. И сколько я потом его ни уверял, как ни божился, даже землю ел в доказательство, он только презрительно кривил губы:

— Приснилось тебе...

И почему это старшие братья всегда дерут нос перед младшими? Подумаешь, заслуга какая — родиться немножко раньше!

Когда мы изрядно отъехали от деревни, отец свернул с дороги, Фома — за ним, и обе арбы остановились среди побуревшей уже травы. Отец поставил на землю таган, подвесил котелок и вытащил из мешка зарезанную, но еще не ошипанную курицу, которую мама тут же и принялась скубти¹. Серенькая курица показалась мне знакомой.

Бурьяна вокруг нас было сколько угодно, и мы с Витей натаскали его к тагану целую гору. Бурьян под котелком затрещал, запахло дымом, и, хотя мы расположились среди голой степи, стало так уютно, как не бывало даже в поповском флигеле.

Скоро в котелке забулькало. К дыму примешался аппетитно пахнувший пар.

Котелок поставили на землю, мама дала каждому по деревянной расписной ложке. Усевшись кружком, мы принялись хлебать суп с пшеном и укропом. От супа то-

¹ Скубти — ошипывать птицу.

же пахло дымом, но от этого он казался еще вкуснее. Когда суп был уже съеден, отец постучал по котелку, и каждый запустил свою ложку за курятиной. Кому досталась ножка, кому крылышко, а мне дужка.

— Добрая курица была у попа, — сказал Фома, вытер ладонью усы и хитровато глянул на отца.

— Добрая, — согласился отец и подмигнул Фоме.

Степной воздух, сытный обед и равномерное покачивание в арбе так меня разморили, что я склонился к маме на колени и заснул. А проснулся оттого, что чей-то хриплый женский голос кричал:

— Проезжайте! Проезжайте скорей, будь вы прокляты!.. Не слышите, поезд идет!..

— Но!.. Но!.. Но-о!..—кричал отец страшным голосом.

Я открыл глаза. Было уже темно, и в этой темноте громоздились какие-то строения, черные и огромные. Прямо перед нами стояла пестрая будка, а около будки размахивала красным фонарем растрепанная старая ведьма. Рядом с этой большой ведьмой стояла ведьма маленькая, с огненно-рыжей головой, и тоже кричала пронзительно тонким голосом:

— Проезжайте, цыгане черномазые! Под колеса захотели?

Отец изо всех сил стегал лошадь, но арба зацепилась за что-то колесом и дальше не двигалась, только судорожно подпрыгивала на месте.

— А, дураки малохольные!.. — выругалась старая ведьма. — Стойте ж теперь, пока не пройдет.

Маленькая ведьма подняла руку и потянула за веревку. Сверху опустился полосатый столб и загородил нам дорогу. Откуда-то из темноты доносился частый глухой стук, от которого под арбой тряслась земля. Потом показался огромный огненно-желтый глаз, будто само солнце скатилось с неба и поплыло над землей, что-то заорало мне в самые уши, и мимо нас со страшным стуком замелькали дома на колесах. Дома бежали и бежали, а отец и Фома, стоя на земле, держали лошадей под уздцы и закрывали им рукавами глаза. И вдруг дома сразу пропали. Стук неся уже с другой стороны и делался все тише и глуше.

Я сидел, вцепившись в мамину ватную кофту. Полосатый столб медленно поднялся. Отец и Фома повели

лошадей, и арбы, стуча железными шинами, подпрыгивая и качаясь, поехали мимо ведьм,

Младшая уставилась на меня и вдруг прыснула:

— Бабка, бабка, смотри, он язык от страха заглотал! Маменькин сынок!.. Воробей желторотый!.. Мокрый цыпленок!..

И, пока наши арбы не завернули куда-то за угол, рыжая не переставала выкрикивать мне вслед самые обидные прозвища.

— Мама, а нас ведьма не догонит? — спросил я.

— Какая ведьма? — не поняла мама.

— А рыжая.

— Девчонка? И вправду ведьма. Нет, чего ж ей гнаться за нами!

— А зачем она меня дразнила?

— Ну, ты маленький, хиленький — вот она тебя и дразнила.

— А Витьку почему она не дразнила?

— Витька здоровый мальчик, он и сдачи мог дать. Мне стало обидно, и я сказал:

— Вот подрасту и тоже ей сдачи дам.

— Ладно, — сказала мама, — подрастай. А в городе мы пойдем с тобой на базар, и я куплю тебе пряничек.

Колеса мягко катились посередине улицы. С той и другой стороны в тусклом свете редких керосиновых фонарей плыли нам навстречу трехоконные дома с закрытыми ставнями. Около домов шелестели акации. И, совсем как в деревне, на скамейках под окнами сидели парни и девки и громко пели. Только в деревне пели тягуче и жалобно про долю, которую никак не дозовешься, а тут весело и дробно про какие-то чики-рики:

Ой, гоп, чики-рики,
Шарманшики-рики,
Ростовские
Хулиганчики-рики!

— На ций недели оци чики-рики, хай им бис, вытяглы у мэнэ на базари кисет з табаком. И гроши б вытяглы, та грошей у мэнэ зроду не було, — сказал Фома.

Мама стала шарить у себя под ватником.

Колеса вдруг громко застучали: это мы въехали на

улицу, мощенную камнем. В арбе все заходило ходуном, все вещи под нами расползались, и цибарка так дребезжала, что прохожие оглядывались и ругались.

Вскоре показался большой дом со светлыми окнами в два ряда. Из дома неслась музыка, будто там играли на шарманке. Обе наши арбы въехали во двор. Там уже стояло много подвод и распряженных лошадей. Лошади с хутора ели сено.

— Вот тут мы и переночуем, — сказал отец. — Фома, распрягай! А утром поедem на квартиру. Утро вечера мудренее.

В темноте мама и Маша принялись вытаскивать подушки и одеяла и готовить на арбах постели. Мы улеглись, укрылись, но уснуть сразу не смогли: слышно было звяканье посуды, гомон и чье-то тягучее пьяное пение:

Маруся, ах, Маруся,
Открой свои глаза,
А если не откроешь,
Умру с тобой и я...

У самых наших голов лошади жевали и жевали.

Я смотрел в небо и думал, что вот мы проехали много верст, а звезды над нами точно такие же, как и в деревне: значит, они тоже переехали с нами в город. Потом звезды начали меркнуть, а гомон стал уходить куда-то дальше. Теплая лошадиная голова приблизилась к самому моему лицу. «Чики-рики», — шепнула мне голова и поцеловала в глаза. И до утра я больше ничего не видел и не слышал.

А утром проснулся уже городским жителем.

ПЕРВЫЕ ДНИ

«Верное дело» было в том, что отца назначили заведующим чайной. Ее еще только штукатурили и красили, но на постоялом дворе, где мы ночевали, отец уже важно сказал:

— Я являюсь заведующим чайной-читальней общества трезвости и, как таковой, прошу отпустить подведомственным мне лошадям два гарнца овса.

На время, пока чайную ремонтировали, отец снял

для нас квартиру где-то около Старого базара. Туда мы и поехали с постоянного двора.

Мы ехали, грохоча колесами по каменной мостовой и дребезжа цибаркой, а навстречу с двух сторон тянулись такие огромные дома, что в сравнении с ними даже дом панов Шаблинских мне теперь казался чем-то вроде повского флигеля. То и дело нашу арбу обгоняли черные блестящие экипажи, в которых сидели барыни в шляпах с цветами и господа в шляпах-котелках. Мужчины в красной рубаше толкали впереди себя бочонок на двух колесах и на всю улицу кричал: «Во-о-от са-а-ахарное моро-оженое!» А толстая тетка с розовым лицом, похожая на нашу деревенскую просвиру, тащила большую плетеную корзину и тоненько пела: «Бу-ублики, бу-ублики!»

Наши арбы поравнялись с домом, в котором вместо двери были широкие ворота. Над домом к небу поднималась башня. На ее верхушке ходил по кругу человек в золотой шапке. Я вспомнил, что говорила Маша о золотых брошках, и, хоть не очень ей поверил, на всякий случай стал смотреть на дорогу. Конечно, ни золотой брошки, ни серебряных часов так до самой квартиры и не увидел.

А в квартиру нашу вход был со двора, по ступенькам вниз, и из окошка видны были только человеческие ноги да собаки, которые пробегали мимо. Когда мы перетаскивали с арб в комнату наше имущество, то оказалось, что для нас самих места почти не осталось. Но отец сказал:

— Наплевать на кровать, спать на полу будем. Зато через две недели переедем в хоромы. — И отправился в чайную наблюдать за ремонтом.

Все две недели мы спали на разостланном войлоке. Там же, за низеньким круглым столиком, мы и обедали, поджимая под себя ноги. Однажды в комнату зашла квартирная хозяйка купчиха Погорельская. Когда она увидела нас с поджатыми ногами, то удивилась и сказала:

— Чи вы люди, чи турки?

На это отец важно ответил ей:

— Я уже неоднократно ставил вас в известность, что являюсь заведующим чайной-читальней общества трезвости. Что касается турок, то они тоже люди, но только в фесках.

Хотя я и не знал, что такое общество трезвости и что такое фески, но было ясно: отец дал купчихе отпор.

Впрочем, уже на следующий день я феску увидел собственными глазами. Мама пошла покупать хлеб и взяла меня с собой. Мы вошли в лавку. За прилавком стоял смуглый мужчина с черными глазами. На голове у него была круглая красная шапочка с кисточкой. Я подумал, что мужчина нарочно надел такую шапочку, чтоб побаловаться, и засмеялся. Но мама сказала, что это феска, которую носят все турки, а смеяться над чужими нарядами — грех.

Затем она спросила, свежий ли хлеб. Турок взял с полки круглую белую булку, положил на прилавок и придавил сверху ладонью. Булка вся опустилась. Он принял ладонь, и она опять поднялась.

— Хороший хлеб, — похвалила мама, беря булку. — О, да он еще теплый!

— Мама, чем это здесь так вкусно пахнет? — шепотом спросил я.

Но турок услышал, взял с блюда что-то розовое и протянул мне на ладони.

— Ах, нет-нет! — сказала мама. — У меня денег только на хлеб. Нам сейчас не до пирожных.

— Ничего, ничего, — кивнул турок головой, и на его феске закачалась кисточка. — Русски хороши, турка хороши, вся люди хороши.

Потом я узнал, что в городе таких пекарен много. И почти во всех пекарнях сидели турки.

За две недели, которые мы прожили в подвале купчихи Погорельской, я увидел в городе так много чудесного, что у меня голова пошла кругом. Особенно ошеломила меня Петропавловская улица. В деревне у нас было всего две лавки. В каждой из них продавались самые разнообразные товары: и лошадиный хомут, и мятые пряники. А здесь на всей улице — сплошь магазины, и каждый магазин продавал свое: в одном окне выставлены блестящие лакированные туфли, в другом — золотые кольца и браслеты, в третьем — окорока, в четвертом — шляпы и шапки. Даже было такое окно, где на задних лапах стоял медведь и скалил зубы. Но я, конечно, не боялся, потому что медведь был неживой. Я даже показал ему язык.

И еще мне понравился базар. Чего только тут не было!

Однажды мама, Витя и я пошли покупать картошку. Ходим по базару от воза к возу, мама приценивается, торгуется. Вдруг сзади кто-то закричал:

— Поди!.. Поди!.. Поди!..

Обернулись: на народ едет лакированный экипаж. Лошадь белая, в яблоках, на козлах — бородатый мужик в красной рубаше и черном бархатном жилете. А в самом экипаже сидит толстая барыня и смотрит на возы. Против барыни на скамеечке примостилась тетенька в платочке, с корзиной на коленях.

— Поди!.. Поди!.. Поди!.. — опять кричит кучер.

Народ раздается на две стороны, а барыня прямо с экипажа спрашивает:

— Милая, почем твои утки? Мужичок, сколько просишь за гуся? — И торгуется, как цыганка.

Наконец сторговалась. Тетенька в платочке взяла с воза гуся и опять села в экипаж на скамеечку. Тут гусь как рванется, как хватит барыню крылом по шляпе — и полетел над головами народа. Народ кричит:

— Держи!.. Лови!.. Хватай!..

А гусь все хлопает крыльями, все летит да покрикивает: «Га!.. Га!.. Га!..»

Какая-то рыжая девчонка как подпрыгнет, как схватит гуся за лапу! Гусь отбивается, хлопает рыжую крылом по голове. Она его за другую лапу, за крыло. Усмирила и принесла в экипаж тетеньке в платочке.

— На, — говорит, — растяпа!

Барыня покопалась в серебряной сумочке и бросила к ногам девочки две копейки. Девчонка оглядела барыню зелеными глазами и дерзко усмехнулась:

— Жалко, мадам, что при мне мелочи нету, а то б я вам сдачи дала. — Да ногой с грязной пяткой и отшвырнула монету.

У барыни лицо стало красное, как бурак.

— Степан, — сказала она, — стегани эту сволочь!..

Кучер поднял кнут, но девчонка не испугалась. Она еще ближе подошла к кучеру и, как змея, прошипела:

— Только попробуй! Я тебе всю бороду выщипаю!..

И кучер ударил не ее, а лошадь и повез свою барыню из толпы.

Люди смеялись и говорили:



— Ну и Зойка! Саму мадам Медведеву отбрила!..

— Мама, — сказал я, — это ж та девчонка, что меня дразнила. Помнишь, мама?

— Она и есть, — засмеялась мама. — Ишь какая забияка!

— Она, мама, чики-рики?

— Кто ее знает, может, и чики-рики.

К тому времени, как нам переехать в чайную, я так осмелел, что отправился на базар один. Я тихонько выбрался из подвала, прошел одну улицу, другую и скоро увидел золоченый купол церкви, около которой и кипел базар. Я ходил от воза к возу, от лавки к лавке, глазел на леденцы-петушки, на пряники-коники, глотал слюнки около медовой халвы и клюквы в сахаре. А когда опомнился и пошел поскорей домой, то увидел, что иду по незнакомой улице. Я вернулся на базар и начал озираться, но никак не мог сообразить, куда идти. И тут на меня напал такой страх, что я заплакал. Я плакал, а около меня собирались люди и наперебой спрашивали:

— Тебя что, побили? Ты что, заблудился?

Какой-то дедушка в очках кричал мне в самое ухо:

— Чей ты сын, а? Сын чей, а?

— Об... щества... трез... вости, — выговорил я, заикаясь от плача.

Тетка, от которой несло водкой, принялась хохотать:

— Вы слышали, добрые люди! Он сын общества трезвости! Потеха!.. Ты что, дал зарок больше не пить?

— Да где ты живешь? Как улица называется? — продолжал кричать мне в ухо дедушка.

Я вспомнил фамилию квартирной хозяйки и сказал:

— Пого...рельская...

— В нашем городе нету такой улицы, — строго посмотрел на меня какой-то дяденька с папкой под мышкой. — Нету и никогда не было.

— Как нету? А на Собачеевке? — ответил ему другой дяденька в потертых брюках.

— На Собачеевке Кирпичная.

— Да вы очумели? — крикнула пьяная тетка. — Хлопчик вам толком говорит, что он с погорелова края. Погорелец он, понятно? Лето было жаркое, так сплошь пожары прошли. — И хрипло затянула:

Шумел, гудел пожар моско-овский,

Дым ра-асстился по реке-е...

Но те двое не обращали на нее внимания и продолжали спорить: есть в городе Погорельская улица или нету.

И тут я вдруг увидел Машу и Витю.

— Вот он! — крикнула Маша. — Ах ты, паршивец! Ах ты, бродяжка! — и трижды шлепнула меня.

Хоть было больно, я не обиделся и весело побежал с Машей и Витей домой.

ОТЕЦ ТАНЦУЕТ

Наконец настал день, когда во двор въехало двое дрог, и мы от Старого базара потянулись к Новому базару. Возчик, дюжий дядька в брезентовом плаще, и отец шли рядом с подводами.

— Я никак не пойму, куда вас везти, — сказал возчик.

— В чайную-читальню общества трезвости, — важно ответил отец.

— Это что ж, заведение такое?

— Да, заведение. Оно еще не открыто, но на днях откроется на Новом базаре.

Возчик подумал и покрутил головой:

— Ничего не выйдет. Прогорит ваше заведение.

Отец удивился:

— Почему?

— Так разве ж чаем вытрезвляются? Вытрезвляются огуречным рассолом. А еще лучше — стакан водки с похмеля.

— Вы не понимаете, — обиженно сказал отец. — Всякие алкогольные напитки там будут строго воспрещены. Только чай и газеты.

— Прогорите. Чай не водка — много не выпьешь.

Отец сердито хмыкнул и отошел от возчика. Тот опять покрутил головой:

— Чай вприкуску с газетой! Додумаются же!..

Вот и долгожданная чайная-читальня. Мы останавливаемся около длинного дома. Стоит он посредине площади, а вокруг клокочет базар. Народу — тьма-тьмушая. Горы арбузов, капусты, картошки. Вozy с помидорами, с баклажанами, с крупным болгарским перцем, с венками лука. Там жалобно поют слепцы, здесь бешено вертится под бубен цыганка в пестрой, со сборками юбке. Пронзительно кричат торговки, наперебой зазывают покупателей. Ржут кони, режут быки... И нет этому базару ни конца ни края.

Оглушенные, мы слезли с подвод и начали переносить наши пожитки в дом. Дело это, которым наша кочующая семья занималась еще до моего рождения, стало теперь и для меня привычным. Я несу утюг и кочергу, Витя волочит корыто, Маша тащит медный, с погнутыми боками самовар, а отец с возчиком сгружают разошедший скрипучий комод.

Похоже, что мы и вправду приехали в хоромы. В доме два больших зала; в каждом зале — один длинный стол и несколько обыкновенных. Кроме залов, есть еще кухня с вмазанным в печку огромным котлом, в котором кипит вода. А за кухней — наша квартира. Да какая! Целых две комнаты! Правда, комнаты маленькие, в них еле-еле вместились наши пожитки, но все-таки две, а не одна. Отец сказал, что была одна, но он добился, чтоб разде-

лили деревянной перегородкой пополам. Что ж, хоть перегородка деревянная, а комнат все-таки две. А стены! Таких стен я еще никогда не видел: гладкие-гладкие, без единого пупырышка. А потолки! Если б я стал отцу на плечи, то и тогда не достал бы рукой до потолка. И как везде приятно пахнет штукатуркой и краской! Вот тут мы заживем!

Зал, в котором стоял буфетный шкаф со стойкой и из которого шел ход в кухню, мы сразу же назвали «этот» зал, а другой, который был за первым, — «тот» зал. Мы с Витей бегали из «этого» зала в «тот», от окна к окну и всюду видели ряды подвод с овощами, лотки со свежей рыбой, бочки с солониной и бекмесом¹, корзины с бубликами. А деревянным лавчонкам не было числа. В одних набивали обручи на бочки, в других чинили дырявые ведра, в третьих лудили чайники и кастрюли. Скрежет, грохот и стук неслись к нам в окна со всех сторон. Только к вечеру базар уgomонился и притих. Но вечером мы увидели новое чудо. Отец поднялся на стол, чиркнул спичкой и поднес ее к рожку, который свисал с потолка на черной железной трубочке. Рожок, одетый в круглый сетчатый колпачок, ярко вспыхнул. Стало светло как днем.

— Это газ, — сказал отец. — Он идет сюда с газового завода по трубам под землей и горит лучше керосина.

Хоть от рожка пахло скверно, я окончательно поверил, что мы поселились в настоящих хоромах.

Утром мы с Витей стояли на улице и смотрели, как двое рабочих прибывали над дверью железными костылями вывеску. Витя читал бойко, и я к тому времени научился читать, хоть и по слогам, и мы вместе прочли:

ПОПЕЧИТЕЛЬНОСТЬ О БЕДНЫХ ЧАЙНАЯ-ЧИТАЛЬНЯ ОБЩЕСТВА ТРЕЗВОСТИ
--

Мы гордо посмотрели друг на друга: знай, мол, наших! Не какой-нибудь там трактир или просто чайная — таких вывесок мы уже вдоволь насмотрелись в городе, — а чайная-читальня, да еще «общества трезвости», да еще «попечительство» — слово, которое и выговорить с непривычки трудно.

¹ Бекмес — выварная патока из арбузов, груш или яблок.

Вдоволь налюбовавшись вывеской, мы пошли на кухню, Мама суежилась у печки, а Маша перебивала в большой эмалированной чашке посуду. Стаканов было столько, что их хватило бы на весь базар. Мама дала нам с Витей по полотенцу, и мы принялись насухо вытирать стаканы и блюда. В это время в окне показалась коляска. Мама выглянула в зал и опять вернулась к печке.

— Ну, уже затанцевал, — сказала она с досадой.

— Кто затанцевал? — спросили мы с Витей.

— Кто ж, как не отец ваш!

Мы бросили полотенца и побежали смотреть, как танцует отец.

По залу ходил высокий человек с серой бородкой, в сюртуке, со шляпой-котелком в одной руке и палкой с серебряным набалдашником в другой: сразу видно — важный барин. А отец вертелся около него, шаркал подошвами, кланялся, показывал обеими руками то в одну сторону, то в другую и говорил:

— Извольте пройти сюда-с!.. Извольте взглянуть на этот буфет-с!.. Извольте понюхать эту дверь: краска высохла и уже совершенно не издает запаха-с.

— Так-так, — говорил важный господин. — Так-так.

Тут подкатил еще экипаж, и из него вышли две женщины. У одной было целых три подбородка. Я сейчас же узнал в ней ту толстую барыню, которую отбрила на Старом базаре рыжая девчонка. Другая барыня была молодая, с маленькими черными усиками и такая вся ладная да красивая. Когда она проходила мимо меня, то вынула из сумочки мятную лепешку и сунула мне в рот. А Витьке ничего не дала, и Витька потихоньку обругал ее «кошкой».

Важный господин пошел барыням навстречу и начал целовать им руки. Барыня с усиками сунула и ему лепешечку. Отец еще чаще шаркал подошвами и повел всех в «тот» зал. Там он показал на длинный стол и сказал:



— Извольте посмотреть: вот «Приазовский край», вот «Донская речь», вот «Биржевые ведомости». Каждый день свежие газеты с местными, столичными и иностранными новостями. Это вот «Жития святых», а это, извольте видеть, любимая в народе книга «За богом молитва, а за царем служба не пропадают».

Барынька с усиками спросила:

— А Поль де Кока у вас нет? Я вам пришлю «Жоржетту». Пусть читают. Какой чудный писатель этот Кок!

Важный господин сказал:

— Гм... Гм... Уж лучше тогда оды Державина. Это будет больше соответствовать духу заведения. Особенно ода «Бог»: «О ты, пространством бесконечный, живой в движеньи вещества...»

Тут что-то зазвенело, и в зал быстро вошел военный с закрученными вверх светлыми усами. Все на нем так и сияло: и золотые пуговицы, и золотые погоны, и шашка, и серебряные шпоры-колокольчики.

— А, вот и наш главный попечитель! — закричали барыни. — Здравствуйте, капитан!

— Здравия желаю, волшебницы, здравия желаю, прекрасные феи! — сказал блестящий, зазвенел шпорами и тоже принялся целовать барыням руки.

Я первый раз видел живого офицера и смотрел на него во все глаза.

Отец шаркнул ногой и так затанцевал вокруг капитана, что тот даже сказал:

— Послушайте, любезный, вы же мне на сапог наступите.

Вслед за офицером приехала старая барыня в мягких матерчатых туфлях. Она шла и припадала то на одну, то на другую ногу. Потом еще приехало с десятков разных господ и барынь. От всех от них пахло духами.

А потом прикатили на извозчиках священник с широкой и желтой, как веник, бородой, черный, как жук, дьякон и певчие. От этих пахло только ладаном. Я заметил, что отец хотел было потанцевать и около священника, но потом раздумал, наверно, вспомнил попа Ксенофонта, и обыкновенным шагом пошел на кухню за чашкой с водой для кропления стен. Дьякон взял кадило, а священник надел золотую ризу и затянул козлиным голосом молитву.

Народу в зал набилось столько, что отец из-за тесноты



— Извольте посмотреть, — расшаркивался отец, — вот
«Приазовский край», вот «Донская речь»...

больше уже ни перед кем не танцевал, а только крестился и кланялся. Тут были и торговки с базара, и нищие-калеки, и обтрепанные мужчины в опорках. Один такой обтрепанный, с красным носом и слезящимися глазами навывкат, стал рядом с певчими и все время подпевал им, но только слова у него были совсем другие. Например, когда певчие пели: «Многая лета, многая лета, многая лета», он пел: «Ехала карета, ехала карета, ехала карета». Отец даже погрозил ему пальцем, но он только подмигнул и продолжал свое. Кончилось тем, что городской взял его за шиворот, вывел на улицу и дал коленом пинка. После молебна священник покропил стены святой водой и больше уже не пел, а заговорил обыкновенно:

— Православные миряне, возлюбленная паства наша! Алкоголь есть великое зло, порождение дьявола. Он растлевает душу и тело. Пусть же бог благословит городскую управу, нашего добрейшего городского голову (важный господин в черном сюртуке поклонился), почтеннейших попечительниц ваших (барыни тоже наклонили головы) и всех тех, кто, внемля воле благочестивейшего государя императора и самодержца нашего, несут вам, миряне, благоденствие во трезвости.

Но тут красноносый оборванец, который незаметно вернулся в чайную, сипло сказал:

— Я извиняюсь, батюшка, только это татарам и туркам запрещено употреблять вино, а христианам можно. Его же и монахи приемлют. Сам Иисус Христос сотворил чудо и на горе, эх, забыл, как она называется, превратил воду в вино. Или на чьей-то свадьбе.

Священник покосился на него и недовольно сказал:

— В меру не возбраняется.

— Я ж и говорю — в меру. Душа меру знает. Вот уж где народ выпил вволю, на свадьбе этой!

Городовой опять вцепился в воротник оборванца, но тот начал отбрыкиваться и ругаться. И священник больше уже ничего не говорил, а снял свою ризу и, сердитый, поехал домой. За ним уехали и все важные господа с барынями.

А люди, которые набились в оба зала, расселись за столами и принялись пить чай с сахаром. И выпили весь котел, потому что в этот день всех, кто ни заходил, поили даром.

Утром следующего дня отец раскрыл двери чайной и расставил всех по местам. У дверей стал с полотенцем через плечо половой Никита, парень лег двадцати, в красной рубаше и белых парусиновых штанах. Он должен был подавать посетителям чай. Почему такие люди назывались половыми, я так никогда и не узнал. Понятней было другое их название — «шестерка»: в месяц им платили шесть рублей. Маша стала у эмалированной чашки, чтобы мыть посуду. Витя отправился в «тот» зал следить, чтобы кто не унес газету или книжку. Сам отец занял место за буфетной стойкой и поставил меня рядом с собой — учиться буфетному делу. А мама должна была подливать в котел воду и подбрасывать в печку уголь. В таком положении мы стали ждать посетителей. Но они так долго не показывались, что Никита даже задремал на ногах.

Наконец у двери что-то завозилось, и в зал, грохоча сапогами, ввалился огромный детина с бычьей шеей и красными глазами. Он тяжело опустился на заскрипевшую табуретку и ударил кулачищем по столу.

— Половой, стакан водки!

Никита затоптался на месте, не зная, что ему делать.

— Здесь водкой не торгуют, — строго сказал отец. — Здесь общество трезвости.

— Что-о? — взревел детина. — Ты откуда взялся, шкелет несчастный? Вот я возьму тебя за ногу и...

В это время с улицы донесся стук колес. Детина заглянул в окно и со звериным воем бросился к двери. И мы увидели, как он одной рукой схватил с воза огромный куль, положил его себе на плечо и скрылся в толпе.

Никита перекрестился.

— Пронесло, — сказал он побледневшими губами. — Ох, Степан Сидорыч, вы ж не знаете, кто это был. Это ж сам Пугайрыбка, грузчик с порта. Такой громила, что его даже полиция боится.

— А, черт! — с досадой выругался отец. — Первый посетитель — и тот разбойник.

После Пугайрыбки зашел лысый старик с топором за поясом, видно, дровосек.

— Та-ак, — протянул он, усаживаясь за столом. —

С открытием, значит. Хорошее дело. Ну что ж, побалуемся чайком. Неси-ка, милый, чайничек.

— Извольте подойти к буфету и взять чек, — сказал Никита.

— Чего это? — не понял старик.

— Чек возьмите в буфете. Заплатите деньги, тогда получите чай.

— Да ты что? — уставился на Никиту старик. — Боишься, что я убегу?

Никита развел руками:

— Такой порядок.

Старик похмыкал, но все-таки к буфету подошел и выложил на стойку медяки. Отец выдал ему чек и объяснил, что этот чек он должен отдать половому. Никита взял у насупившегося старика листочек и принес его обратно отцу. Отец проверил, тот ли это чек, и нанизал его на стальную наколку. Потом всыпал в маленький чайник ложечку чаю, а на розетку положил два кусочка пиленого сахара. Со всем этим Никита пошел на кухню и принес оттуда стакан с блюдцем, розетку с сахаром, заварной чайничек и большой чайник с кипятком.

— Вот это порядки! — покрутил старик головой. — Настоящая бухгалтерия с канцелярией.

Пришел нищий на костылях и с котомкой за плечами. Он принес с собой селедку и потребовал тарелочку, «косушку» и пару чаю.

— Никаких «косушек», — сказал Никита. — Это тебе не трактир с музыкой, а общество трезвости. Иди к буфету, плати деньги, а мне неси чек, тогда и чай получишь.

Нищий долго сидел и размышлял. Потом надел котомку и заковылял из чайной.

Долго никого не было. Никита опять начал дремать. Голова его опускалась все ниже и ниже. Но тут муха садилась ему на лицо, он вздрагивал, со злобой хлопал себя ладонью по щеке, а через минуту опять задремывал.

Наконец пришло сразу трое. Это были крестьяне. Они принесли с собой сало и черный хлеб. Боясь, что крестьяне тоже уйдут, отец не стал требовать деньги вперед. Они поели и принялись пить чай. Отец подошел к столу и, показав двумя руками на «тот» зал, спросил:

— Не угодно ли газетки почитать?

Крестьяне переглянулись.

— А чего в них? — спросил один. — Может, война?

— Нет, войны, слава богу, нету. Разные новости: местные, столичные, иностранные.

Крестьяне опять переглянулись:

— А про землю ничего не пишут?

— Про какую землю? — не понял отец.

— Слух такой идет промежду мужиков: землю скоро делить будут.

Отец пугливо глянул на дверь и строго сказал:

— Это политика. Здесь политикой заниматься воспрещается. Здесь общество трезвости.

— Так, так, — закивали мужики. — Это правильно.

Они молча допили чай, заплатили деньги и так же молча ушли.

Отец выписал чек и отдал его Никите. Тот долго держал листок в руке, видимо, размышлял, что с ним делать. И положил его перед отцом на стойку.

В полдень приехала старая барыня в матерчатых туфлях. Она повязала кружевной фартук и, переваливаясь с боку на бок, пошла по залам. Отец ходил за ней и пританцовывал. Барыня понюхала воздух, провела пальцем по столу — нет ли пыли — и уселась за буфетом.

— Разрешите доложить, мадам Капустина: посетители обижаются, что нужно деньги платить вперед. Некоторые даже уходят. Не привыкли-с, — сказал отец.

— Ничего, — прошамкала барыня, — привыкнут. Порядок есть порядок, а беспорядок есть беспорядок. Беспорядок всегда нарушает порядок, а порядок всегда пресекает беспорядок. Так им и скажите.

— Слушаюсь, — поклонился отец и шаркнул ногой.

Барыня еще немного посидела и уехала.

— Черт бы их побрал, этих дам-патронесс! — сказал отец. — От них пользы как от козла молока.

— Это ее дом на Полицейской улице? — спросил Никита. — Огромный такой!

— Ее. Что там дом! Муж ее председатель в банке, сорок восемь тысяч рублей в год огребает.

Никита даже пошатнулся.

— Сорок восемь тысяч?! Очуметь можно. Мне бы хоть тысячу! Хоть бы сто целковых!

Отец засмеялся:

— Ну и что б ты на них сделал?

— Что?.. Нашел бы что!.. Перво-наперво сапоги б себе купил. Домой бы на деревню уехал, оженился б... Корову купил бы, вола...

Подъехала коляска.

— Еще одна!.. — вздохнул отец и пошел из-за буфета навстречу барыньке с усиками.

Барынька ласково улыбнулась отцу, кивнула Никите, а мне опять сунула мятную лепешечку.

— Ну, как вы здесь? — зашебетала она. — Да у вас никого нет! Что, дух трезвости гонит всех прочь? Мадам Капустина уже приезжала? Ужасно скучная старуха! А... — Она запнулась и порозовела. — А капитана Протопопова еще не было? Впрочем... — Тут она взглянула на золотые часики, висевшие у нее на груди. — Впрочем, еще без четверти час. Ну что ж, если у вас никто чай не пьет, выпью я. Можно?

Все столы у нас были покрыты клеенкой, но для дамы-патронессы отец бросился собственноручно накрывать стол скатертью. Никита с такой быстротой помчался в пекарню за печеньем, что на его плече захлопало полотенце.

Барынька пила чай, откусывала беленькими зубками печенье и рассказывала:

— Я больше люблю миндальное. Но его почему-то здесь не делают. У моего мужа свой пароход, он каждый месяц делает рейс в Марсель и обратно, и капитан всегда привозит мне свежее миндальное печенье. А вы любите миндальное?

Отец шаркнул подошвой.

— Так точно, мадам Прохорова, люблю.

— Вот видите, значит, мы во вкусах сходимся. А клико вам нравится?

— Как же-с, мадам Прохорова, как же-с! Печенье — высший сорт!

— Что вы! — Барынька расхохоталась. — Клико — это вино.

Она все болтала и болтала. Потом опять глянула на часики и прошептала:

— Полное неуважение к даме...

Но тут зазвенели шпоры. Барынька бросилась навстречу офицеру.

— Миль пардон, миль пардон! — весело сказал офицер. — Задержался на маневрах. — Он повернулся к отцу и сделал строгое лицо: — Что же это у вас пусто? Нехорошо, плохо!

Отец растерянно молчал.

— Но я же говорила, что сюда нужен Поль де Кок! — Барынька топнула ножкой. — Завтра же пришлите ко мне человека!

— Кок Коком, а вот без музыки тут не обойтись, — сказал офицер. Он ударил себя ладонью по лбу и крикнул: — Эврика! У директора кожевенного завода Клиснее есть фонограф. Замечательная штука! Клиснее привез его из Парижа. Едемте! Приступом возьмем!

— Не даст, — поморщилась барынька. — Я Клиснее знаю: скряга.

— Даст! Он привез себе уже другой фонограф, еще лучше этого.

Офицер подхватил барыньку под руку, и они укатили.

Отец задумался. Думал, думал, вынул из кошелька две медные монеты и бросил в кассу.

— Черт с ней! — сказал он. — Пусть этот чай пойдет за мой счет. На, Никита, чек.

Никита подержал чек в руке и сам нанизал его на стальную наколку.

Появился еще один посетитель. Хотя это был тот красноносый бродяга, которого вчера выводил городской, отец с Никитой и ему обрадовались.

Красноносый заказал чай, вынул из кармана бутылочку и ударил донышком по ладони. Пробка вылетела. Он с бульканьем выпил водку и крякнул.

Отец и Никита сделали вид, что ничего не замечают: побоялись, что и этот посетитель уйдет.

— В меру можно, в меру можно, — бормотал красноносый, прихлебывая из блюдца чай. — Утречком шкалик, в полдень шкалик, сейчас вот шкалик. К вечеру, даст бог, еще настреляю копеек двадцать, а то и полтинник, — тогда уже и полбутылочку на сон грядущий можно. Так-то... У каждого своя мера. Так-то...

Напившись чаю, он мирно пошел к выходу, но у самых дверей столкнулся с толстой барыней. Красноносый посторонился и вежливо сказал:

— Просю, мадам. Только сразу не напивайтесь. Ут-

ром шкалик, в полдень шкалик, а на ночь можете и полбутылочку.

— Эт-та что такое? — накинулась барыня на отца и покраснела. — Поч-чему тут пьяный?

Отец испугался и затанцевал:

— Это-с природный алкоголик, мадам Медведева. Он, мадам Медведева, перейдет с водки на чай постепенно...

Отдышавшись, барыня начала проверять кассу. Она подсчитывала медяки и чеки и подозрительно посматривала на отца. А подсчитав, злорадно сказала:

— Восемь копеек недостает.

— Не может быть, — твердо ответил отец.

— А я вам говорю, недостает! Что же я, по-вашему, лгу?

— Вы ошиблись. Каждый человек может ошибиться, — настаивал на своем отец, совершенно забыв шаркать ногой. — Извольте пересчитать.

Барыня схватила чеки и начала пересчитывать.

— Правильно, — сказала она. — Я ошиблась по вашей вине: почему у вас нет счетов? Чтоб завтра же были счета.

Отец развел руками:

— На счета попечительство денег не выделило.

— Ну, так пришлите кого-нибудь ко мне. У нас в доме их сколько угодно.

Барыня уехала.

— Купчиха? — спросил Никита.

— А ты не видишь? — сердито ответил отец.

Когда стемнело, Никита зажег газовый рожок. Но на свет рожка так больше никто и не пришел.

Отец запер дверь на болт и сумрачно сказал:

— Кажется, возчик верно напророчил: горим с первого же дня.

ПОПЕЧИТЕЛИ

На другой день отец послал Витю и меня к даме-патронессе Прохоровой за Поль де Коком. Витька сказал, чтоб я не зевал по сторонам.

— Попробуй только, потеряйся — сразу в будку попадешь.

Какой будкой он меня пугал, я не знал. Может, той,

которая ездит по улицам с бродячими собаками? От страха я не спускал глаз с Витьки и ничего, кроме его синей рубашки, не видел, пока мы не подошли к дому Прохоровой. Вот это домик! Целых двенадцать окон! А над дверью железный навес, такой красивый, будто весь сделан из кружева. К двери прибита белая эмалированная дощечка, а на дощечке напечатано большими буквами:

АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ ПРОХОРОВ

Тут и Витька оробел. Надо было, как велел отец, придавить кнопку, а Витька таращил на нее глаза и боялся поднять руку. Потом презрительно глянул на меня, будто не он, а я боялся, и ткнул в кнопку пальцем. За дверью что-то зазвенело. Витька отскочил как ошпаренный. Дверь открылась, и какая-то тетка в белом фартуке и кружевной наkolке закричала на нас:

— Вы чего балуетесь, паршивцы?!

Я уже хотел деру дать, но Витька сказал:

— Мы не балуемся, мы до барыни за Коком пришли

— До какой барыни? За каким коком? Разве кок здесь? Кок на пароходе!

Витька огорошенно молчал.

— До какой барыни, я вас спрашиваю?! — кричала тетка.

Витька продолжал молчать. Тогда сказал я:

— Которая с усами.

Тетка засмеялась и спросила:

— Откуда вы взялись?

— Из общества трезвости, — в один голос сказали мы.

— А, тогда подождите.

Она ушла. А когда вернулась, то велела нам идти за нею следом. И мы пошли. Сначала шли по лестнице, только не вниз, как в квартире около Старого базара, а вверх. Лестница была широкая, а ступеньки белые, блестящие. И такие гладкие, что я даже поскользнулся, и Витька зашипел на меня. Потом мы вошли в комнату. Ну и комната! Наверно, и у царей таких не бывает. Все стены серебряные, а на стенах, в золотых рамах, веселые картины. И везде золото, золото. Даже клетка, что висела

над окном, и та была золотая. Витька потом говорил, что и птичка в ней сидела золотая, но я этого не заметил. А из зеленых кадок поднимались до самого потолка невиданные деревья с длинными и узкими листьями.

Стали мы с Витькой на пороге — и ни шагу дальше. Барынька с усиками сидела между кадками в диковинном кресле и вместе с креслом качалась: вверх — вниз, вверх — вниз. Увидела нас и спрашивает:

— Вы что за дети?

Мне, конечно, стало удивительно: два раза совала мне в рот мятные лепешки, а теперь спрашивает, что мы за дети. Я даже засмеялся:

— Вы меня не узнали?

Витька шагнул вперед и сказал:

— Не серчайте: он у нас вроде дурачка, потому что заморыш. Отец прислал за книжками для пьяниц. Вы обещали Кока дать.

— А, вы дети заведующего! — вспомнила наконец барыня. — Сейчас поищу.

Она ушла в другую комнату и оттуда вынесла нам две толстые книги.

— Вот, несите отцу. Пусть читает им по главе в день, поняли? Они прослушают одну главу и будут потом каждый день приходить.

За барынькой в комнату вошел тощий старичок.

— Совершенно правильно, — кивнул он облезлой головой. — Но при обязательном условии, что после каждой главы им будут выдавать по стакану водки.

Барынька стала сыпать какими-то неизвестными нам словами. Сыплет и сыплет. Знакомых было только два слова: «шут гороховый». Старичок ковылял по комнате и хихикал. Потом скривил рот и сказал:

— Зачем же вы за шута горохового замуж вышли?

Тут они начали смешно ругаться. Я даже рот закрыл ладонью, чтоб не засмеяться. Но все-таки не выдержал и прыснул. Старик как затопает ногами, как закричит:

— Вон отсюда, хамское отродье!..

И мы с Витькой задали такого стрекача, что опомнились только около чайной.

За то, что мы принесли книги, отец нас похвалил. Потом велел идти к купчихе Медведевой за счетами.

Купчихин дом был еще больше, чем прохоровский.

Но нас дальше кухни не пустили. Купчиха вышла к нам сама, дала счета и сказала, чтобы мы несли их осторожно, не трясли, иначе они рассыплются.

Когда отец увидел эти счета, то схватился за бока и стал хохотать. Хохотал и выкрикивал:

— Вот так счета!.. Вот так миллионерша!.. Никита, Никита, иди посмотри, какой купчиха прислала нам подарок!.. Вот так расщедрилась!..

Никита посмотрел и тоже стал смеяться.

Счета были такие старые, что даже косточки на них потрескались.

— Так пусть же она на них и считает! Нарочно не куплю другие, — сказал отец.

После обеда он велел Никите и нам с Витей идти к капитану Протопопову за фонографом и трубой. Оказывается, Клиснее все-таки фонограф подарил, но прислал не в чайную, а офицеру на квартиру.

Мы долго стучали, пока, наконец, дверь открылась. Вышел сам капитан. Он был без сапог, в одних носках, и без кителя. Один ус, как всегда, закручивался кверху, а другой почему-то свисал книзу.

— Ну, какого черта надо? — сказал он сердито.

— Ваше высокоблагородие, — ответил Никита, — мы из чайной. Пришли за трубой и фонографом.

— Принесла вас нелегкая не вовремя! — пробормотал капитан и передразнил Никиту: — «Фонографом»! — Он постоял, почесал за ухом и сказал: — Ну ладно. Войдите в переднюю и стойте там.

В переднюю он вынес ореховый сундучок и огромную трубу из белой жести. Один конец трубы был узенький, как носок чайника, а другой такой широкий, что Протопопов зацепил им за дверь. Дверь распахнулась, и я увидел нашу барыньку с усиками. Она почему-то испугалась и шмыгнула за занавеску.

Мы пошли домой. Никита нес сундучок, а мы с Витей трубу. Витя держал ее за широкий конец, а я за узкий.

Когда мы пробирались через базар, из трубы вдруг что-то как закричит:

— Ой, гоп, чики-рики!..

От страха мы бросили трубу на землю. Позади нас приплясывала рыжая девчонка. Та самая. Оказывается, это она подкралась к узкому концу трубы и закричала

в дырочку. Никита выругался, но она не отставала и все дразнила:

— Шарманщики! Карусельщики! Трубачи!..

В жизни еще не встречал такой противной ведьмы! Она, наверно, дошла бы до самой чайной, но тут задрались двое мальчишек. Рыжая остановилась и начала подзадоривать их:

— Эй, чумазый, как же ты бьешь? По загровку его, по загровку! А ты, лопух, чего скапустился? Двинь его под микитки!..

Витя сказал:

— Жалко, что руки заняты, а то б я ее за патлы.

Никита только хмыкнул:

— Такая дастся!..

Когда мы принесли фонограф, в зале сидел красноносый, пил чай и что-то бормотал о шкалике. Увидя трубу, он сказал:

— Это труба Иерихонская, та самая, в которую трубил Иисус Навин. От звуков ее пали стены града Иерихона.

...Дня через два пришел капитан Протопопов и привел с собой мастера. Трубу подвесили к потолку, а узкий конец воткнули в ореховый сундучок. В сундучке блестел стальной валик. Из длинной коробки, которую принес мастер, вынули валик восковой, пустой внутри, и насадили на валик стальной. Потом накрутили ручкой пружину и стали слушать. Сначала долго шипело, а когда перестало шипеть, то кто-то в трубе вдруг запел:

Вузэт аншантэ э шарман

Бэль амур, бэль ами, бэль аман.

Голос был женский, но такой, будто женщина простудилась, охрипла и схватила насморк.

Протопопов притопнул ногой.

— Отлично! Теперь у вас будут стены ломиться.

И ушел, звеня шпорами.

Я вспомнил, что говорил красноносый о стенах Иерихона, и испугался. Но отец сказал:

— Как бы не так! Чего они будут ломиться, когда

все валики на французском языке. Сюда бы «Разлуку» или «Вниз по матушке, по Волге». И из Кока ни черта не выйдет.

Все-таки он усердно крутил фонограф и зазывал наших редких посетителей в «тот» зал, чтобы читать им «Жоржетту». Иногда к нам заходили крестьяне со своим хлебом и пили чай. Сначала они пугливо заглядывали в трубу и говорили: «Тю!.. Дэ вона там ховається, чертяка?!» Потом, послушав немного, просили отца: «Да останови свой шарман, нехай ему бис!» От чтения же «Жоржетты» оборванцы засыпали или незаметно, чтоб не обидеть отца, переползали в другой зал.

По распоряжению барыни, что в матерчатых туфлях, отец завел тетрадочку и отмечал в ней посетителей. Придет посетитель — отец поставит в тетрадке палочку, придет другой — другую палочку. А ночью, когда чайную закроют, отец все палочки подсчитывает. И каждый раз говорит:

— Как заморозил кто! Десять, двенадцать, от силы пятнадцать человек — и баста. Того и гляди, выгонят меня. А что я могу сделать!..

Но, когда с неба полил холодный дождь, а потом замелькали в воздухе снежинки, все у нас изменилось.

НАШИ ПОСЕТИТЕЛИ

Никита и раньше говорил: «Вот подождите, Степан Сидорыч, залезет под рубашку мороз, так тут яблоку негде будет упасть». Так оно и получилось. С самого раннего утра в залы стал набиваться народ. У одного на голых грязных ногах рваные калоши, у другого — рыжие головки от сапог, третий натянул старые дамские туфли на высоких каблуках и козыряет на каждом шагу. Штаны на всех заплатанные; из старых стеганок и даже шапок вылазит бурая вата. Волосы нечесанные, подбородки щетинистые, глаза красные, слезятся, руки грязные, трясутся. Придет вот такой и сядет в уголок, чтоб быть неприметнее. Но в углах всем места не хватает: люди идут и идут, целый день визжит блок на дверях. У кого в кармане задержались две-три медные монеты, те пьют чай, а большей частью босяки сидят просто так, греются в теплом помещении. Одного отец спросил:

— Кто ж вы такие: пропойцы, погорельцы или, может, каторжники беглые? И откуда вас набралось сразу столько?

Оборванец подышал на замерзшие руки, побряхтел и только потом ответил:

— Всякие. Одним словом, перелетные птицы, вроде журавлей. К зиме журавли летят в теплые края, а весной вертаются назад. Вот и мы так. А кого в пути застанет холод, тот оседает на месте. Нынче зима что-то рано пожаловала, не успел я и до Батума добраться.

— И что ж, все пешком? — удивился отец.

— Когда пешком, а когда на буфере.

Дела в чайной пошли живей, и отец опять подбодрился. Мы с Витей привыкли скоро к босякам. В обоих залах висел сизый махорочный дым, от босяков несло водочным перегаром, да и вообще запах тут был не из важных, но мы чувствовали себя как рыба в воде. Каждый день происходило что-нибудь новое: то ввалится пьяный, буянит, ругается, и мы с Витей бежим в полицейский участок за городовым; то придет фокусник и начнет глотать огонь и разбитое стекло; то появится новый босяк, такой занятный, что все бы слушал и слушал, как он рассказывает о своих скитаниях.

Босяки были разные.

Однажды к нам пришел человек в дорогом, но сильно поношенном пальто, с редкой русой бородой, с широким лбом и маленькими глазками. Он прошел в «тот» зал, сел за длинный стол и потянул к себе газету. Немного почитал и отбросил ее.

— На кой черт мне знать, что там, в городской думе, болтает хлебный ссыпщик или рыбопромышленник? — зло сказал он. — Все говорят и говорят. Один доказывает, что надо электрическую станцию заказать бельгийцам, другой — что лучше немцев водопровод никто не проведет, а третий добивается, чтоб трамвай строили французы. Но ни трамвая, ни водопровода, ни электричества как не было, так и нет. Зато свои инженеры, которые могли бы земной шар заставить вдвое скорей вращаться, ходят по родной земле с волчьим паспортом!

Он помолчал, глянул на шашки, что рассыпались среди газет, и предложил:

— Кто желает сыграть со мной на интерес?



Красноносый бродяга почтительно сказал:

— Какой же, господин инженер в отставке, может быть интерес, когда у нас ничего, за исключением вшей, не имеется. А вшей, я думаю, у вас и своих в избытке.

— Врешь, головастик, я хоть в данную пору и безработный, но в баню хожу каждую неделю. Ладно, садись, сыграем так.

Оборванцы столпились около стола и все взяли сторону красноносого: подмигивали ему, кивали, а то и прямо подсказывали. Но скоро от его шашек, кроме запертых, не осталось ни одной.

Инженер сказал:

— Это что! Вот в шахматы бы! Да они в такой богдельне вряд ли водятся.

— Нет, водятся! — крикнули мы с Витей и побежали за буфетную стойку, где в коробке лежали причудливые фигурки. Отец был уверен, что в такую игру играют только образованные люди, и в «тот» зал шахматы не выносил.

Инженер расставил фигуры на доске и спросил:

— Ну, кто умеет?

Оборванцы молча переглянулись. Умеющих не нашлось. Только один, патлатый, отозвался:

— В прошедшее время, когда я служил в Пречистенской церкви диаконом, мне не раз приходилось вступать на шахматном поле в единоборство с нашим благочинным, отцом Феофаном, но по доносу одного же благочинного был изгнан за вольнодумство, от водки и горя утратил зрение и теперь без очков не могу распознать, которая фигура есть лошадь, а которая королева.

Витя попросил:

— Научите меня.

Инженер оглядел его:

— Ты, брат, еще мал, не поймешь.

— А может, пойму, — настаивал Витя.

— Хорошему делу почему не научить! Только эта игра трудная.

— Поучи, поучи, — сказал дьякон.

— Ну ладно, попробуем.

Инженер стал объяснять, как фигуры называются и как ими ходят. Объяснял он хорошо, даже я понял. Потом опять расставил фигуры и принялся играть сам с собой. Пойдет белой фигурой и тут же объяснит, почему так пошел. Потом пойдет черной и тоже объяснит. После этого Витя уже стал сам за себя играть, но играл так плохо, что инженер его все время поправлял.

Следующие три дня Витя только и делал, что играл сам с собой в шахматы. А когда увидел, что инженер опять пришел, схватил доску и побежал в «тот» зал.

— Ты, хлопец, башковитый, из тебя выйдет толк, — сказал Вите в этот день инженер.

Со мной Витька играть не хотел. Только после того, как инженер куда-то пропал, он сказал мне:

— Да научись ты играть, дурачина!

Мы сели за доску, и я проиграл семь раз подряд.

С Витей я играл часто и всегда проигрывал. Только раз (это было три года спустя) мне удалось выиграть у брата партию. Но эта победа меня не очень порадовала. Витя сказал: «Орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться». Вообще брат был во всем гораздо способнее меня.

— Скажи какое-нибудь слово, — предлагал он.

Я говорил, и он сейчас же называл число букв в этом слове.

Раз он спросил:

— Какое самое большое слово ты знаешь?

— Превышеколоколенходященский.

— Двадцать семь, — сейчас же сказал он.

А спорить с ним было совсем невозможно: он всегда меня побивал.

— Что сильнее — вода или керосин? — спрашивал он.

— Конечно, керосин, — не задумываясь, отвечал я.

Да и как могло быть иначе! Вода ничего не стоила, а за керосин мы в лавочке деньги платим. Вода в лампе не горит, а керосин горит. Облей керосином полено и чиркни спичкой — сразу вспыхнет, а облей водой — не вспыхнет. Так я Витьке и объяснил.

А он мне:

— Ну и что ж! А я возьму и залью его водой. Значит, вода сильнее твоего керосина.

Я чувствовал — тут что-то не так, но доказать не мог и от досады чуть не плакал.

Инженер то приходил каждый день, то исчезал на неделю и больше. Однажды вечером, когда он играл с Витей в шахматы, к нам пришел еще новый человек. В это время пел фонограф. Человек остановился перед ним, поднял бровь и прослушал всю песенку до конца. Я его хорошо рассмотрел: худой, высокий, полуседые, зачесанные кверху волосы, лицо бритое, длинное, нос с горбинкой, а глаза серые, большие. Когда фонограф замолчал, он медленно поднял плечи и сказал:

— Поразительно! Французская шансонетка в русском босяцком вертепе. Жизнь — сплошной парадокс.

Повернулся и пошел в «тот» зал.

Что такое «парадокс», я не знал, но и для меня было ясно: этому человеку наша чайная не понравилась.

— Что я вижу! — опять поднял он плечи. — Герр Стейниц готовит себе смену. И где же! В русском босяцком... гм... клубе. Парадокс! Сплошной парадокс!

Инженер насмешливо сказал:

— А, граф! И вы сюда забрели? Стейница себе

оставьте: Чигорин мне родней. Не хотите ли продолжить сей парадокс и сразиться на звание чемпиона... босяцкой команды?

Граф поклонился:

— Сочту за честь. Что ставите?

— Будущий мост моей конструкции через Дон и вот жилетку, что на мне, против вашего особняка на Невском и, с позволения сказать, пиджака, что на вас.

Граф опять поклонился:

— Условия приняты.

Они играли и один над другим насмехались до тех пор, пока не закрыли чайную. Но так партию и не кончили. На другой день пришли доигрывать, но опять не кончили. Только на третий день помирились на ничью и ушли на толкучку. Вернулись оба пьяные. На инженере не было жилета, а на графе — пиджака.

Инженер кричал:

— Вырожденец! Гнилая кровь! От вашего брата земля уже сто лет пользы не знает!.. А за что я гибну, я, человек одной крови с Ломоносовым!..

— Все погибнем, все! — в свою очередь, кричал граф. — В водке сгорим, в спирте!.. В голубом огне!..

С тех пор граф стал приходить каждый день, и, хотя никогда не скандалил и не шатался, а только шептал не по-русски какие-то стихи, видно было, что он сильно пьяный.

В последний свой приход он и стихов не шептал, а сидел молча и качал головой. Вдруг он упал. Когда мы с Витей подбежали, то увидели, что рот у него открыт и вокруг рта колеблется голубоватое пламя. Дьякон сказал, что это горит спирт, который выходит из графа вместе с дыханием, и стал креститься. Пришли городовые и графа унесли куда-то. С тех пор мы его не видели. Был ли он настоящий граф или его только так прозвали, никто не знал. А партию, которую он играл с инженером, Витя запомнил и всю жизнь говорил, что оба они играли, как чемпионы мира.

Однажды к нам завернул человек такого маленького роста, что я принял его за мальчика. Но по голосу, когда он сказал: «Мир дому сему!» — догадался: нет, это взрослый. На человеке была солдатская шинель, за спиной — ранец, в руке суковатая палка. Он пил чай и после каж-

дого глотка говорил: «А!» Отец долго к нему присматривался и наконец сказал:

— А что, братец, не влезешь ли ты в наш котел?

— Сварить хочешь? — спросил человек.

— Что ты! Живи с богом! — ответил отец. — Накипи много на стенках в котле, поскрести надо, а горлышко маленькое, обыкновенный человек не влезет.

— Я, значит, не обыкновенный? Ладно, почищу. А когда тебе?

— Вот закроем чайную, котел остудим — и полезай.

— Давай задаток.

Отец качнул головой:

— Ну, нет! Возьмешь — и поминай как звали.

— Давай, говорю! Лошадь не обманывал, собаку не обманывал, с воробьем и то во взаимном доверии жил, а ты опасешься.

— Сколько ж тебе?

— Гривенник.

Отец подумал и вынул из кассы два пятака.

— Дело! — сказал человек. — Остуживать не надо: без этого обойдемся.

Он допил чай, сунул деньги в карман и ушел.

Никита хихикнул:

— Плакали ваши пятаки.

«Плакали или не плакали? Придет или не придет?» — гадали мы с Витей.

Он долго не приходил. Ночью, когда уже надо было закрывать чайную, отец сказал:

— Жулик!

Но тут блок на двери взвизгнул, и маленький человек вошел в зал. Не говоря ни слова, он прошел на кухню, там вынул из карманов шинели три пакетика, высыпал из них на стол какие-то порошки, перемешал и бросил в котел.

С полчаса он сидел и аппетитно рассказывал о вкусном хлебном квасе, какой делают монахи в Святогорском монастыре. Потом приставил к котлу ведро и открыл кран. Вода полилась белая, как молоко. Котел промыли. Отец заглянул в него и сказал:

— Да ты колдун, что ли?! Совсем чистые стены.

— Чего — колдун! Я путешественник. Хожу по земле и все, что вижу, складываю сюда. — Он ткнул себя пальцем в лоб.

Мама сказала:

— Скушай с нами борща, добрый человек. Угостила б чем получше, да ничего другого сегодня не готовили.

Путешественник ел борщ, после каждой ложки прикрывал глаза и говорил: «А!» Поев, он встал и, поклонившись в пояс, поблагодарил маму. Потом предложил:

— Хочешь, я завтра сварю тебе борщ по-болгарски?

— Ну что ж, свари, — сказала мама миролюбиво, но, как мне показалось, немного с обидой. — Поучи меня, деревенскую бабу.

— Поучу, мамаша, поучу, — будто не замечая обиды, сказал путешественник. — А ты поучи меня, как варишь свой прекрасный борщ. Вот мы и квиты будем.

Путешественника оставили ночевать на кухне.

Рано утром он вымыл стол, на котором спал, и отправился на базар. Оттуда принес полную кошелку кореньев и овощей. Перед тем как начать готовить, состриг на пальцах ногти, а руки вымыл с мылом. Борщ получился обжигающий, но очень вкусный. Сколько потом мама ни пробовала, он у нее таким не выходил, а клала она в кастрюлю все, что клал и путешественник.

— Давай пятак, — сказал он отцу после обеда.

— Это еще на что? — спросил отец с полным доброжелательством.

— Сделаю угощение твоим тараканам. Тараканов у тебя больно много развелось: непорядок.

Действительно, этой гадости у нас было столько, что ночью мы боялись пройти босиком по полу, а у Маши даже посуда падала из рук, когда по столу проползал черный жирный тараканище.

После закрытия чайной мы все принялись мыть полы. Вымыли так, что нигде не осталось ни одной крошки съедобного. Путешественник размочил хлеб и долго ворожил над ним: подсыпал то сахару, то борной кислоты, то еще чего-то. Потом велел мне и Вите делать из этого хлеба маленькие шарики. Шарики он насовал во все шкафы и разложил на полу, особенно густо там, где были норки и трещинки.

К утру дохлые тараканы усеяли все полы, будто здесь происходила тараканья битва. Никита сметал их на лопаточку и бросал в печку. Тараканы в огне трещали, а Никита злорадно говорил: «Ага, сволочи!»

Спалив их всех, Никита сказал путешественнику:

— А ты, браток, и вправду есть колдун.

— Считай, как знаешь, — ответил тот ему. — Ежели человек, который у всех учится, есть колдун, значит, и я колдун. А по-моему, нет тлупей того человека, будь он даже профессор, который только других учит, а сам ни у кого не учится.

Отец опять предложил ему переночевать. Он ответил не сразу, а когда ответил, то будто не на то, что ему сказал отец:

— Вот молодцы твои еще в коротких штанишках ходят. А им бы пора уже и длинные пошить.

— Пора, — сказал отец, — да все недосуг к портному сходить.

— А материя есть?

— Да и материи нету.

— Н-да... Ну, давай деньги, пойду куплю.

— Да ты меня разорить решил! — воскликнул отец и засмеялся, довольный.

Он принес из кассы две зеленые бумажки и подал путешественнику. Тот велел нам с Витей одеться.

— Пойдем за покупками, — сказал он.

Мы ходили из лавки в лавку, перед нами торговцы развешивали толстые штуки материи, но путешественник покупать не спешил, а смотрел, щупал и говорил нам:

— Приглядывайтесь, чтоб по вкусу было, чтоб не жалеть потом.

Витя выбрал себе материю черную, с рубчиком. Я хотел тоже такую, но Витька презрительно сказал:

— Мал еще.

Конечно, ему было досадно, что мне сошьют длинные штаны тогда же, когда и ему, и он хотел, чтоб его штаны хоть цветом отличались от моих. Я чуть было не заплакал, но путешественник сказал:

— Вот это к твоей фигуре больше пойдет. А? Как считаешь? — и показал мне серую материю, без рубчиков.

Назло Витьке я сказал, что, конечно, серая лучше черной.

Путешественник подмигнул лавочнику, и тот завернул Витькину материю отдельно, а мою отдельно. Я нес свои будущие брюки, вдыхал запах новой материи, и этот запах краски был мне приятнее всех запахов на свете.

Шил нам брюки сам путешественник, вручную. Мы с Витей сидели против него на низеньких скамеечках и слушали, что он нам говорил о лесах. В наших краях лесов совсем не было, все только степь да степь, а ведь в лесах происходило все, о чем рассказывается в самых интересных сказках. Только он рассказывал не о лесах, не об избушках на курьих ножках, а о медведях, о волках, о птицах и деревьях. Он то куковал кукушкой, то подвывал волком, то изображал, как шумит, подобно морю, сосновый бор.

— А из зверей я всех больше люблю белку, — сказал он. — Такая забавная зверушка! Иду раз по лесной тропе, глянул вверх — сидит она на сосне. Прижалась к стволу, уши торчком и смотрит на меня с превеликим любопытством: дескать, что это за зверь двигается на двух лапах? Я остановился и говорю: «Милая, ты меня не бойся, я зла тебе не сделаю. Видишь, я и сам ростом невелик. Лучше сядем вот под этой сосенкой и побеседуем: может, и пойдем друг дружку». И она уже начала было спускаться, но потом раздумала, сиганула, вроде акробата, на другую сосну — и была такова.

— А разве она может говорить по-человечески? — спросил я.

Витька сейчас же фыркнул. Но путешественник сказал:

— Так, как мы, она, конечно, разговаривать не умеет, но сделать лапкой знак какой-нибудь и она, по-моему, смогла бы.

Брюки получились как у взрослых: длинные, с двумя большими карманами и одним маленьким — для часов. Конечно, часов у нас не было, как не было и надежды иметь их, но кармашками мы еще долго гордились.

За работу путешественник не взял с отца ничего. Он пообедал, надел свою солдатскую шинель и стал прощаться.

— Куда ж ты теперь, милый человек? — спросил отец.

— А все дальше и дальше. Буду идти вперед, пока не приду на то место, откуда вышел.

— Мудрено понять, — грустно сказал отец. — И все пешком?

— Пешком.

— Далеко ли пешком уйдешь! Шаг-то у тебя мелкий. Путешественник прищурил глаз.

— Ползет как-то муравейка вверх по березе, а я лежу под тем деревом и гляжу на него. Потом отвлекся, глянул туда-сюда, и, когда опять поднял кверху глаза, муравейки уже и видно не стало. Так-то.

— Ты хоть скажи, как звать тебя, — спросил отец.

— Как звать? — Путешественник подумал: — По-разному: летом — Филаретом, а зимой — Фомой.

Отец развел руками:

— Ну что ж, раз не хочешь сказать, не буду допытываться.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НИКИТЫ

И еще один человек остался у меня в памяти на всю жизнь.

Лицо у этого человека было бескровное и рыхлое, будто его вот только сейчас вылепили из известки, даже просохнуть не дали. Веки без ресниц, глаза как две изюминки, воткнутые в тесто. Ходил он в старой заштопанной шубе и всем жаловался, что его ограбила и выгнала жена с приказчиком. Но о нем говорили, что жену свою он уморил голодом, а приказчика чуть не убил гирей за то, что тот взял у него в лавке полфунта колбасы. Он мечтал захватить в городе всю колбасную торговлю, однако другой колбасник сумел какими-то махинациями разорить его, и он помешался. У нас он подсаживался к каждому столу, за которым ели, выклянчивал кусочек. Глядя на него, Никита всегда говорил: «Эхма! Родила меня мать — не нарадовалась, семь верст бежала — не оглядывалась!»

Однажды поздней ночью полураздетый Никита прибежал к нам в комнату и с испугом сказал:

— Степан Сидорыч, кто-то в дверь ломится.

Все всполошились, зажгли огонь и стали около двери — кто с кочергой, кто с топором. Снаружи неслся дребезжащий голос:

— Пусти-и-и! Замерза-а-ю!..

На улице действительно было очень холодно. Никита прислушался и с облегчением сказал:

— Да это Хрюков, полоумный!

Дверь открыли, и Хрюков на четвереньках вполз в



зал. Он дополз до печки, приподнялся — и вдруг рухнул на пол.

— Помер, — сказал Никита, взглядевшись ему в лицо, и побежал в участок за полицией.

Приехали за Хрюковым только утром. Раздели, осмотрели и увезли в повозке.

А грязная шуба осталась у нас. Боясь заразы, отец облил ее карболовой кислотой и бросил во дворе на угольную золу. Там шуба и лежала, пугая Машу и нас с Витей. От кислоты она ис-

тлела и распалась на клочья. Отец сказал Никите:

— Отнеси эту гадость на базар, брось там в мусорный ящик:

Я стоял на дворе, когда Никита собирал клочья. Вдруг он пугливо глянул на меня и сиплым голосом сказал:

— Иди отсюда!.. Иди скорей, а то заразишься...

Я ушел.

И больше мы Никиту не видели. Он унес истлевшую шубу и не вернулся. Даже паспорт и валенки оставил.

Отец заявил в полицию. Там спросили:

— Ничего не украл?

— Ничего, — ответил отец. — Это-то и странно. С чего ему убежать?!

Полиция искать Никиту не стала, только паспорт и валенки забрала.

Отец помрачнел и стал часто задумываться. Маша во сне вскрикивала, а проснувшись, крестилась и говорила, что за нею гнался Хрюков. Мерещился мертвец и нам с Витей. А тут еще откуда-то поползли слухи, что Никиту унесла нечистая сила, с которой Хрюков был в дружбе, будто злой дух мстил Никите за то, что он бросил в мусорный ящик шубу мертвеца.

Однажды мы с Витей, взявшись за дужку, понесли во двор цибарку с угольной золой. Только хотели высыпать золу на кучу, как Витя крикнул:

— Ой, что это?!

В куче блестел желтый кружочек. Витя схватил его и стал рассматривать.

— Золотая, — сказал он. — Старинная.

Мы побежали к отцу. Узнав, где мы нашли монету, отец побледнел и перекрестился, а потом и монету стал крестить. Крестил и в страхе шептал:

— Наваждение... Приманка... Приманка нечистой силы...

Он задумался. И вдруг радостно засмеялся.

— Ах, вот в чем дело! Теперь понятно!

И побежал во двор.

Там он принялся разгребать золу пальцами. Блеснула еще одна монета, другая, третья...

— Все, — сказал отец, когда выгреб штук пятнадцать таких монет. — Глубже уже не может быть.

Он собрал всех нас в комнате, запер дверь и шепотом сказал:

— Никакой нечистой силы. Просто полоумный Хрюков носил в шубе зашитые монеты. От кислоты шуба распалась, и монеты высыпались. Никита их собрал и дал деру. Впопыхах даже все не захватил. Ну, поживился парены! Теперь будет первым кулаком в деревне.

З О Й К А

Витя, надев длинные брюки, заважничал. Конечно, важничать стал и я. Но вот досада: босяки, которые видели меня всегда в коротеньких штанишках, совершенно не замечали, какая в моей одежде произошла перемена. Я вертелся перед ними, без нужды лазил в карманы, выставлял одну ногу вперед, напоказ, но они хоть бы что! Мама только раз полюбовалась мною в новых брюках — и тем дело кончилось. И вдруг мои брюки заметили.

Отец послал меня с запиской к столяру, чтоб тот пришел в чайную и перебрал худые табуретки. Столяр жил на Перевозной улице. Отец подробно рассказал, как найти дом столяра, и я пошел. Шел я, правда, не без робости: до этого мне редко приходилось ходить по городу одному. Но я все время себя подбадривал. Вот дошел я до шумного Ярмарочного переулкa; вот по переулку дошел до Петропавловской улицы, самой главной в городе;

вот поравнялся, как и рассказывал отец, с двухэтажным домом, у дверей которого, под стеклом, выставлены фотографические карточки; вот перешел, оглядываясь по сторонам, через железную дорогу; а вот передо мной и домик с деревянным петушком на крыше.

Я постучал в калитку, отдал записку и пошел обратно, довольный, что так хорошо выполнил поручение отца. Перед железной дорогой я остановился и принялся рассматривать шпалы и рельсы. Я уже знал, что по этим рельсам катят в порт, прямо через город, поезда. Ну и пусть катят, а мне ни чуточки не страшно: ведь я уже не тот деревенский хлопчик, который до смерти испугался, когда наша арба остановилась ночью перед железной дорогой. Конечно, это было здесь: вот и полосатый столб, вот и будка. Я храбро перешел через рельсы. Вдруг слышу, кто-то кричит:

— Эй, здоровяк, давай ударимся!

Оглянулся, а по шпалам идет мальчишка, чуть не вдвое больше меня. Подошел, глаза прищурил, губу оттопырил и спрашивает:

— Ты чего тут ползаешь? По заливку захотел?

У меня душа ушла в пятки.

— Нет, — сказал я ни жив ни мертв.

— Нет? — удивился он. — Не хочешь по заливку? А чего ж ты хочешь?

— Я домой хочу...

— А, домой! Хорошо, сейчас я тебе покажу твой дом. Он сбил с меня картуз и потянул за волосы. Я заревел.

— Ну как, видишь свой дом? Нет? Ну, сейчас увидишь.

И потянул еще сильнее.

Когда я решил, что жизни моей настал конец, мальчишка неожиданно шлепнулся на землю. Над ним стояла рыжая девчонка и кричала:

— Ах ты, жаба! Ах ты, гадюка! На маленьких нападать?!

Мой мучитель хотел укусить ее, но она так двинула его ногой, что у него кровь пошла из носа.

Я не успел опомниться, как оказался в будке.

За столом сидела растрепанная старуха и пила чай с сахаром вприкуску.

— Что, опять подралась? — спросила она равнодушно.

— Нет, — ответила девчонка. — Я тут одному нос расквасила: пусть не нападет на маленьких. Да ты ж посмотри, бабуся, кого я привела! Это ж тот цыганенок, который напугался поезда, помнишь? А теперь он ходит с трубой по базару, представления разные делает. Ох, умора!..

Бабка сонно сказала:

— Никакой он не цыганенок. Самый обыкновенный хохол.

— Ну, хохол, — без спора согласилась девчонка. Она оглядела меня и засмеялась. — Бабка, посмотри, он уже в длинных брюках! Он уже кавалер! Ох, умора!

Но тут от всего пережитого я стал дрожать. Бабка заметила и сказала:

— Он перемерз. Ты его положи на топчан и укрой шалью.

Рыжая потянула меня за руку и, когда я лег, укрыла. Потом и сама села на топчан.

— Хочешь, я тебе сказку расскажу? — спросила она. — Слушай: жили-были два гуся, вот и сказочка уся. Хорошая?

Я успокоился и перестал дрожать. Она сказала:

— Ну, теперь вставай, садись за стол: бабка тебе чаю нальет. Нальешь, бабка?

— Налью, — ответила бабка. — Что мне, чаю жалко?

Она нацедила из жестяного чайника в стакан чаю и положила передо мной огрызок сахара:

— Угощайся.

Никогда я в нашей чайной не пил с таким удовольствием чай, как теперь, в этой будке.

Вдруг в углу, в железной коробке, которую я еще раньше приметил на стене, что-то затарахтело. Бабка взяла со стола две палочки — одну с красным флажком, другую с желтым — и, кряхтя, пошла из будки.

— Это что она понесла? — спросил я.



— Сигналы, — объяснила рыжая. — Бабка всеми поездами командует. Покажет машинисту красный флажок, тот сейчас же: «Стоп, машина!» А желтый покажет — ничего, прет себе дальше. А ты по морю плавал?

Я признался, что не плавал.

— Там тоже флажками переговариваются. Вот идет посудина, а навстречу ей другая. Сейчас же на первой флажки кверху поднимаются. Это значит: «Эй, старая калоша, куда путь держишь?» А с другой отвечают: «А тебе какое дело, корыто дырявое? Хоть бы и в Бердянск!»

Будка начала мелко дрожать. Издали донесся глухой грохот. Он все нарастал и нарастал, и вот уже ничего на свете не осталось, кроме этого страшного грохота. Рыжая что-то мне кричала, но я не мог разобрать ни слова.

Когда грохот вдали смолк, бабка вернулась и налила мне еще чаю. От железной печурки в будке было жарко, а тут еще чай — меня разморило, и я стал клевать носом.

— Пусть еще полежит, — сказала бабка. — Ничего, пусть.

Я лег и задремал. А когда проснулся, то услышал:

— Мне что, мне бы только дожить, когда ты замуж выйдешь, а там и умереть не страшно, — говорила бабка.

— Я замуж не выйду, — отвечала рыжая.

— Чего так?

— Я конопатая.

— Ну и что ж, что конопатая! И конопатые выходят. Это первое. А второе, конопатки зимой сходят, а для лета можно купить мазь «Мадам Морфозу».

Заметив, что я проснулся, бабка сказала:

— Вот и отдохнул. Теперь иди домой, а то там, наверно, уже беспокоятся.

Рыжая вызвалась проводить меня.

Уже стемнело, когда я вернулся в чайную. Столяр сидел в зале на корточках и чинил табуретку. Как только я переступил порог, отец закричал:

— Ты где шлялся, мерзавец? Все с ног сбились, искали тебя!

Он схватил меня за руку, потащил в нашу комнату и велел стать на колени. Я хотел рассказать, что со мной случилось, но он не слушал, а все бил меня по щекам. Потом приказал просить прощения. Я сказал:

— Прости, папочка.

Он дал мне поцеловать руку и ушел за буфет. А я забился в угол и долго там плакал.

Пришла мама, раздела меня и уложила в постель. Она легла со мной рядом, прижала к себе и тоже заплакала.

Отец и раньше бил меня...

«ПЕТР ВЕЛИКИЙ»

После того как Никита исчез, у нас полового долго не было. Подавали посетителям чай я и Витя. Мы мели полы, мыли клеенки на столах. Посетители подзывали меня по-разному. Одни, зная, что я сын заведующего, а заведующий ходит в сюртуке и галстуке, манили меня к себе пальцем и говорили: «Барчук!» Другие видели во мне обыкновенного «шестерку», хоть и малолетнего, и кричали через весь зал: «Эй, малой!» А нищим-старикам было все равно, барчук я или «шестерка», они все называли меня просто и ласково: «Касатик».

Отец не торопился нанимать нового человека: пока за «шестерку» работали мы с Витей, жалованье полового шло в пользу нашей семьи. Подавать чай я наловчился не хуже Никиты: в левой руке нес блюда и стакан, в правой — большой чайник с кипятком и маленький, заварной.

Но все-таки носить чайник было тяжело, и однажды у меня так разболелась правая рука, что я не выдержал и заплакал. Отец стал подыскивать подходящего человека. Сначала он нанял усатого добродушного дяденьку, по имени Антон. Три дня усатый работал бодро и весело. На четвертый попросил у отца разрешения отлучиться на полчаса и вернулся только ночью, пьяный и почему-то весь мокрый. Глядя на себя в зеркало, он качал головой и все говорил: «Эх, Антон, Антон! Пропал ты, Антон!» Утром он ушел, даже не взяв заработанных денег.



Половым стал Максим, человек с русой бородой и голубыми сумасшедшими глазами. Он тоже работал со всем старанием, но по ночам ему мерещилось, будто в окно лезут жулики. Он соскакивал со стола, на котором спал в «том» зале, хватал кочергу и становился перед окном. Так, совершенно неподвижно, он простаивал по часу и больше, пока не обессилевал. Кончилось тем, что он хватил кочергой по голове городского, который, проходя ночью мимо чайной, заглянул для порядка в окно. Разобравшись, кого он огрел, Максим скрылся из города.

Тогда на смену ему пришел Петр...

Как-то в чайную опять завернул Пугайрыбка. Конечно, пьяный. Он пальцем показал на трубу и сказал отцу: — Запускай.

Отец послушно завел фонограф. Пока из трубы несло: «Бэль амур, бэль ами, бэль аман», — Пугайрыбка хитро подмигивал и притоптывал сапожищем.

Потом остановился и прогорланил:

— А ну, показывай!

— Что? — спросил отец, готовый на любую услугу, лишь бы не рассердить этого страшного гостя.

— Показывай, где она там прячется.

— Что ты! — угодливо заулыбался отец. — Это же машина.

Пугайрыбка схватил тяжеловесный сундучок и, как игрушку, завертел в ладонях. Потом стукнул по нему кулачищем и крикнул:

— Вылазь!

Никто, конечно, не вылез.

— А ну, еще так! — сказал громила и грохнул фонограф о каменный пол.

Машина разлетелась на куски. Пугайрыбка присел на корточки и с диким любопытством стал перебирать обломки. У отца дрожали губы, но он молчал. Да и что он мог сделать! Послать за полицией? Но, чтоб совладать с Пугайрыбкой, нужно было позвать по крайней мере четырех городских. Босяки тоже молчали и ошарашенно пялили глаза.

Вдруг со скамьи в углу поднялся человек, широкоплечий, высокий, и не спеша подошел к Пугайрыбке. Громила, посвистывая, продолжал разглядывать обломки. Человек нагнулся, взял его за воротник и приподнял.

— Ты что? — повернул к нему голову Пугайрыбка.

Не отвечая, человек повел его к выходу.

Какой-то оборванец, очнувшись, распахнул дверь.

Человек нагнул Пугайрыбку и коленом двинул в зад.

— Нн-гав! — вырвалось у громилы из груди, и он ткнулся носом в снег.

Все ожидали, что Пугайрыбка, никогда не знавший отпора, вернется и схватится со смельчаком. Но он не вернулся. И вообще больше в чайную никогда не заглядывал. А тот, кто так его проучил, спокойно прошел в свой угол. Отец сейчас же подбежал к нему и залебезил:

— Вот это поступок благородный! Ну и дал ты ему! Как же тебя зовут, чудо-богатырь?

— Меня? Петром. А что? — нехотя сказал человек.

— Петром?! — Отец даже руками взмахнул. — Ну прямо Петр Великий! Так, может, и по отчеству ты Алексеевич?

Человек усмехнулся:

— Алексеевич и есть.

— Скажи пожалуйста! — еще больше удивился отец. — Ну прямо с мраморного пьедестала! Царь!

У Петра один глаз был подбит, щека поцарапана, но все-таки он мне показался необыкновенно красивым.

— Послушай, милый человек, а не пойдешь ли ты к нам в половые? — спросил отец со сладкой улыбкой.

— Во! Аккурат царское занятие! — серьезно ответил Петр. Он подумал, что-то, верно, прикинул в уме и сказал: — Что ж, можно еще и в половые. Давай, хозяин, пятак: пойду в баню.

Так Петр стал у нас половым.

Отец очень боялся, что его за разбитый Пугайрыбкой фонограф выгонят. Он почистил бензином сюртук и отправился к Протопопову. Протопопов сначала ругался, но, когда узнал, как один бродяга выбросил из чайной знаменитого громилу, расхохотался.

— В зад? Коленом?! Пугайрыбку?!

На другой день попечитель сам явился в чайную, чтобы посмотреть на Петра.

— Да ты кто ж по профессии? — спрашивал капитан. — Борец? Грузчик?

— Половой, — ответил, сощурясь, Петр.

— В гвардии служил?

— Я один сын у родителей.

— Ну, а дверь эту можешь вышибить кулаком?

— Чего ж не вышибить! Постройка казенная.

Протопопов уехал, и вскоре все в городе узнали о чуде-половом. Дамы-патронессы, которые зимой почти совсем забыли о чайной, теперь снова зачастили к нам. На Петре брюки в латках и дырявые опорки, но он никому не кланялся и разговаривал с дамами-патронессами нехотя.

— Голубчик, Петр, — говорила одна, — как же можно ходить в таких непрезентабельных брюках! Я пришлю тебе черные в светлую полоску. Обязательно пришлю!

— Это ужас что за обувь! — говорила другая и закатывала глаза. — Я пришлю тебе шевровые туфли. Обязательно пришлю!

И действительно, слали и брюки, и туфли, и шерстяные чулки.

Но всех, как сказал отец, «переплюнула» купчиха Медведева. Однажды к чайной подъехали сани, из них выскочила розовощекая девушка с чем-то завернутым в простыню под мышкой.

— Вот, Петр Алексеевич, вам наша барыня прислали. Они приказали сказать, чтоб вы не жалели и носили на доброе здоровьечко.

Девушка хихикнула и умчалась.

Петр развернул простыню: там были черные брюки, сюртук и блестящие накрахмаленные манишки. Петр долго таращил глаза, потом засмеялся и сказал:

— Вот возьму и надену! Черт с ними со всеми!

Когда он во все это вырядился, босяки сперва от изумления онемели. Потом со всех сторон послышались выкрики:

— Директор!.. Городской голова!.. Присяжный поверенный!..

Приехал Протопопов. Он сказал только:

— Министр! — И сейчас же уехал, так что отец не успел даже потанцевать вокруг него.

Теперь у нас опять стало пахнуть духами, хоть их и забивала махорка. От одной барыни пахло жасмином, от другой сиренью, от третьей фиалками. Но когда приехала мадам Прохорова, то все барыни заахали:

— Ах, Адда Маркусовна, да ведь это же «Лориган» Коти! Да-да, настоящий «Лориган» Коти!

Мадам Прохорова вынула из сумочки флакончик и стеклянной пробочкой помазала всем барыням под носом. Дамы стали в кружок и зашептались. Одна шепчет:

— Вы заметили, в этом Петре есть что-то особенное. Держу пари, в его жилах течёт голубая кровь!

А другая ей отвечает:

— Это все равно, голубая или не голубая. Главное, он страшно мужественный. В каждом его движении — сила!

Когда барыни разъехались, я спросил Петра, правда ли, что кровь у него голубая. Он ответил:

— Нет, обыкновенная.

О чем бы я Петра ни спрашивал, он всегда мне отвечал. И за это я его любил. Конечно, не только за это, а еще за то, что он не танцевал перед Протопоповым и барынями и никого на свете не боялся.

И все мы Петра полюбили. На базаре жить было страшно: ночью кругом ни души, кричи не кричи — никто тебя не услышит. А с тех пор как у нас поселился Петр, мы больше никого не боялись, даже самого Пугайрыбку, и спали спокойно.

Д Э З И

Однажды мадам Прохорова приехала с девочкой моих лет. На девочке была беленькая меховая шубка и такая же шапочка. Отец как увидел девочку, так сейчас же сказал:

— Ангел! Настоящий ангел!

Девочка была похожа на мадам Прохорову, только без усиков. А красивей мадам Прохоровой, я думаю, никого на свете не было.

Не знаю почему, но, когда девочка посмотрела на меня, мне стало так неловко, что я убежал в нашу комнату. В комнате я долго высидеть не мог и опять пробрался в зал. На девочке шубки уже не было, а было коротенькое зеленое платье с золотыми пуговичками. Я спрятался за шкаф и оттуда смотрел на нее. В это время пришел посетитель и заказал пару чаю. Я не стал ждать, когда Петр возьмет у него чек и пойдет за чаем, а сам побежал на кухню. Там я вместо одного чайника с кипятком взял целых два и понес их в правой руке через весь зал на глазах у девочки. Даже посетитель удивился и сказал:

— Ух ты! Такой маленький, а смотри, два чайника припер!

Девочка дергала мадам Прохорову за платье и спрашивала:

— Мама, он лилипут? Мама, он лилипут?

— Да нет же, — отвечала мадам Прохорова, — он мальчик.

Девочка смело подбежала ко мне и спросила:

— А почему у тебя пуговички не серебряные? Разве ты не гимназист?

Мадам Прохорова сказала:

— Ну вот, Дэзи, ты поговори с мальчиком, а я пойду почитаю людям «Жоржетту». Петр, проводи же меня.

Я тогда не подумал, зачем ее провожать, если «тот» зал был у нее перед глазами. Не подумал потому, что девочка все задавала и задавала мне разные вопросы. Спросит и, не дожидаясь ответа, уже спрашивает о другом.

— А почему ты такой худой? Тебе не дают хлеба, да? Мама тоже не ест хлеба, чтобы сохранить талию. А где тебе елку поставят? А шпага у тебя есть? У Шурика шпага еще деревянная, но он сказал, что все равно будет из-за меня драться на шпагах с самим капитаном Протопоповым. А почему у вас так много столов? А шоколад «Пок» ты любишь? А какие у тебя коньки? Снегурочки? У меня снегурочки и еще... как их? Вот забыла...

Когда мадам Прохорова назвала свою девочку таким странным именем, я вспомнил, как одна барыня гуляла по тротуару с маленькой кудлатой собачкой и все ей кричала: «Дэзи, сюда! Дэзи, вернись!» Поэтому, как только девочка на минутку умолкла, я спросил:

— А почему у тебя собачье имя?

У девочки были и без того большие глаза, а тут она их так раскрыла, что, кроме глаз, я уже больше ничего не видел.

— Мама, — сказала она жалобно, — он ругается!..

Я хотел ей сказать, что и не думал ругаться, но в это время меня кто-то ущипнул сзади. Оглянулся, а это Витька.

— Девочка, — сказал он, — ты не обижайся: он у нас немножко дурачок, потому что заморыш.

— Я и сама догадалась, — сейчас же ответила ему

девочка. — Он у меня все спрашивает и спрашивает и не дает мне слова сказать.

От такой несправедливости я вспыхнул и убежал в «тот» зал. А Витька остался с девочкой.

В «том» зале за длинным столом сидела мадам Прохорова и читала вслух толстую книгу. Босяки смотрели на патронессу осоловелыми глазами. Вдруг мадам Прохорова сняла руку с книги и почесала себе колено. Потом она почесала бок, потом спину, а потом вскочила и сказала:

— Кажется, я здесь паразитов набралась. Нет уж, читайте сами. — И быстро ушла, стуча каблучками.

Даже в «том» зале было слышно, как она говорила отцу:

— Это ужасно! Кусаются, как собаки! Посыпайте, Степан Сидорович, ваших посетителей антипаразитином. Купите пуд и сыпьте каждому за воротник по горсти.

Босяки при ней курить стеснялись, а теперь ожили и принялись вырывать из «Жоржетты» листки и крутить сигарки.

Когда я вернулся в «этот» зал, ни мадам Прохоровой, ни ее хорошенькой девочки там уже не было. Витька что-то жевал. Увидя меня, он полез в карман, развернул серебряную бумажку и отломил от коричневой плиточки маленький кусочек.

— На, — сказал он.

— Что это? — спросил я.

— Шоколад. Это меня Дэзи угостила.

— Ну и ешь сам! — крикнул я и убежал на кухню.

«КАШТАНКА»

Целый день я ходил понурый. Мне казалось, что все меня презирают, что я и на самом деле уродец и самый несчастный на свете человек.

Петр заметил, что со мной творится неладное, и спросил:

— Чего, Митя, закручинился? Или обидел кто?

— Так, — ответил я, пряча глаза. — Просто так.

— Просто, брат, ничего не бывает.

— Лучше б я умер маленьким! — вырвалось у меня.

Он не стал больше меня расспрашивать, но на другой день опять подошел и сказал:

— Тут один лотошник книжку оставил с картинками. Вот подожди, закроем чайную и почитаем. Говорит, интересная.

Чайную закрыли. Петр принялся мести полы и мыть клеенки на столах. Чтоб скорей сесть за книжку, я усердно ему помогал. Отец не любил, когда газ напрасно горит. Петр потушил в «том» зале рожок и зажег маленькую керосиновую лампочку. Света ее хватало, только чтобы осветить книгу, но от этого сидеть за столом в темном зале было особенно уютно. Книга пахла краской, как и та материя, из которой путешественник сшил мне брюки. На картонном переплете был нарисован уличный газовый фонарь, вокруг фонаря мелькали снежинки. У подъезда дома стоял бритый мужчина в шляпе-цилиндре, в шубе нараспашку. Он смотрел вниз, а внизу, у его ног, жалась собака, похожая на лисицу. Ее спина и даже ресницы были залеплены снегом.

— Начнем, — сказал Петр. — Глава первая. «Дурное поведение».

И он стал читать о собаке Каштанке, которая обрадовалась, что хозяин, столяр Лука Александрыч, взял ее с собой гулять, и от радости гонялась за собаками, бросалась на вагоны конножелезки и, в конце концов, потерялась.

Пока Петр читал, губы его все время морщились, будто он вот-вот рассмеется. Но он не рассмеялся, а когда дочитал первую главу, то положил на книгу руку, покачал головой и сказал:

— Хорошо.

— Читай дальше, читай! — попросил я.

— Нет, уже поздно. Иди спать, а то папаша заругает. Завтра будем читать. «Таинственный незнакомец» — называется следующая глава. Наверно, дальше еще интересней.

Уходить мне не хотелось, но не хотелось и Петру противиться. Я вздохнул и пошел.

Заснул я не скоро, все ворочался и ворочался, так что мама даже спросила меня, не заболел ли я. А когда заснул, то мне приснилось, будто собака, похожая на лису, застряла в снежном сугробе, поднимает к мордочке то

одну, то другую лапку и дует, чтобы согреть их, а Дэзи стоит перед ней на серебряных коньках и хохочет звонко-звонко.

За ночь я успокоился, и, хотя вспомнил о Дэзи сейчас же, как только проснулся, книжка с картинками оттеснила мою обиду: умирать мне уже не хотелось, а хотелось узнать, что будет дальше с Каштанкой.

По мере приближения вечера нетерпение мое возрастало. И вот мы с Петром опять за столом с ночником.

— Теперь ты читай, а я буду слушать, — сказал Петр.

Читал я по слогам, запинаясь и от волнения путая слова.

Петр взял у меня книгу и стал читать сам. И, как вчера, морщил губы, чтоб не рассмеяться. Читал он о том, как Каштанку взял к себе толстенький бритый человек в шубе нараспашку. Каштанка поела, разлеглась посреди не комнаты и стала решать, у кого лучше — у прежнего хозяина или у нового. У нового обстановка бедная: диван, кресло, ковры, а у старого — богатая: верстак, куча стружек, лохань. Тут Петр не выдержал и засмеялся.

— А что ты думаешь, — сказал он, весело посмотрев на меня своими синими глазами. — Может, собака и правильно решила задачу. — Но вдруг он потемнел в лице и с натугой выговорил: — Богатство... Кареты, бриллианты, манто... Будь оно проклято все!..

Некоторое время он сидел молча и смотрел куда-то вбок, хотя там было темно и пусто. Потом потянул к себе книжку и стал читать дальше. Но губы у него больше не морщились, а на лбу так и осталась складка.

Книжку мы читали целую неделю — каждый вечер по одной главе. А когда кончили, то мне было и радостно, что Каштанка нашла своих хозяев, и грустно, что толстенький бритый человек потерял сначала гуся Ивана Ивановича, а потом и Каштанку. Как он, наверно, горевал!..

— Понравилась тебе книжка? — спросил Петр.

— Ох, так понравилась, так понравилась!.. — Я не знал, как высказать то, что чувствовал.

— Ну, так возьми ее себе.

От восторга у меня перехватило дыхание.

— А если... А если лотошник придет за ней?

Петр засмеялся:

— Не придет. Я тебя обманул. Книжку эту я купил. Вижу, что ты смутный ходишь, взял и купил.

Я схватил руку Петра и прижался к ней губами. Петр руку отдернул и сердито сказал:

— Вот это зря! Ты никому — слышишь? — никому руку не целуй! Только матери можно.

ОПЯТЬ У ЗОЙКИ

Хотя в оба зала народу набивалось полно, все-таки редко кто из босяков пил чай. Дамы-патронессы, от которых с появлением Петра не стало отбою, затеяли новое дело. Чтобы босяки и нищие пили на подавания чай, а не водку, попечители придумали чековые книжки. В каждой книжке пятьдесят листиков, и на каждом листике напечатано:

*Настоящий чек принимается
в чайной-читальне общества трезвости
вместо одной копейки монетой*

Дамы-патронессы разослали во все дома письма. Они писали, что подавать милостыню деньгами не надо, а надо подавать чеками, и тогда пьянство в городе будет выведено начисто. Но босяки и нищие были тоже не дураки: набрав чеков побольше, они по дешевке продавали их базарным торговкам, а сами шли в монопольку. В чайную же являлись уже пьяненькие.

Маше, Вите и мне прибавилось работы: мы ходили по домам и продавали чековые книжки. Подойдем к двери, постучим или надавим кнопку — и ждем. Выходит хозяин или хозяйка и спрашивает, чего нам надо. Отвечала обычно Маша:

— Нас прислали дамы-патронессы из общества трезвости. Мы принесли вам чековую книжку для пьяниц. Пожалуйста полтинничек.

Получив полтинник, мы прятали его Витьке в карман, а карман, чтобы не залезли чики-рики, зашпиливали английской булавкой. Но чаще нам говорили:

— Идите вы с вашими дамами-патронессами знаете куда!..

И захлопывали перед носом дверь.

Все-таки ходить по домам было интересно, а то ведь

все в чайной да в чайной. Только если мы долго ходили, у меня начинали болеть ноги, и я весь раскисал. Тогда Витка говорил: «И чего он с нами увязался! Сидел бы дома». Но Маша всегда меня защищала и оставляла где-нибудь посидеть — или в лавочке, или в парикмахерской. Потом они за мной заходили, и мы возвращались домой вместе.

Однажды мы шли около железнодорожного переезда. Я сказал:

— У меня ноги болят. Я посижу около будочки.

Маша и Витя пошли дальше, а я открыл дверь и вошел в будку. Рыжая лежала на топчане, укрытая старым ватным одеялом. Лицо у нее было желтое. Увидя меня, она зашевелила бескровными губами и слабым голосом сказала:

— Бабуленька, посмотри, кто к нам пришел. Заморышек пришел.

Бабка, нагнувшись над тазом, что-то стирала. Ее серые космы свисали к самой воде.

— Вот и хорошо, что пришел, а то ты одна совсем тут затомилась.

— Ты больна? — спросил я.

Рыжая упрямо качнула головой:

— Была больна, а теперь уже здоровая.

— Ну-ну, здоровая! — заворчала бабка. — Одна тень от тебя осталась. Фелшар сказал, цыпленком кормить надо, а где его, того цыпленка, взять! Цыпленок, гляди, двугривенный стоит. Кусаются они нынче, цыпленки эти.

Я подсел к рыжей на топчан и сказал:

— Хочешь, я тебе сказку расскажу?

Она слабо улыбнулась:

— Про гуся? Про гуся я и сама знаю.

— Нет, эту ты не знаешь. Я про другого гуся, про Ивана Ивановича.

Она повеселела:

— Ой, умора! Да разве ж гусей зовут по-человечьи?

— Зовут. Вот слушай.

Я хотел ей рассказать все, что мы с Петром прочли в книжке, но с самого начала сбился, запутался и умолк.

— Нет, — сказал я, — лучше я тебе все это прочту. Вот приду еще раз и принесу книжку.

— А ты разве умеешь читать? — недоверчиво спросила она.

— Умею.

— Ну, прочти. Тебя Гришей зовут?

— Что ты! Меня Митей зовут. А ты — Зойка, я знаю.

— Кто тебе сказал? — удивилась она.

— Тебя так на базаре называли, когда ты барыню отбрила, помнишь?

— А, ту, мордастую! Ты тоже видел? Я ее еще и не так! — Она посмотрела на меня смеющимися глазами и задорно сказала: — Меня все знают, вот я какая!

— Ну и дурочка, — проворчала бабка. — Живи потихонечку — и тебе хорошо будет.

Зойка свистнула. Я никогда не слышал, чтобы девочки свистели.

Теперь, когда мы отправлялись продавать чеки, я всякий раз засовывал под рубашку книгу. Но ходили мы на другие улицы и только дня через три попали опять к переезду. Зойка еще лежала.

— Принес? — спросила она сердито. — Небось скажешь, что забыл?

— Нет, что ты! — ответил я. — Принес.

— Долго ж ты нес.

Я вынул книгу и опять примостился на топчане. Зойка взяла ее у меня из рук и недоверчиво полистала.

— Ладно, читай. Посмотрю, какой ты чтец. Может, ты и по покойникам читаешь?

— Вот и опять дурочка, — ласково пожурела бабка. — Кто он, псаломщик? Читай, Митя, не обижайся: она недужная.

Оттого, что книжку эту мне читал Петр, а потом я сам ее перечитывал два раза, я больше уже не запинался и читал так, точно знал каждую строчку наизусть. Сначала Зойка смотрела на меня сердито и недоверчиво, потом совсем забыла обо мне и слушала, расширив свои зеленые глаза и полуоткрыв рот. А под конец стала хватать меня за руки и выкрикивать:

— Постой, постой! Как он сказал? Ха-ха-ха!.. Ой, умора!..

— Ну, Каштанка! — в свою очередь, откликнулась бабка из своего угла. — Попала в переплет собачка!

Я прочитал первую главу и закрыл книжку.

— Читай! — крикнула Зойка и даже толкнула меня ногой.

Но я боялся, что Маша и Витя будут искать меня и ругаться, и поспешил к двери, а книжку оставил Зойке.

— Читай сама, — сказал я. — Да поскорей, а то мне книжка нужна.

Через несколько дней я опять попал в будку. Зойка по-прежнему лежала и, мне показалось, стала еще желтей лицом.

— Ну, прочитала? — спросил я.

Зойка молчала. Бабка вздохнула и понуро сказала:

— Как же она прочтет, если она неграмотная.

Зойка так и подскочила на топчане.

— И неправда твоя, и неправда! Я все буквы знаю!

— Буквы знаешь, а складывать их не умеешь, — стояла на своем бабка.

Но Зойка не сдавалась.

— А вот и умею! А вот и умею!..

Она вытащила из-под подушки замусоленный букварь и стала водить пальцем под строчкой.

— О! — выкрикивала она буквы. — В! Ц! А! Овечка! Видишь, бабка, прочитала! Овечка!

— Не овечка, а овца, — поправил я.

— Ну, овца. Это ж все равно. Видишь, и на картиночке овечка с рожками.

— Вот по картиночкам ты и читаешь, — упорствовала бабка. — Не будь картиночек в букваре, ты б и одного словечка не сложила.

Зойка с размаху швырнула букварь в угол и отвернулась к стене. Полежав так немножко, она успокоилась и опять повернулась к нам.

— Ну, читай, — приказала она мне.

И не отпустила, пока я не дочитал всю книжку. Слушая, она то переливчато смеялась, то задумывалась и тогда делалась похожей на взрослую. С таким задумчивым видом она выслушала всю главу, в которой рассказывалось, как умер гусь Иван Иванович.

— Вот так и я умру, — сказала она и плотно сжала бескровные губы.

— Еще чего! — недовольно отозвалась бабка.

— Да, умру. Она приходит ночью, смерть, и сидит вон в том углу, подстерегает.

Но вскоре Зойка опять оживилась. А когда я прочитал слова: «Метаморфоза, случившаяся с хозяином», — она удивленно воскликнула:

— Что, что? С хозяином «Мадам Морфоза» случилось? Это как же понимать, бабка?

Книжку мне Зойка не отдала: прижала двумя руками к груди и замотала головой.

— Потом, потом! Я сама еще прочту.

Руки у нее были тонкие, как палочки, и мне стало ее жалко.

В тот же день я незаметно взял из кассы серебряный полтинник и спрятал во дворе, в золе. А утром купил на базаре двух цыплят, пяток яиц, франзоль — и все это отнес в будку. Бабка, как увидела, закрестилась и сказала:

— Откуда это у тебя, господи помилуй!..

Но я боялся, что дома меня хватятся, и объяснять не стал, а взял свою книжку и убежал.

Зачем я взял книжку, зачем?! Сколько раз я с упреком задавал себе этот вопрос. А затем, что еще тогда, когда мне ее дал Петр, я решил ее подарить Дэзи. Да, я решил ей подарить именно книжку, потому что лучше этой книжки я ничего не знал и ничего у меня не было.

КРАСНЫЙ ФЛАГ

С некоторых пор лобастый инженер опять стал заглядывать к нам в чайную. Он проходил в «тот» зал и садился за длинный стол — играть с Витей в шахматы. Тогда же появился еще один новый человек — и тоже зачастил к нам. Он подсаживался к столу, инженер наскоро объявлял Вите мат, и новый посетитель пересаживался на место Вити, против инженера, а Витя становился позади и смотрел, как они играют. Они переставляли фигуры и разговаривали. А о чем, я понять не мог. Только не о шахматах. Нового посетителя инженер называл Кувалдин, а тот его — Коршунов. О всяком человеке я мог сказать: вот этот — мужик, этот — барин, этот — мастеровой, этот — не мужик, не барин, а кто-то вроде моего отца. Кувалдин же был для меня загадкой. Он больше походил на мастерового: лицом и фигурой худощав, кожа темная, будто от въевшейся в нее угольной или железной пыли, руки в старых порезах и желтых мозолях.

Но держался он с инженером как с равным, даже по-смеивался над ним, и говорил такие же непонятные слова, как и инженер. Из этих слов мне особенно запомнились «демагог» и «политический авантюрист». Демагогом Коршунов называл Кувалдина, а тот его авантюристом. Слова эти они выговаривали так, будто ругались ими.

И еще три слова удержала моя память: «люмпен-пролетарии», «пролетарии» и «буржуазия». Эти слова они говорили часто. Например, инженер ядовито спрашивал:

— Уж не босяки ли будут вашей движущей силой?

А Кувалдин ему отвечал:

— Нет, босяки — это люмпен-пролетарии. Настоящая движущая сила — это пролетарии, а не любезная вашему сердцу буржуазия.

Из этого разговора я с удивлением узнал, что наши обыкновенные босяки называются таким мудреным словом, которое натошак и не выговоришь. А буржуазия, наверно, — это машина, которую изобрел инженер, потому она так и называется — движущая сила.

Через несколько дней после этого разговора в «тот» зал пришли еще три человека, чем-то очень схожие с Кувалдиным. Они читали разложенные на длинном столе газеты и о чем-то вполголоса переговаривались. А еще неделю спустя таких людей собралось в «том» зале уже с десяток. Кувалдин подошел к буфету и сказал отцу:

— Люди просят меня почитать им что-нибудь. Нет ли у вас интересной книжечки?

Отец засуетился и полез в конторку.

— Как же, как же! Вот, пожалуйста: «За богом молитва, а за царем служба — не пропадают».

Книжку эту он уже давно снял со стола и спрятал в конторке, потому что босяки наполовину общипали ее на сигарки.



— Самая подходящая, — сказал Кувалдин.

Он вернулся в «тот» зал и начал читать про какого-то солдата, который тридцать лет служил царю верой и правдой. Отец тоже пришел в «тот» зал, послушал и отправился к себе, за буфетную стойку. Тогда Кувалдин вынул из кармана какую-то книжечку и сказал:

— Ну, товарищи, начнем. Лиха беда — начало, а там пойдет легче, это я и на себе проверил.

Он развернул книжку и вполголоса прочитал:

— «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма».

Он читал, потом сам себе говорил: «Стоп!» — и принимался объяснять.

Из того, что он читал, я ничего не понимал, а из того, что он объяснял, я понял, что буржуазия — это не машина, а хозяева всех этих людей; люди же эти — рабочие, а по-иностранному — пролетарии.

Отец опять вышел из-за буфетной стойки и пошел к нам. Рабочий, который сидел поближе к двери, негромко сказал:

— Майна!

Кувалдин спрятал книжку и опять стал читать про солдата. Отец походил по залу, послушал и пошел к себе. Тогда рабочий сказал:

— Вира!

Кувалдин отодвинул книжку про солдата и вынул свою.

Когда все разошлись, Витька потащил меня в угол и шепотом спросил:

— Ты знаешь, о чем они читали?

Мне не хотелось признаться, что я ничего не понял, и я сказал:

— Знаю.

— О чем?

— О призраке.

— О каком призраке?

— О привидении.

— Ну и дурак! Они о революции читали.

Что такое революция, я не знал, но мне в этом не хотелось признаться. Витька сам объяснил:

— Это чтоб не было царя и чтоб всем людям одинаково хорошо жилось на свете, понял? — Он сделал страшные глаза и зашипел на меня: — Только скажи

кому-нибудь, что они эту книжку читали, только скажи!

Но я уже и сам понимал, что говорить нельзя: разве купчиха Медведева или Прохоров, который нас с Витькой обругал хамским отродьем, захотят, чтобы все люди жили одинаково! Мне только было непонятно, почему и от отца надо скрывать: неужели отец тоже не хочет, чтоб все люди жили хорошо?

В следующий раз, когда Кувалдин опять попросил что-нибудь прочитать, отец дал ему «О вреде курения». Рабочие слушали, почему нельзя курить, и густо дымили табаком. Но вскоре Кувалдин вынул свою прежнюю книжку и принялся читать ее дальше. Он опять говорил: «Стоп!» — и объяснял малопонятное.

Отец был очень доволен, что в «том» зале наконец-то приохотились к чтению.

Приходил и инженер. То, что читал Кувалдин, ему не нравилось. Он принимался спорить. Рабочие были на стороне Кувалдина. Инженер сердился и опять говорил: «Демагогия! Сплошная демагогия!» А Кувалдин ему отвечал: «Мы в спорах с вами только зря время тратим. Так никогда не дочитаем».

Но книжку Кувалдин все-таки дочитал. И я на всю жизнь запомнил, как грозно проговорил он последние слова. Слова были такие: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Мог ли я тогда думать, что скоро и сам прочту их! И где же!..

Приехала к нам мадам Прохорова, повертелась, покрутилась, потом и говорит:

— Нет, видно, капитан не заедет за мной. В городе беспокойно. Я так боюсь! Петр, голубчик, проводите меня.

Петр поехал с нею в санях, а когда вернулся, то рассказал отцу, что слышал от людей. На металлургическом заводе обожгло восемь рабочих. Их отправили в больницу. Доменщик Титов стал при всех ругать хозяев за то, что они поскупились и не обезопасили место, где работали эти люди. Пришли жандармы. Они хотели Титова арестовать. Но он не давался. Жандармы так его избили, что он через три дня умер в тюрьме. И вот теперь на завод послали целую роту солдат, потому что рабочие бунтуют.

Отец слушал, качал головой и говорил:

— Что делается!.. Что делается!..

А на другой день мы видели из окна, как хоронили этого Титова. Его несли недалеко от нашей чайной. За гробом шло много людей. Они шли не как попало, а в ногу и пели жалобно и сердито, будто и плакали и кому-то грозили. Я чувствовал, что от этого пения мне становилось трудно дышать, а в горле все щекотало и щекотало. И тут один мужчина поднял над головой красный флаг. На флаге было что-то написано белыми печатными буквами, но что, я разобрать не мог, потому что флаг на ветру хлопал и заворачивался. На минуту флаг распрямился, и мы все прочитали:

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Я сейчас же вспомнил, где эти слова услышал первый раз. Вспомнил и чуть не вскрикнул, но вовремя удержался: ведь это тайна. Вдруг из-за угла показались солдаты. Впереди солдат шел сам Протопопов. Откуда-то прибежали городовые и бросились на человека с флагом. Они стали отнимать у него флаг, а он не давал. Протопопов выхватил шашку, страшно заворочал глазами и что-то закричал. Тогда солдаты выставили впереди себя штыки и пошли прямо на людей. А городовые набросились на человека с флагом, принялись его бить. Люди нагибались, хватали камни и бросали в городовых. Что-то так бахнуло, что зазвенели стекла. Отец потащил нас с Витей за шиворот от окна. А на улице кричали, топали.

Вдруг блок на двери взвизгнул, и в зал вбежал страшный человек: все лицо его было в крови, пальто в клочьях. Он пошатнулся и упал на каменный пол. Отец заметался, но потом подбежал к двери и запер ее на болт. Лицо у отца посерело, губы прыгали. Он схватился за голову и хрипло сказал:

— Пропал я теперь, пропал!

Подбежал Петр, взял человека на руки и понес через кухню во двор.

В дверь сильно застучали. Отец стоял около двери, дрожал, но не отпирал.

Петр вернулся, распахнул раму в окне и сказал:

— Откройте, Степан Сидорович, все равно дверь высадят.



*Откуда-то прибежали городовые и бросились на человека
с флагом,*

Отец закричал:

— Кто там? Что надо?..

С улицы ответили:

— Полиция!

Отец перекрестился и снял болт. В зал ворвались с револьверами в руках околоточный надзиратель Гришин и двое городских. Гришин и раньше заглядывал к нам: чайная была в его околотке.

— Вы почему заперли дверь? — набросился он на отца.

Отец так и затанцевал вокруг него.

— От бунтовщиков, господин надзиратель, от бунтовщиков! Я не могу давать приют бунтовщикам, я общество трезвости... я лицо казенное... я отвечаю перед...

— Где бунтовщик? — грубо перебил отца околоточный.

— Вона!.. — засмеялся Петр и показал рукой на раскрытое окно. — Он так сиганул, что только его и видели! Я схватил было его за ногу, так у меня и башмак остался в руке. Вот, видите? — И Петр протянул Гришину ботинок.

— Возьми! — приказал Гришин городовому.

Когда полицейские ушли, Петр подмигнул отцу и сказал:

— Теперь они по башмаку будут его искать, а башмаки-то мне купчиха Медведева подарила.

Вечером пришел Кувалдин, отвел нас с Витей в сторону и тихо спросил:

— Забегал к вам тот, что знамя нес? Пораненный? Где он?

— У нас, — шепотом сказал Витя. — На чердаке.

— Жив?

— Жив.

— Не говорите, ребята, отцу, о чем я спрашивал, — предупредил Кувалдин и быстро ушел.

А потом пришли двое рабочих и шепотом повели с отцом разговор. Я слышал, как отец говорил:

— Да что вы! Я человек казенный, разве я мог бы!.. Никого у меня нет, что вы!.. — А под конец сказал: — Эх, пропадай моя головушка! Будь что будет, поверю вам. Идите, забирайте его. Только увозите незаметно! У меня жена, дети — что с ними станется в случае чего!..

Раненого одевали в нашей комнате. Из-под его рубашки выпал скомканный кусок красной материи. Один из рабочих поднял и развернул ее. Это был тот самый флаг с белыми буквами, но весь изодраный, в рыжих пятнах крови. Рабочий аккуратно сложил его и засунул себе под пиджак.

«Р Я Ж Е Н Ы Й»

В те дни я редко вспоминал о Дэзи. Но скоро наша чайная зажила прежней жизнью, и мне опять стала сниться эта девочка. Снилось она по-разному: то бежит на серебряных коньках-снегурочках, вся розовая от мороза, и ветер треплет ее каштановые волосы; то скачет с испуганным лицом на огромной лошади, держится за гриву и все ниже и ниже клонится набок, вот-вот упадет на землю и убьется; то дерется на деревянных позолоченных шашках с карликом-путешественником, который сделал нам с Витей длинные брюки, и прокалывает ему насквозь грудь.

Каждое утро я копался в комод, чтобы проверить, на месте ли книжка, которую я спрятал на самом дне нижнего ящика, под Машиными разноцветными лоскутками. Книжка была на месте, и я опять принимался думать, что сказать Дэзи, когда она придет к нам. Я скажу ей, что, хотя она меня обидела, я зла не помню и дарю ей самую лучшую на свете книгу. Или нет, я скажу ей, что шоколад едят только маленькие дети да девочки, а я шоколада вовсе не хочу. Читать книжки гораздо интереснее, чем жевать шоколад, хоть он и завернут в серебряную бумажку. Или нет, я ей ничего не скажу: я дам ей книжку и гордо отойду. Пусть она потом ест с Витькой шоколад, сколько хочет, — я даже смотреть не буду.

Так я готовился встретить Дэзи, но она почему-то все не шла к нам, хотя мадам Прохорова стала приезжать в чайную все чаще и чаще.

Однажды отец спросил:

— Как поживает ваша прелестная наследница?

Мадам Прохорова прикрыла глаза и покачала печально головой. А когда опять открыла, то у меня стало необыкновенно тепло в груди: глаза у нее были такие же ласковые, как и у Дэзи. Она сказала:

— Ах, Степан Сидорович, я так скучаю по своей

крошке! Вот уже месяц, как Дэзи гостит у бабушки в Одессе. Но скоро она опять будет со мной. Мы купили ей елку до самого потолка. Сегодня будем и наряжать.

Когда Прохорова уехала, я спросил:

— Петр, а как елку наряжают?

— Как наряжают? Богатые люди ставят ее на рождество или на Новый год посредине зала и подвешивают на ветках разные блестящие игрушки.

— Зачем?

— Чтобы было красиво. Собираются дети, свои и чужие, танцуют около елки, песни поют, стишки читают. Потом расходятся. И каждому хозяева что-нибудь дарят: одному — куклу, другому — пистолет игрушечный, третьему — книжку с картинками. А бывает, что и сами дети рядятся: тот принцем, тот пастушком, тот турком.

— И Дэзину елку нарядят?

— Ну, это обязательно. Такие богачи — да пожалеют для дочки игрушек!

Я хорошо знал, сколько остается дней до Нового года. Ведь на Новый год мама давала каждому из нас, детей, по стакану подсолнечных семечек, по стакану арбузных, по стакану тыквенных и по горсти фисташек. Кроме того, мы получали по пяти кисло-сладких барбарисовых конфет, по пяти мятных белых пряничков и по десятку крупных волоцких орехов. Уже за неделю до Нового года мы спрашивали: «Мама, сколько осталось дней?» — «Семь», — отвечала мама. «А где сейчас прянички с орешками?» — «О, еще далеко! Сейчас они на колокольне». Утром мы опять спрашивали: «А теперь сколько дней осталось?» — «Теперь шесть», — отвечала мама. «А сейчас где прянички с орешками?» — «Сейчас уже на мельнице, на крыше». С каждым днем наши гостинцы придвигались все ближе и ближе: вот они на верхушке старого тополя, вот на крыше нашего дома, вот они уже у нас в печной трубе, и, наконец, в ночь под Новый год они спускаются по трубе на печку. Мы, конечно, хорошо знали, что и семечки и орешки давно лежат в холщовых маминых мешочках на теплой печке, но как приятны были такие разговоры и как верилось, будто мешочки с гостинцами и в самом деле путешествуют в морозные скрипучие ночи по деревне, чтобы в конце концов спуститься к нам на печку. Теперь мы жили не в деревне, а в городе, но и здесь у нас с ма-

мой были те же разговоры о гостинцах. И я знал, что до Нового года оставалось только три дня.

Три дня! Чего только за три дня не сможет человек передумать! Я то взбирался на крышу Дэзиного дома и спускал Дэзи «Каштанку» в трубу; то брал у турка-пекаря напрокат феску, приклеивал усы из Машиных кос и приходил с «Каштанкой» на елку к Дэзи; то переодевался в Машину юбку и кофту и приносил Дэзи книжку от имени мистера Жоржа, того самого таинственного незнакомца, который подобрал Каштанку.

Но пекарь-турок сказал, что феску давать неверным какой-то аллах не велит. Маша, когда я попробовал отрезать у нее ножницами кусок косы, больно шлепнула меня, а залезть на крышу прохоровского дома без лестницы, наверно, и кошка не сумела бы.

И вышло так, что, когда наступил Новый год, я ни во что не нарядился, а засунул книжку под рубашку, надел свое обтрепанное пальто, из которого еще в деревне вырос, и отправился к дому Прохоровой.

Целый час я стоял на другой стороне, в подворотне, и смотрел на дверь. Но ни в дом никто не входил, ни из дома никто не выходил. Я замерз и побежал в чайную. Там я пощелкал семечек, пососал барбарисовую конфетку и, когда стало темнеть, опять побежал к прохоровскому дому.

Что я увидел! В доме, прямо у окна, стояла зеленая елка и вся горела — столько на ней светилось огоньков. А между огоньками сияли голубые шары, качались разноцветные фонарики, сверкали серебряные звезды.

К дому все подъезжали и подъезжали богатые сани. Из них выходили взрослые с детьми, одетыми в меховые шубки или в гимназические серые шинели. И каждый раз, когда распахивалась дверь, на улицу вырывалась музыка, такая приятная, что хотелось петь и кружиться.

Но музыка музыкой, а мороз морозом: у меня опять начали стучать зубы. Тут к дому подъехали еще сани и из них вышла нарядная женщина и гимназисты. Тогда я перебежал мостовую и, сам себя не помня, вошел в клубы пара в распахнутую дверь вместе с гимназистами.

Вслед за ними я поднялся по знакомой уже мне белой лестнице и остановился на площадке. Швейцар с раздвоенной бородой и в длинном сюртуке с золо-

ченными полосками на рукавах снимал с гимназистов шинели. Он взглянул на меня и строго сказал:

— Эт-та что такое?

Гимназисты засмеялись и все вместе ответили:

— Да это же ряженный!

Двухбородый тоже засмеялся, поклонился мне и открыл перед всеми нами дверь.

Я не успел даже подумать, почему они называли меня ряженным, как оказался в той самой комнате, откуда нас с Витькой выгнал тощий старикашка. Только теперь в этой комнате было полно детей. Они держались за руки и танцевали вокруг елки, а мадам Прохорова, одетая в черное бархатное платье с блестящей брошкой на груди, водила рукой по воздуху и командовала: «Два шага направо, два шага налево, шаг вперед, шаг назад!» Потом музыка переменялась и мадам Прохорова весело запела: «Пойдем, пойдем поскорее, пойдем польку танцевать, в этом танце я смелее про любовь могу сказать!» Дети попарно обнялись, закружились и затопали ногами.

Я притаился за деревом, что росло из кадки, и смотрел. Девочки были в нарядных платьях, с бантами в волосах, но я ни одной из них не запомнил, я видел только Дэзи. Она стала еще красивее. В ее каштановых волосах, когда она кружилась, вспыхивали и гасли искорки, а глаза были большие и ласковые.

Музыка умолкла. Длинный гимназист, с которым Дэзи кружилась, хлопнул в ладоши и спросил:

— Благородные рыцари и прекрасные дамы, кого вы избираете королевой бала?

Все закричали:

— Дэзи! Дэзи!

Длинный стал на стул, снял с елки золотую корону, в какой рисуют на портретах царицу, и надел ее на голову Дэзи, а сам опустился на одно колено и поцеловал край Дэзиного белого платья. Все захлопали в ладоши и усадили Дэзи в высокое бархатное кресло.

В комнату прибежал другой гимназист, с лошадиной головой и хвостом. Он прыгал перед Дэзи, брыкался и ржал, а Дэзи хохотала. Гимназист-конь ускакал, вместо него на четвереньках припелся гимназист с медвежьей головой и начал на Дэзи реветь. Дэзи сняла с елки апельсин и сунула ему в пасть.



Потом приходили еще другие звери и птицы, и Дэзи всех чем-нибудь угощала.

Когда больше не стало ни зверей, ни птиц, гимназисты, с которыми я поднимался по лестнице, закричали:

— А тут еще есть ряженный! А тут еще есть ряженный! Вон он за пальмой прячется! Он нищим нарядился! Я закрыл лицо руками.

А гимназисты и девочки кричали:

— Это Сережа Кузьмин! Нет, это Женя Мелиареси! Ну, выходи, Женя, проси у Дэзи милостыню!

Мне хотелось залезть под диван, сжаться, но я пере-силл себя: не отрывая одной руки от лица, я другой

выташил из-под рубашки книгу и положил ее Дэзи на колени. Я сказал:

— Дэзи, мистер Жорж прислал тебе «Каштанку». Не давай мне ни шоколада, ни апельсина, а только помни меня!

И выбежал из комнаты.

Дома я незаметно проскользнул в нашу комнату и лег в постель. От обиды мне хотелось плакать. И в то же время я весь горел от радости: ведь «Каштанку» я все-таки Дэзи подарил!

Проснувшись ночью, я услышал в темноте, как мама говорила:

— Ты его хоть ради праздника не бей. В нем и так еле душа держится.

Отец ответил:

— Я его не просто бью, а наказываю. Ты хочешь, чтобы он стал таким же бродягой, как те, что жмутся у нас в чайной? Безобразие! То днем где-то шляется, а теперь уже и по ночам пропадать начал.

Я понял, что разговор шел обо мне и что завтра отец опять меня побьет, но страха я не почувствовал: мне по-прежнему было радостно и я скоро заснул.

ЦИРК

Утром отец поставил меня на колени, драл за уши, бил по щекам. Потом долго ходил по комнате и что-то мне «внушал», из чего я не запомнил ни одного слова. Под конец он приказал мне попросить прощения и протянул руку, чтобы я ее поцеловал, но я руки не поцеловал, а встал без разрешения с колен и пошел из комнаты. Отец так удивился, что даже не остановил меня.

Весь день у меня горели уши, и я все думал, не убежать ли из дому. Может быть, меня примут к себе бабка с Зойкой. Я им воровал бы на базаре у торговки яйца или что попадется, и тем бы мы кормились. Осенью я видел мальчишек, которые продавали в клетках щеглов. Наловят сетками и продают. И я бы ловил щеглов и продавал. И еще мальчишки продают бычков, нанизанных на веревочки. Бычков они ловят в море удочкой. Я тоже куплю удочку и буду ловить рыбу. Я буду ходить куда захочу, а тут отец сажает меня за буфетную стойку и

уходит по делам. Я сижу и сижу на табуретке и не смею ни на минутку отлучиться.

К вечеру, когда уши гореть перестали, верх взяло другое чувство — жалость к маме. Как она будет горевать, если я убегу из дому!

Отец ходил хмурый. Он о чем-то думал. Иногда он взглядывал на меня и тотчас же отводил глаза. Когда стемнело, отец вдруг сказал:

— Петр, закрывай чайную, ну ее к черту! Из-за этой чайной света божьего не видим, Дети, одевайтесь! К нам цирк приехал.

— Вот так-то лучше, Степан Сидорович! — живо отозвался Петр. Он в два счета выпроводил босяков и запер дверь.

— И ты с нами, — кивнул ему отец.

— Я? — Лицо у Петра почему-то стало темное. Но потом он сказал: — Ладно, пойду и я.

Когда все оделись, отец оглядел наши пальтишки и вздохнул: они были те самые, которые шила еще в Матвеевке деревенская портниха, — из дешевой бумажной материи, с кургузыми воротниками, да к тому же изрядно потрепанные. В городе таких и не увидишь.

Мы шли по скрипучему снегу и терли уши; мороз был такой, что перехватывало дыхание. А тут еще ветер. Чем ближе мы подходили к Персидской улице, за которой открывалось море, тем дуло злее. Я потянул Петра за рукав и, когда он ко мне наклонился, спросил:

— Цирк — это что? Это где Каштанка нашла своих хозяев?

— Не тот самый, но такой же. Да вот увидишь, — ответил Петр.

Все дворы на Персидской улице были темные, но один двор — мы увидели его еще издали — весь так и светился. Свет поднимался к самому небу. Ворота во дворе были распахнуты. Посредине двора стояла серая круглая машина, обклеенная красными, желтыми, зелеными картинками. На картинках вздыбливалась лошадь, танцевала красивая женщина и летел вниз головой человек с рогами, похожий на черта.

— Опоздали! — сказал отец с досадой. — Уже начали. — Он сунул в окошко деньги. — Четыре билета на газлерку — два взрослых и два детских.

Схватив билеты, отец подбежал к двери и толкнул ее. Мы затопали куда-то вверх по деревянной лестнице.

И я увидел то, что увидела и Каштанка, когда выскочила из чемодана мистера Жоржа: ослепительный свет и всюду лица, лица, лица. Петр поднял меня и посадил на деревянную перегородку. По эту сторону перегородки стояли, а по ту — сидели. Потом Петр посадил рядом со мной Витю.

Все люди смотрели вверх. Там, на страшной высоте, раскачивалась на перекладине какая-то женщина в голубом с блестками платье. Перекладина, похожая на мамину каталку, висела на двух толстых красных шнурах. Женщина встала на нее во весь рост, даже не взявшись руками за шнуры. Я от страха перестал дышать. Вдруг где-то забарабанило, да так жутко, что у меня пробежали по спине мурашки. Мужчина, который стоял посередине круга и натягивал длинный канат, крикнул:

— Алле!..

Женщина бросилась вниз головой. И все ахнули.

Но женщина не упала, а быстро-быстро закружилась на каталке то головой вниз, то головой вверх. И, пока она кружилась, где-то все барабанило и барабанило.

Люди волновались:

— Довольно! Довольно!

Отец тоже крикнул:

— Довольно!

Женщина схватилась за канат и по канату спустилась вниз. И тут все так захлопали, так заревели, что я даже не мог разобрать, что мне говорил отец.

Женщина убежала, а вместо нее на круг с опилками вышел смешной человек: рот у него растянулся до ушей, а нос поднялся выше лба. На одной ноге у него была штанина из розового ситца с зелеными цветами, а на другой — с красными. Он споткнулся, упал и заревел. Все засмеялись, и я тоже, но Витька на меня зашипел, хоть перед этим и сам смеялся. Вот всегда так!..

— Это шут, — сказал отец. — Он будет все время смешить.

И правда, на круг выбегали то фокусники, то попрыгунчики, то танцовщицы, а шут уйдет и опять вернется, да такое отколет, что все расхохочутся.

Раз шут вздумал поиграть в мяч. Он бросал надутый бычий пузырь в публику, а из публики тот пузырь бросали ему обратно. Вот он поймал пузырь и стал целиться в одного господина. Прицеливался, прицеливался, потом сразу повернулся в другую сторону и кинул пузырь какой-то девочке в котиковой шапочке. Девочка ловко поймала мяч, но он у нее в руках лопнул. Она испугалась и брыкнулась со скамьи вверх ногами. Потом вскочила да как запустит в шута калошей! Шут — бежать! И, когда бежал, с него упали штаны. Вот смеху было! Я тоже смеялся, но потом сразу перестал. Не из страха, что Витька на меня зашипит, а потому, что девочка, когда она с досады то снимала, то надевала свою шапочку, показалась мне страшно похожей на Зойку. «Неужели это Зойка?» — подумал я. Но как могла Зойка попасть в первый ряд, где сидели важные господа и барыни? Конечно, Зойка всюду пролезет, только откуда у нее могла взяться такая хорошая шуба и котиковая шапочка? На круг выбежала лошадь. Она танцевала и кланялась, подгибая передние ноги. Когда ее увели и я хотел опять посмотреть на девочку, на том месте было уже пусто.

Перед самым концом представления на круге опять появился шут. Он сорвал рыжий парик и длинный нос, стер платком краску с лица и превратился в обыкновенного человека.

— Почтенная публика, — заговорил он, — господа и дамы, молодые люди и барышни, слесари и молотобойцы, горничные и парикмахеры, кухарки и пожарники! Поздравляю всех вас с Новым годом. А будет ли счастье — бабушка надвое сказала.

Под хмельком и с опозданием

К нам приплелся Новый год.

Что за божье наказание!

Все у нас наоборот.

За границей школы строят,

Там дают прогрессу ход,

А у нас... могилы роют —

Все у нас наоборот.

Там для мыслей есть свобода,

Тут открыть попробуй рот!

Словом, старая тут мода,

Словом: все наоборот.

Он все говорил и говорил и как только доходил до слова «наоборот», сейчас же на галерке принимались хлопать.

— Ночевать ему сегодня в участке, — сказал Петр.

— Уж это как водится! — отозвалось сразу несколько голосов.

Мы вернулись домой, разделись и легли спать. Я уже совсем засыпал, когда услышал разговор. Отец сказал:

— Надо бы детям шубы новые купить. Ходят, как нищие. Только дорого. Где столько денег взять?

— А золотые Хрюкова? — ответила мама. — Чего их держать?

— Те я хотел про черный день приберечь. А вдруг прогонят... Даже не на что будет квартиру снять.

Сон все плотнее обволакивал меня, и все в голове мешалось: скрипучий снег на черной от ночи улице, ворона красавица лошадь на задних ногах, шут в широких ситцевых штанах, Зойка в котиковой шапочке... и моя новая шуба с меховым воротником... А утро, когда отец драл меня за уши, теперь казалось мне далеким-далеким, будто было это год назад...

НОВЫЕ ШУБЫ

Весь следующий день мы с Витей не переставали говорить о цирке. Самое нарядное и интересное зрелище, какое нам до сих пор приходилось видеть, это была карусель с лошадками, каретами и фонариками, увешанными разноцветными бусами. Когда я смотрел, как она крутится под визгливые звуки шарманки, у меня был праздник на душе, но с тем, что мы увидели вчера, карусель ни в какое сравнение не шла. Витька даже забыл пыжиться передо мной и прыскал, когда вспоминал разные штучки шута.

— Ну, цирк! — говорил и отец, необыкновенно почему-то подобревший. — На такой высоте кружиться — ужас что такое!

Но, хоть у нас не было другого разговора, кроме как о цирке, я нет-нет да и вспоминал, что отец говорил ночью маме. Приснилось это мне или не приснилось? Наверно, приснилось. И приснилось потому, что гимназисты приняли меня за наряженного нищим.

Когда наступил вечер, отец сказал:

— Дети, пойдемте на Петропавловскую улицу. Хватит вам ходить обшарпанными. Что вы, хуже всех?

— Не приснилось, не приснилось! — радостно закричал я, так что Витька даже посмотрел на меня, как на дурачка.

На этот раз с нами пошла и Маша, у которой пальто было ничуть не лучше, чем у нас.

Я никогда раньше не видел Петропавловскую вечером. По обе стороны улицы горели на чугунных столбах газовые фонари, а вокруг фонарей мелькали снежинки. Окна тоже светились, и за стеклами лежали, стояли, висели такие диковинки, что у нас глаза разбегались. А по улице все шли и шли люди — одни в меховых шубах и шапках, другие в черных шинелях с золотыми пуговицами и в фуражках с золотыми гербами, третьи, как наш Протопопов, в светло-серых шинелях, с шашками на боку и золотыми погонами на плечах.

Вот и окно с волком и медведем за стеклом. Отец смело потянул за медную ручку. Перед нами раскрылась огромная застекленная дверь. В магазине было светло, тепло и так чисто, будто вот только сейчас все там вымыли и натерли до блеска. Мы как вошли, так и остановились у двери. За прилавками стояли приказчики в черных пиджаках и накрахмаленных манишках с галстуками. Один из приказчиков, с железным аршином в руке, закивал нам головой и сказал как давно знакомым:

— Пожалуйста сюда-с. С Новым годом. Мальчик, стулья!

Мальчишка ростом с Витю, тоже в пиджаке и галстуке, притащил нам стулья, и мы все сели. Отец сказал:

— Что ж, примерим детям шубки, что ли?

Приказчик поклонился.

— Имеются. Как раз на этот рост. Прикажете бобриковые?

— Зачем же бобриковые, — будто даже с обидой сказал отец. — Дети не хуже других.

— Прекрасные дети! — воскликнул приказчик и даже зажмурился от удовольствия. — Как только вы вошли, я сейчас же подумал: «Какие чудесные дети!» Прикажете драповые с котиковым воротником? Только вчера из мастерской.

— Драповые так драповые, — ответил отец.

Приказчик сразу завладел всеми нами. Он надевал на нас шубы, застегивал их на все пуговицы, оттягивал полы и рукава книзу, нежно проводил ладонью по спине, потом снимал, надевал другие, опять застегивал, опять оттягивал и поглаживал и, наконец, сказал:

— Чудесно! Прямо как по заказу. Даже с маленьким походом на вырост. Вот только на барышне рукава чуть-чуть длинноваты. Но это дело пяти минут. Посидите.

Он исчез, а немного спустя опять появился, надел на Машу шубу, отскочил от нее, будто обжегся, вскинул вверх руки и сказал, не веря своим глазам:

— Это же превосходно!

Нас подвели к огромному зеркалу, и мы робко оглядели себя. На мне и Вите шубы были черные с котиковыми воротниками, на Маше — шуба коричневая и тоже с меховым воротником. Я, конечно, понимал, что к новой шубе не очень-то подходили бумажные помятые брюки и рыжие заплатанные башмаки. Но шуба — это важнее всего другого, и я был счастлив.

Приказчик ловко завернул в хрустящую бумагу наши старые пальтишки, перевязал шнурочком, к шнурочку приладил деревянную ручку и с поклоном вручил все отцу.

Когда мы вышли на улицу, отец перекрестился.

— Царство небесное покойному Хрюкову! Будем вспоминать его добрым словом. Пусть ему на том свете икается на здоровье. — Он вытащил из кармана мелочь, немножко подумал и лихо крикнул: — Эх, куда ни шло! Извозчик!..

Отец и Маша расположились на сиденье, а мы с Витей у них на коленях. Извозчик стегнул лошадь, бубенчик на дуге звякнул, и сани понеслись по главной улице мимо газовых фонарей, мимо светлых окон с диковинками, мимо бар в шубах и господ в шинелях с золотыми пуговками.

Когда на Маше примеряли в магазине шубу, она не проронила ни слова. Лицо у нее было как каменное. И в санях она тоже молчала. Но когда мы вернулись домой и она сняла свою шубу, то вдруг заплакала и поцеловала ее. Позже она рассказывала, что все время не верила в такое счастье и поверила только тогда, когда повесила наконец шубу дома на гвоздик.

БОЛЕЗНЬ

Мне теперь еще больше хотелось, чтобы мадам Прохорова опять пришла к нам с Дэзи. Я бы сделал вид, что куда-нибудь ухожу, и надел бы свою новую шубу. Надел бы и походил по залу на глазах у Дэзи. Конечно, я не гимназист, но шуба моя такая же, в каких ходят и Дэзины товарищи.

И еще мне хотелось сбегать в железнодорожную будку и узнать, Зойка то была в цирке или не Зойка. Если правда, что Зойка, то пусть и она увидит меня в городской шубе, а то ишь как разрядилась! А если то была не Зойка? Если Зойка по-прежнему лежит больная? Конечно же, надо сбегать к ней в будку и отнести сахару и осьмушку чаю. Но как, как? Ведь я опять целыми днями сижу за буфетной стойкой. Нас с Витей отец не выпускает из чайной — зачем же нам тогда новые шубы? И никаких у нас с Витей нет товарищей. Когда к нам пришел лопоухий Петька, сын бакалейного лавочника, и мы начали играть во дворе в прятки, отец выпроводил его, а нам с Витей сказал: «Товарищи до добра никогда не доводят!»

И вдруг мне повезло. Пришел один толстый дядька, сел на табуретку, а табуретка под ним заскрипела и развалилась. Отец сказал:

— Опять расшатались. Сбегай-ка завтра, Митя, к столяру, пусть переберет все табуретки.

К столяру! Ведь это туда, где Зойкина будка.

Вечером я незаметно взял из буфета пачечку чаю и десять кусочков сахару. Чай положил в один карман шубы, а сахар в другой. И заснул в этот вечер с таким чувством, будто завтра будет праздник.

Проснулся я от какого-то шума. Открыл глаза и увидел, что у Машиной постели стоит отец в одном белье и держит в руке лампу, а мама, тоже полуодетая, наклонилась над постелью и спрашивает:

— Маша, Маша, что с тобой? Тебе холодно, да?

Маша стучала зубами и все просила:

— Мама, мамочка, укрой меня, укрой меня!..

До самого утра никто больше не спал.

Утром Маша уже не просила укрыть ее, а сбрасывала одеяло и жаловалась:

— Жарко!.. Ах, как мне жарко!..

Отец пошел за доктором. Маша все металась и металась, а отец не возвращался. Наконец подъехали извозчичьи сани. Из них вышли отец и мужчина в дорогом пальто и меховой шапке. В комнате отец бросился снимать с доктора пальто и затанцевал так, как танцевал перед Протопоповым. Доктор вынул из кармана черную трубочку. Он приложил ее одним концом к своему уху, а другим к Машинной груди. В это время мама рылась в ящиках комода и искала новое полотенце. Полотенца она так и не нашла, а вместо полотенца вытащила чистую наволочку. Доктор вымыл с мылом руки. Мама подала ему наволочку и сказала:

— Извините, доктор.

Но доктор не рассердился.

— Ничего, ничего. — И вытер руки наволочкой.

За это мне он очень понравился.

Когда доктор уходил, отец положил ему в руку серебряный рубль. Но доктор рубль вернул отцу обратно и сказал:

— Нет, не надо. Заплатите только извозчику.

С тех пор доктор приезжал к нам через день, и отец каждый раз выносил извозчику по полтиннику. А о докторе говорил:

— Чудный, чудный человек! Святой!

Отец всегда так: об одном он говорит: «Чудный! Святой!», — а о другом: «Подлец! Мерзавец!» А часто бывало, что об одном и том же человеке он сегодня говорит — «святой», а завтра — «мерзавец». Но наш доктор, как потом я понял, был и не святой, и не мерзавец, а самый обыкновенный доктор, рубль же он не взял потому, что был доктором для бедных и ему мещанская управа платила жалованье. Лет пять спустя, когда заболел я, его опять позвали к нам. Тогда он уже в мещанской больнице не служил и рубль положил в карман.

Маша все болела и болела, и к столяру отец меня не посылал, а посылал в аптеку. Потом Маше стало лучше. Отец сказал:

— Ну, завтра пойдешь к столяру.

Но мне идти к Зойке уже не хотелось. И вообще мне ничего не хотелось. Когда я сидел за буфетной стойкой, мне хотелось только одного: положить руки на стойку,

а голову на руки и закрыть глаза. Ночью меня стало трясти, потом бросило в жар, и все у меня в голове перепуталось. Пришел Петр, взял меня на руки и понес. Он отнес меня в «тот» зал. Там босяков уже не было. Стояли почему-то две кровати. На одной кровати лежала Маша, а на другую Петр положил меня. Маша приподнялась и через спинку кровати с жалостью смотрела на меня. А мне от этих жалостливых глаз стало еще хуже, и я сказал:

— Не смотри на меня!..

Приехал доктор, приставил мне к груди свою черную трубочку, а на другой ее конец налег головой. Голова у него была большая, и трубка больно давила мне грудь. И вообще все у меня болело, особенно голова и глаза. Доктор сунул мне под мышку градусник, потом вынул, посмотрел и нахмурился.

Когда он ушел, мама намочила салфетку в уксусе и положила мне на голову. Но салфетка сейчас же высохла. И, сколько мама ни мочила ее, она все высыхала и высыхала. Под потолком на стене расплылось зеленое пятно. Я знал, что это плесень, но мне стало казаться, что это не плесень, а море. Я прыгал в него, окунался с головой, глотал воду — и мне делалось легче. Но море опять превращалось в плесень на стене, и я так метался и стонал, что мама становилась на колени перед иконой, крестилась и стучалась лбом о каменный пол. Приходил Петр. Он брал меня на руки и носил по залу. На руках я затихал. Петр клал меня на кровать, я засыпал, но потом опять начинал метаться.

Однажды, проснувшись, я не почувствовал ни жара, ни боли. Напротив, мне было необыкновенно хорошо и очень хотелось есть. Мама накрошила в стакан с молоком полбублика, я вынимал ложечкой размякшие кусочки и ел с таким удовольствием, с каким до этого никогда и ничего не ел. Я опять заснул. А когда проснулся, то увидел, что мама склонилась над Машей, а Маша мечется и стонет.

Ночью у Маши пошла из носа кровь. Машу приподняли, а на колени ей поставили чашку. Кровь все капала и капала, и лицо у Маши сделалось белей стены. Мама кричала: «Маша!.. Маша!..» — но Маша больше не открывала глаз, и голова ее упала на плечо.

Вдруг забарабанили в дверь. Отец бросился открывать. Это Петр привез доктора. Доктор был без галстука, из-под пиджака выглядывала белая ночная сорочка. Он раскрыл кожаную сумку и быстро стал вынимать из нее узкие желтые полоски марли и разные щипчики.

Когда доктор уходил домой, Маша лежала как мертвая, но кровь у нее больше не шла.

Через несколько дней Маше стало лучше, а меня опять бросило в жар. Доктор сказал, что у нас возвратный тиф.

...Наконец мы поднялись с постели. На дворе была уже весна. От слабости мы шатались. Мама надела на нас шубы и вывела во двор подышать свежим воздухом. Я опустил руки в карманы и нащупал там кусочки сахара и пачку чаю.

«ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ»

Маленький дворик при чайной был завален всякой рухлядью: гнилыми бревнами, угольной золой, черепками от разбитых чайников, поломанными табуретками. Но между камнями поднимались вверх бледно-зеленые острые травинки, на крыше озорничали воробьи, солнышко ласково грело лицо, и от всего этого мне было необыкновенно радостно.

Пока мы с Машей болели, Витю к нам не подпускали, чтобы не заболел и он. Теперь Витя сидел во дворике рядом со мной, на бревне, не пыжился, а смотрел добрыми глазами. Наверно, он соскучился по мне и ему было жалко меня. Он рассказывал мне о Робинзоне Крузо, который попал на необитаемый остров и прожил там много лет, о рыцарских турнирах, о храбром и благородном Айвенго (чайная была долго закрыта, и Витя мог читать книги, сколько хотел). Видно было, что он старался развеселить меня, позабавить и нарочно придумывал разные интересные истории. Так, он рассказывал, что ходил с Петькой к морю и нырял там. Будто прыгнет в воду и идет ко дну долго-долго, потом ударится ногами о дно и поднимется обратно наверх. А в воде видит, как плавают рыбы и разные чудовища. Одно чудовище даже погналось за ним, но он успел выскочить на берег. Я догадывался, что он все это сочиняет: ведь весна только на-

чалась и вода в море была еще холодная. Но мне так хотелось попасть и на необитаемый остров, и на рыцарский турнир, и на морское дно с рыбами и чудовищами, что я выслушивал все, как настоящую правду.

— Вот видишь? — Витя вынул из кармана и показал подсолнечные семечки. — Давай выкопаем ямку и посадим семечко, а летом здесь вырастет подсолнух.

— Давай, давай! — с радостью откликнулся я.

— Давай купим синей бумаги, склеим змей и запустим его высоко-высоко. А к хвосту привяжем разноцветный фонарик со свечкой. Ночью он будет светить в небе, и никто не догадается, что это такое.

— Давай, давай! — подхватывал я, весь дрожа от нетерпения. — А еще можно ежа завести. Или лисичку. Вот если бы лисичку! Мы б с ней ходили гулять по городу, и все на нас смотрели б!

Но змея мы не запустили и ежа не завели. Через несколько дней опять открылась чайная, и отец всех расставил по своим местам: Витя пошел в «тот» зал следить, чтоб босяки не рвали на сигарки газет и книг, Маша застучала посудой в эмалированной чашке, а я сел за буфетную стойку. Когда за буфет становился отец, я отправлялся на кухню помогать Маше мыть посуду или тоже шел в «тот» зал.

С весной наших обычных посетителей — нищих, бродяг, попрошайек — стало показываться все меньше и меньше: они двинулись с юга на север. Зато прибавилось рабочих. Сходились они к вечеру. Человека три-четыре оставалось в «этом» зале, остальные проходили в «того» зал и заказывали чай. Кувалдин просил у отца книжечку поинтересней, но мы-то с Витей знали, что читал он не эти книжки, а те, которые приносил с собой. Только одну книжечку, выданную отцом, он прочитал от начала до конца: это была «Сказка о попе и о работнике его Балде». Когда он дошел до слов попа:

Нужен мне работник:
Повар, конюх и плотник,
А где мне найти такого
Служителя не слишком дорогого? —

все засмеялись. Кувалдин тоже смеялся. Но потом сказал с большим уважением:

— Написал эту сказку наш великий писатель Александр Сергеевич Пушкин. Любил он простой народ всем сердцем и отдал ему свой драгоценный дар. Народ его тоже любит и будет любить вечно.

— Это правильно, — сказал отец и, очень довольный, пошел из «того» зала к себе, за буфет.

А Кувалдин продолжал:

— Написал он и стихи декабристам, о которых я вам рассказывал раньше, а декабристы из Сибири ему ответили:

Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя.

Поэтому наша газета и называется — «Искра». Вот она. — Он оглянулся, вынул из пиджачного кармана что-то, похожее больше на тоненькую книжечку, чем на газету, и положил на стол. Все наклонились и принялись рассматривать. Печать была мелкая, и только одно слово крупное: «ИСКРА». — Сейчас мы ее прочитаем. Слушайте, на ус мотайте да на дверь поглядывайте.

Он читал и объяснял. Прочтет немножко, объяснит и опять читает. А чаще сами рабочие останавливали его. Особенно один, похожий на цыгана — с черными глазами и черными усами. Он все спрашивал: «А это ж почему? А это ж как понимать?»

Хотя Кувалдин все объяснял, а некоторые места читал по два и три раза, я по-прежнему ничего не понимал. Да, наверно, и Витя понимал плохо и только делал вид, будто заранее знает, что скажет Кувалдин.

Иногда приходил инженер Коршунов и приводил с собой двух или трех приятелей, таких же бородатых, как и он сам. Тогда в «том» зале начинался спор. Инженер стучал костяшками пальцев по столу и сердито говорил:

— Одна бомбочка, брошенная в подлеца директора, осветила б народу умы в сто раз лучше, чем все эти ваши шествия с красными флагами.

А Кувалдин отвечал:

— Вы тащите на свет божий старую ветошь. Вы ничему не научились.

И опять я не понимал: как мог Коршунов ничему не научиться, если отец говорил, что инженер — человек ученый? Теперь Коршунов заведовал гвоздильным заво-

дом, и, хоть сам говорил, что это не завод, а балалайка, отец стал его еще больше уважать.

Поспорив, инженер с грохотом отбрасывал ногой табуретку и уходил. За ним шли его бородатые приятели.

Кувалдин говорил:

— Болотные люди. Только зря с ними время тра-тишь. — И опять вытаскивал свою книжечку-газету.

Когда в чайную приходил бродяга или кто другой, рабочие, которые чаевничали в «этом» зале, приглашали такого человека за свой стол, чтоб не допустить в «тот» зал. А если появлялась дама-патронесса или заглядывал околоточный, то рабочий, сидевший ближе к двери другого зала, говорил: «Майна!» — и маленькая газета исчезала, как по волшебству. Вместо нее Кувалдин раскрывал книжку «Как верная жена умерла на гробе своего мужа». Околоточный послушает и уйдет, дама-патронесса повернется, покрутится и уедет.

БЕГСТВО

Все случилось как-то сразу. Когда я потом, спустя годы, вспоминал об этом, мне делалось и страшно, и горько, и смешно.

С некоторых пор к нам по вечерам стал заходить новый босяк. Прежде чем открыть в чайную дверь, он долго смотрел в окна и почесывался. А войдя, вздыхал, жался и сторонкой, сторонкой пробирался в «тот» зал. Но до «того» зала он редко добирался: его перехватывали рабочие в «этом» зале и угощали. Щеки и подбородок босяка были в серой щетине, а глаза маленькие, мутные, без ресниц.

Однажды, когда босяк сидел с рабочими и прихлебывал из блюдца чай, дверь с визгом распахнулась, и вошли трое здоровенных усатых мужчин. Стуча сапогами о каменные плиты пола, они быстро прошли в «тот» зал. Босяк засеменил к Петру и медовым голосом сказал:

— Стань, милый человек, к двери и никого не выпускай.

— Это что за номер? — уставился на него Петр.

Голос у босяка сразу изменился.

— А ты делай, что приказывает надлежащее начальство! — прошипел он Петру в лицо.

От такой неожиданной перемены Петр опешил и стал у двери.

В «том» зале зашумели, закричали, затарахтели табуретками. Вслед за тем оттуда выбежал Кувалдин и бросился к двери. Усатые кинулись за ним, но рабочие повисли у них на плечах и не пускали. Увидя, что у дверей стоит Петр, Кувалдин повернул в сторону, к окну, и рванул шпингалет. Короткой заминки оказалось достаточно, чтобы усатые вцепились в Кувалдина. Петр взревел и бросился на усатых. Те направили на него револьверы.

Когда Кувалдина увели, Петр ударил себя кулаком по голове и застонал. Некоторое время он неподвижно сидел на табуретке, потом встал и медленно пошел из чайной.

Вернулся он только на другой день, сильно пьяный. Сжимал ладонями виски и все повторял:

— Подлец я, подлец!.. Нету мне прощения!..

Отец его не слушал; он ходил из зала в нашу комнату, из комнаты в зал и шептал:

— Теперь меня выгонят... Теперь наверняка выгонят...

Весть о том, что Петр запил, облетела всех дам-патронесс. Они съехались в чайную, столпились около Петра и принялись его уговаривать:

— Петр, голубчик, ну что же ты расстраиваешься! Возьми себя в руки, успокойся!

Толстенная мадам Медведева сладко заговорила:

— Не надо, милый, не надо. Ведь ничего не случилось. Ну, арестовали беглого каторжника, так это ж был социалист, он против царя и бога шел. Ну, хочешь, будешь у меня кучером работать. Да что кучером! Я тебя старшим приказчиком в гастрономическом магазине сделаю!

Петр оглядывал дам безумными глазами. Вдруг лицо его исказилось. С выражением отвращения он взял со стола мокрую тряпку, которой я стирал с клеенок при- сохшие крошки, и мазнул купчиху по лицу от лба до третьего подбородка. Дамы бросились врассыпную. А Медведева до того обалдела, что стояла и шлепала губами. Дамы сначала перепугались, а потом начали хихикать. Босяки заржали. Я тоже засмеялся. Медведева опомнилась да как закричит:

— В полицию! В полицию его, подлеца!.. А ты чего смеешься, щенок паршивый?! — накинулась она на меня. — Всех разгоню! Чтоб духу тут вашего не было!..

Отец схватился за голову. Я от страха вылетел на улицу и побежал куда глаза глядят.

Бежал, бежал, бежал, пока не оказался перед Зойкиной будкой. Я дернул дверь. Бабка сидела за столом и пила из чашки чай. Она смотрела на меня и не узнавала. Вдруг лицо ее сморщилось, по щекам поползли слезы.

— А Зойка где? — спросил я.

— Нету Зойки, нету, — забормотала она. — Увезли нашу Зоичку, увезли... Цирк увез, чтоб он сгорел, проклятый!..

— Зачем? — не понял я.

Бабка рассердилась:

— «Зачем, зачем»? Не знаешь, что ли? В акробатки пошла, в попрыгуночки. Будут ей теперь ручки-ножки выкручивать.

Она опять заплакала. А поплавав, спросила:

— Чаю хочешь?

Я чаю не хотел. Какой чай, когда, может, жизнь моя кончается! Из-за меня отца, наверно, уже прогнали. Если я вернусь, он меня избьет до смерти. А если еще не успели прогнать, то он избьет меня в угоду купчихе, чтобы та не выгоняла его. Как ни поверни, все равно я буду избит. А после болезни я еще больше ослабел и, наверно, умру, когда он будет бить меня. Куда же мне деваться? Счастливая Зойка! Пусть ей выкручивают руки-ноги, а все-таки она не умрет. Ей даже публика будет хлопать в ладоши. Вот и мне бы туда, в цирк, кувыркаться вместе с Зойкой.

— Бабушка, а куда он уехал, цирк этот? — спросил я.

— Кабы знать! — ответила бабка. — Уехал — и все. Разве мне докладывают!

Тогда я рассказал, что со мной случилось.

Бабка выслушала и покачала головой.

— Вот уж и не знаю, что тебе посоветовать. Переночуй на Зоичкином топчане, а утром, может, и придумаем что.

Ночь я провел так, будто опять заболел тифом. Меня то знобило, то бросало в жар. А тут еще с грохотом пробегали мимо поезда. Особенно меня донимала мысль,

как страдает сейчас мама. Может, она думает, что я утопился или бросился под поезд.

Обессиленный, я так крепко заснул перед рассветом, что открыл глаза только тогда, когда будку заливало солнцем. Мне стало страшно: неужели я всю ночь провел не дома?

Бабка дала мне бублик, напоила чаем и сказала:

— Иди домой. Лучше дома ничего на свете нет. Авось обойдется.

От бабкиных слов у меня на душе стало спокойнее, я пошел.

Может быть, я так бы и вернулся домой и все бы, как говорила бабка, обошлось, но еще издали я увидел, что к чайной подъехал экипаж и из него вышли Медведева и сам городской голова, тот важный господин, который был у нас на молебне. Что угодно, только не попадаться на глаза купчихе! А городского голову она, конечно, привезла, чтоб расправиться с отцом.

И я опять побежал.

Страх загнал меня в порт. До этого я в порту был только раз — с отцом и мамой. Тогда у берега стояло много пароходов, привязанных канатами к чугунным тумбам. Из-за этих пароходов я даже не рассмотрел как следует моря. Один пароход был турецкий. Это я сразу понял, потому что на нем ходили люди в красных фесках. Мальчишки с берега кричали им: «Наши ваших пу-у-у!» Турки смеялись. Обиделся только один. Он повернулся к мальчишкам задом, нагнулся и крикнул: «Пу-у!»

Но в этот раз у берега стояло всего два парохода — большой, выкрашенный, и маленький, обшарпанный. На обшарпанном висел флаг с полумесяцем и звездой. С парохода по деревянному мостику сходили турки и сбрасывали со спины большие кули. Один куль лопнул, и из него выпали на землю связки сушеного инжира. Толстый турок, который ничего не делал, а только смотрел, как работают другие, сбежал по мостику на берег и стал кричать на старого турка, который уронил куль. Старый турок моргал глазами, будто боялся, что толстый ударит его по лицу, и говорил: «Афэдерсинис, афэдерсинис!»¹ А толстый кричал: «Алчак! Алчак!»² — и брызгал слюной.

¹ Прости! (турецк.)

² Мерзавец! (турецк.)

Около меня остановился мальчишка с подбитым глазом. Он подмигнул мне и сказал:

— Вот здорово ругаются!

— А ты разве понимаешь? — спросил я.

— А то нет! — ответил мальчишка. — Я и сам по-всякому умею. Вот, слышь, толстый кричит: «Я тебя, шайтан, в бараний рог согну! Я из тебя рахат-лукум сделаю!» А старый, слышь, отвечает: «Мы и сами с усами, разлюли-малина! Я тебе, шагай-болтай, пузо вспорю и кишки в море выкину!»

По-турецки я не понимал, но, конечно, догадался, что мальчишка врет. Ведь старый говорил только одно слово — «афэдерсинис». Неожиданно мальчишка прыгнул, схватил две связки инжира и побежал. Старый крикнул: «Вай!» — и побежал за мальчишкой, а толстый с кулаками бросился на меня. Я тоже побежал. Мальчишка на бегу уронил связку. Я ее подобрал и отдал старому. Старый погладил меня по голове и дал одну инжиринку. Я опять пошел к пароходу. Толстый турок уже не трогал меня. Старый дал мне еще и рожок. Я съел сначала рожок, а потом инжиринку. И рожок и инжиринка были сладкие, душистые — такие вкусные, что я на время забыл о своей горе. Я пошел к большому пароходу. На нем был флаг полосатый, а люди обыкновенные, без фесок. Но разговаривали они тоже не по-русски. Походив по берегу, я опять вернулся к туркам. Турки уже ничего с парохода не выносили, а брали на берегу заржавленные куски чугуна и таскали на пароход. Наверно, каждый кусок весил пуда три, потому что больше одного куса турки не поднимали, и все-таки лица у них блестели от пота.

Вдруг с парохода сошел человек, похожий на нашего Петра, как брат родной. На нем были заплатанные штаны и опорки. Он легко взял под мышки два куса чугуна и пошел на пароход. И тут я вспомнил, что первый раз Петр пришел к нам в чайную вот в таких же заплатанных штанах. Неужели это он? Когда человек опять показался на деревянном мостике, я вскрикнул и побежал к нему. Конечно, это был Петр!

— Митя?! — удивился он. — Ты что тут делаешь? Бычков ловишь?

Я признался, что убежал из дому. Лицо Петра посуровело.

— Да ты спятил? — сердито сказал он. — Так с тех пор и не возвращался? Ну, брат, это не дело. Сейчас же иди домой!

Тогда я стал просить Петра, чтобы он взял меня с собой.

Он развел руками.

— Куда же я тебя возьму? Я, брат, уезжаю. Вот погрузим эти чушки — и отчалим. В Турцию поплыву, к магометанам. Хуже не будет.

— Ну и я в Турцию! Хуже не будет!

Петр усмехнулся.

— Хватил! Пойми, глупенький, что я сбился с пути, пошел в бродяги, в алкоголики.

— Ну и я пойду в бродяги, в алкоголики! — соглашался я на все, лишь бы не расставаться с Петром.

Толстый турок что-то крикнул.

— Ладно, — сказал ему Петр. — Успеет. За мной не пропадет.

Он опять взял две чушки и понес.

И, сколько я потом ни просил, он говорил только одно:

— Иди домой! Домой иди, Митя!

НА ТУРЕЦКОМ ПАРОХОДЕ

Улучив момент, я незаметно пробрался по деревянному мостику на пароход и спрятался под серым брезентом, который валялся на полу. Но там совсем нечем было дышать. И, кроме того, близко топали ногами — того и гляди, наступят прямо на голову. Я выполз из-под брезента и потянул за ручку какую-то дверку. Дверка открылась, и я увидел чулан. В нем стоял заржавленный якорь, валялись топоры, ведра, всякий хлам. Я шмыгнул в чулан, залез в какой-то ящик, скорчился в нем и закрылся сверху дырявым мешком.

Я лежал так долго, что у меня занемели ноги. Вдруг подо мной часто-часто застучало. Ящик стал дрожать. Что-то тяжело загудело, как гудит на заводе, только совсем от меня близко. Вслед за тем снаружи затарахтело и заскрежетало. Голос, похожий на голос толстого турка, кричал и кричал, а ему отвечали другие голоса: «Баши-стюне, капитан!»¹

¹ Есть, капитан! (турецк.)

Наконец все стихло, кроме частого стука внизу. Я вылез из ящика и заглянул в щелочку. На полу, поджав ноги, кружком сидели турки и ели брынзу. И Петр сидел с ними и тоже ел брынзу. На Петре была старая, помятая феска с кисточкой. Значит, верно, что Петр переделался в турка.

До сих пор я голода не чувствовал, а тут, как увидел сыр, то так захотел есть, что хоть выходи из чулана и садись с турками в кружок. Я с трудом оторвался от щелочки и опять залез в ящик.

Но долго там оставаться не мог — так есть хотелось. Заглянув вновь в щелочку, я сыра уже не увидел. Вместо сыра посредине кружка стоял стеклянный кувшин с водой и дымом внутри. От кувшина тянулись в разные стороны желтые резиновые трубочки. Турки брали эти трубочки в рот, а изо рта выпускали дым. Я догадался, что это они так курят. И Петр курил с ними.

Но мне хотелось не курить, а есть. Как дать Петру знак, что я здесь? Я чуточку приоткрыл дверь. Тут кто-то затопал, и я опять юркнул в свой ящик. Только прикрывшись мешком, как в чулан вошли люди. Один говорил:

— Ничего не поделаешь, капитан, я обязан посмотреть везде. Долг службы.

А другой отвечал:

— Пожалуйста, пожалуйста.

Люди топтались и что-то передвигали.

Как назло, в носу у меня защекало, и я чихнул. И сейчас же мешок будто ветром снесло. Я увидел толстого турка и человека в фуражке с гербом и в зеленой тужурке с серебряными пуговицами.

— Это что такое? — уставился на меня человек с гербом.

А турок сказал:

— Вай! Кто биль есть?

Когда меня вытащили из чулана, Петр бросил резинку и вскочил на ноги.

— Митя... — прошептал он. — Ты как сюда попал?

Тогда толстый турок и человек с гербом стали на Петра кричать; а Петр крестился и говорил:

— Пусть ваш бог аллах и наш бог Иисус вдвоем с меня голову снимут, если я знал! Господин надсмотрщик,

это же не мой хлопчик, это хлопчик заведующего чайной читальней. Он от родителей сбежал, а я при чем?

Но человек с гербом и толстый турок продолжали кричать и даже ногами топать. Петр рассердился и тоже закричал:

— Вы, господин надсмотрщик, должны следить, чтоб не провозили контрабанду, а какая вам мальчик контрабанда?! Я вижу, у начальников мозги помутились! Эй, капитан! — подступил он к толстому турку. — Высаживай меня на берег! Не хочу больше у тебя работать! Высаживай сейчас же, а не то я переверну тут все вверх ногами!

Я посмотрел по сторонам, но берега нигде не увидел. Кругом была вода, вода и вода. Только с одной стороны тянулась вдалеке темная полоска. Как же нас высадят на эту полоску?

Надсмотрщик поговорил с толстым турком и сказал Петру уже спокойно:

— Договаривайтесь сами — не моя забота. До Керчи дойдем, а там я сойду.

Надсмотрщик с капитаном пошли дальше, а Петр куда-то сбегал и принес мне брынзы и кукурузную лепешку. Я сел в один кружок с турками, поджал, как и они, под себя ноги и все съел. Петр принес мне глиняную чашечку и сказал:

— Раз ты уже турок, то пей кофий.

Кофе был горький-горький, но я, чтоб никого не обидеть, выпил всю чашку до дна.

Только после этого я огляделся как следует. Море было такое большое, что больше его, наверное, ничего не было на свете. И везде, куда ни посмотришь, шипела пена, будто там все время стирали белье с мылом. Пароход наш то опускался вниз, то поднимался вверх. А за нами летели и летели большие белые птицы и что-то нам кричали вслед.

— Петр, зачем они кричат? — спросил я.

— А есть просят. Это чайки, они всегда за пароходами гоняются. На вот чурек, покорми их.

Я разломил лепешку на маленькие кусочки и бросил в воду. Чайки обрадовались, спустились к воде и похватывали кусочки из самой пены. Потом они опять погнались за пароходом, но у меня больше ничего не было.



По узенькой крутой лесенке мы с Петром спустились вниз и там все осмотрели.

— Вот это кубрик, — сказал Петр, когда мы вошли в комнату с круглым окном над самой водой и койками одна над другой.

На койках лежали смуглые мужчины. Я почему-то думал, что турки и спят сидя, но они спали, как все люди.

Затем мы заглянули в помещение, где топилась огромная печка и крутился железный, будто изломанный, вал. Кто-то, весь черный и огненный, бросал в печку лопатой уголь. От раскаленного угля все помещение было красное, а жаром несло так, что я чуть не задохнулся.

Когда мы выскочили оттуда, я сказал:

— Он на черта похож, правда?

— Нет, — ответил Петр, — на черта похож хозяин парохода, вот тот толстый турок, а это обыкновенный человек, только он еще при жизни в ад попал.

Мы обошли весь пароход, и Петр мне объяснил, где корма, а где нос, что такое камбуз и что такое штурвал, зачем на пароходе мачта и зачем якорь. Место, где

ходил толстый турок, называлось мостиком, а настоящий мостик, по которому поднимаются на пароход, называется сходнями или еще трапом. И чулан мой был не чулан, а шкиперская. Вал же с огромными железными руками, которые его крутили, — это машина.

Когда стемнело, Петр уложил меня на палубе, около шкиперской, на брезентовую подстилку, закутал в свой старый пиджак и лег рядом.

И, как на постоялом дворе, когда мы переехали из деревни в город, я увидел, что надо мной висят все те же звезды. Только будто они подросли и стали еще голубей. Значит, от звезд никуда не уйдешь...

Внизу беспрерывно стучала машина. Это там черный турок, попавший за какие-то грехи в ад еще при жизни, бросал и бросал уголь в огненную печку. Мне стало жалко турка.

От турка мои мысли перенеслись к маме. Сердце мое заныло. Петр, будто подслушав, о чем я думаю, сказал:

— А ты спи. Намаялся за день-то. Спи. Лишь бы хозяин меня в Мариуполе не задержал, а из Мариуполя я тебя домой в два счета доставлю.

...Проснулся я от ужасного грохота, будто с неба на пароход кто-то сыпал булыжники. Высыплет целый мешок, подождет, когда грохот утихнет, и опять сыплет.

— Что это, Петр?! — крикнул я в страхе.

Но Петра рядом не было. Я бросился в шкиперскую и залез в свой ящик. Там я немного успокоился и когда вернулся на палубу, то увидел, что пароход не двигается, а стоит у берега, привязанный к чугунным тумбам. На берегу светят закопченные керосиновые фонари. По трапу туда и сюда ходят турки с грязными ящиками на спине. Пройдет турок на пароход, прогрохочет чем-то и опять идет с ящиком на берег.

— Ты здесь? — сказал Петр, появившись откуда-то из темноты. — Ну и дьявол же этот хозяин! Хоть убей его, не отдает паспорта. А без паспорта куда сунешься! Говорит, в Керчи отпустит и денег даст. Придется грузить, ничего не поделаешь. Ну, иди спи.

Я вернулся на свое место и скоро уснул.

Утром, когда я увидел Петра, то сразу даже не узнал его: он был весь черный.

— Ничего, это все отмоется, — сказал он и невесело

усмехнулся. — Если б все можно было смывать, как угольную пыль...

Пароход шел и шел, и теперь уже не было видно даже клочка земли, везде только вода. Мне опять стало страшно: что, если машина поломается? Тогда мы ни до какой земли не доплывем. Только бы показалась земля, только бы перебраться с парохода на землю, а там мы с Петром и пешком домой дойдем. Хоть год будем идти, а дойдем.

И земля показалась. Сначала это была узенькая полоска. Потом она стала шириться и расти вверх. Против этой полоски показалась другая. А машина внизу все стучала и стучала, пароход все шел и шел. Теперь с одной стороны земля была низкая и плоская, а с другой обрывистая. Море стало похоже не на море, а на реку, только очень широкую. Но Петр объяснил, что это не река, а Керченский пролив.

— По левую сторону, — сказал он, — Кавказ, а по правую — Крым. Позади нас — море Азовское, а впереди — море Черное. Вот, брат, куда мы с тобой заехали. Но ты не бойся: скоро покажется город Керчь. Мы там выйдем и начнем думать, как нам дальше жить на свете.

В Керчи жить на свете стало еще труднее: Петр таскал с берега на пароход такие тяжелые трубы из железа, что по лицу его все время катился горошинами пот, а мне до боли в животе хотелось есть.

Я первый раз видел гору. На этой горе были и улицы, и бульвары. С парохода даже видно было, как по улице лошадь везет бочку, а по бульвару гуляют барышни в белых платьях и соломенных шляпах.

Я смотрел и смотрел на город, а сам все время думал: отдаст толстый турок Петру паспорт или не отдаст. От Петра я уже знал, что пароходы выгружают и нагружают люди, которые живут на берегу и называются грузчиками. А толстый турок, чтоб не платить им за работу, заставляет грузить и разгружать пароход своих же матросов. Петра он держит потому, что Петр у него работает сразу за двух матросов и двух грузчиков.

Наконец все трубы погрузили. Я видел, как Петр пошел к толстому на мостик. Петр говорил по-своему, а толстый по-своему. И каждый размахивал руками. Они кричали все громче и громче и все сильнее махали руками, а в это время турки втягивали трап на пароход.

Петр плюнул и пошел с мостика. Я не понимал, почему он не делает, как обещал раньше, и сказал:

— Петр, переверни тут все вверх ногами.

Он ответил:

— Я бы перевернул вверх ногами даже самого капитана, да мне не интересно навлекать на себя полицию.

Мы поплыли дальше. Скоро вода стала темная, как чернила. Но это если смотреть прямо вниз, а если смотреть вдаль, то море было голубое. И на этом голубом море будто кто-то зажигал тысячу тысяч свечек. Когда одни свечи гасли, то другие в это время зажигались. А когда туча закрывала солнце, то свечечки гасли все до одной.

Раньше за нами гнались только птицы, а теперь погнались и рыбы. Они были длинные, круглые и почти совсем черные. Чайки — те просили есть, а рыбы просто баловались. Они обгоняли пароход, ныряли и кувыркались.

По одну сторону парохода без конца и края было море, а по другую все время крутился и уходил назад берег. Когда стемнело, над нами опять зажглись вчерашние звезды, только они стали еще крупней и голубей.

За всю ночь я ни разу не проснулся, поэтому не знаю, что было ночью. А утром турки-матросы чуть не побили своего толстого капитана: Вот как это вышло.

Капитан приказал мыть палубу. Петр и молоденький турок-матрос, по имени Юсуф, опускали на веревке через борт ведра, вытаскивали воду и лили на палубу, а другие матросы тут же терли палубу метлами-голяками. Раз Юсуф опустил ведро в воду, а вода так потянула ведро, что вырвала из рук веревку. Толстый затопал на Юсуфа ногами и ударил его по лицу кулаком. Он кричал и показывал, что конец веревки надо наматывать на руку. Когда толстый поднялся на свой мостик, Петр сказал Юсуфу, чтоб он веревку на руку не наматывал. «И пикнуть не успеешь, как за борт вылетишь», — говорил Петр и показывал, как Юсуф полетит в воду. Толстый заворочал на мостике глазами. Молоденький турок жалобно посмотрел на Петра и намотал веревку на руку — так он боялся своего хозяина. Намотал и опять принялся таскать воду. Когда ведро падало за борт, он изо всех сил упирался ногами в пол и лицо его делалось страшным. Вдруг он весь дернулся — и пропал из глаз.

— Вай!.. Дюштю!..¹ — закричали матросы и принялись бросать в воду что попало под руку — доски, бочонок, скамейку. Петр сорвал с борта спасательный круг, но из круга посыпалась труха, и Петр отшвырнул его.

— Сандалы индирийн!² — крикнул толстый с мостика.

Турки засуетились около лодки, которая висела тут же, на канатах, но она не спускалась, а только дергалась и дергалась в воздухе.

Я со страхом глянул за борт: черная голова Юсуфа то показывалась из воды, то опять исчезала, Бедный Юсуф! Сейчас он захлебнется!

— А-а, дьявол толстый!.. — крикнул Петр. — Ничего у него не действует!..

Он сбросил с себя рваные штаны, вскочил на борт и кинулся в воду.

От страха, что Петр утонет, я закрыл глаза. А когда опять их открыл, то увидел, что Петр одной рукой держится за канат, а другой обхватывает Юсуфа за его смуглые плечи.

Петра и Юсуфа подняли на палубу. Юсуф лежал с раскрытым ртом, грудь его то поднималась, то опускалась, а Петр стоял над ним и рычал:

— У твоего хозяина одна забота — карман набить! У, гады двуногие, толстосумы окаянные! Все они на один лад!..

Турки столпились около капитанского мостика. Они таращили глаза, размахивали кулаками и что-то кричали на своем языке, а толстый плевался и, в свою очередь, кричал:

— Дагылын! Гидин, хайванлар!³

Кричал, кричал, а потом согнулся и шмыгнул в дверь.

Вместо толстого турка на мостик вышел турок худой и горбоносый, тот, который командовал матросами, когда они грузили пароход. Он все прикладывал обе ладони к груди и что-то говорил. Матросы успокоились и разошлись. А толстый так больше и не показывался.

Когда Юсуф окончательно пришел в себя, он повернулся к солнцу и стал молиться:

¹ Ой!.. Упал!.. (турецк.)

² Спустить шлюпку! (турецк.)

³ Разойдитесь! Уходите, скоты! (турецк.)

— Аллаха шюкюр!.. Куртуедум!..¹

От этой суматохи я тоже не сразу пришел в себя. А когда осмотрелся, то увидел, что мы плывем мимо ди-ковинной горы. Казалось, будто это лежит медведь-великан и пьет из моря воду. Мы плыли и плыли и никак не могли миновать медведя — такой он был огромный.

Но все-таки и медведь оказался позади, а перед нами берег так изогнулся, что получился круг, весь залитый голубой водой. На берегу росли веселые деревья и стояли в ряд большие белые дома, а над ними, все выше и выше, белели среди зеленых садов другие дома, такие же большие и красивые.

Наш пароход заревел и пошел прямо к берегу.

И тут опять показался толстый турок. В руке он держал желтый лист.

— На! — крикнул он Петру. — Пусть ты ходит вон!

Петр взял лист и сказал:

— А деньги?

Турок так и затрясся весь:

— Какой денга?! Ты мой пароход бунт делал! Я по-лицаю свистал буду. Ты на тюрьма ходит будет!..

— Постой, — остановил его Петр, — тюрьма тюрьмой, но я ж на тебя трое суток, как вол, работал. Дай же хоть пять рублей!

Толстый так закричал, что изо рта его забрызгала слюна.

— Чтоб ты лопнул, шайтан брюхатый! — сказал Петр.

Он взял меня за руку, и мы пошли к трапу.

— Петро, Петро! — позвал его Юсуф. — На! Бери, йолдаш!² — В одной руке он держал маленькую феску, а в другой серебряную монету. — Бери, йолдаш, бери!

Нас окружили турки, и каждый совал монету.

— Сен ийи адамсын!³ Бери, йолдаш, бери!..

Петр сначала отмахивался и говорил:

— Что вы, братцы! Не надо!

Но потом сказал:

— Ладно, возьму. Не для себя, а для этого мальчика.

¹ Слава аллаху за спасение! (турецк.)

² Товарищ (турецк.).

³ Ты хороший человек! (турецк.)

Спасибо, братцы! Может, еще когда встретимся, так выпьем по чарке. Оно, конечно, вам аллах не велит, а мы так, чтоб он не увидел.

Юсуф надел мне на голову красную фесочку, и мы с Петром сошли наконец на берег.

КРАЙ СВЕТА

Как только мы оказались на берегу, я сразу понял, что заехал на край света. В самом деле, где, если не на краю света, может быть такая улица! На одной ее стороне стояли красивые дома с богатыми магазинами, а на другой ничего не было и волны с белой пеной поднимались чуть не до самой мостовой. И деревья росли на улице не такие, как у нас: одни курчавые, в огромных бело-розовых цветах, а другие темные, прямые, с острым концом наверху. А экипажи! Каждый экипаж обит внутри бархатом. Везут его две, а то и три добрые лошади.

По улице шли и шли разные господа и барыни. Господа были в белых пиджаках и белых соломенных шляпах, а барыни в платьях всех на свете цветов, в шляпах с перьями и под зонтиками. Зонтики тут везде: даже над сиденьями пролетов, даже над головами лошадей.

— Давай, брат, отсюда выбираться, — сказал Петр, — а то как бы нам не запачкать об эту публику свои белоснежные костюмы.

Мы свернули в переулок и по переулку пошли все вверх и вверх. Люди, которые нам встречались, оглядывались на меня и говорили: «Ишь, турчонок идет!» Я раз даже сказал:

— Какой я турчонок, я русский!

Но Петр дернул меня за рукав и шепнул:

— Молчи. Пусть думают, что мы и вправду турки.

Если нам попадался на пути городской, Петр нарочно говорил мне что-нибудь по-турецки. Тогда и я ему отвечал словами, которые слышал от турок на пароходе. Один городской остановил нас и спросил Петра:

— Кто такой? Почему грязный?

Петр ответил:

— Хамал, тайфа¹.

— Зачем здесь? — не отставал городской.

¹ Грвзчик, матрос (турецк.).

Петр пожал плечами: дескать, не понимаю.

Тогда я сказал городовому:

— Дюштю чурек. Сандалы индирин¹.

И городской пошел своей дорогой, а мы своей. Так мы дошли до дома, над дверью которого покосилась старая, полинялая вывеска. На ней были изображены баран с закрученными рогами и винная бочка.

— Зайдем, — сказал Петр.

В комнате была буфетная стойка и три стола. За буфетом сидел человек, до пояса голый, с волосатой грудью и длинным носом, а за одним из столов ел мясо бритый старик, чем-то похожий на того паршивца, который выследил Кувалдина.

Петр бросил на стойку турецкую монету и сказал волосатому:

— Давай-едай шашлык-башлык!

Волосатый попробовал монету на зуб, подумал и наизал на длинную железную шпильку кусочки сырого мяса, а шпильку вставил в жестяную печку с горящим углем.

Мы с Петром сели за стол, весь черный от мух, и стали тихонько говорить, как быть дальше. Петр сказал, что надо заработать рублей пять или семь, чтоб купить мне билет до дома, а я ему ответил, что если он со мной не поедет, то лучше пусть и билета мне не покупает. Пока мы разговаривали, старик все прикладывал ладонь к уху.

Волосатый принес шпильку с жареным мясом, засмеялся и сказал:

— Бери шашлык-башлык, давай-едай.

Мясо было такое вкусное, что я больше уже ничего не говорил, а только ел.

Старик все наставлял и наставлял ладонь к уху, потом не вытерпел и спросил со своего стола:

— Не пойму я, почтенный, кто ты есть по своей нации. Головной убор на тебе определенно турецкий, а физиономия истинно русская. Ну-ка, ответь.

Петр ел и смотрел в сторону.

— Или тебе не интересно со мной в разговор вступать?

Петр молчал.

— А может, ты немой?

¹ Упал чурек. Спустить шляпку (турецк.).



*Если нам попадался на пути городской, Петр нарочно говорил
мне что-нибудь по-турецки,*

— Немой, — кивнул Петр.

— Ишь ты! — Старик злорадно хихикнул. — Совсем немой?

— Совсем.

— Здорово! А может, ты и слепой?

— Слепой, — ответил Петр.

— Так-таки ничего и не видишь?

— Почему ж ничего? Одну нахальную рожу вижу явственно.

— Так-так, — закивал старик. — А в участок хочешь?

— До участка ты меня не доведешь, — сказал Петр.

— Это ж почему?

— Потому что по дороге я из тебя свиную отбивную сделаю.

— Так-так, — опять закивал старик. — Так-так...

Семена короткими ногами, он вышел на улицу.

— Ходи сюда, — показал волосатый на дверь за буфетной стойкой. — Ходи скоро.

— Он что, ко всем так привязывается? — спросил Петр, сгребая прямо в карман остатки шашлыка.

— Царь скоро ехать будет. Вся Ялта полный полицейская собака.

Мы с Петром вышли во дворик, перелезли через забор, через другой и оказались на улице, где дома уже были поплотнее, а деревья такие же большие и в цветах. Потом я не раз замечал: стоит домик совсем плохонький, а около него растет дерево до самого неба, кудрявое, красивое.

Мы стали заходить во дворы и спрашивать, нет ли работы. В одном дворе мы сложили из камня забор, в другом напилили целую кучу дров. Конечно, все тяжелое делал Петр, а я только ему помогал. За день мы заработали рубль и двадцать копеек.

Солнце светило, светило — и вдруг пропало: это оно зашло за высокую с зубцами гору.

— Вот и вечер, — сказал Петр. — Теперь надо о ночлеге подумать. Не знаю, как на твой вкус, а по-моему, лучше всего нам лечь на пуховую постель и укрыться черным бархатным одеялом.

Я сказал, что и у меня такой же вкус, и мы по широкой каменистой дороге пошли опять вверх.

Тут дома уже попадались редко, а по обе стороны рос

густой лес. Петр свернул с дороги и зашагал между деревьями. Чтоб в темноте не потеряться, я вцепился в его пиджак. Ноги мои все время скользили и скользили; но что было под ними, я не знал. Мы остановились около какого-то черного и в темноте страшного куста.

— Вот тут мы и переночуем, — шепнул Петр. — Хвоя — наша пуховая постель, а черное небо — бархатное одеяло. Запах-то какой! Чувствуешь? Как раз в эту пору сосна цветет.

Пахло, правда, хорошо, но в лесу я был впервые и с опаской спросил:

— А волки нас не съедят?

— Самые прожорливые волки — там. — Петр показал в сторону, откуда мы пришли.

Как и на пароходе, он опять завернул меня в свой пиджак, и мы легли рядышком под кустом. В лесу было тихо-тихо, только когда налетал ветерок, к нам доносился шум, и я не знал, шумели это верхушки деревьев над нами или море внизу. Да еще слышно было, как звонко и дробно стучат копыта о каменистую дорогу: там все ехали и ехали экипажи. А с густо-синего неба по-прежнему светили звезды. Я прищуривал глаза, тогда от самой большой звезды ко мне тянулись сквозь ветки тоненькие голубые ниточки. От всего пережитого за день мне захотелось спать, и я уже задремывал, когда увидел новую звездочку: она светила не вверху, а внизу.

— Петр, что это? — спросил я. — Почему тут звезды на земле?

— Спи, спи, — сказал Петр. Он, наверно, подумал, что я уже вижу сон. Но потом тоже заметил голубенький огонек и засмеялся.

— А, ты вот про что! Это светлячок. Их много здесь, таких червячков. Звезды мерцают, а светлячки светятся спокойно.

Я положил голову Петру на плечо и опять посмотрел на большую звезду в небе. Теперь, наверно, и наши все спят не в комнате, а во дворе, где отец сколотил деревянный помост на кольях. Может, мама вот так же смотрит на эту звезду и так же тянутся к маминим глазам голубые лучики, а в глазах мамы полно слез.

— Петр, мы скоро заработаем рублей пять или семь? — спросил я.

— Как повезет, — ответил он. — В Ялте много нашего брата. Сюда на заработки даже из самой Персии нужда гонит людей. Ничего, как-нибудь заработаем. Лишь бы нам пореже с полицией встречаться, а в случае чего — и в рыбаки с тобой пойдем.

Я и раньше замечал, что Петр не любит встречаться с полицией, и теперь спросил:

— Петр, а отчего ты боишься полиции? Ведь мы с тобой не разбойники.

Но он на это ничего не ответил, а стал рассказывать, как целый месяц ловил с рыбаками на крючки стерлядь. Голос его делался все глуше, а потом и совсем пропал.

Проснулся я оттого, что вокруг меня все звенело. Я сначала щурился от света, а потом рассмотрел, что земля, на которой я лежал, усыпана тонкими зеленоватыми иголками и круглыми с трещинами шишками. К небу поднимались прямые, будто медные, стволы со странными игольчатыми листьями на мохнатых ветках. Птички, серенькие, красно-зеленые, желтые в черных крапинках, одни с длинными клювами, другие со смешными шляпками на макушке, перелетали с ветки на ветку, сустились, дрались, пищали, свистели, щелкали. А в кустах и траве что-то звонко стрекотало, будто хотело еще больше раззадорить всех этих птиц.

Петр сидел на земле с полуоткрытыми глазами. Спinoй он упирался в дерево, а руки держал скрещенными на груди. Заметив, что я проснулся, он кивнул мне и опять опустил глаза. Посидел так, вздохнул и, будто про себя, сказал:

— Хорошо на воле. Лучше воли ничего на свете нет. Эти слова про волю я от него слышал уже много раз.

— Петр, а разве ты был в неволе? — спросил я.

— От тюрьмы да от сумы никогда не зарекайся.

Вот всегда так: его о чем-нибудь спросишь, а он ответит и на это и в то же время будто еще на что-то.

Мы съели калач, которым запаслись вчера в городе, и выбрались из леса опять на белую каменистую дорогу. Но в город мы не вернулись, а с широкой дороги свернули на узкую и пошли по ней мимо каменных заборов и чугунных с прорезями ворот. Сквозь прорези были видны богатые дома, горки с цветами, дорожки, усыпанные мелкими круглыми камешками. А сквозь одни ворота мы

даже увидели огромную лягушку, изо рта которой высоко вверх лилась вода.

— Зайдем! — сказал Петр. Он просунул руку в прорезь ворот и открыл засов.

На нас сейчас же бросилась с хриплым лаем кудлатая собака, такая злая, что на ней даже шерсть дыбом встала. Но Петр на собаку не обратил никакого внимания и пошел прямо к дому. Наверно, это ей показалось удивительным: она перестала лаять и оторопело посмотрела нам вслед. Из каменного сарая вышел горбатый мужик с ключами на поясе и закричал на нас:

— Вы зачем ворота открыли? Кто вам позволил? Шляются тут с раннего утра!

— Мы открыли, мы и закроем, — миролюбиво сказал Петр. — Спроси у своих господ, нет ли какой работенки. Мы ничем не побрезгаем.

Но ключник продолжал кричать на нас и гнать со двора. Петр не обиделся.

— Нет так нет. Сейчас водицы напьемся и пойдем.

Мы подошли к лягушке и стали ртом ловить воду прямо на лету. Вода была вкусная и такая холодная, что занемели зубы. Ключник носился около нас, размахивал руками и то хрипло, то визгливо кричал:

— Шаромыжники! Босовня! Гляди-ко, чужую воду пьют, как свою собственную! Еще вздумают портки под фонтаном стирать! Вот кликну сейчас полицейского — насидитесь в участке!

Петр умылся и вытер подолом рубашки лицо.

— Славная водица, — похвалил он, очень довольный. Потом сказал ключнику с доброй улыбкой: — Ну чего ты желчью исходишь? Глянь-ко, пес и тот понял, что мы не жулики, а ты у своих господ злее пса кудлатого.

От этих слов ключник еще больше озлился и начал плевать. Тогда Петр взял его двумя руками за туловище, приподнял и посадил под лягушку, прямо в воду.

— Охладись, — сказал он.

И ключник сразу утих, злобу с его серого лица как рукой сняло, он даже улыбнулся, отчего во рту показались огрызки желтых зубов.

— Милый, я ж человек подневольный: как хозяин велит, так я и делаю.

— А кто твой хозяин? Небось жадюга?

— Известно кто: господин Малоховский. Да он еще не приехавши, он в Питере еще. Ну, дозвожь мне вылезти, вода-то больно холодная.

Брови у Петра сдвинулись.

— Как, как ты сказал? Малоховский? Уж не меховщик ли?

— Известное дело, меховщик. Только какой меховщик! Милльонщик!

— А ты... давно у него в услужении? — хрипло спросил Петр.

— Здеся? Почитай, седьмой год. Вылезти мне можно?

Петр молча повернулся и пошел со двора.

Он шел и шел по дороге, а брови у него не раздвигались, и о чем бы я его ни спрашивал, он не отвечал.

— Тут ничего не зарабатываешь, — сказал он наконец. — Надо идти в город.

Но и в городе работа не находилась. Мы раздобыли только сорок копеек: за тридцать Петр перенес два больших сундука с лодки на подводку, а гривенник мне дала барыня за розы, которые я нарвал, когда мы ходили мимо богатых дач, — розы там свисали наружу прямо с каменных заборов.

Хотя мы работали мало, но Петр почему-то ослабел и не захотел идти в лес ночевать.

— Переночуем здесь где-нибудь, — сказал он.

В самом конце города мы набрали в темноте на какие-то камни. Между камнями росла трава. Петр усмехнулся и сказал:

— Для бездомных вполне подходящее место.

Мы улеглись между камнями. Оттого, что Петр стал такой невеселый, я затосковал еще больше. Ночью он что-то бормотал, и я часто просыпался. Раз он даже зубами заскрежетал. Все-таки к утру я заснул крепко. Утром я увидел, что кругом нас камни не обыкновенные, а с вырезанными на них надписями, только буквы были мудреные, и ни я, ни Петр ничего прочесть не могли.

— А ведь мы с тобой на татарском кладбище ночевали, — сказал Петр. — Вот куда нас занесло.

Перед нами поднималась высокая серая стена.

— А там что? — спросил я.

— Не знаю. Наверно, чей-то двор. Ну-ка, загляни: может, работенка наклюнется.

Он высоко поднял меня на руках; так что я стал ему на плечи. Я увидел белый дом, сад, яму с водой, садовую скамейку. На скамейке сидел человек с темной бородкой и усами. Бледным пальцем он тер себе висок и прикрывал глаза так, будто ему больно смотреть. Большая птица на длинных голых ногах осторожно подошла к нему, вытянула шею и вдруг смешно затанцевала.

— Ладно, ладно, — сказал человек глухим голосом. — Знаем ваши повадки. Пойди лучше к Маше, она тебе кое-что припасла.

Птица опять вытянула шею и положила человеку на колени голову. Человек тихонько засмеялся и тут же закашлялся.

— Ах, журка, журка! — сказал он, откашлявшись, и погладил птицу по ее крылу, похожему цветом на грифельную доску. — Подхалимус! Ну, иди, иди к Маше.

Птица на шаг отступила, посмотрела на человека сбоку, одним глазом, будто проверила, правду ли он говорит, и побежала за угол дома. Человек опять приложил палец к виску.

Когда я рассказал это Петру, он пожал плечом.

— Гм... Дрессировщик, что ли?

Из «Каштанки» я знал, что мистер Жорж был бритый, толстенный и в цилиндре.

— Нет, — сказал я, — на дрессировщика он не похож, а похож на того доктора, который лечил нас с Машей.

— Ну, у докторов какая ж нам работа. Пойдем на пристань, может, там что подвернется.

И мы опять зашагали в город.

ЦАРЬ

Прошло еще три или четыре дня, а денег у нас не прибавилось. Мы зарабатывали так мало, что еле могли прокормиться. Да еще потратились на фуражку Петру, потому что он уже перестал выдавать себя за турка и феску подарил турку настоящему. А я по-прежнему ходил в красной феске с кисточкой, и на меня все оглядывались.

Теперь мы ночевали во дворе волосатого хозяина шашлычной: в случае, если появится полиция, мы знакомым путем, через заборы, убежим от нее.

Кроме Петра и меня, во дворе ночевали еще два человека. Тот, что помоложе, лежал на каких-то ящиках, подостлав под себя пальто. Был он худой, с желтым, без кровинки, лицом и с блестящими черными глазами. Другой, весь серый и дряблый, расстилал на земле ватное одеяло, а под голову клал мешок с сухарями и салом. Оба они сильно кашляли и кашлем будили нас с Петром. Прежде чем заснуть, худой говорил долго и желчно, а дряблый перед сном молился.

— Непостижимо! Вот не вмещается в моей голове — и только! — хрипел с ящиков худой, и даже в темноте было видно, как блестят у него глаза. — Сам бог предназначил Крым для тебя, для меня и для сотен таких же чахоточных, чтоб мы получали исцеление. Здесь все целебно: и воздух, и вода, и сосны, и каждая травинка. Волшебная красота природы и та гонит прочь наш недуг. А его, этот благословенный край, поделили между собой царь, великие князья и прочая свора сиятельных бездельников. Они строят тут для себя мраморные дворцы, а мы с тобой валяемся на пакостном дворе, вдыхаем вонь гниющих бараньих отходов! Непостижимо! Непостижимо!

— Да, в санатории или, к примеру, в пансиончике было бы куда полезнее! — смиренно отвечал дряблый.

— Ха! В санатории! В санатории, милый мой, только за один месяц надо выложить сто целковых. А я и за пять месяцев столько не получаю. Непостижимо! Восемнадцать лет я, как завещал наш великий народолюбец Николай Алексеевич Некрасов, сеял «разумное, доброе, вечное», выучил грамоте больше тысячи крестьянских детей и до того досеялся в школе с гнилой крышей, что начал кровью харкать. Жена обручальное кольцо и крестнательный продала, чтобы отправить меня в Крым. И что же? Прилег я вчера под сосной в парке, а сторож меня в три шеи прогнал: парк-то ведь графский! В санаторий! Читал я обращение Антона Чехова ко всем имущим людям: помогите, взывает писатель, построить санаторий для бедняков, больных туберкулезом! Но что-то санатория этого не видно: у имущих совесть жиром обросла, не скоро к ней человеческое слово доходит.

Петр лежал рядом со мной и, когда учитель умолк, тихонько шепнул:

— Это он про того Чехова, который «Каштанку» написал. Чехов ведь и сам туберкулезом болеет.

— Я вот у мирового судьи в письмоводителях состою, — заговорил дряблый. — В суде, сами знаете, без приношений не бывает. А меня отец учил: не бери, Алеша, мзды с народа, грех это. И я не беру. Так на двенадцать рублей и существую с женой и дочкой. Зато отец меня уважает. Крестьянин отец у меня. Собрался я в Крым, он свинку заколол, колбаски и салыца мне прислал. Вот я и кормлюсь. Ничего, я доволен. Бог с ними, со всеми князьями да графами. Как-нибудь просуществуем, ничего, как-нибудь... — Он покашлял и опять сказал: — Как-нибудь... Ничего...

— Эх, ты, «просуществуем»!.. — укоризненно отозвался учитель и тоже закашлялся.

Он кашлял так надрывно, что Петр даже побежал в дом за водой. Когда учитель пил, зубы его дробно стучали о жестяную кружку.

Потом он затих, и мы все уснули. Ночью, сквозь сон, я опять слышал кашель. Что-то хлюпало, булькало, хрипело, но открыть глаза у меня не было сил.

А утром я увидел, что учитель лежит неподвижно с восковым лицом. Подбородок и рубашка его были в темной, уже запекшейся крови.

Петр сказал:

— Не смотри, Митя, пойдем отсюда. — И увел меня со двора.

На улице я спросил:

— Петр, почему он в крови? Его убили?

— Да, — сказал Петр.

— Кто же его убил?

— Царь.

Я, конечно, и раньше знал, что царь может любого человека и казнить и помиловать, но чтоб царь ходил ночью по дворам и убивал тех, кто его укоряет, — этому я не поверил. Значит, Петр опять сказал так, что его надо понимать по-разному.

В тот же день я увидел царя.

В городе будто все с ума сошли. Люди все бежали и бежали куда-то, а солдаты и городовые становились стеной поперек улицы и не пускали. Мы с Петром попали в толпу и никак не могли из нее выбраться. Вдруг где-то

заиграла музыка. Толпа заревела, нажала и поплыла. Петр подхватил меня и посадил к себе на плечо. Толпа вынесла нас на ту улицу, за которой, кроме моря, ничего уже не было. По обе стороны улицы стояли в два ряда солдаты в белых рубахах и в фуражках с белым верхом: За солдатами, тоже в ряд, стояли гимназисты, а за гимназистами разные господа и барыни.

Музыка все играла. Откуда-то беспрерывно неся крик: «Ра-ра-ра-ра-ра!..»

Набежали городовые и начали выталкивать обратно тех, кто сюда прорвался. Но тут все закричали:

— Едет! Едет!.. Царь!.. Царь!..

Кто-то завопил так, будто его убивали:

— На ка-ра-ул!

Солдаты выставили перед собой винтовки со штыками.

Сначала по мостовой проскакали шесть всадников в красных шапочках с перьями. За ними показались еще шесть, но без перьев. Потом вырвались три здоровенных бородача на вороных конях. И, наконец, показалась карета. Царь сидел с царицей и дочками, и на голове его была не корона, а обыкновенный военный картуз с белым верхом.

Солдаты, городовые, барыни и важные господа выпучили глаза, перекосили рты и так заорали «ура», будто всех их кто-то щекотал и бил.

Царь был курносый, русый и мало похожий на свой портрет. А у царицы лицо было длинное, набеленное. В ответ на весь этот страшный крик царь только лениво прикладывал два пальца к картузу, а царица смотрела в спину кучеру и ни на кого не обращала внимания.

Дочек я рассмотреть не успел, потому что в это время какая-то женщина, вся в черном, отпихнула солдата, так что он чуть не упал, вырвалась на мостовую, повалилась перед каретой на колени и протянула вперед руку со свернутым в трубку листом бумаги. У царя голова дернулась, будто он испугался, но на женщину сейчас же набросились солдаты с офицером, схватили ее и куда-то утащили.

Карета поехала дальше, и царь опять стал прикладывать пальцы к картузу.

В тот же день Петр рассказал мне, что сам слышал в городе. У женщины, которая бросилась перед царем на

колени, был сын, студент. Он поехал в какую-то деревню, а там в это время мужики захватили панскую землю. Землей этой они пользовались спокон веков, еще до своего освобождения. В деревню пришли солдаты и стали стрелять в мужиков. Мужики отбивались камнями. Вместе с мужиками камни бросал и студент. Суд приговорил мужиков к каторге, а студента к смерти. Мать уговаривала студента, чтобы он просил царя помиловать его, но студент просить царя не захотел. Мать узнала, что царь едет в Крым, и тоже приехала сюда, потому что в Петербурге ее к царю не допустили.

Я спросил Петра:

— А здесь допустят?

Петр ответил:

— Нет.

— Но ведь царь видел, что она хочет ему что-то сказать. Она на коленях стояла перед ним. Разве он не может приказать, чтобы ее привели к нему?

— Может и не может.

— Почему не может?! — крикнул я. — Почему?

— Потому что он царь, — ответил Петр.

ТАИНА ПЕТРА

С тех пор как мы побывали на даче с зеленой лягушкой, Петр сильно переменялся: так иной раз задумывался, что даже не отзывался, когда я его окликал. Однажды он сказал:

— Пойдем, Митя, к ключнику. Мне надо разузнать кое-что.

Я спросил:

— Ты опять будешь купать его?

— Это как он себя поведет.

Ворота были на замке. Петр постучал. Ключник выглянул из сарая и опять спрятался.

— Боится, — усмехнулся Петр и громко крикнул: — Выходи, дело есть!

Но ключник не показывался.

— Выходи, я не трону. А не выйдешь — ворота поломаю, — предупредил Петр.

Ключник высунул голову и жалобно сказал:

— Побожись.

— Клянусь твоей бородой и твоим горбом, черномор ты этакий! — Когда ворота открылись, Петр приказал: — А теперь води куда-нибудь в холодок — нам побеседовать надо.

Ключник повел нас к сараю. Петр велел мне дожидаться под дубом, на садовой скамье, а сам с ключником вошел в сарай. Но дверь осталась открытой, и я слышал каждое слово:

— Расскажи мне все, что тебе известно о Наталье Петровне. Она была здесь? — строго спросил Петр.

— Что ты, что ты! — всполошился ключник. — Мне строго-настрого запрещено рассказывать, что тут делается. А насчет Натальи Петровны даже особый приказ был. Разве я могу ослушаться барина!

— Выбирай сам, кого ослушаться — меня или своего барина-подлеца. Только смотри не просчитайся.

— Да пойми ты, милый человек, что мне тогда хоть голову в петлю. Только раз я не исполнил его приказа — и с той поры хожу вот с этим добром за плечами.

— Так это он тебе горб сотворил?

— А кто же? Он самый. Так хватил золотым набалдашником по спине, что у меня и хребет треснул. А на него какая управа! Все перед ним сгибаются! Мильонщики!

— Все, да не все, — сказал Петр.

— Это верно: нашелся один смельчак, что на Невском при всем честном народе вытащил его из экипажа и об землю хватил. И теперь еще хромает хозяин мой. Да ведь где ж он, тот человек! В два счета на каторгу упекли. Может, и косточки его уже сгнили.

— Может, сгнили, а может, и не сгнили. Ну, начинай, рассказывай, а то как бы твои косточки не сгнили: у меня одинаково тяжелая рука — и на барина, и на его верных слуг-псов...

— Постой, постой!.. — прохрипел ключник. — Ты кто ж?.. Неужто тот самый?.. О господи!..

— А ты думал кто!.. Ну, будешь теперь говорить?

— Буду, — твердо сказал ключник. — Теперь буду. Не потому, что боюсь тебя, а потому, что уважаю. Только что ж, невеселая это сказка. И сейчас еще, как вспомню, сердце кровью обливается. Привез он, значит, ее сюда вскорости после того, как гипсы с ноги сняли. Навиделся я тут всяких красавиц, а такой, парень, еще не

видывал. Что статностью, что лицом, что голосом — всем взяла. Ну, да что тебе про это говорить, сам знаешь. Попервах он все больше лежал, а она хлопотала около него, чуть не с ложечки кормила. Потом, как он поправился, стали они прогулки делать: он в экипаже, а она — рядом, на гнедой кобыле. То к «Ласточкину гнезду», то на самую верхушку Ай-Петри, а то и в Бахчисарай... В Крыму есть где прогуливаться, были бы денежки да охота... Месяца два так-то ладно жили: «Сережа!», «Наташенька!», «Мерси!», «Пардон!» Но я-то его повадки хорошо знал. Сперва стал он отлучаться один, да так, что домой только к утру заявлялся. Ждет она, томится, пальцами похрустывает. Потом и прямо заявил: «Мне, моя дорогая, не позволяет положение жить под одной крышей с тобой. Ко мне графы да князья в дом вхожи, а ты, как-никак, цирковая наездница: нехорошо, если тебя будут в моем доме видеть. Переезжай-ка ты в гостиницу: снял я тебе роскошный номер — там и будем видаться». Горько, конечно, ей это было выслушать, но все-таки переехала. Я так думаю, полюбила она его не на шутку. Сам, наверно, знаешь: и собой он красавец что надо, и пыль в глаза пустить не дурак.

Раз вызывает она меня к воротам — ночью это было — и спрашивает: «Что, Пахомыч, дома Сергей Афанасьевич?» — «Дома-то он дома, да не велел, Наталья Петровна, никого к себе допускать». — «Даже меня?» — «Вас-то, Наталья Петровна, в особенности». — «Кто же, Пахомыч, в такую пору у него? Наверно, графы да князья?» Жалко мне ее было, я и сказал: «Да, вроде этого, Наталья Петровна. Счета да ведомости обсуждают». — «Что ж, говорит, пойду, не буду мешать им важными делами заниматься». Вечером другого дня опять она вызывает меня к воротам. В руке что-то большое, в бумагу завернутое. «Пахомыч, доложи обо мне Сергею Афанасьевичу: мне ему надо одну вещь отдать. Скажи, пусть не беспокоится: я его и минутку не задержу». — «Что ж за вещь такая, Наталья Петровна? — спрашиваю ее. — Как бы нам не рассердить барина». — «А это, говорит, горностаевая рогонда. Она ему еще пригодится, а мне уже ни к чему. Видишь, Пахомыч, твой барин три месяца ходил в Петербурге за мной следом, все в любви своей клялся. А любила я другого человека, который у

нас цирковых борцов обучал, и кольцами мы уже с ним поменялись. Да, видно, твой барин ловкач не из последних. Накинул он мне на плечи горностаевую ротонду, какая и княгине не каждой по средствам, у меня, дуры, и закружилась голова». Сказала она так, а тут, как на грех, и сам барин из покоев появился. Наталья Петровна подходит к нему быстрым шажком и говорит: «Вы миллионер, но как человеку вам цена — полушка. Вы и плевка не стоите загубленного вами Алексея. Вот вам за меня и за его пропащую жизнь!» И — бац его по щеке! Да так, что барин мой аж головой об кипарис стукнулся. А через три дня ее вытащили из моря мертвой. Кто знает, как это случилось. В акте написали, будто купалась, далеко заплыла — ну и потонула. Да ведь написать можно что хочешь, бумага все стерпит...

В сарае стало тихо. А когда Петр заговорил, то я еле узнал его голос.

— Ну, спасибо, браток. Конiec я еще на каторге узнал, а то, что она пощечину дала ему за мою пропащую жизнь, слышу впервой.

Из сарая Петр вышел со страшным лицом. До ворот он шел так тяжело, будто к ногам его привязали гири. А у ворот посмотрел на ключника прищуренными глазами и сказал:

— Доложи барину, когда он придет: приходил Алексей Крылов и обещал еще пожаловать. Пусть твой барин пишет завещание.

На улице Петр остановился около небольшого дома с зеленой вывеской: «Казенная винная лавка». В кирпичах дома были выдолблены маленькие круглые ямочки. Люди выходили из двери с водкой, вставляли горлышко бутылки в ямочку и вертели так, что сургуч крошился. Выбив пробку, они с бульканьем выпивали водку и несли пустую посуду обратно в лавку. Петр сказал:

— погоди, Митя, я только «мерзавчика», — и шагнул в дверь.

Из лавки он вынес маленькую бутылочку. Но потом стал заходить в каждую такую же лавку и к вечеру напился так, что еле добрал до татарского кладбища. Утром он сказал, что ему надо опохмелиться, и ушел, а вернулся без пиджака и опять пьяный. Мне он принес бублик и кусочек колбасы. Я сказал:

— Петр, побожись, что ты больше пить не будешь.

Но он ничего не ответил, лег между двумя могилами и заснул. Заснул и я, а когда проснулся, то Петра на кладбище уже не было. Я сидел на чьей-то могиле и плакал. Петр пришел только к вечеру, босой и такой пьяный, что сразу свалился. Тогда я начал его бить. Я бил его кулаками по чему попало, плакал и говорил:

— Не пей, не пей, проклятый, не пей!..

Пока я его бил, он смотрел на меня удивленно, потом повернулся на бок и заснул.

Утром он спросил:

— Митя, никак, ты меня вчера побил?

— Побил, — сказал я. — Подожди, я тебя еще и не так!

Он долго смотрел на свои босые ноги и думал. Потом сказал:

— Ладно. Раз ты дерешься, я пить больше не буду. Идем на пристань — может, подработаем.

К пристани как раз пришвартовался пароход. На берег сходили пассажиры, а татары-носильщики вырывали у них из рук чемоданы и несли к экипажам. Сошел и один господин в чесучовом пиджаке, с бородкой, в очках на шнурочке. Я как глянул на него, так сейчас же узнал: это был тот самый человек, перед которым танцевала длинноногая птица. За ним шел с чемоданом старик татарин. Мужчине почему-то все уступали дорогу, а многие снимали шляпы и кланялись. Маленькая гимназистка, поравнявшись с ним, тихонько ахнула, покраснела и сделала реверанс. Мужчина застенчиво отвечал на поклоны, покашливал и немножко сутулился, будто хотел пройти незаметнее.

— Кто это? — спросил Петр у носильщика.

— Не знаешь, что ли? — вроде даже обиделся за мужчину носильщик. — Чехов. — И положил чемодан на рессорные дрожки.

Мы стояли с Петром и смотрели вслед дрожкам, пока они не скрылись.

— Петр, почему ж мы не спросили, жива ли Каштанка? — чуть не со слезами сказал я.

— Растерялись мы с тобой — оттого и не спросили, — ответил Петр. Он подумал и добавил: — Да эдак и лучше: чай, к нему и без нас лезут все с разговорами.

ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ БЫКА

В этот день мы заработали девяносто копеек: Петр сгружал мешки с подводы на склад, а я опять нарвал роз и продал барыне. Мы были такие голодные, что пошли в столовую и сразу проели целый полтинник. От обеда осталось немного хлеба. Петр завернул его в газету и уже хотел сунуть в карман, но присмотрелся к газете и сказал:

— Вот где мой приятель шатер свой раскинул! В Симферополь его занесло.

Я спросил:

— Твой приятель цыган?

— Нет, мой приятель — хозяин цирка «Шапито», Сигизмунд Добжицкий. Семь раз прогорал на цирке и все-таки не бросил любимого дела. Один бог знает, как он выкручивается. А что, Митя, не направить ли нам свои стопы в Симферополь? Сигизмунд всегда выручал меня в трудную минуту.

Я обрадовался.

— Конечно, направить! Сегодня, да?

— Можно и сегодня. Вот только б на ноги чего-нибудь достать.

Мы зашли в шашлычную к волосатому. Петр пошептался с ним, и волосатый дал Петру старые головки сапог, жареного мяса и два больших чурека.

— Бери, — сказал он, — бери, минэ не жалко. Я хороший человек, ты хороший человек, малчук хороший человек, мы оба три хороший человек. Заработаешь — отдашь больше.

В тот же день мы выбрались из Ялты и зашагали по широкой каменистой дороге. Мы то поднимались вверх, то спускались вниз к самым морским волнам. Мы шли и шли и никак не могли миновать гору, похожую на медведя. Как одни и те же звезды всегда светились над моей головой, куда б я ни заехал, так и эта гора долго-долго не уходила из виду. Нас обгоняли или катили навстречу экипажи и поднимали белую пыль. От этой пыли и мы с Петром стали белые, будто выпачкались в муке. Когда я начинал отставать, Петр сажал меня на плечо и шел дальше. А иногда нас брали в арбу татары.

В Симферополь мы добрались только на третий день.

Мне казалось очень странным, что дома здесь городские, а заборы — низенькие, глиняные или сложенные из камня, как у нас в деревне. Но чем глубже мы пробирались в город, тем таких заборов попадалось меньше, и вот, наконец, мы вышли на улицу, где совсем не было заборов, а были только хорошие дома и парусиновые навесы над окнами магазинов. Навесов было так много, что, казалось, если подует ветер, вся улица поднимется и полетит.

Мы еще прошли немного и увидели цирк. Он стоял на площади, посредине базара, и тоже был парусиновый. У входа вертелся мужчина с размалеванным лицом, звонил в колокольчик и зазывал публику:

— Начинается представление всему свету на удивление! Акробаты, жонглеры, медведи, мартышки и такие, как я, шутишки! Покупай билет и глазей хоть сто лет! А ну, навались, за свои и чужие карманы держись, да быстрее, да скорее, пока я не захлопнул дверей!

Он хотел выкрикнуть еще что-то, но взглянул на Петра да так с открытым ртом и застыл. Петр ему подмигнул и прошел в цирк. Конечно, и я с ним.

— Где хозяин? — спросил Петр у билетерши.

Билетерша показала на фанерную дверь. Из-за двери слышался жалобный голос: «Горим, горим!» Петр потянул за ручку. В маленькой комнатухе бегал из угла в угол совершенно лысый человек с коротко подстриженными усами.

— Значит, опять горишь, Сигизмунд? — спросил Петр.

Лысый остановился, протер глаза и сказал:

— Кажется, у меня началась галлюцинация... Алексей, ты?!

Петр приложил к губам палец.

— Тс-с-с-с!.. Никакой я не Алексей. Я Петр, понятно? Петр Стрельцов, самарский мещанин, тридцати шести лет от роду.

Пан Сигизмунд даже присел.

— Матка боска! Так ты, значит... сбежал? Ах, Алексей, Алексей, не сошелся у тебя в жизни дебет с кредитом!.. А мальчик же этот кто?

— Вот по поводу мальчика я и пришел к тебе: помоги отправить его к родителям, одолжи на билет пять-шесть целковых.

— Пять-шесть целковых?! — Сигизмунд уставился на Петра серыми выпуклыми глазами. — Да ты розумешь, цо ты мовишь? Пойми: я горю! Мои люди уже два месяца не получают жалованья и работают ради святой любви к искусству. Ха! Пять-шесть целковых! Будь у меня хоть целковый, так я бы уже давно выпил склянку доброй старки!

— Я помогу тебе сделать полные сборы. Это уже не пять, а верных сто пятьдесят целковых. И все — на поправку твоих дел.

— Ты?.. Это каким же образом?

— Выбрасывай афишу: «Человек — против быка!» — и все тут.

— «Человек — против быка»? То ж бардзо добре! ¹ Но...

— Что — но?

— Но как же ты выступишь? Тебя же узнают.

— А маска зачем?

— Инкогнито?!. Матка боска, это ж чудесно! Инкогнито под черной маской — против стопудового быка! Весь город сбежится! Алексей... то есть Петр! Дай твою благородную руку! Сколько раз ты меня выручал!

Ночевали мы с Петром в этой самой комнатушке. К нам доносились музыка, крики «алле!», хлопки в ладоши, но мы так устали в пути, что даже не вышли посмотреть представление. И спали, пока нас утром не разбудил пан Сигизмунд. Он приколот к стене большую зеленую афишу, отступил на два шага и прищелкнул языком. На афише были изображены страшный бык и человек в маске.

— Шедевр! Город с ума сойдет!

Потом пан Сигизмунд внимательно осмотрел меня, прищурился и спросил:

— А из мальчика... ничего нельзя сделать? Турецкого барабанщика, например? А? Феска у него есть, остался пустяк — маленькая тренировочка с оркестром.

— Мальчика домой надо отправить, — строго сказал Петр.

— Это само собой, а перед этим — дебютик. Ох, и номерульку выкинем!..

И я не успел опомниться, как оказался в пустом цир-

¹ Очень хорошо! (польск.)

ке. Вверху, на площадке, музыканты дули в трубы и водили смычками, а я, один-одинешенек, стоял посредине круга и бил колотушкой в огромный барабан.

— Да у него же врожденное чувство ритма! — кричал пан Сигизмунд откуда-то с галерки. — Матка боска, он же родился барабанщиком! Ну и номерульку запустим мы на днях! Город с ума сойдет!

Но тут я вдруг увидел Зойку. Да, самую настоящую, живую Зойку! Она стояла у входа и таращила на меня зеленые глаза.

— Зойка!.. — крикнул я и, не помня себя от радости, бросился к девочке.

— Заморышек... Так это и вправду ты? — растерянно проговорила она. — Ой, да каким же ветром тебя занесло сюда?..

С галерки на Зойку посыпались ругательства:

— Обезьяна рыжая!.. Ящерица зеленая!.. Опять ты влезла не в свое дело?.. Отойди сейчас же от турка!.. Матка боска, за что ты меня наказала этой шкодой-девчонкой!.. Турок, на манеж!

— Подождите, пан Сигизмунд, ругаться, — гордо сказала Зойка. — Я, может, самого родного человечка встретила! Никуда ваша номерулька не денется. Пойдем, Митенька, на солнышко, расскажи, откуда ты взялся. — По щекам ее покатились слезы. — А бабка ж моя жива? Ой господи, если померла, так ты лучше мне и не говори!

Она взяла меня за руку и вывела из цирка. Мы толкались через базар на бульварчик и там сели на запыленную садовую скамейку. Я рассказал обо всем, что со мной случилось. Узнав, что причиной моего бегства из дома была барыня Медведева, Зойка ударила себя кулаками по коленям и выругалась.

— А я еще ей гуся поймала! Да если б знала, что она с тобой сделает, я б ей такого гуся дала!..

Но, когда я рассказывал, как ночевал на ее топчане у бабки и как бабка плакала, у Зойки опять закапали слезы.

— И никто мне тут не выкручивает ручки-ножки, — всхлипывала она. — Я сама могу выкрутить кому хочешь. Чего она, бабка, выдумывает? Лишь бы ей расстраиваться.

Оказывается, это был тот самый цирк, в который водил меня и Витю отец. Зойка, как тогда и я, вообразила, будто в нем и нашли свою Каштанку столяр Лука Александрыч и Ванюшка. Она зайцем прошмыгнула в ложу и попала на глаза пану Сигизмунду. Пан Сигизмунд сначала платил Зойке по пятиалтынному за то, что она опрокидывалась со скамьи, потом присмотрелся к ней и увез с собой. Одно бабка угадала: Зойка стала акробаткой. Далась ей эта наука легко, и пан Сигизмунд души в рыжей не чаает, хоть и ругает ее каждый день за проказы. Он даже обучил ее грамоте. Одного только Зойка не поняла: что это за знак такой — точка с запятой.

Мы вернулись в цирк, и меня опять приставили к барабану.

— Экая досада, что тут никто по-турецки не знает, — пожалел пан Сигизмунд. — Хоть бы два слова.

Я вспомнил, как говорили на пароходе турки, и сказал:

— По-турецки я знаю.

— А ну, скажи!

Я выговорил все турецкие слова, которые остались у меня в памяти.

Пан Сигизмунд даже ногой дрыгнул от радости.

— Молодец! Замечательно! Вали! Отбарабань, потом скажи эти твои турецкие слова и опять барабань!

Мою «номерульку» назначили на завтра, а в этот вечер был номер Петра. Как и предсказывал пан Сигизмунд, в цирке негде было яблоку упасть. Я сидел на ступеньке лестницы, что вела на галерку, и с нетерпением ждал, когда выступит Петр. Но сначала на манеже появилась Зойка. После многих номеров, которые я видел еще в своем городе, пан Сигизмунд объявил:

— Итальянские акробатки сестры Костеньоле! Непревзойденное сальто-мортале!

На манеж выбежали четыре девушки. На них были белые атласные костюмы в обтяжку. И я чуть не скатился со ступеньки, когда узнал в самой маленькой из «сестер Костеньоле» нашу Зойку. Но потом я подумал: если я стал турком, то почему Зойка не могла сделаться итальянкой? И успокоился. Девушки сплетались руками, становились одна на плечи другой, подпрыгивали и кувыркались в воздухе. Во всех фигурах, которые они

делали, Зойка-итальянка поднималась выше всех, и ни одна девушка не могла столько раз подряд кувырнуться в воздухе, сколько кувыркалась она. Поэтому ей и хлопали больше всех. Зато другие итальянки были красивые, а что Зойка рыжая, даже на галерке заметили и кричали: «Браво, рыжик!.. Даешь, рыжик!..»

Я тоже хлопал изо всех сил, но «рыжик» не кричал.

Петр выступил в самом конце представления. Сначала вывели быка. Вели его целых четыре человека за привязанные к рогам веревки. Бык был огромный, черный и страшный. А тут еще будто гром раскатился — так забарабанили музыканты. Пан Сигизмунд вышел на манеж и насмешливо сказал:

— Вызываю смельчака! Кто желает поставить этого теленка на колени, прошу взяться за его милые рожки!

Никто не отозвался. Пан Сигизмунд подождал и крикнул:

— Кто поставит быка на колени — получит из кассы цирка рубль и контрамарку на все представления до конца сезона! Нету желающих? Три рубля! Нету желающих? Пять!..

— Я желаю! — утробным басом отозвался кто-то с галерки.

По лесенке, перешагнув через меня, спустился здоровенный человечье, вроде нашего Пугайрыбки.

— Прощу! — поклонился пан Сигизмунд. — Рога к вашим услугам!

Здоровяк поплевал в свои огромные ручки, ухватился за рога и начал гнуть быка к земле. Бык мотнул головой — и здоровяк отскочил в сторону.

— Чтоб он сдох, твой бугай! — сказал он сердито.

В цирке захохотали.

Потом пан Сигизмунд предложил победить быка двум человекам. Но бык и двух отбросил.

Тогда пан Сигизмунд зычно крикнул:

— Таинственный инкогнито под че-о-орной маской!

И на манеж выскочил Петр. Он был в трико, и все увидели, какой он стройный и мускулистый. Весь цирк ему захопал, хоть никто еще не знал, поставит он на колени быка или бык и его отбросит. Петр подошел к быку и взялся за рога. В цирке стало так тихо, что я услышал, как потрескивает фитиль в керосиновой лампе.

Мускулы на руках у Петра вздулись. Бык мотнул головой в одну сторону, в другую, но Петр не отступил, а все прижимал и прижимал его к земле. И вот передние ноги у быка подопнулись. Он грузно опустился перед Петром на колени. Тут все смешалось: барабанный гул, музыка, хлопки в ладони, рев сотен глоток. Петр вскинул руку вверх и так, с поднятой рукой, побёжал с манежа.

А быку, наверно, было стыдно: он как упал на колени, так и стоял, с опущенной к земле головой. Его даже пришлось покрутить за хвост, чтоб он поднялся и ушел.

РАЗЛУКА

На другой день я опять барабанил под музыку в пустом цирке, а пан Сигизмунд с галерки кричал: «Идеальный музыкальный слух! Редчайший самородок! Шопен!.. Бетховен!.. Чайковский! Пусть мне старку только во сне видеть, если у нас не пойдут теперь сумасшедшие аншлаги!»

К вечеру акробатки начернили мне брови и надели на меня красную курточку с золотыми пуговицами. Акробаток звали Маня, Даша и Галя. Они все время хохотали и целовали меня в щеки, а Зойка на них кричала: «Отцепитесь, скаженные, чтоб у вас губы потрескались! Мед он вам, что ли!» В этой куртке я и пошел на манеж, когда началось представление. Пан Сигизмунд прокричал:

— Юный турецкий воин Ахмед-Мамед-Сулейман исполнит на барабанах «Турецкий марш» Моцарта.

Я промаршировал по кругу, потом сказал: «Чурек дюштю, сандалы индирин, гидин хайванлар, аллах шюкюр» — и забарабанил.

Ничего трудного в том, что я делал, не было, но публика мне хлопала даже больше, чем итальянкам-акробаткам, а когда я говорил турецкие слова, то какие-то черноволосые парни на галерке хохотали как сумасшедшие. Потом выяснилось, что это были болгары-огородники. Они знали по-турецки и сказали пану Сигизмунду, что моя турецкая речь, если ее перевести на русский язык, означает: «Упал чурек, спускайте шлюпку, разойдитесь, скоты, слава аллаху».

Так или иначе, но пан Сигизмунд опять оказался



*Бык мотнул головой в одну сторону, в другую, но Петр не отступил,
а все прижимал и прижимал его к земле.*

прав: мой номер с барабаном всем понравился. Единственный, кто остался равнодушным, был я сам. Мои мысли были заняты близкой разлукой с Петром и возвращением домой. И эта разлука наступила. Мог ли я ожидать, что она будет такой ужасной!

После того как Петр опять поставил быка на колени, пан Сигизмунд вынес из кассы золотую монету и опустил ее Петру в карман:

— Вот, Алеша.., то есть Петя, получи обещанное, — сказал он. — Пусть тебе останутся также и ботинки и трико. И знай, что я еще перед тобой в долгу. Но за Сигизмундом не пропадет. Сигизмунд сам не выпьет склянку старки, а своих людей выручит. Видит матка боска и пан Езус, что это правда.

Мы с Петром пошли в кофейную и там вволю поели. Потом мы вернулись в цирк, который к тому часу уже опустел. В Сигизмундовой комнатухе Петр лег прямо на землю, подостлав под себя только старые афиши, а я калачиком свернулся на столе.

— Вот, Митя, мы с тобой и заработали на дорогу, — сказал Петр. — Завтра ты поедешь домой. Слава богу! А то ты, как я заметил, уже стал втягиваться в бродяжничество. Ничего в этом хорошего нет. Ты сам видел в своей чайной-читальне, что это за люди — бродяги. И себе в тягость, и людям пользы никакой.

— Они лучше Медведевой, — возразил я.

— Медведевой-то они, конечно, лучше, да ведь нас, бродяг, нищих и пьяниц, Медведевы и породили. Твое, Митя, теперь дело — учиться, а вырастешь, тогда, если будет охота, весь мир объедешь, только не бродягой несчастным, а человеком полезным — матросом, а то и капитаном. Теперь вот люди летать начали. Чего лучше — под облаками птиц парить!

Я обещал Петру, что буду учиться, и стал просить его не возвращаться больше в Ялту.

— Чего так? — спросил он.

— А так! Ты его убьешь, того миллионщика, а тебя за это царь казнит.

— Убить бы его, конечно, не мешало, — в раздумье сказал Петр, — да не хочется руки пачкать в его поганой крови.

Мы еще немного поговорили и стали засыпать,



Вдруг дверь скрипнула, и я услышал в темноте чей-то свистящий шепот:

— Алексей!.. Скорей!.. Беги!.. Беги!..

— Что такое? — глухо вскрикнул Петр.

— Полиция!.. За тобой!.. Беги через манеж!.. Там есть другой выход, через конюшню!.. Скорей!.. За мной!..

Но было уже поздно. У двери послышался топот многих ног, и в комнате замелькали ручные фонари.

Кто-то крикнул:

— Вверх руки! Стрелять будем!.. Наручники!..

На Петра набросилась целая ватага полицейских. Я сорвался со стола и заколотил их кулаками по чему попало. Но Петр сказал:

— Митя, перестань. Пан Сигизмунд, возьмите его.

Среди полицейских топтался низенький человек в поношенном пиджаке. Когда свет от фонаря осветил ему лицо, я сразу же узнал того противного старика, с которым Петр поругался в шашлычной.

— Так, так, так, — проговорил он гундосым голосом. — Со свиданьем, Алексей Иванович Крылов, со свиданьем. А я думал, куда же это наш Алексей Иванович подался из Ялты. Обещал сделать из меня отбивную — и нате вам, исчез, аки дым в небесах. Эх, Крылов, Крылов! Ну, бежал с рудников, ну, купил паспорт, ну и сидел бы себе смирненько на иждивении какой-нибудь приятненькой да богатенькой мадамы, а ты вздумал свою прыть выказывать. Шутка ли, именитую миллионщицу по мордасам смазал при всем честном народе! Да и к другому миллионщику на дачу зачастил. — Старик отступил на шаг и грозно сказал: — Полиция все знает, все! Ведите его!

И Петра увели.

ЧИКИ-РИКИ

Я так долго плакал, что пан Сигизмунд рассердился и накричал на меня. Потом вздохнул, взял меня за руку и увел в гостиницу, в свой номер. Всю ночь под паном Сигизмундом скрипела кровать. Он засыпал, всхрапывал и просыпался, а проснувшись, бормотал: «О матка боска, пан Езус, когда же холера возьмет всех этих царских псов! О, пся крев, пся крев!»

Утром он накормил меня и повел на вокзал. С нами шли Зойка и три акробатки. Акробатки больше уж не смеялись, а шли насупившись. В большом зале вокзала народу было тьма-тьмушая и так накурено, что не продохнешь. Пан Сигизмунд куда-то убежал. Мы хотели перейти в другое помещение, над дверью которого было написано: «Зал для пассажиров первого и второго классов», но бородатый в золотых галунах старик нас туда не пропустил. Старик поднял над головой звонок, позвонил и басом пропел:

— Первый звонок на Лозовую, Харьков, Москву, Петербург! Кто едет, занимайте места!

В зале началась суматоха. Люди тащили мешки за плечами, корзины с вишнями, ободранные чемоданы. Одни бежали сюда, другие туда, сталкивались, ругались и опять бежали. Нас затолкали в угол и чуть не задушили. Прибежал с билетом в руке пан Сигизмунд, и мы тоже заработали локтями. Наконец мы вырвались на воздух и как сумасшедшие побежали к поезду.

Но в какой вагон ни заглядывали, всюду уже было полно. Из одного окна высунулся парень с жульническими глазами и с серебряной серьгой в ухе.

— Красотки, сюда! Сюда!.. — замахал он рукой акробатам. — У нас весело!..

Из открытых окон вагона неслась знакомая мне песня:

Ой, гоп, чики-рики,
Шарманщики-рики,
Ростовские
Карманщики-рики!

У дверей вагона стоял человек в железнодорожной форме и хмуро смотрел на бегущих людей.

— Кондуктор, место есть? — спросил пан Сигизмунд.

— Место-то есть, да... — Железнодорожник замялся.

— Что такое?

— А вы не слышите? Жулики с «дела» домой едут. Пассажиры опасаются: заглянут — и назад.

— Ну, нашему пассажиру нечего опасаться, — засмеялся пан Сигизмунд. — У него вошь за душой.

Жулики нас встретили веселыми криками:

— Барышенции!.. Папаша!.. Сидайте!.. Мускатику хотите?

Когда они узнали, что еду только я, то поморщили носы.

— Э, жалко!.. Такие крали — и на тебе!.. Это даже неблагородно с вашей стороны: подложили нам турка — и драпу!

Зойка сунула мне вязаный платок.

— Ночью, может, холодно будет, так ты закутайся. А приедешь домой, отдай бабке. Он пуховый, из козьей шерсти, тепленький. И ходи до бабки чаще. У меня только

и есть на свете — ты да бабка. — Она размазала ладонью слезы и задорно сказала: — Я не успокоюсь, пока не сделаю зараз четыре сальто-мортале. Всех на свете акробаток побью. В самый Петербург поеду! Тогда моя бабка заживет! На извозчике ездить будет. А ты, Митенька, тоже не поддавайся. И учись там поусердней, чтоб все точки с запятыми превзошел.

А пан Сигизмунд в это время говорил кондуктору:

— Ты ж не забудь перевести мальчика в Синельникове на ростовский поезд. Вот тебе, голубчик, двугривенный, выпьешь за мое здоровье. Да не просто вытури в Синельникове из вагона, а сам доведи до ростовского поезда, а то как бы хлопчик не заехал к чертовой матери... Вот тебе еще пятак на леденцы ребятам!

Ударили три раза в колокол, снаружи кто-то засвистел. Пан Сигизмунд, а за ним Маня, Даша и Галя бросились из вагона. Последней выскочила Зойка. Вагон дернулся, закрипел, под ним что-то застучало, забормотало, и все в окне поплыло назад. Зойка еще долго бежала рядом и кричала:

— Закутайся ночью в платок, слышишь? А бабка пусть чай крепкий не пьет — для сердца вредно!..

Что она еще кричала, я не расслышал, потому что жулики изо всех сил заорали:

Козел козлиху
Долбанул в пузиху.
Не плачь, козлиха,
Заживет пузиха!

И замелькали в окне телеграфные столбы, железнодорожные будки, круглые водокачки, красные фуражки начальников вокзалов. Всю дорогу жулики пили водку и потешались надо мной, особенно тот, что с серьгой. Он повязывал мне на голову Зойкин платок и дразнил:

— Марусечка!..

Один жулик, одетый, как барин, но с перебитым носом, сказал:

— Поедем с нами в Ростов. Я из тебя мирового вора сделаю, хочешь? Ты ж такой заморыш, что в любую форточку влезешь.

Я сказал, что не хочу лазить в форточки,

— А чего ж ты хочешь?

— Я хочу под облаками летать!

Жулики сначала опешили, но потом тот, что с серьгой, сказал:

— Куда тебе под облака! Под облаками орлы летают, а ты воробей.

Я обиделся и сказал:

— Сам ты воробей! Чижик!

Он хотел схватить меня за ухо, но тот, что с перебитым носом, прикрикнул:

— Ша! Не замай младенца!

Они начали ругаться, но остальные их разняли, и они опять стали пить водку.

Один спросил, где я украл феску. Я сказал, что мне ее подарил турецкий матрос Юсуф. Они принялись расспрашивать меня. Я рассказал все, что со мной случилось.

На станции Синельниково мы пересели в ростовский поезд.

Так я с жуликами и доехал до своего города. Жулики поехали дальше, в Ростов, а я пошел домой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

К чайной я подходил, когда уже стемнело. Освещенные окна были видны еще издали. «Прогнали отца или не прогнали? — с дрожью в душе думал я. — Открою дверь, а за буфетом уже не отец сидит, а кто-нибудь другой. Где я буду тогда искать своих! Город большой, в нем хоть кто затеряется. И останусь я один на свете, без отца с матерью, без Петра».

Я подошел ближе и заглянул в окно. О радости! За буфетом сидел отец и щелкал на счетах. Я прошел дальше и заглянул в окно «того» зала. Там, за длинным столом, среди босяков сидел Витя и с кем-то играл в шахматы. Я обрадовался еще больше, но тут же к радости примешалась обида: занимаются своими делами, будто я и не уходил из дому. Наверно, им все равно, жив я или уже давно где-нибудь ноги протянул.

Теперь страх подкрался с другой стороны: «Что, если отец начнет меня бить? Тогда хоть опять беги куда глаза глядят».

Я вскарабкался на забор и прыгнул во двор, на кучу

угольной золы. Отсюда тихонько пробрался в нашу комнату. В комнате было темно и тихо. Я даже слышал, как бьется у меня сердце. Вдруг близко зашлепали босыми ногами. Конечно, это Маша. Я проворно залез под кровать. Но Маша услышала шорох и испуганно крикнула:

— Кто тут?..

Не дождавшись ответа, она убежала.

Я затаил дыхание. Через минуту послышался знакомый скрип маминых туфель и шлепанье Машиных ног. Мама и Маша стали чиркать спичками.

Мама сказала:

— Это тебе почудилось.

— Нет, не почудилось, — ответила Маша. — Я слышала своими ушами. — И сейчас же крикнула: — Ой, под кроватью кто-то!..

Мама опять чиркнула спичкой, нагнулась и не своим голосом сказала:

— Боже мой, Митя...

Маша взвизгнула и умчалась.

А еще через минуту отец, мама, Маша и Витя хватали меня руками, прижимали к себе, целовали в щеки, в нос, куда попало.

Потом отец всех из комнаты услад и начал мне говорить, как я нехорошо поступил, что ушел из дому. Я сидел понурясь на кровати, а он ходил по комнате и все говорил, говорил, говорил. И я уже слов не понимал, а только слышал его голос и с тоской думал, когда же он кончит, чтобы я мог встать и побежать к Вите и Маше.

Наконец он кончил. Я сказал:

— Прости, папочка!

А за дверью стояли Маша и Витя и ждали. Как только я вышел, они потащили меня во двор, чтобы я им все рассказал. Им не терпелось узнать, где я был и почему на мне турецкая феска.

Отец раньше времени закрыл чайную. Мы сели в «этом» зале ужинать. Мама все подкладывала и подкладывала мне на тарелку. И тут, при ярком свете газового фонаря, я увидел, что у отца клочок волос стал белым, будто его посыпали мукой.

Мы, дети, очень любили маму, а отца боялись. Но сейчас, когда я увидел этот седой клочок, мне стало жалко отца до слез.

Узнав, как арестовали Петра, отец сказал:

— Сволочи! Петра небось сразу нашли, а ребенка, сколько я ни обивал пороги в полицейском управлении, и не подумали искать!

Наконец мы улеглись. Мама потушила лампу и зажгла ночник. Я был счастлив, что вот опять дома, что вижу на потолке знакомый светлый кружок от ночника и слышу, как рядом посапывает Витя. Но седой клочок все стоял перед моими глазами и не давал мне уснуть. Я думал: ведь отец любит нас и лезет из кожи, чтобы одеть и прокормить, почему же он часто бывает такой несправедливый с нами? Без него мы громко разговариваем, смеемся, но, только он покажется в дверях, мы сразу умолкаем.

Я уже засыпал, когда отчетливо услышал голос отца: «Выгонят!» Я поднял голову. Но нет, в комнате было тихо. «Выгонят»!.. Гадкое, противное, мучительное слово! Это оно всему причиной!» — смутно подумал я.

Но счастье, что я опять дома, с такой силой нахлынуло на меня, что я обнял руками подушку и заснул.

На другой день я узнал, что мое бегство, какое оно горе ни причинило всему нашему семейству, спасло отца.

Медведева из себя выходила, требуя, чтобы отца выгнали. И ему уже объявили, чтобы он очистил помещение. Но когда узнали, что его сын, боясь наказания за дерзкий смех над дамой-патронессой, бежал из дому, то смягчились и не тронули. Говорят, за отца хлопотала мадам Прохорова, та, что с усиками. Мама сказала:

— Дай бог ей здоровья. Все-таки она хорошая, хоть у нее и ветер в голове.

И жизнь пошла по-прежнему: я сидел за буфетом, Маша мыла на кухне посуду, а Витя играл в «том» зале в шахматы и следил, чтобы босяки не рвали газеты на сигарки.

Когда наступил август и листья на деревьях стали сохнуть, все мы перешли спать из комнаты во двор. И вот, проснувшись ночью, я опять услышал разговор мамы с отцом. Мама говорила:

— Что же это такое! Переехали из деревни в город, чтоб дети учились, а они пошли в половые да судомойки. Дошло до того, что из дому бегут.

— Чтоб учить — надо деньги иметь, — отвечал отец. — А где их взять, деньги эти?

— Да ведь немножко от покойного Хрюкова еще осталось, царство небесное неудачнику!

— Те я хотел про черный день придержать...

— Про черный день!.. Куда уж черней, когда вшивых босяков обслуживаем!.. — Мама помолчала и сказала: — Конечно, не в гимназию, а хоть бы так куда-нибудь. В четырехклассное городское, что ли... Там, говорят, за право учения с бедных могут и не брать...

На другой день отец посадил меня за таблицу умножения.

А еще через неделю мама перекрестила меня, и я пошел с отцом в школу держать экзамен.

В школе за столом сидели учитель с золотыми пуговицами на тужурке и батюшка. Они вызывали мальчишек к столу и задавали им разные вопросы. Вызвали и меня.

Батюшка спросил:

— Молитву господню знаешь?

— Знаю, — ответил я.

— Ну, прочти.

— «И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим. Воздайте кесареви — кесарево, а божие — богovi!» — бойко прочитал я.

— И все? — удивился батюшка. — А где же «не введи мя во искушение, но избави мя от лукавого»? Где «хлеб наш насущный даждь нам днесь»? И потом — зачем ты приплел «кесареви — кесарево»? Это же совсем из другого места.

Я молчал.

— Не силен, брат, ты в слове божием, — вздохнул батюшка.

Тогда за меня взялся учитель. Он сказал:

— Возьми мел и напиши: «Просьба принять меня в приготовительный класс».

Я знал, что Витя держит экзамен в первый класс, и написал на доске: «Прозба принять меня в первый клас».

— Ишь, куда захотел! — усмехнулся учитель. — Ну, а таблицу умножения ты, «прозба», знаешь?

— Знаю, — ответил я.

— Ну, скажи.

— Пятью пять — двадцать пять, шестью шесть — тридцать шесть, семью семь — сорок семь, — с готовностью ответил я.

— Здорово! — удивился учитель. — А стишки?

Я хотел прочитать стишки про «наоборот», которые читал клоун в цирке, но побоялся участка и прочел про козла с козливой. Батюшка так засмеялся, что у него запрыгал живот, а учитель только головой покачал.

— Эх, ты! Ну, прочитал бы про травушку-муравушку или про букашку, а то на тебе — про козлику!

Он оглядел меня с ног до головы, подумал и сказал:

— А занятый. Жалко такого не принять.

— Как же его, Николай Петрович, принять, когда он молитвы господней не знает! — ответил батюшка и вытер красным платочком глаза. — Ох, насмешил меня, грешного!

— А вы, батюшка, поучите его молитве этой, он и будет знать.

Учитель мне понравился, и я сказал:

— Вы только примите, а я все точки с запятыми превзойду.

И меня приняли.

С этого дня пошла новая жизнь.





П О В Е С Т Ь В Т О Р А Я

ВЕСНА

ЧЕТЫРЕ УРОКА

— Мимоходенко Дмитрий!

Я пошел к доске. С парты мне видны были стриженные затылки всех мастей и бородатое лицо Льва Савельевича, склоненное над классным журналом. Теперь, когда я стоял у доски, я видел черную волнистую макушку учителя и много мальчишеских рожц. Конечно, все мальчишки уже приготовились прыскать и хихикать: раз Лев Савельевич вызвал к доске Заморыша — значит, будет потеха. А главное, у каждого пропал страх, что Лев Савельевич может вызвать сегодня и его: потеха с Заморышем раньше звонка никогда не кончалась.

— Учи-ил? — по обыкновению нараспев, спросил меня учитель.

— Учил, Лев Савельевич, — охотно ответил я.

— С любо-овию?..

— Нет, Лев Савельевич. Разве интересно склонять по-церковнославянски «раб»?

Мальчишки захихикали. Учитель повернулся ко мне лицом:

— И ты мне это так прямо и говоришь?

— А как же! Вы же сами приказывали нам говорить всегда правду. От слов «рабоу», «рабямь», «рабе» у меня затылок болит.

Учитель долго молчал, потом вздохнул и потянулся за ручкой.

— Ну что ж, раз ты сам признаешься, то незачем и время тратить на опрос. Ставлю тебе единицу.

Он обмакнул перо в чернила, но ставить отметку в журнале не спешил, видно, ждал, что я скажу.

И я сказал так, будто советовался с ним, какую правильнее поставить мне отметку:

— Единицы, наверно, мало: все-таки я два часа зубрил. Да вы меня, на всякий случай, спросите, Лев Савельевич.

Учитель взял в руку свою длинную бороду, засунул кончик ее в рот. Пожевав бороду, он сказал:

— Хорошо, Мимоходенко, я проверю, чего ты достиг за два часа зубрежки без любви к предмету. Но прежде ответь мне на такой вопрос: представь себе, что ты идешь по улице... Да, по улице...

Все с любопытством ждали, что сегодня придумал Лев Савельевич, чтобы потешиться надо мной. По голосу учителя я, конечно, догадывался, что вопрос, который он мне задаст, будет каверзный.

— Так вот, ты идешь по улице... Представил это себе?

— Нет, Лев Савельевич, еще не представил.

— Почему?

— Да вы же не сказали, по какой: по Петропавловской, по Ярмарочной или по Приморской.

— Все равно, по улице вообще.

— Как же все равно? На Петропавловской дома большие и магазинов не счесть, зато деревьев почти совсем нету, а на Ярмарочной тополи растут, зато дома маленькие.

— Ну хорошо, пусть будет по Петропавловской. Представил?

— Теперь представил.

— Вот идешь ты и видишь: стоит на тротуаре лоток. Представил?

— В каком же это месте — лоток?

— Ну, скажем, около музыкального магазина Когеля.

— Там, Лев Савельевич, лотки никогда не стоят. Лотки дальше, около магазина Арбузова.



— Ладно, пусть около Арбузова, — согласился Лев Савельевич. — И вот ты видишь открытый лоток, а на лотке халву.

Мальчишки разводят руками так, будто растягивают резиновую ленточку: тяни, мол, тяни. И я тяну.

— А какая халва, Лев Савельевич? Медовая или сахарная?

— Допустим, сахарная. Представил?

— С орехами или без орехов?

— Скажем, с орехами. Представил?

Я прикрыл глаза и так стоял до тех пор, пока Лев Савельевич не сказал:

— Ну?

— Представил, Лев Савельевич.

— Хорошо. Вот и ответь мне, Мимоходенко, как ты поступишь: пройдешь мимо лотка или остановишься и поглазеешь?

Я вздохнул:

— Чего ж глазеть, Лев Савельевич! Денег-то все равно нету.

— Значит, пройдешь мимо?

— Мимо, Лев Савельевич.

— А если б в кармане у тебя медяки звенели? Остановился б?

— Тогда б, конечно, остановился.

— Ага! Остановился б! — торжествующе вскричал учитель. — Остановился б! Так какой же ты после этого

Мимоходенко, если не мимо проходишь, а останавливаешься около каждого лотка с халвой?

Довольный своей выдумкой, учитель тоненько, с взвизгиванием, смеется. Смеется и весь класс. Сбитый с толку, я молчу.

Вдоволь насмеявшись, учитель сказал:

— А теперь просклоняй мне по-церковнославянски слово «раб». Послушаем, что у тебя получается, когда ты зубришь без должной любви к предмету.

Я взял мел и точно, как напечатано в церковнославянской грамматике, написал на доске слово «раб» во всех падежах, даже ударение поставил над «е» в форме звательного падежа. Пока я писал, Лев Савельевич жевал бороду и косился на доску.

— Так, правильно. Рабё. Именно рабё. Что ж, Мимоходенко, поставлю тебе тройку с минусом. Поставил бы тебе пять, но две единицы высчитываю из оценки за нелюбовь к предмету, а минус ставлю в назидание, дабы ты впредь с должным чувством относился к языку, на котором совершали богослужение еще наши далекие предки.

— Адам и Ева, — вставил верзила Степка Лягушкин, желая показать свои знания.

— Адам и Ева, — машинально повторил Лев Савельевич, но тут же спохватился и назвал Степку дураком.

Вписав в журнал тройку с длинным и толстым, как бревно, минусом, учитель ласково сказал:

— Ну как, Мимоходенко, ты доволен? Правильно я тебе поставил оценку?

— Правильно, Лев Савельевич, — ответил я с удовольствием. — Все-таки три с минусом это же не три с двумя минусами, правда?

— Постой, постой! — потянулся опять за ручкой Лев Савельевич. — Именно с двумя! Второй минус за то, что ты, негодяй, осмеливаешься говорить со мной, как равный с равным.

Но тут весь класс как мог стал на мою защиту:

— Лев Савельевич! Это же не потому! Лев Савельевич, это ж потому, что он у нас немножко пристукнутый! Лев Савельевич, не ставьте ему второго минуса!

Раздался звонок, и учитель, еще раз укусив бороду, вышел из класса,

Только Николай Петрович, тот добрый учитель, который принимал меня в подготовительный класс, время от времени ставил мне четверки, но Николая Петровича в нашем училище уже три года нет, а все остальные учителя, как бы хорошо я ни ответил, никогда мне больше тройки не ставили. Почему — не знаю. Может, потому, что я щуплый, как цыпленок, и младше всех в классе. Как же такому ставить четверку? Вот Алексей Васильевич — тот мог бы и мне поставить четыре, но он редко опрашивает учеников. Меня еще ни разу не спрашивал: так у меня по истории никакой отметки и не стоит.

В перемену ко мне подошел круглоголовый, плотный Илья Гирия. Он хлопнул меня по спине и сказал:

— Молодец, Заморыш! Здорово растянул разговор. Если бы не ты, стоять бы мне сегодня истуканом у доски: у меня от того «рабе» язык вроде суконного делается. — Он хитровато подмигнул мне: — Задачи решил?

— Решил, — ответил я, заранее зная, к чему дело клонится.

— Наверно, неправильно?

— Правильно.

— И с ответом сходится?

— Сходится.

— Ну-ка, дай, проверю.

Я охотно протянул ему тетрадь. Илья сейчас же принялся списывать решения. Списал и сказал:

— Правильно. А я думал тебе помочь.

Для списывания Илья выбрал перемену перед уроком истории не случайно: он, как и все мы, знал, что Алексей Васильевич не скоро появится. И правда, Гирия успел переписать решения всех трех задач, сыграть у стенки с Лягушкиным в перышки, схватиться с коренастым Петей Марковым в классической французской борьбе и под гиканье всех ребят, сопя и кряхтя, припечатать его лопатки к запыленному полу, а Алексей Васильевич все еще копался в учительской, подбирая исторические карты. Помогать ему в этом отпавилось чуть ли не полкласса. Во всем двухэтажном здании стояла тишина, а наш класс ходуном ходил.

Но вот запахнулась дверь, и быстрым, легким шагом вошел Алексей Васильевич. Как всегда, на нем не форменный синий сюртук с золотыми пуговицами, а корет-

кий пиджачок и черный галстук с крапинками. Алексей Васильевич худощав, щеки впалые (говорят, у него чихотка), через пенсне видны добрые светлые глаза. Под мышкой он держит классный журнал и кипу каких-то брошюр, а в руке — спичечную коробочку с кнопками. За Алексеем Васильевичем гурьбой идут его помощники, и каждый несет вчетверо сложенную историческую или географическую карту. Учитель подходит к столу с таким видом, будто сейчас начнет объяснять урок, но, подойдя, задумывается, раскрывает брошюрку и принимается ее молча читать, видимо совершенно забыв, где он находится. Читает, что-то подчеркивает карандашом и машинально время от времени, не отрывая глаз от книги, шепчет: «Тише!..» Мальчишки уже развесили на доске, подставках и всех стенах карты и занялись своими делами: там играют в перышки, там в кружочки и крестики, причем выигравший дает щелчок в лоб проигравшему; там разложили на парте хлеб и сало и уписывают за обе щеки.

Когда до звонка осталось минут двадцать, Алексей Васильевич вдруг оторвался от книжки и со словами: «Да что же это такое!» — подбежал к передней парте. Здесь он схватил за волосы первого попавшегося под руку мальчишку и задал ему выволочку. Покрасневший, как вареный рак, мальчишка с ревом закричал:

— За что вы меня!.. Один я, что ли!.. Все кричат!..

Алексей Васильевич отступил на три шага и возмущенно сказал:

— Это же безобразие!..

Некоторое время он смотрел на наказанного, потом сокрушенно вздохнул, опять подошел к нему и погладил по голове.

Наступила полная тишина. Ребята смотрели на Алексея Васильевича виноватыми глазами: до чего довели человека! Да какого! Многие из нас могли бы жизнь за него отдать.

Алексей Васильевич вернулся к столу и с расстроенным видом стал листать какую-то книжку. Мы слушали шелест переворачиваемых страниц и сидели не дыша.

— Да, да... — проговорил наконец учитель, и мы все поняли, что он продолжает свои размышления, но теперь уже вслух. — Да, да... За период жизни одного человека

сколько всемирно известных исторических событий! Гибель испанской «Непобедимой армады», Варфоломеевская ночь, казнь шотландской королевы Марии Стюарт, крестьянские восстания в Австрии, крестьянские восстания против турок и венгерских феодалов... А какие люди жили одновременно с этим человеком! Галилео Галилей, Питер Пауль Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Пьер Корнель, Мигель Сервантес де Сааведра, Лопе де Вега... Кто же этот великий, бывший современником других великих и свидетелем неизгладимых в памяти человечества событий? Имя ему — Вильям Шекспир! — Алексей Васильевич склонил голову набок, помолчал, будто прислушивался к давно минувшим событиям. Потом раскрыл книжечку, на обложке которой стояло: «Ричард III», и принялся читать:

А причастившись тайн, соединим
Мы с Белой розой Алюю навек,
О, долго Англия была безумна,
Сама себя терзала в исступленье:
Брат брата убивал в слепом бою,
Отец убийцей был родного сына,
Сын по приказу убивал отца...

Раздается звонок, но Алексей Васильевич не слышит и продолжает читать. Мы не спускаем с него глаз. За дверью крики, топот. Алексей Васильевич читает. Опять звонок. В коридоре постепенно все стихает. Алексей Васильевич читает. И вот раскрывается дверь, на пороге появляется Артем Павлович, наш учитель математики. Он недоуменно таращит глаза.

— Э-э... Алексей Васильевич, это, кажется, мой урок?

Алексей Васильевич, в свою очередь, смотрит на него с недоумением, потом спохватывается, кладет под мышку журнал с кипой брошюр и газет и быстро уходит.

На том урок истории и закончился. А задавал Алексей Васильевич на этот день «Тридцатилетнюю войну».

От Артема Павловича, когда он еще только появился в дверях, понесло на нас крепкой сигарой и водочным перегаром. Усевшись за стол, учитель журнала не раскрыл, а просто спросил:

— Кого я еще не вызывал?

— Меня, — поднял руку Илька. — Идти?

— Иди, — кивнул Артем Павлович.

Илька положил ему тетрадь на стол и начал решать задачу. Но что-то пальцы слушались его плохо: мел выпадал из руки и закатывался то под парту, то под учительский стол. Да и голос был какой-то спотыкающийся. Кое-как Илька добрался до последнего действия, разделил 27,5 на 4,5, поставил знак равенства и вывел 13.

Учитель сидел спиной к доске и о чем-то думал.

— Готово, Артем Павлович, — неожиданно бодрым голосом сказал Илька. — Тринадцать.

— Правильно, тринадцать, — вяло отозвался Артем Павлович.

Он раскрыл журнал, выставил отметку и только после этого повернулся и повел по доске всегда слезящимися глазами. Смотрел он со скукой, даже с отвращением. Видно было, что ему уже давно приелись и одни и те же задачи, повторяющиеся каждый год, и порыжевшая доска с грязной тряпкой, и все мы, сорок горластых, непоседливых сорванцов. Вдруг его помятое, все в серой щетине лицо напряглось, мутные глаза уставились на последнюю строчку.

— Что тако-ое? Ты разделил 27,5 на 4,5, и у тебя получилось 13? Как же это могло быть?

Гиря пожал плечами:

— Сам удивляюсь. Только сходится: в задачнике, в ответе, тоже 13.

Они смотрели один на другого, пока Илька не вскрикнул:

— Ой, да я ж, кажется, что-то пропустил! — Он схватил со стола тетрадь, глянул в нее и засмеялся. — Так и есть, одно действие пропустил. Сейчас, Артем Павлович, сейчас. — Дописав пропущенное действие и исправив последнее, он задорно сказал: — Вот так будет правильно!

Лицо учителя опять потускнело.

— Садись. Кого еще не вызывал?

С парт закричали:

— Мимоходенко! Мимоходенко!

В этой четверти я уже отвечал, и против моей фамилии в журнале стоит тройка с минусом. Но раз ребята выкрикивают мою фамилию, значит, им самим не хочется отвечать, и я пошел к доске. Я кратко записал усло-

вие задачи. Перед тем как начать решать, посмотрел на Артема Павловича. Лицо у него было скучное-скучное. Мне стало жалко учителя. Я спросил:

— Отчего это, Артем Павлович, в задачах говорится все про чиновников да про купцов? Купцы продают, а чиновники покупают. Будто других людей на свете нету.

Учитель о чем-то думал и машинально ответил:

— А какие ж еще люди?

— Мало ли. Есть еще рабочие, мужики, босяки, циркачи. Да вот, например, учителя — это тоже люди!

— Учителя тоже чиновники, — по-прежнему машинально сказал Артем Павлович.

— Чиновники?! — недоверчиво воскликнул я. — Какой же наш Алексей Васильевич чиновник? На нем и золотых пуговиц нет. Или Циолковский. Мы в чайной «Обозрение» получаем, так там его портрет напечатали. На Циолковском тоже пиджак обыкновенный.

— Кто такой Циолковский?

— А вы не знаете? Учитель, что в Калуге живет. Он собирается на Луну лететь.

Артем Павлович точно проснулся. Он вскинул голову и свирепо крикнул:

— Врешь!.. Учитель на Луну не полетит. Врешь!..

— Нет, полетит! — стоял я на своем. — Курганов говорит, что обязательно полетит.

— Какой Курганов? Что ты врешь?

— Вы и Курганова не знаете? — еще больше удивился я. — Это ж и слесарь, и лудильщик, и столяр, и все на свете. Его будка против нашей чайной-читальни стоит. Как же вы такого мастерового не знаете? Его весь город знает. Если, к примеру, принесут ему фаянсовый чайник с отбитым носиком, он обязательно скажет: «Трудная это задача, а в технике я слаб». Потом подумает и такой приделает чайнику оловянный носик, что уже навек. Вот кто такой Курганов.

— Да что ты мне про чайники плетешь?

— Я не про чайники, а про Курганова. Он как узнал, что задумал Циолковский, так сейчас же ему письмо заказное послал: тоже лететь хочет.

— Из пушки, — опять показал свои знания Степка Лягушкин.

— Не из пушки, а в ракете, — поправил я. — Вроде тех, что по праздникам в городском саду запускают. А если не возьмете, написал Курганов, я и сам улечу: надоело мне жить в России с околоточными надзирателями.

Лицо у Артема Павловича опять стало скучное.

— Чепуха это, братец. Ни один учитель на Луну не полетит. Так, разве какой-нибудь коллежский регистратор, воробей желторотый, мальчишка, который еще не успел себе домик купить. — Артем Павлович зевнул и приказал: — Прекратить посторонние разговоры. Решай задачу.

— Сейчас, Артем Павлович. Я только хотел сказать, что хорошо б и нам такие задачи решать — про ракеты. А то скучно.

— Ага! — поддержал меня Степка. — Вот, например, с Земли на Луну вылетает ракета. А в тот момент с Луны на Землю запускают другую. Спрашивается: где они столкнутся и вдребезги расколошматятся? С Луны ракета летит, конечно, быстрее, потому что сверху вниз, а с Земли медленней, потому что снизу вверх...

— Молчать, дурак! — вдруг гаркнул Артем Павлович. — А ты что лясы точишь? — набросился он на меня. — Разнуздались, каналы! Решай задачу!

Я вздохнул и начал излагать условие: «Купец Никитин продал чиновнику Петрову 2 аршина и 6 вершков сукна синего, а купец Пахомов продал чиновнику Иванову 3 аршина и 5 вершков сукна зеленого...»

Задача была трудная. Но я все объяснил и все правильно написал на доске. Артем Павлович что-то буркнул и уткнулся в журнал. Так он просидел минут пять, потом встрепенулся и поставил мне отметку.

— Гм... Да... Одиннадцать... Можно б и двенадцать, да ростом не вытянул... — пробормотал он.

О такой отметке мы никогда не слыхали. Ребята обалдело смотрели на учителя.

Прозвенел звонок. Артем Павлович с трудом встал и пошел из класса. Но, не дойдя до двери, сильно пошатнулся.

Оставался последний урок — закон божий. Как всегда, батюшка запаздывал. Опять у нас гвалт. Дежурный кричит: «Запишу-у!» Это такое распоряжение инспек-

тора: если учителя в классе нет, то дежурный должен брать на заметку каждого, кто балуется. Но сегодня записывать больше некого: записан уже весь класс.

За окном послышался цокот лошадиных подков о булыжник мостовой и дребезжание извозчичьей пролетки. Мы бросились к окнам. «Едет!.. Едет!.. Едет!..» Цокот и дребезжание оборвались у парадной двери. Из пролетки вылез батюшка, поднял полу рясы и вытащил из кармана штанов кожаное портмоне. «Сейчас начнет торговаться», — захихикали ребята и распахнули рамы окон. Батюшка долго копался в портмоне, потом вынул монету и со вздохом подал извозчику.

— Что это? — нацелился с козел извозчик на монету одним глазом. — Никак, пятак?

— Пятачок, друг, пятак, — закивал батюшка.

— Что ж это за цена такая?

— А сколько ж тебе, друг?

— Да вы хоть по таксе заплатите, я уж на чай не прошу. Двугривенный с вас.

— Что ты, что ты! — замахал батюшка на извозчика руками. — С отца-то духовного? Нехорошо, ой, как нехорошо!..

— Да ведь овес-то знаете, почему ноне? Кусается.

— Не знаю и знать не хочу! Я овса не ем.

— Это, конечно, а лошади как без овса? Без овса животная и ноги задерет.

— Вот пристал! Ну, на тебе еще две копейки — и езжай.

— Да на что мне ваши две копейки! Две копейки — это калеке на паперти, а нам с животиной заплатите за наш труд что следует.

— Ну и труд! Сидишь на козлах да кнутиком помахиваешь. На вот еще копеечку.

— А вы сядьте сами да и помахайте: посмотрим, как она у вас поскачет не жрамши. Не жрамши ей недолго и копыта на сторону откинуть.

Дойдя до десяти копеек, батюшка бросает медяки на сиденье пролетки и скрывается в парадной двери.

— Эх, — почесал возница под шапкой, — знал бы, ни за что не повез! — Он зачмокал на лошадь, та лениво задвигала кривыми ногами.

И вот батюшка в классе. Он ходит от двери к окну,

от окна к двери и роговым гребешком расчесывает свои редкие прямые волосы. Снимет двумя пальцами с гребешка рыжий пук, сбросит его на пол и опять расчесывает. И, пока ходит по классу, ругает Толстого:

— Еретик! Ханжа! Укоряет духовных лиц в сребролюбии, в корысти, а сам сидит в роскошном имении. Против святой церкви пошел, бога живого отрицает. Вероотступник! Гореть ему в геенне огненной!

Все время, пока ругает, кривит набок рот. Потом перевязывает волосы черной ленточкой, перебрасывает косичку на спину и садится за стол.

— Тверже учите священное писание, назубок. Встретится вам еретик-толстовец или бунтарь-социалист, начнет свое словоблудие, а вы его текстом, текстом, текстом! От Луки, от Иоанна, от Марка, от Матфея, от всех святых апостолов! Текстом бейте, текстом, текстом, текстом!

Батюшка со свирепым видом тычет кулаком по воздуху, будто бьет кого-то в зубы. Мы смотрим на него со страхом. Он спохватывается, хитро подмигивает нам и затевает шуточный разговор.

— Ну как, Пархоменко, все еще не смыл со щеки чернильное пятно? А пора бы уже, вторую неделю носишь. А ты, Кукушкин, все уминаешь сало с хлебом? Ишь как тебя распирает! Подожди, я наложу на тебя пост. — Конечно, не минует и меня: — Ну, Мимоходенко, как дела? Поумнел ты немножко или так дурачком и растешь?

Я встал и некоторое время водил глазами по потолку, будто соображал. Все ждали забавного разговора, приготовились смеяться.

— Не знаю, батюшка, — ответил я озабоченно. — Вам со стороны виднее.

— Ну, а сам как ты думаешь, а?

— Думаю, что так дурачком и расту.

Ответ батюшке очень понравился. Он смеется то тоненько и визгливо, то басовито и с хрипом. Насмеявшись, поднимает рясу, вытаскивает красный клетчатый платок и вытирает глаза.

— Это хорошо, Мимоходенко, что в тебе нет гордыни. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. А все-таки, Мимоходенко, учись усердней, и господь вразумит

тебя. Читай почаще слово божье: оно просветляет ум и освежает душу.

— Я и то, батюшка, читаю. Только что ж его читать, если я все равно не понимаю. Вот раскрыл я вчера библию и стал читать «Первую книгу Моисееву» — про сотворение мира и человека. Так усердно читал, что даже выучил наизусть. И ничего не понял.

— Не понял? — сочувственно наклонил батюшка голову.

— Не понял. Вот, например, там говорится, что бог создал свет и отделил свет от тьмы. И назвал свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро. Так прошел первый день. Во второй день бог создал твердь и назвал твердь небом. В третий день бог создал разные растения. И только в четвертый создал солнце, луну и звезды. День — это когда солнце поднимается, ночь — это когда солнце закатится. А тут еще солнце не сотворилось, а уже три дня прошло. Как же это?

Пока я говорил, глаза у батюшки делались все уже и уже. Потом он сразу раскрыл их и сказал:

— Вот и видно, что ты дурак. Если бог создал землю и небо, то почему он не мог сделать такого чуда, чтоб ночь сменялась днем без солнца? Бог все может, все! На то он и всемогущ! Понятно? Не мудрствуй лукаво, а верь. Сказано в писании: «Без веры же невозможно угодить богу».

Тут Илья поднял руку и сказал:

— А я, батюшка, тоже не понимаю. В «Ветхом завете» говорится, что у Адама и Евы было два сына — Каин и Авель. Каин убил Авеля. За это бог ему дал в три шен. Каин ушел в землю Нод и там женился. На ком же он женился, если на всем свете было только три человека — Адам, Ева и сам Каин?

У батюшки опять рот искривился.

— Вот и еще один дурак! Верить надо, верить, а не рассуждать.

— Я — дурак? — удивился Илья. — Это ж почему?

Мальчишки осмелели и стали наперебой задавать батюшке вопросы. Один спрашивал, на каком языке разговаривал бог с Адамом и Евой — на еврейском или на церковнославянском; другой интересовался, зачем бог создал блох; третий просил объяснить, за кого бог сто-

ит — за нас или за японцев: если за нас, то почему мы не колошматим японцев, а японцы колошматят нас?

Батюшка каждого называл дураком и велел не рассуждать, а верить и молиться.

Поднялся с места и всегда молчаливый Андрей Кондарев. Он спросил, почему царь не посчитался с заповедью божьей «Не убий» и расстрелял рабочих, когда они пошли ко дворцу просить о своих нуждах. Лицо у батюшки стало багровым. Он подбежал вплотную к Андрею и зашипел:

— Кто тебя подстрекает? Говори сейчас же, кто тебя подстрекает?

Андрей побледнел, но глаз от батюшки не отвел.

— Никто, — сказал он дрожащим голосом, — в Петербурге нашего дядю Тимофея убили. Он шел к царю с иконой божьей матери, и, тетя Даша пишет, пудя попала прямо в икону, а через икону — дяде в сердце.

Батюшка запнулся, но тут же сказал:

— Вот!.. Вот!.. Сама царица небесная направила пулю на виновного!..

Он вернулся к столу, сел и до конца урока говорил, что царь есть божий помазанник, который сам знает о всех нуждах своих верноподданных и печется об их благе, а те, которые подстрекают рабочих, — смутьяны, бунтовщики и враги отечества.

Когда прозвенел звонок, батюшка погрозил мне пальцем и сказал:

— Это все пошло от твоих глупых рассуждений о солнце. Весь класс, дурак, взбудоражил!

У ЛАРАДНОГО ГИМНАЗИИ

Занятия кончились. Мы шумной оравой выбежали со двора на улицу. На улице май. Май в нашем городе — это голубое небо, ласковое солнце и зеленые акации с белыми гроздьями. От них весной весь город бело-зеленый и пахучий. Мы подсаживаем друг друга, срываем ветки и жуем цветы. Сладко и душисто. Прохожие ругаются: «Воробчатники! Всю в городе акацию обчищают!»

Почему у нас такая кличка — воробчатники? В городе есть гимназия, техническое училище, коммерческое

училище, мореходное. В каждом училище своя форма. Гимназисты ходят в мундирчиках с серебряными пуговицами, техники — в тужурках с золотыми пуговицами, а на пуговицах — молоточек и гаечный ключ, у коммерсантов — бархатные зеленые петлички на тужурках и тоже золотые пуговицы. Это все дети дворян, купцов, чиновников. «Воробчатниками» их не зовут, «воробчатниками» зовут только нас, учеников четырехклассного городского училища. Ни форменных фуражек, ни золотых пуговиц на нас нет, ходим в чем попало: один в сапогах, другой в козловых полуботинках; на том — шапка, на этом — кепка; кто в сатиновой рубашке, кто в недоношенном отцовском пиджаке. Мы — это дети ремесленников, мелких лавочников, конторщиков, извозчиков и, в редких случаях, рабочих. Учим мы тут и геометрию, и алгебру, и минералогию с зоологией, а когда кончаем училище, то не знаем, куда себя приткнуть: мы ничего не умеем. И идем в писцы, в счетоводы. Только редко кто, поднатужившись, держит экзамен на звание учителя начальной школы и едет в деревню учить детей грамоте.

Впрочем, до окончания училища было еще далеко, и эти мысли никого в ту пору в нашем классе не тревожили. Мало кого из нас трогало и то, что гимназисты, гимназистки, коммерсанты и техники с нами не дружили. Кажется, только я один болезненно переживал такое пренебрежение к себе. Но на это у меня были свои причины...

Из школы я иду с Илькой Гирей. Так повелось еще с приготовительного класса. Как-то наскочили на меня мальчишки с кулаками. Илья мальчишек разбросал и пригрозил: «Кто Заморыша тронет — тому уши оторву. Я храбрый богатырь Еруслан, а Заморыш — мой верный слуга, Конек-горбунок». Мальчишки сказали: «Мы твоему горбунку сегодня нос расквасим». После занятий, чтоб мне нос не расквасили, Илья пошел меня провожать. С тех пор мы и ходим вместе.

Иногда я иду не прямо домой, а мимо женской гимназии, делаю крюк. В таком случае Илья ругается: «Куда заворачиваешь! Есть так хочется, что аж в животе пищит, а ты промедансы выкидываешь». Никто на свете не знает, зачем мне эти «промедансы», даже Илья. Если бы кто узнал, я сгорел бы от стыда.

Женская гимназия — это большое, на полквартила, здание со многими окнами, вымытыми до сияния, с парадной дверью, через стекло которой виден швейцар с галунами. Что в сравнении с этим дворцом наше училище! В нем тоже два этажа, но здание маленькое, ветхое, окна запыленные. В нем тоже есть парадная дверь, хоть и не такая высокая, как в гимназии, но через нее ходят только наши учителя да тучный, с заплаканными глазками инспектор Михаил Семенович Бугаев, мы ж ходим через двор.

Сегодня среда. Значит, в третьем классе женской гимназии сегодня столько же уроков, сколько и в нашем классе. По средам и субботам нас и их отпускают в одно время. Я это отлично знаю: ведь только в эти дни я вижу ее, когда она возвращается домой. Увижу ли сегодня? Увижу! Конечно, увижу! Вон стоит лакированный экипаж на дутых шинах. В этом экипаже она уезжает с подругой. А когда не хочет ехать и идет пешком, так же, как остальные девочки, то экипаж движется за ней по мостовой. Хорошо, если бы она пошла и сегодня пешком: я бы шел следом все шесть кварталов до самого ее дома. А то сядет в экипаж, кучер шевельнет вожжами, крикнет: «Поди!» — и она исчезнет за поворотом, только услышишь, как рысак звонко бьет подковами о мостовую.

Парадная дверь раскрывается, и на тротуар выходят гимназистки. Одни, младшие, в коричневых платьях, другие, постарше, в светло-серых, а самые старшие, невесты, в синих. Идут они по двое, по трое, взявшись под руки, и от всех них веет на нас с Илькой какими-то приятными запахами, то ли цветами, то ли духами.

Мы останавливаемся около экипажа. Илья внимательно осматривает блестящие спицы в колесах, бархатное сиденье, откинутый кузов из лакированной кожи.

— А жеребца уже перековать пора, — замечает он.

Я делаю вид, что, кроме коляски с толстозадым кучером, меня ничто здесь не интересует. Швейцар все распахивает дверь. Уже вышли две сестренки-близнецы, беловолосые, голубоглазые, похожие одна на другую так, что их различить нельзя; уже вышла длинноносенькая, черноглазая гречаночка; вот швейцар открыл дверь

перед пухленькой, как булочка, девочкой-вертушкой (всех их я заприметил еще с осени). А той, ради которой я по средам и субботам делаю сюда крюк, все нет и нет. Может, ее оставили «без обеда»? Но «без обеда» гимназисток не оставляют, «без обеда» оставляют только нас, «воробчатников», и отбирают у нас шапки, чтобы мы не убежали.

Вдруг все передо мною осветилось, будто солнце засияло вдвое ярче. Секунду я стоял ослепленный, потом бросился в сторону от экипажа.

— Куда ты? — крикнул Илья удивленно.

Но я даже не оглянулся. И, только когда застучали подковы о булыжник мостовой, остановился и посмотрел вслед экипажу. Увидел я лишь две соломенные с бантами шляпки, выглядывавшие из кузова. Еще мгновение — и они скрылись за поворотом улицы.

Илья подошел ко мне с таким видом, будто перед ним была лягушка или таракан:

— Ты от кого драпу дал, а? От девчонок?..

— Н-нет... От кучера... — сказал я запинаясь.

— Врешь. Кучер на нас и не смотрел. От девчонок, от сорок короткохвостых. Эх, ты! Заморыш, одно слово!..

Он плюнул и скорым шагом пошел от меня прочь. Я и не подумал догонять его. Я страшно обиделся. Обиделся и за себя и за Дэзи. Особенно за Дэзи. С тех пор как я подарил ей «Каштанку», прошло более трех лет. За это время она стала еще красивее. Ведь я же вижу! Сколько девочек выходит из гимназии, когда кончаются занятия, но ни одна сравниться с ней не может. Какая ж она сорока, да еще короткохвостая! И вовсе я не боюсь девчонок. Но чем я виноват, что мне делается ужасно неловко, когда вижу Дэзи? Нет, больше не буду, никогда больше не буду ходить мимо гимназии. Да и что мне тут делать! Пусть сюда ходят гимназисты, коммерсанты, техники. А мы, «воробчатники», гимназисткам не пара. Они даже не замечают нас.

Илья отходчив. Он возвращается и зовет меня к себе домой, чтоб готовить уроки вместе. Я мысленно прикидываю, влетит мне от отца или не влетит, если я вернусь с опозданием. «Эх, будь что будет!» — решаю я и иду к Ильке, на самый край города.

От запаха акации, от яркого солнца и несмолкаемого чириканья воробьев люди стали похожи на пьяных: они громко разговаривают, размахивают руками, перекликаются через улицу, подпрыгивают, чтобы сорвать ветку с белой гроздью. Наверно, на Ильку тоже весна действует: он проскакал на одной ножке, потом стал на голову и подрыгал в воздухе ногами. На него гаркнул городской, а то б он выкинул еще какой-нибудь номер.

Чем дальше мы шли, тем дома становились меньше и хуже. Затем потянулись немощенные улицы с мазанками в два-три окошка, с низкими заборчиками, за которыми поднимались вверх на тоненьких ножках голубятни, с гусями, шипавшими у заборов запыленную лебеду. Это и была Собачеевка; там жил Илья. В конце улицы, где уже начинается степь, стоит кузница Илькиного отца, сложенная из камня. Еще издали к нам доносится знакомый звон железа. Пол в кузнице земляной, стены закопченные, из трубы, а то прямо из дыры в крыше валит черный дым. Дым этот от горна с курным углем. Чтоб уголь хорошо горел, надо потягивать за веревку, привязанную к меху. Мех то сжимается, то расширяется, и уголь разгорается добела.

Отец Ильки похож на Тараса Бульбу, и даже имя у него такое же — Тарас, только усы не седые, а черные. Он клещами выхватывает из горна раскаленное железо и бросает на наковальню. От железа во все стороны летят искры. Тарас Иванович слегка ударяет по железу небольшим молотком, показывая, где надо бить, а Гаврила, парень лет двадцати, с измазанным сажей лицом, бьет по этому месту тяжелой кувалдой: дзин-бом-бом!.. дзин-бом-бом!..

— Что это они куют? — спросил я однажды Ильку.

— Все, — с важностью ответил он.

— Как это — все?

— А так. Потеряет мужик в дороге чеку — они чеку ему выкуют, чтоб колесо не упало. Лопнет шкворень — они шкворень сварят. Что хочешь сделают. Хоть грабли, хоть вилы, хоть лопаты — пожалуйста, сделайте ваше одолжение.

Илья прищелкнул пальцами и запел, притопывая:

Грабли, вилы да лопаты —
Двадцать пар,
Вилы, грабли да лопаты —
Хоть сто пар.

Это я сочинил. Здорово? — подмигнул он мне.

Я сказал, что не очень. Разве это стихи: пар — пар, лопаты — лопаты? Надо, чтоб слова были разные.

— Ну, сочини лучше, если ты такой умный, — обиделся Илька.

На этот раз, подходя к кузнице, мы увидели около нее распряженную лошадь.

— Придется с уроками погодить, — сказал Илька. — Видишь, жеребец некованный стоит.

— Не ты ж его будешь подковывать, — возразил я.

— А кто ж? Не слышишь, что ли: отец с Гаврилой рессору сваривают.

Я думал, Илька воображает, но, когда мы подошли, он шмыгнул в кузницу и оттуда вынес молоток, рашпиль и два ножа необыкновенной формы. Он ловко схватил лошадь за переднюю ногу, согнул ее и зажал у себя между колен. Лошадь не шелохнулась, покорно стояла на трех ногах и думала о чем-то своем. Стуча молотком по ножу, Илька принялся обрубать копыто.

— Ты, Илька, с ума сошел? Ей же больно!

Илька присвистнул.

— А тебе больно, когда ты ногти у себя стрижешь? Копыта у лошади — это вроде наших с тобой ногтей. Конечно, если мясо задену, так она долбанет за мое почтение, не очухаюсь.

— А зачем ты ей срезаешь?

— «Зачем, зачем»! Скажет же такое! А ты зачем себе ногти стрижешь? Попробуй хоть года три не стричь — они у тебя вырастут, как пики. И копыта растут. За три года могут вырасти такие, что лошадь станет выше колокольни.

Конечно, Илька врал: вот же коров не подковывают и копыта им не обрезают, а ростом они обыкновенные. И овцы тоже. Но спорить с Илькой я не хотел и молча слушал, как он хвастает.

— Видишь эту штуку в копыте? Стрелкой она зовет-

ся. Ее тоже надо расчистить, только другим ножом, вот этим, видишь? Потом я прочищу рашпилем всю плоскость копыта, а потом — раз, два, — и подкова на месте. Это, брат, не всякий может. Надо, брат, иметь в пальцах ловкость, а в башке мозги. А я подковываю таких норовистых, какие и Гавриле не под силу. Как приведут такую скаженную лошадь, так отец сейчас же мне: «Эй, Илька, ну-ка, подкуй ее, а то как бы она не проломила Гавриле череп». Я подковываю, а Гаврила мне инструменты подает, вроде подручного моего.

В это время в дверях кузницы показался какой-то крестьянин с подковой в руке. Увидев Ильку около лошади, он закричал:

— Хозяин, дывись, шо твий хлопэц з моей конягой робэ!

Выскочил Тарас Иванович, накричал на Ильку и отобрал у него инструмент.

— Подойди еще к лошади — я тебя проучу! — погрозил он. — Хочешь, чтоб она тебе череп проломила?

Илька засопел и, непонятно почему, показал мне кулак. Может, на всякий случай, чтоб я не вздумал смеяться? Но все равно, как только Тарас Иванович отошел, я засмеялся, и Илька чуть не побил меня.

Из белой глиняной хатки, что стояла рядом с кузницей, вышла Илькина мать и позвала нас обедать. Ели мы из деревянных разрисованных мисок за большим некрашеным столом. Сначала поели борщ с чесноком. Борщ был страшно вкусный. Гаврила раньше всех съел всю миску и сказал:

— Спасибо, Кузьминишна, я уже наелся.

Мать Ильки посмотрела на него своими карими ласковыми глазами, улыбнулась и молча налила ему еще борща, до самых краев. Он съел и опять сказал:

— Не беспокойтесь, Кузьминишна, я уже сытый.

Хозяйка опять подлила ему два половника. Когда Гаврила и это съел, то больше уже ничего не сказал, а опустил глаза и стал к чему-то прислушиваться, наверно, к тому, как на плите, в жаровне, что-то шипело и всхлипывало. Кузьминишна положила ему в миску большой кусок говядины и много жареной картошки.



— Кушай, Гаврюша, — сказала она. — Рабочий человек должен много есть. Шутка ли, целый день махать таким молотом.

А Тарас Иванович ничего не говорил, только поглядывал на Гаврилу лукавыми глазами и еле приметно ухмылялся в свои длинные усы. Меня Кузьминишна тоже кормила усердно и все приговаривала:

— Кушай, кушай! Не дай бог, до чего ж ты худющий да щуплый.

После обеда Илька взял книжки, чернильницу-непроливайку, две ручки и повел меня в поле. Поле началось тут же, около кузницы. Пшеница была еще зеленая и под ветром то ложилась, то поднималась, будто

по полю ходили волны. Мы прошли до того места, где росли молоденькие подсолнечники. Я думал, что мы тут сядем и будем готовить уроки, но Илья оглянулся по сторонам и вытащил из-под рубашки какую-то железную штуку с длинной трубочкой. Он опять оглянулся, прищурил один глаз и стал целиться в подсолнечник. И вдруг что-то как бахнет! Илья даже присел, будто ему под коленку дали. Я хоть и не присел, но тоже испугался.

— Вот грохнуло! — сказал, опомнившись, Илья. — Знай наших!

— Что это? Пугач? — спросил я.

Илья презрительно оттопырил губы.

— Пугач!.. Из такого пугача я любого городского — наповал.

Мы оба не любили городских, но чтоб Илья собирался стрелять в них, этого я от него еще не слышал. Я, конечно, знал, что после того, как царь расстрелял в Петербурге рабочих, в разных городах заводской и фабричный народ стал бастовать, ходить с красными флагами по улицам (это называлось демонстрациями и манифестациями) и требовать, чтоб царя со всеми его министрами больше у нас не было никогда. На рабочих набрасывались казаки и городовые, били их нагайками, рубили саблями, стреляли в них из винтовок. Рабочие отбивались камнями и даже отстреливались. Когда отец читал про это в газетах, то всегда говорил: «Что делается, что делается!»

— Илья, а почему ты хочешь стрелять в городских? — спросил я. — Ты же не рабочий.

— Здравствуйте! А кто же мы, купцы, что ли? Отец двадцать один год на металлургическом заводе кувалдой махал.

— Так это когда было! А теперь твой отец сам хозяин и на него работает Гаврила.

Илья поднялся с земли и полез ко мне драться.

— Что, что? Мой отец — хозяин? Ну-ка, скажи еще раз, ну-ка, скажи!

Я драться не хотел. Из-за чего мне драться? И что я сказал плохого? Вот он всегда так: взбредет в башку что-нибудь — и сейчас же лезет с кулаками. Но на этот раз Илья драться раздумал. Он взял меня за руку и

повел в густую пшеницу. Там мы уселись так, что скрылись с головой.

— Дурак! Не знаешь, так не говори, — прошептал Илья. — Эта кузница не наша, понял?

— А чья ж она? — тоже шепотом спросил я.

— Пулькина, Дулькина да Акулькина. Много будешь знать — скоро состаришься.

— А ты не врешь?

— А когда я тебе врал? — удивился Илья. — Может, скажешь, про подкову соврал? Так хоть Гаврилу спроси, я всякую лошадь подкую. А что отец турнул меня сегодня, так это потому... — Илья замялся. — Недавно жеребец здорово... Гаврилу копытом долбанул; ну, отец теперь и гонит меня от лошадей. Опасается.

Конечно, может, так оно и есть. Ведь умеет же Илья горн раздувать, умеет молотком стучать по раскаленному железу и что-то выковывать, — отчего б ему и лошадь не подковать? Однажды, когда у нас в классе покосилась доска, Илья отковал железную петлю, повесил ее, и доска опять выпрямилась. Правду сказать, я даже завидовал Ильке, что он все умеет.

— А этот пистолет ты тоже сам сделал? — спросил я.

По лицу Ильки было заметно, что он, как всегда, отвечает: «Нет, бабушка троюродная», но, наверно, ему в последний момент стало стыдно, и он признался:

— Я этого еще не умею. Дай время — сделаю. — И неожиданно пропел:

Сами набьем мы патроны,
К ружьям привинтим штыки!

— Илья, — воскликнул я, — так ты и вправду будешь стрелять в городских?!

Но Илья только загадочно посмотрел куда-то вдаль и ничего не ответил.

— Вот видишь, какой ты, — упрекнул я его. — Все что-то скрываешь от меня. А я еще хотел рассказать тебе, чего не рассказывал бы никому другому.

— А что ты хотел рассказать? — с любопытством спросил Илья. — Ну, расскажи! Расскажи, ну?

Я знал, что, если Илья пристанет, от него никакими

увертками не отделаешься. Да и самому мне давно хотелось облегчить душу. Попробовал я поделиться с братом Витей тем, что меня мучит уже давно, и тем, о чем я часто мечтаю, но тот даже не дослушал до конца. Как всегда, он только презрительно хмыкнул и сказал, что я еще мал и глуп.

— Хорошо, Илья, я расскажу, только ты побожись, что никому...

— Да божусь, божусь!.. Ни раку, ни маку, ни дяде Паше, ни тете Глаше, даже ершу — и тому не скажу. Говори, ну?

Я привстал и посмотрел по сторонам. По-прежнему не было видно ни души. Огромное красное солнце уже опустилось к краю поля и назойливо светило прямо в глаза. Илья тоже привстал и тоже огляделся. Убедившись, что нас никто подслушать не может, мы опять сели. Я тихо, но решительно сказал:

— Знай, я решил освободить Петра.

— Что-что? — уставился на меня Илья. — Кого освободить?

И я рассказал, как три года назад пришел к нам в чайную человек огромной силы и остался у нас работать половым, как мы подружился с ним, как мы скитались по Крыму, как выступали в цирке в Симферополе и как из-за меня там его арестовали и отправили на каторгу.

Илья слушал, будто я читал ему очередной выпуск «Похождений Ната Пинкертона», полуоткрыв рот и не спуская с меня удивленных глаз.

— Да ты все врешь! — крикнул он и хлопнул меня ладонью по плечу. — Я ж тебя знаю! Тебе б только сказки рассказывать. Ну признайся: наврал ведь, а?

— Нет, Илья, я даже не все тебе рассказал.

— И то правда, что ты был турецким барабанщиком?

— Правда. Да вот, хочешь, я тебе этот турецкий марш спою? — Я взял ручку и карандаш и забарабанил ими по Илькиной ноге, напевая: «Туру-рум, туру-рум, туру-туру-туру-рум».

То, что я так уверенно спел марш, Илью сразу убедило. Он только спросил:

— А почему ты считаешь, что твой Петр попал на каторгу из-за тебя? Не ты ж его выдал.

— Конечно, из-за меня. Если б я к нему не пристал, он уехал бы в Турцию, жил бы там на свободе.

Илька немного подумал.

— Ну, в Турции тоже не мед. Ихний султан почище нашего Николая будет.

— А ты откуда знаешь? — недоверчиво спросил я.

Илька опять загадочно прищурился.

— Знаю. Я, брат, все знаю. Вот лучше скажи, как же ты думаешь его освободить.

— Как? Обыкновенно! — храбро ответил я. — Приеду, поубиваю стражников — и освобожу.

— Ну и дурак, — спокойно сказал Илька.

Я и сам понимал, что дурак, но все-таки спросил:

— Почему?

— Во-первых, ты знаешь, где она находится, эта каторга? Каторг, брат, много.

— Не знаю, — признался я.

— Во-вторых, есть у тебя деньги, чтоб доехать туда?

— Я — зайцем.

— Зайцем, брат, и за сто лет не доедешь. На каждой станции выбрасывать будут. В-четвертых...

— В-третьих, — поправил я.

— В-четвертых, — продолжал упрямо Илька, — куда тебе, заморышу, поубивать стражников! Я и то одним пальцем могу тебя перешибить, а стражник на тебя дунет — и ты свалишься.

Все это было правильно. Я растерянно молчал.

— То-то, — сказал Илька. — А в-третьих, надо быть гипнотизером.

— Что-о? Гипнотизером? — удивился я.

— Или индусским йогом.

— Да зачем же? — не понимал я.

— «Зачем, зачем»! Очень просто: приедешь, загипнотизируешь стражников и прикажешь выпустить Петра. Они не только выпустят, а еще и колбасы, и сала, и буханку хлеба на дорогу дадут.

Я сначала опешил, а потом сказал:

— Сам ты дурак, Илька! Какой же я индус?

— А дурак, так незачем со мной и разговаривать, — обиделся он.

— Да я и не собираюсь говорить. Я даже жалею, что рассказал тебе про Петра. Я тебе про дело, а ты про йогов.

— Ну и не говори! Подумаешь, за язык его тянули! Так, слово за слово, мы поссорились. Я схватил книжки и ушел.

Я ГОТОВЛЮСЬ СТАТЬ ГИПНОТИЗЕРОМ

Мы по-прежнему жили в чайной-читальне общества трезвости, посредине базарной площади, в окружении бакалейных лавок, лотков со свежими судаками и рыбцами, возов с картошкой и капустой, сапожных, слесарных и лудильных будок. К базарному гомону мы давно привыкли и уже не замечали его. Как и раньше, никакой трезвости у нас не было: ходили к нам босяки, нищие, мелкие жулики — сплошь все пропойцы. Только дамы-патронессы, после того как Петр помазал грязной тряпкой купчиху Медведеву по лицу, стали реже к нам заглядывать. Да вот еще сильно поседела голова у отца. Впрочем, он оставался таким же, каким был: все так же принимался за «верное» дело и все так же ничего, кроме убытка, из «верного» дела у него не получалось. Однажды осенью он закупил семь возов картошки и свалил ее в подвал под чайной. Для этого он даже настлал в подвале деревянный пол и побелил стены, что ему обошлось в копейечку. «Вот посмотришь, — говорил он маме, — весной я за нее вдвое дороже возьму. Будет детишкам на молочишко! Верное дело!» Вскоре картошка стала проращать, из нее полезли белые прутья. Мы всей семьей спускались в подвал, чтобы ломать эту противную поросль. Но прутья все перли и перли из картошки, и к весне она вся сморщилась, будто испеклась в золе. Когда отец понес ее в цибарках на базар, никто не покупал. Так она вся и сгнила. Той же весной отец затеял новое «верное» дело, но уже не в подвале, а на чердаке. Он нанял каменщиков и плотников, и те пробили в кирпичной стене дыру на чердак и пристроили к ней со двора деревянную лестницу с перилами. Отец закупил две сотни свежих рыбцов, просолил их и развесил на чердаке. «Вот и все, — сказал он, — пусть теперь сами доходят. Осенью знаете почем вяленые рыбцы? Им цены нет! Верное дело!» Может, так бы и было, но в рыбцах завелись черви, и рыба пошла на свалку.

А мне с Витькой достался чердак. Подвал нам не

очень нравился: там сыро, пахнет гнилью. А на чердаке сухо, даже жарко, никто нас там не видит, делай что хочешь. Здорово! Из-за этого чердака Витька даже остался на второй год в классе. Да-да! Витька, который был умнее меня в сто раз, прекрасно играл в шахматы, самые трудные задачи по арифметике решал, как орехи щелкал, остался на второй год. А почему? Он забирался на чердак и там запоем читал «Две Дианы», «Королеву Марго», «Сорок пять» и разные другие романы Александра Дюма. Совсем забросил уроки. Ну и остался. И вот что удивительно: отец, когда узнал, что Витька не перешел в следующий класс, даже не ругал его, а только развел руками и назвал учителей шарлатанами, — так он был уверен, что Витька пострадал невинно. А Витька ходил с таким видом, будто сам удивлялся, как это случилось, что он, старший брат и умница, оказался в одном классе со мной, заморышем и дурачком, с той лишь разницей, что его посадили в основной класс, а меня в параллельный. Впрочем, я к весне переболел скарлатиной, остался тоже на второй год, и Витька опять обогнал меня на один класс.

Вернувшись после ссоры с Илькой домой, я сел за уроки. Решал задачи, переписывал в особую тетрадочку наречия с буквой ять — возле, ныне, подле, после, вчуже, въяве, вкратце, вскоре, — а сам думал: хоть Илька и наплевал чепухи, а хорошо бы и вправду научиться гипнотизировать. То ли дело сказать человеку: «Спи!» — и он сейчас же заснет, будь то городской или сам полицмейстер. А потом ему приказать: «Танцуй!» или «Сбегай в сад купчихи Медведевой, нарви там яблок и принеси мне целую корзину!» Но тут же мои мысли опять вернулись к Петру. Отец любил говорить: «Время — лучший врач, оно все залечит». А у меня получилось не так. Когда я вернулся после скитаний домой, то так этому обрадовался, что почти не думал о Петре. Но чем дальше, тем я чаще вспоминал о нем. Мне все сильнее и сильнее делалось жалко его. Вот я хожу в школу, ем, пью, бегаю с ребятами купаться в море, играю с ними в чехарду, а он в это время возит на каторге тачку, прикованный к ней железной цепью... Когда я был поменьше, то становился на колени в углу перед иконой и шепотом просил бога, чтобы он освободил Петра. Но однажды за этим

занятием меня застал Витька. Он засмеялся и сказал: «Ну и дурак! Стукаешься лбом, а бога нет!» Я ему не поверил и даже сказал, что за такие слова его на том свете черти будут поджаривать на раскаленной сковороде. В тот же день я спросил отца, правда ли, что бога нет. Отец сначала накричал на меня, потом помолчал и сказал: «Кто его знает, есть он или нет его. На всякий случай надо молиться, а вдруг он есть». После этого у меня пропала охота просить бога о Петре: что же его просить, когда в точности не известно, есть он или его нет! Отец еще говорил так: «На бога надейся, а сам не плошай». Эта поговорка мне больше подходила. Я все чаще задумывался, как бы мне самому, без бога, освободить Петра. И вот хоть я и поссорился с Илькой, а слова его о гипнозе крепко запали мне в голову. О йогах и гипнотизерах, конечно, не один Илька в то время говорил. Многие говорили. Я знал, что даже книжки такие продавались. Одна книжка называлась «Хатха-йога». Написал ее какой-то Рамачарак, наверно индус. На вид она была неважненькая, но стоила целых 90 копеек. Другая книжка продергивалась шелковыми малиновыми шнурками, переплет на ней был сафьяновый, обрез золотой, не книжка, а прямо библия. Называлась она «Таинственная сила» и стоила 3 рубля 50 копеек. Обе книги были выставлены в витринах книжного магазина на Петропавловской улице. О том, чтобы купить их, я, конечно, не мог и мечтать. Но я нашел другой выход. Отец, как служащий учреждения городской управы, бесплатно брал в библиотеке книги для прочтения. На другой день я взял его абонемент и отправился на Петропавловскую. Когда я подал записочку с названием книг, библиотекарьша насмешливо сказала:

— Ты что, йогом хочешь сделаться?

— Ага, — ответил я.

«Хатха-йога» она мне выдала, а «Таинственную силу», как книгу дорогую, разрешила читать только в библиотеке. Хоть близились экзамены, я совсем забросил уроки и все читал и читал эти книги. Конечно, главное было в том, чтобы при помощи гипноза освободить Петра. Но тут было и другое. Всю жизнь я чувствовал себя хилым, щуплым, слабым. Обидеть меня мог всякий, кому вздумается, и в обидчиках недостатка не было. Чем

больнее меня обижали, тем чаще я видел себя в своих мечтах сильным и ловким. То я вышвыриваю из чайной самого Пугайрыбку, как это сделал когда-то Петр. То на глазах у Дэзи одним ударом кулака сшибаю с ног гимназиста-верзилу, который осмелился назвать меня заморышем. То выступаю в цирке и, опять же на глазах у Дэзи, ставлю на колени здорового быка... А эти книги как раз и толковали, что надо сделать, чтобы достигнуть силы и могущества. Надо укреплять волю и развивать тело. Этими упражнениями я и занялся на чердаке, где меня никто не видел. Я вытягивался сколько возможно вверх, затаивал дыхание и так стоял, внушая себе, что я не человек, а деревянный столб. Или ложился на бревно, переставал дышать и опять внушал себе, что я тоже бревно. «Я бревно, я бревно, я бревно», — повторял я про себя, пока не делалось обидно: какое же я бревно!

В книжках рассказывалось, что индусские йоги переставали дышать, их опускали в могилу и засыпали землей. Когда через час-два откапывали, у йогов постепенно восстанавливалось дыхание, они оживали. Забегая сильно вперед, расскажу один случай.

Было это в 1922 году. Я лежал в палате санатория для нервных больных. Открылась дверь, и на пороге появился странный человек: очень бледное лицо, черные усы и борода, жгучие черные глаза. Пальто, сразу видно, заграничное, только вшита в один рукав поперечная коричневая полоска. Такие полоски, как известно, вшивали за границей в одежду гражданскопленных. Человек посмотрел на меня и беззвучно засмеялся. Решив, что в палату забрел сумасшедший, я уже хотел позвать на помощь, но человек сел на стул у моей кровати и вежливо объяснил:

— Не удивляйтесь. Дело простое. Я прямо с вокзала. Когда ехал в вагоне, то мысленно представлял себе и город, и санаторий, в котором буду отдыхать, и палату, и вас, моего однопалатника. Сейчас я смеялся от удовольствия, потому что все так и получилось, как я заранее себе это представлял. Давайте познакомимся: Верман. — И он протянул мне свою тонкую бледную руку.

Не скажу, что это объяснение меня успокоило. Ско-

рее — наоборот. Но, так или иначе, с этим человеком мне пришлось жить в одной палате, и прожили мы с ним целый месяц.

По образованию он был врач, но никогда никого не лечил. Существовал тем, что играл в заграничных кафе на деньги в шахматы. Объехал весь земной шар, долго жил в Индии, близко знал многих йогов. Война (первая мировая) застала его в Германии, где он как русскоподданный стал гражданскопленным. Потом его репатрировали на родину. Все в нем было странно, непонятно, ненормально. Утром, вставая с постели, и вечером, ложась в постель, он говорил, точно молитву читал:

О, никогда не говори:
«Прислуга», а не «слуга при»,
О том, что в городе Твери
Так тускло светят фонари.
А впрочем, черт их поberi,
Всех знатных лордов Солсбери!

Так же утром и вечером он неизменно повторял, что ему необходимо отправиться в Индию, сесть на белого слона и повести за собой всех индусов в бой с англичанами.

Однажды, лежа в постели, он предложил:

— Давайте сыграем партию в шахматы. Что-то захотелось дать вам мат на семнадцатом ходу.

Я сел за стол, расставил на доске фигуры и пригласил:

— Присаживайтесь.

Но он повернулся на бок, лицом к стене, и сказал:

— Е2, Е4.

— Ах, вот как! Не глядя на доску? Ну, это у вас не получится.

Но у него получилось. Точно на семнадцатом ходу он дал моему королю мат.

Утром, за день до конца лечения, я увидел его неподвижно лежащим на диване, с закрытыми глазами, с пожелтевшим лицом. Встревожившись, я бросился за доктором. Доктор пощупал его пульс, склонился ухом к сердцу и растерянно пробормотал:

— Умер...

— Нет, — сказал мой однопалатник, открывая глаза, — жив!.. — И беззвучно засмеялся.

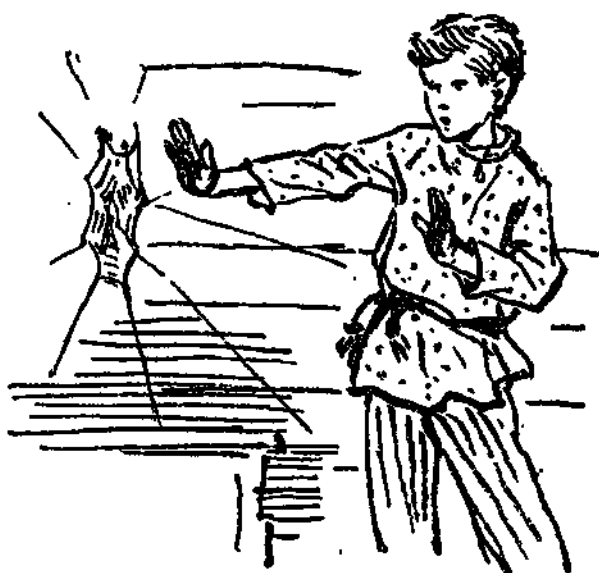
Месяцев шесть спустя я получил от него открытку с почтовым штемпелем Одессы. «Погружаюсь на пароход, чтобы отплыть в Бомбей. Чувствую тяжелую поступь белого слона. Берегитесь, лорды Солсбери!» — писал он.

И до сих пор я не знаю, кто же был мой однопалатник — йог, авантюрист или просто милый шутник.

Так вот, я превращал себя то в столб, то в бревно, но главное, что я делал на чердаке, — это развивал силу взгляда. Надо было подолгу смотреть в одну точку не моргая. На стропиле чердака сидела муха и чистила одну о другую задние лапки. Я скрестил руки и уставился на нее. Муха почистилась и куда-то улетела. Я нашел другую муху, но и та не захотела долго сидеть на одном месте. Гоняясь за мухами, я набил себе о стропило шишку и весь запорошился чердачной пылью. Пришлось искать другую точку.

Как я мог положиться на муху! Ведь я и раньше замечал, что мухи очень легкомысленны. Вот паук — другое дело: он сплетает свою паутину и спокойно висит на ней, ждет, когда в его сетях запутается дура муха. Пауков на чердаке тоже было немало. Я избрал одного из них, на вид самого солидного. Главное, надо было не моргать. От напряжения у меня поползли слезы по щекам. Но я все смотрел и смотрел на паука, пока он не превращался в моих застланных слезами глазах в огромную страшную черепаху. Я вытирал глаза подолом рубахи и опять принимался за паука.

Так, в разных упражнениях, прошла целая неделя. Наконец я почувствовал, что во мне уже появилась эта таинственная сила. Надо было ее только испробовать на ком-нибудь. Но на ком? Подумав, я решил, что, пожалуй, больше всех для этого подходит сестра Маша. Хоть



она и старше меня на три года, но, как-никак, женщина, значит, существо слабое. Маша сидела за столом в нашей комнате и что-то писала в тетрадке. Я подошел к ней и сказал:

— Смотри на меня.

Маша подняла голову. Я уставился ей взглядом в переносицу и начал водить руками — делать пассы.

— Ты что, с ума сошел? — удивилась Маша.

— Молчать! — крикнул я. — Делай, что приказываю! Спи!..

— Ступай отсюда! — ответила Маша. — Я задачу решаю, а ты тут дурака валяешь.

Но я продолжал кричать:

— Спать!.. Спать!.. Спать!..

Маша встала, шлепнула меня и вытолкала из комнаты. Я стоял за дверью и размышлял, почему у меня ничего не получилось. Неужели книги наврали? Такие дорогие книги — и врут? А может, потому что Маша мне сестра? Как ей поддаться таинственным силам, заключенным во мне, если она шлепала меня с самого моего младенчества! Надо попробовать на постороннем.

Из нашей комнаты я пошел в зал чайной. Там сидело человек десять босяков и нищих. Сидел и тряпичник Сидоркин, по прозвищу Подберионуча. Вот этот, кажется, мне подойдет. Был он тихий, робкий, всегда сонный. Только от него неважно пахло: он собирал и складывал в мешок кости, грязные тряпки, рваные калоши, жестянки из-под дегтя и всякую другую дрянь. Ну, что же запах! Можно и потерпеть. Ведь терпел же я, когда сидел с ним рядом и слушал забавные истории: то как он в мусорном ящике алмаз нашел и шесть месяцев жил на широкую ногу, по-княжески; то как в него влюбилась одна купчиха, подарила ему золотой перстень с огромным бриллиантом, и он целый год жил по-графски. Босяки ему не верили, но слушали, не спуская с него глаз, потому что каждому хотелось пожить по-княжески хотя бы один день. Послушав, они с досадой говорили: «Ну и врешь же ты, проклятый, собачья кость, гнилое мясо! Только расстроил понапрасну, свиное ухо!..» К этому Сидоркину я и подошел:

— Сидоркин, хочешь, я тебя усыплю?

Он посмотрел на меня своими светлыми добрыми глазами и заискивающе спросил:

— Это как же? Попотчуеть водочкой, что ли?

— Нет, я тебя гипнозом усыплю. Смотри на меня! — Я принялся делать пассы. — Спи!

Сидоркин с сожалением развел руками:

— Рад бы, милый, уснуть, да папаша твой не позволяет нам здесь спать. А так, почему бы не поспать часок-другой. Я в ночлежке ночую. А там разве поспишь спокойно. Один храпит тебе в ухо, другой в карман лезет.

В тот же день я отнес «Хатха-йога» в библиотеку и уселся за уроки.

С Илькой я помирился еще раньше. Встретившись с ним в классе после неудачных опытов, я сказал:

— Илька, ну какую глупость ты мне посоветовал насчет гипноза!

Он удивленно поднял брови:

— Я тебе советовал? Я? Смеешься?

— А то кто? Забыл, как сказал мне, чтоб я усыпил гипнозом стражников Петра?

— Шутки не понимаешь, — презрительно оттопырил Илька губу. — На что их усыплять? Вот дадим царю по шапке, стражники и сами разбегутся.

КУПЕЦ-ВЫЖИГА

С некоторых пор к нам в чайную стал заходить статный мужчина лет сорока, с короткими усами, в лоснящемся сюртуке и помятой, уже не белой, а серой манишке. Босяки называли его «адвокат». Он и на самом деле был адвокатом, но за какую-то дерзкую речь против царских судей ему запретили выступать на суде, он запил и опустился. Напившись, скандалил. И у нас буйствовал: перевернул однажды стол, ругался, называл общество трезвости обществом мерзости, грозил поджечь чайную. Пришел городской и сказал: «Не извольте, барин, безобразничать». Хоть адвокат и опустился, а все-таки для городского он был барином. «А то что будет?» — дерзко спросил адвокат. «Известно, что: в участок отведу». — «Не имеешь никакого криминально-юриспруденческого права», — сказал адвокат. И озадаченный городской ушел. Однажды адвокат взобрался на стол и оттуда при-

нялся кричать, грозя кулаком: «Ужас и отвращение к тебе питает наша общая мать-родина, давно уже свыклась она с мыслью, что ты только и мечтаешь о ее гибели!.. Ни одного преступления не было совершено без твоего участия; ни одного гнусного злодеяния не обошлось без тебя...» Околоточный надзиратель Гришин, который это слышал, повел его в участок. Но к вечеру адвокат опять появился у нас и, хохоча, сказал:

— Ну не идиот? Я читал речь Цицерона против Катилины, а он, невежда, решил, что я о нашем царе так говорю. Вот оно как получилось: невзначай, а кстати. Сунул приставу золотой, и меня отпустили. О твари! Все продажные, все! Всех подкупить можно!

Я подошел к нему и тихо спросил:

— А стражников тоже подкупить можно?

— Каких стражников? — Он недоуменно посмотрел на меня.

— А тех, которые стерегут каторжников.

— Ха! Они говорят с человеком, а сами на руку ему смотрят.

Вот об этих словах адвоката я и вспомнил, когда зашел к Алехе купить тетрадку, а он спросил меня, хочу ли я разбогатеть. Раньше Алеха носил по базару корзину с книжками, календарями, открытками, перочинными ножами. Тогда он был худой и звали его просто Алешка. Потом он выстроил деревянную лавку, завел большую книжную торговлю, растолстел, и его стали звать «Алеха Пузатый». Богатеть я не собирался. Зачем мне богатеть? Но добыть денег, чтоб подкупить стражников, — вот о чем я теперь мечтал.

— А как? — спросил я Алеху. — Как разбогатеть?

— Да так же, как и я богател. Будешь от меня получать картинки и продавать в привозе мужикам. Я с тебя — четыре копейки, а ты с мужика — пятак. На меня уже много пацанов работает. Кто календари носит, кто конверты с почтовой бумагой, кто карандаши. А ты будешь картинки. Поторгуешь так года три — и тоже в купцы выйдешь.

— А зачем мужикам картинки? Что они, маленькие?

— Зачем! На стенку прибить! Мужики любят картинки. Особенно генералов. Об этом еще господин Некрасов в своем полном собрании сочинений писал. Вот,

послушай. — Он полистал, слюнявя пальцы, потрепанную книжку и стал читать:

— А генералов надобно? —
Спросил их купчик-выжига.
«И генералов дай!
Да только ты по совести,
Чтоб были настоящие —
Потолще, погрозней...
Давай больших, осанистых,
Грудь с гору, глаз навывкате,
Да чтобы больше звезд!»

Понял? Вот я тебе таких и дам сотню. Продашь — целковый заработаешь. А там еще подкину.

— Значит, это я и буду купцом-выжигой?

— Ну да! А иначе как же в нашем деле? Вона! Будешь мямлить да стыдливость распускать — тебя другой обскачет. В коммерции, как на войне: либо сам убьешь, либо тебя убьют.

За тетрадку он денег не взял и даже подарил мне потрепанную книжку — ту самую «Королеву Марго», из-за которой Витька остался на второй год.

— Так как? Пойдешь ко мне в компанию?

Я сказал, что отвечу завтра.

И думал целый день. Сделаться купцом да еще выжигой мне совсем не хотелось. Купцов я не любил. Одна Медведева чего стоила. Но мысль о Петре не давала мне покоя. Собрать рублей хоть сто, а там можно и на розыски пуститься.

Не знаю, что бы я решил в конце концов, если б к нам не зашел один человек...

Вечером я приготовил уроки, пришел из нашей комнаты в зал чайной и остановился, удивленный: вся наша семья — отец, мама, Маша и Витя — разместились за столом и внимательно слушала, что рассказывал какой-то незнакомый мне мужчина. Лицо у человека было изможденное, а карие блестящие глаза смотрели так, будто им было больно. Отец спросил:

— А на чем же там ездят?

— На оленях, только на оленях, — ответил мужчина. — Олень там все: он и мясо дает, и шкуру для одежды, и вместо коня служит. Без оленя там человеку гроб.

Заметив меня, отец сказал:

— Вот и самый младший. Послушай, Митя, что рассказывает гость: он нашего Петра видел и даже поклон привез от него.

Я от радости онемел. Мужчина перевел на меня свои страдальческие глаза.

— Да-да, — кивнул он, — всему семейству поклон, а тебе в особенности. Так и сказал: «Особенно самому младшему. Мы с ним по крымской земле скитались, горе мыкали».

— Он в Якутии, — объяснил отец. — Это далеко отсюда, в Сибири.

Придя в себя, я сказал:

— А я... А мне... можно туда поехать?

Мужчина засмеялся, но глаза его по-прежнему выражали боль.

— Кто ж, милый, туда по доброй воле едет! Не туда, а оттуда норовит всяк сбежать. Алексей, или, как вы его тут звали, Петр, на что человек-богатырь, а и то занеужил там... Правда, его таки крепко побили. За побег били. Изловят, привезут обратно, ну и бьют. Да он все равно сбежит. Иные неволю покорно переносят, а он не свыкается. Или сбежит, или руки на себя наложит. Такой он.

По щекам моим покатались слезы. Мама прижала меня к себе и ладонью стала отирать их. Я ожидал, что Витька скажет: «Ну вот! Плакса!» — но на этот раз даже он не подразнил меня, а сидел и молча смотрел на уголок стола.

Мужчина был местный. Десять лет назад он служил сторожем при лабазе у купца Ковалькова, долго терпел издевательства всегда пьяного хозяина, но однажды терпение у него лопнуло, и он в отместку за побои и брань поджег лабаз. Теперь он вернулся из ссылки и ищет работу. Отец сказал, что возьмет его в половые, если у нас освободится место. Все-таки отец у нас отзывчивый.

Когда человек ушел, я уж больше не раздумывал, торговать или не торговать картинками, идти или не идти в купцы-выжиги: пока я буду раздумывать, Петра там до смерти забьют.

Заснул я не скоро. Мне все представлялось, что мы с Петром мчимся на узких длинных санях по бескрайнему

снежному полю. За нами погоня, но олени будто чувствуют, какого человека они везут, и не бегут, а летят над белой пеленой. Вдруг из-за бугра выскакивают стражники в валенках, в желтых полушубках, с винтовками наперевес. Петр обрезает ременные построумки, поднимает нарту над головой и бросает ее прямо в стражников. Стражники падают, но им на помощь из-за бугра бегут другие. Они сбивают Петра с ног и вяжут его. Тогда я выхватываю из кармана Илькин пистолет и стреляю... Да-да! Обязательно надо захватить с собой Илькин пистолет... Один стражник упал, другой, третий... А умные олени стоят и ждут, когда мы расправимся с врагами. Четвертого и пятого стражников Петр сталкивает лбами, и они падают замертво. Мы связываем построумки и несемся так, что только ветер в ушах...

Утром я в школу не пошел, а пошел прямо в лавку к Алехе Пузатому.

— Ну, надумал? — спросил Алеха.

— Надумал, — ответил я. — Только сто мало, давай сразу двести.

Но Алеха двести не дал. Он отсчитал мне на первый раз тридцать открыток и потребовал в залог фуражку.

— Я от всех беру заклад, а то дашь товар — и поминай как звали.

Свою фуражку я положил на полку, где уже лежали две шапки.

На всех открытках изображались генералы. Больше года уже шла война с Японией, и имена этих генералов знали все. Вот командующий Первой маньчжурской армией генерал от инфантерии Линевич: седые усищи до ушей, лента через плечо, вся грудь, как иконостас, в крестах и звездах. Смотрит так, будто одними только глазами испепелит всех японцев. Вот лысый, с бульдожьей головой военный министр, генерал-адъютант Сахаров. Вот «доблестный защитник нашей твердыни на Дальнем Востоке» генерал-адъютант Стессель, тоже с усищами, звездами и крестами. Вот главнокомандующий всеми сухопутными вооруженными силами генерал-адъютант Куропаткин — верхом на коне, но с таким видом, будто у него живот болит.

Я отправился с открытками в привоз. День был субботний, и крестьянских возов съехалось особенно много.

Стояли подводы с укутанными соломой глечиками кислого и сладкого молока, с яйцами, с живыми курами и гусями, с пучками бело-розовой редиски и зеленого лука, с ранними свежими огурчиками, с черешней, крыжовником и со всякой всячиной. У возов лежали распряженные волы, тяжело вздыхали и жевали свою бесконечную жвачку. Вдоль рядов бегали босоногие мальчишки и продавали свои изделия: у одного в руках были змеи, склеенные из разноцветной бумаги, у другого — вертящиеся на ветру бумажные звезды, у третьего — выпиленные из фанеры шкатулочки. Мальчишки звонко кричали, расхваливали свой товар: «Вот змей-чародей, дай пятак, не жалея!», «Вот рамка на портрет, на всем свете лучше нет!», «Кому шкатулочку продать, чтобы гроши в ней ховать?» Я сложил открытки веером и тоже стал хвалить свой товар: «Вот генералы — первый сорт! На всем свете нет таких генералов боевых!» Я думал, что на генералов так все и накинется, и был очень обескуражен тем, что на мои выкрики обращали внимания еще меньше, чем на выкрики других мальчишек. Прошел, наверно, целый час, прежде чем один крестьянин, малость подвыпивший, поманил меня пальцем и, лукаво щуря глаза, сказал:

— А ну, хлопчик, покажи, яки таки генералы у тебе.

Я с готовностью вручил ему все тридцать открыток. Он стал их перебирать черными от земли пальцами и, все так же щуря глаза, объяснять окружившим его крестьянам:

— Стессель. Бачите, скильки звезд да крестив? Це ж той самый, що Порт-Артур... — И он сказал такое слово, что все вокруг загоготали. — А це хто же? Це сам Куропаткин, тот самый, що усих увещивае: «Терпения, терпения!» А японцы его все бьют та бьют. Булы у нас разни генералы та адмиралы — и Суворовы, и Кутузовы, и Нахимовы, и Корниловы. А такого зроду не було. Одно слово: куропатка. — И тут опять все загоготали. Сколько в руке у него было генералов, он всех их осмеял. А потом вернул мне открытки и сказал: — Знаешь, хлопчик, що: побросай их всих в нужник. Нехай там и воюють и ворують. Не генералы це, а обиралы.

Так ни одного генерала я и не продал. Все открытки я вернул Алехе.

— Что ты мне всучил Стесселя, когда он Порт-Артур... — Тут я повторил то слово, каким выразился подвыпивший мужичок. — Никто твоих генералов не покупает.

Алеха укоризненно покачал головой.

— Знаешь нашу поговорку: не обманешь — не продашь? Какой же из тебя купец, ежели ты не можешь гнилой товар сбыть! — Он помолчал и примирительно сказал: — Ладно, дам тебе другие открытки. Эти пойдут, только надо знать, кому их поднести. Рабочим или там мастеровым даже не показывай, а вот барыням в шляпах или, к примеру, духовным особам, или господам коммерсантам — тем подноси смело. Да и мужикам, которые побогаче, предложить можно. Одним словом, ку-мекай сам, крутись.

И он отсчитал мне дюжину других открыток. Все они были одинаковые: на них изображался курносый младенец в коляске и стояла надпись: Его Императорское Высочество Наследник — Цесаревич Алексей Николаевич.

Куда ж с ними идти? На базар? Так там барынь в шляпках не так уж много. Я решил идти на главную улицу: там всегда много гуляющих господ. И правда, только я свернул на Петропавловскую, как сейчас же увидел толстую барыню в шляпе с вуалеткой.

— Мадам, купите наследника! — подбежал я к ней.

— Кого купить? — не поняла барыня.

— Наследника-цесаревича Алексея Николаевича, его императорское высочество.

Барыня взяла из моих рук открытку, посмотрела и заулыбалась:

— Ах, какая прелесть! Сколько тебе?

Как и подобало купцу, я сразу же решил использовать восторг покупательницы и храбро сказал:

— Гривенник.

— Ну, гривенник! Довольно тебе и пяточка. — Барыня вынула из серебряной плетеной сумочки крошечную серебряную монетку и сунула мне в руку. — Получи.

Осмелев, я стал громко выкрикивать:

— Кому наследника-цесаревича! Навались! Отдаю по дешевке наследника-цесаревича!

За несколько минут я продал половину открыток. Брали барыни, господа в соломенных шляпах «панама»,



*Барыня взяла из моих рук открытку, посмотрела и заулыбалась:
— Ах, какая прелесть! Сколько тебе?*

чиновники. А соборный дьякон — тот сразу взял две. Я уже мысленно подсчитывал свои барыши, как случилось неожиданное. Трое мужчин в перепачканных краской блузах, с ведрами и кистями в руках, остановили меня и принялись рассматривать открытки.

— Вот и еще кровосос родился, — сказал один из них и щелкнул наследника пальцем по носу.

— У него и в соске, наверно, кровь, — сказал другой.

А третий сунул открытку в ведро с краской и, мокрую, зеленую, вернул мне. От нее в зеленое вымазались и остальные открытки.

— Продавай теперь его императорское высочество, — сказал он, — да смотри не продешеви.

Около меня собралась толпа. Слышались выкрики:

— Что тут продают? — Не видите, что ли! Царя продают! — Не царя, а наследника. — Это все равно. — Продают всю Россию. — Кто продает Россию? Кто? — Известно, кто: студенты, рабочие, евреи! — Не говорите глупостей! Мой сын тоже студент, а Россию он любит, как мать родную. — Я извиняюсь, господин, а сами вы не из евреев будете? — Дурак! Я православный! — От дурака слышу. Только, скажу вам, напрасно вы кипятитесь; у меня глаз на вашего брата наметанный. — Р-разойдись, господа! — Господин околоточный, куда ж вы смотрите! У вас под самым носом царя продают! — Не царя, господин колбасник, а наследника. — Это все равно. Всю ему, извините, фисгармонию в зеленую краску вымазали. — На то он и божий помазанник, чтоб его мазали. — Не мазать его надо, а смазать. Довольно народ терпел. — Р-разойдитесь! Р-разойдитесь! — Ну, ты, полегче, не толкайся! А то сдачи дам! Привыкли, фараоново племя, над народом издеваться! — Задержите мальчишку! Задержите мальчишку! Пусть скажет, кто его научил царя мазать! — Мальчишка тут ни при чем. — Нет, при чем! Я сама видела, как он мазал! — Петренко, взять мальчишку!

Рыжеусый городской схватил меня за руку и поволок. Толпа двинулась за нами и все росла и росла. С главной улицы она свернула в переулок, из переулка выкатилась на соборную площадь. Время от времени околоточный останавливался и кричал:

— Р-разойдитесь, господа! Р-разойдитесь!

Толпа чуть отставала, но потом опять нагоняла нас. Из толпы неслись выкрики, свист, улюлюканье:

— С мальчишками воюете! Японцев не одолели, так за мальчишек взялись! Фараоны! Крючки царские!

Вдруг из толпы взвился ком земли и упал, рассыпавшись, у ног околоточного. Городовой бросил мою руку и потянул из кобуры наган.

Но мою руку схватил кто-то другой и втащил меня в толпу.

— Тикай, хлопчик!..

Это был тот самый маляр, который сунул цесаревича в ведро с краской.

Я задал такого стрекача, что и не заметил, как оказался в чайной, на чердаке.

НА МЕНЯ НАЛАГАЮТ ЭПИТИМИЮ

— Ты почему не сказал мне, что у тебя появился голос?

Я стоял в коридоре училища и со страхом смотрел на Артема Павловича. Брови у него сошлись, оловянные глаза не моргая смотрели поверх очков прямо мне в лицо.

— Артем Павлович, у меня... всегда голос был... — пролепетал я.

— Врешь, голоса у тебя не было! Ни голоса, ни слуха!

— Что вы, Артем Павлович!.. Вы меня с кем-то спутали... Я никогда не был глухонемым... Я всегда слышал и говорил... Спросите кого хотите... Весь класс подтвердит...

— А, да я не об этом! Кто сейчас пел во дворе «По-вій, вітре, на Вкраїну»? Ты?

— Я...

— То-то вот!.. Сегодня же явись на спевку!

Артем Павлович был учителем не только математики, но и пения. Математику он, наверно, не любил: на уроках зевал, тетради проверял редко, на доску смотрел с отвращением. Зато на спевках он чуть не приплясывал. И вообще делался совсем другим человеком. Ученикам, которые с усердием посещали уроки пения, он даже по математике натягивал лучшую отметку. А я на пение ходить не хотел. Поэтому, когда он пробовал голоса и заставил меня под свою скрипку тянуть «до-ре-ми», я такое затянул, что он весь сморщился и сказал: «Петух!»

А сегодня, на большой перемене, я сидел с ребятами во дворе училища и рассказывал об одном босяке. Босяк этот любил петь украинскую песню «Повій, вітре, на Україну», и, когда пел, у него слезы лились из глаз. Ребята сказали: «А ну, спой! Интересно, что это за песня такая». И я, на свою беду, спел. Вот Артем Павлович и услышал.

После всех уроков я, волей-неволей, пошел в актовый зал, где по понедельникам бывали спевки. Артем Павлович тотчас же приказал мне спеть опять «Повій, вітре, на Україну». Стараясь подражать босяку, от которого слышал эту песню, я запел:

Повій, вітре, на Україну,
Де покинув я дівчину,
Де покинув карі очі,
Повій, вітре, опівночі,

Я пел и сам удивлялся, как плавно, легко и звонко неся мой голос в этом большом зале. Мне и в самом деле стало казаться, что на свете есть кто-то, с кем меня разлучила злая судьба и по ком я день и ночь тоскую. Но ясно я этого существа не представлял. Мне только очень хотелось, чтобы каким-нибудь чудом мое пение услышала Дэзи и чтоб голова ее опускалась все ниже и ниже, как все ниже и ниже опускалась сейчас голова Артема Павловича. И я, горюя уже по-настоящему, пропел:

Вітер віє, вітер віє,
А козаче серце мліє,
Вітре віє, не вертає,
Серце з жалю замирає.

Артем Павлович поднял голову и опять посмотрел на меня. Его щетинистый подбородок вздрагивал.

— Да-да... — пробормотал он. — Да-да... Жизнь — корявая штука. — И вдруг рассердился: — Ты притворялся, каналья! Ты просто меня обманул!.. Но теперь я тебя не выпущу! Не-ет, шалишь! Я из тебя солиста сделаю в моем хоре. Солиста! Пой!

Он сунул мне листок с нотами и заиграл на скрипке. Нот я не знал, но под скрипку запел правильно:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.

— Хорошо! — сказал Артем Павлович, и глаза его, всегда мутные, засветились. Он махнул рукой.

Ребята хором повторили:

То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.

Мы пели и пели разные песни, печальные и веселые, пока Артем Павлович не спохватился:

— Что ж это! На носу конец учебного года! Не «Польку» ж нам петь на молебне. Ну-ка, «Богородицу».

Так с «Польки» хор перешел на молитвы. Нам уже давно хотелось есть, и церковные песнопения звучали теперь особенно уныло.

Неожиданно в зал вошли два священника — наш рыжий законоучитель отец Евстафий и другой, в черном клобуке, в черной монашеской рясе, с черной бородой и черными глазами — весь черный. Наш батюшка сказал:

— Это ученический хор, патер¹ Анастасе. Вот послушайте, как умирительно поют дети и юноши церковные песнопения.

Черный наклонил голову. Оба священника приготовились слушать. Наверно, Артем Павлович подумал, что они пришли проверять, правильно ли нас обучают церковному пению; он хмыкнул, покривился и повернулся к ним спиной. Мы пропели еще одну молитву. Наш батюшка погладил рукой бороду и сказал:

— Душа исполняется священным восторгом. Чудно! Вот только «тя величаем» получилось без душевного подъема. Следовало бы протянуть. «Тя велича-а-аем!» — пропел он козлиным голосом.

— Оставьте, отец Евстафий! — еще более кривясь, сказал Артем Павлович. — Я не регент, а учитель пения. — И явно назло батюшкам приказал мне пропеть «Повій, вітре».

Наш батюшка сначала хмурился: ему, видно, не нравилось, что все перемешалось — и дивчина с карими оча-

¹ Отец (латинск.).



ми, и отче наш, иже еси на небесах. Но, по мере того как я пел, лицо его прояснялось, а под конец песни он даже улыбнулся:

— Как, патер Анастасэ, хорош голос у нашего отрока? Не правда ли, ангельский?

— Эма!.. Орео! ¹ — ответил черный и так покачал головой, будто в рот ему положили вкусную конфетку.

— Знаете, патер Анастасэ, мне пришла в голову одна мысль, — продолжал наш батюшка. — Дерзаю думать, сам господь внушил ее. Отойдемте-ка в сторонку, поговорим. Вы всегда были моим лучшим другом и мудрым советчиком.

Оба священника пошли к окну и стали шептаться.

— Связался рыжий с черным, — пробормотал Артем Павлович. Мальчишки захихикали. — Ну, вы! Цыц! — прикрикнул на нас учитель. — Споем опять «Богородицу».

¹ О!.. Превосходно! (греческ.).

Мы еще немного попели и отправились наконец по домам.

Вечером я сидел в чайной. Вдруг замечаю, что все босяки и нищие, которые тут были, сразу встали со своих мест. Что такое? Глянул в сторону двери, а там стоят оба батюшки. Не знаю почему, но у меня душа сжалась. Зачем они пришли сюда?

Батюшки направились к стойке, за которой сидел отец. При виде их он так удивился, что даже забыл пошаркать ногой, что делал всегда, когда к нам приходили важные особы.

— Здравствуйте, — медовым голосом сказал наш батюшка. — Не вы ли будете Мимоходенко?

— Так точно, — ошеломленно ответил отец. — Чем могу служить?

— Мы с патером Анастасе ходили по требам в Алчевский переулок. Решили заглянуть попутно и к вам. Желательно поговорить о вашем младшем сынке, об отроке Димитрии.

— К вашим услугам, — поклонился отец и шаркнул наконец ногой.

— Да, но келейно, келейно.

— В таком случае разрешите вас проводить в мое личное помещение. Вот сюда пожалуйста-с, вот сюда.

И отец повел священников через кухню в наши комнаты.

Услышав, что батюшки будут говорить с отцом обо мне, я еще больше встревожился.

Босяки опять сели и задымили махоркой. Тряпичник Подберионуча сказал:

— Этот вот рыжий, что из церкви Михаила архангела, ох и скупердяй! Намедни зашел я до него во двор. «Батюшка, говорю, нет ли какой тряпицы негодной али там бутылок пустопорожних? Пожертвуйте бедному человеку». Вынес он мне портки дырявые и говорит: «Вот бери, плати полтину». — «Что вы, говорю, батюшка! Да за них мне самому и гривенника не дадут. Пятак им красная цена». Стали мы торговаться: он копейку скинет, я копейку накину. Торгуется и все словом божьим припечатывает: «Не собирай себе сокровищ на земле, а собирай их на небе». Терпел я, терпел, потом и сказал: «Мои сокровища всему городу ведомы, они вроде вот этих

ваших портков: дырка на дырке сидит и дыркой погоняет. А вот вы, батюшка, уже два дома построили и на третий кирпич завозите. Неужто норовите в рай с тремя домами въехать?» Ох и озлился ж он! «Вон, кричит, со двора! Я думал, ты православный, а ты, наверно, татарин. Чтоб духу твоего мусульманского тут не было!» Так мы и не торговались.

Босяки слушали и смеялись. Один из них спросил:

— А черный — это кто же будет?

— Черный — это из греческой церкви царя Константина. Он монах не простой, он поп. По-ихнему, по-греческому, перевс¹ называется. Только так его здесь мало кто величает: больше все патером зовут, как и попа католического, хоть это и неправильно. Служит в церкви, а живет в монастыре, что в Куркумелиевском переулке. Они, монахи эти, все там черные. Уж такая у них масть.

Действительно, в Куркумелиевском переулке стояло двухэтажное длинное здание с окнами, забранными железными решетками. Мимо я проходил всегда с жутким чувством, особенно если к решетке, бывало, прильнет бледное лицо монаха с черной бородой и черными неподвижными глазами.

— Не житье там, а малина, — продолжал рассказывать тряпичник. — Кто видел хоть одного из ихнего брата, чтоб он худой был? Все откормлены, как гуси к рождеству. Им мало того, что русская земля родит, им подавай еще разные маслины да апельсины. Каждую субботу пароход привозит подарочки из греческого государства.

— Вот бы и тебе там якорь бросить, в монастыре том, — посоветовали слушатели тряпичнику.

— Во-первых, я не грек, а чистокровный русский, во-вторых, я не зверь какой, чтоб за решеткой сидеть, а главное, мне не по нраву такая жизнь — самому не есть и другому не давать.

— А говорил, все откормленные, — заметили тряпичнику.

— Э, милоч, я не про то. Я люблю на княжескую ногу жить, чтоб, значит, на тройке кататься, в ресторациях шампанское хлопать, чтобы меня цыганский хор величал, а они сидят на несметных богатствах и не вылазят

¹ Священник (греческ.).

из своих келий. Только и радости, что через решетку на людей поглазеть. Нет, братики, такая жизнь не по мне. Доведись в тот монастырь проникнуть, я бы живо те сокровища вынюхал и в Петербург с ними укатил, а то и в Париж, к тамошним французиham. Только они, монахи эти, никого до себя не допускают. Всё там за решетками да на пудовых замках. Пойди перегрызи те решетки — без зубов останешься.

— Неужто там и вправду сокровища есть? — спросил нищий-старик.

— Ого! А ты не слыхал? Там столько золота да камней драгоценных, что все на свете трактиры купить можно. Но, я так думаю, монахи и сами не знают, где оно, в какой стене замуровано, сокровище это. А я бы нашел! Ей-богу, нашел! Взял бы молоточек — и давай им выстукивать все стены. Где гулким отзовется, там оно, значит, и лежит. Один знакомый печник, которого в монастырь позвали печки перекладывать, говорил мне, что совсем было уже нашел место это, да монахи догадались, за каким зверем он охотится, и выбросили его со всем печным инструментом на улицу.

— Кто же его упрятал там, сокровище это? Не разбойник же? — спросил нищий. — Разбойники — те награбленное добро под курганами прячут.

— А вот как раз и разбойник. Куркумели его фамилия. Аль не слыхал? Самый настоящий разбойник. По его фамилии и переулочек теперь так зовется: Куркумелиевский. Было это лет сто тридцать назад, еще Екатерина сидела на престоле. В ту пору плавал по разным морям на своем разбойничьем корабле морской пират грек Куркумели. Что людей загубил — и сосчитать невозможно. Случись тут русско-турецкая война. Известно, какая промежду греками и турками была любовь: так и ловчились, чтоб голову срубить один у другого. Подплыл Куркумели к русскому флоту и говорит графу Орлову: так, мол, и так, желаю со всей своей командой на вашей стороне с турками драться. Ежели угодно, могу даже указать, где он прячется, турецкий флот. В Чесменской гавани прячется, вот где. Проверил Орлов — правильно, в Чесменской и есть. Ну и давай его топить. Узнала про то Екатерина и пожаловала разбойника Куркумели званием почетного гражданина Российской

империи. В придачу земель она ему надавала множество и всяких рыбных промыслов в Астраханском крае. Разбойнику и своего награбленного добра девать было некуда, а тут еще несметное богатство подвалило. И что ни день, то богаче и богаче делался он. Но чем время ближе к смерти, тем страшней ему становилось: как-то дело обернется на том свете, не придется ли раскаленную сковородку языком лизать? И вот задумал он откупиться от грехов. Понастроил богу часовенок да кампличек разных от Астрахани до самого Саратова. А в нашем городе, куда он переехал на постоянное жительство, даже выстроил громадную церковь на греческий манер и монастырь на двадцать монашеских персон греческой нации. Однако все на бога не истратил, а на всякий случай оставил себе пуда два золота да целую кубышку драгоценных камней. Замуровал в монастыре в стенку, а куда именно, по старческому слабоумию и сам забыл. Так и помер, не отыскав своего богатства. А чтоб монахи не вздумали растаскать золото и камни и загубить свои души в разврате жизни, он на сокровище запрет наложил: кто, мол, тронет, того собственной рукой отведет на том свете к диаволу на расправу. Вот монахи и сидят на богатстве, как собака на сене: и сами не пользуются, и другим не дают.

Что еще тряпичник рассказывал, я не знаю: прибежал Витька и сказал, что отец меня зовет.

— Ага, набедокурил! Вот тебе будет теперь!

«Значит, дознались, кто цесаревича вымазал в зеленое», — мелькнуло у меня в голове.

Порог в нашу комнату я перешагнул ни жив ни мертв. Оба батюшки сидели у стола, покрытого по-праздничному новой скатертью. Перед ними стояли тарелка с остатками голландского сыра и пустые уже рюмки. Отец строго сказал:

— Целуй у батюшек руки.

Я покорно поцеловал сначала руку белую с золотистыми пучочками волос на пальцах, потом смуглую с черными пучочками.

— Преси у батюшек прощения, — приказал отец. — Знаешь, за что?

— Знаю, — тихонько сказал я.

— Вот, батюшки, я же говорил, что он мальчик, в

общем, хороший и всегда признает свою вину. Ну, скажи, Митя, в чем ты виноват, покайся батюшкам.

— В том, что вымазал... в зеленое... — выдавил я из себя.

— Что-что? — удивился отец. — Какая чушь! При чем тут зеленое! В том, что на уроках закона божьего задаешь батюшке глупые вопросы и будоражишь весь класс. Понял? Вот и покайся батюшкам. Скажи: простите, батюшки, я больше не буду.

Но у меня будто язык прилип к гортани. Во-первых, почему я должен каяться не только перед нашим батюшкой, но и перед чужим? Во-вторых, я глупых вопросов не задавал. И, в-третьих, что ж это получается? У нас общество трезвости, а батюшки в один присест выдули целый графин водки.

— Что же ты молчишь? — с досадой спросил отец.

— Я думаю, — ответил я.

Наш батюшка развел руками:

— Слышали, патер Анастасэ? Он думает. Как вам это нравится?

— Ца-ца-ца-ца!.. — укоризненно покачал черный своим клобуком.

Не знаю, откуда у меня взялась смелость, только я сказал:

— В «Ветхом завете» написано, что от сотворения мира до рождения Христа прошло пять тысяч пятьсот восемь лет. И батюшка нам это говорил. Я подсчитал, и выходит, что бог сотворил мир семь тысяч четыреста тринадцать лет назад. А наш Алексей Васильевич объяснял на уроках географии, что Земле уже много миллионов лет. Кому ж верить?

Отец растерянно моргнул и уставился на батюшек. Те взглянули друг на друга, и каждый укоризненно покачал головой. Не дождавшись от них ответа, отец сказал:

— Обоим надо верить, обоим! На то они и учителя. Понял?

Я не понимал, как это можно верить обоим, если они говорят невпопад, но покорно ответил:

— Понял.

— Батюшка наложил на тебя эпитимию, — продолжал отец. — Ты знаешь, что такое эпитимия? Эпи-

тимия — это церковное наказание. Ты утром и вечером будешь класть перед иконой по двадцати поклонов и читать покаянную молитву, а в воскресенье придешь к батюшке в церковь и пропоешь перед всеми молящимися «Символ веры». — Боясь, наверно, что я задам еще какой-нибудь вопрос, отец поспешно приказал: — Теперь иди.

— Подождите, господин Мимоходенко, — встрепелся наш батюшка, — вы же не сказали самого главного: он должен до воскресенья приходить каждый день после уроков к нашему регенту на спевку.

— Да-да, — подтвердил отец, — будешь каждый день после уроков приходить в церковь к регенту на спевку.

Вечером, когда я уже хотел юркнуть в постель, отец велел мне стать на колени перед иконой, делать земные поклоны и повторять за ним слова покаянной молитвы. Он раскрыл молитвенник и, запинаясь, начал читать:

— «Множество содеянных мною лютых помышляя окаянный, трепещу страшного дня судного; но надеясь на милость благоутробия твоего...» Да тут язык поломаешь, — сказал он и отодвинул молитвенник. — Не покаянная, а прямо-таки окаянная молитва. И без покаяния обойдемся. Было бы в чем каяться, а то напутают сами, а ребенок отвечай.

— Да вот же, — сказала и мама. — Где это видано, чтобы на ребенка эпитимию налагали? Подумаешь, грешника нашли! Лучше бы за собой смотрели. Черти патлаты!..

Мама моя попов не любила. Она была донской казачкой и часто пела:

Пусть меня не хоронят
Ни попы, ни дьяки,
А пусть меня похоронят
Донские казаки.
Все попы и дьяки
С копеечки быются,
Донские ж казаки
Горилки напьются.

— Я им поставил графинчик для приличия, а они весь вылакали, — пожаловался отец и тут же рассказал, как

за столом на чьих-то именинах спросили у дьяка: «Отец дьякон, вам что налить — водочки или винца?» — а дьякон ответил: «И пива».

Этот анекдот отец рассказывал часто и, рассказав, сам же смеялся. Так, под смех, я и заснул, довольный, что все обошлось благополучно.

«АНГЕЛ»

Утром отец сказал:

— Ты после уроков все-таки пойді к регенту, а то как бы батюшка не вздумал придираться.

Первым уроком была арифметика. Артем Павлович опросил одного ученика, другого, а потом посмотрел в журнал и сказал:

— Мимоходенко, что же это ты, братец, отстаешь по арифметике?

Я удивился:

— Артем Павлович, я не отстаю.

— Не отстаешь, а две единицы получил. Это как же?

— Не знаю, — еще больше удивился я.

Мальчишки закричали:

— Он не отстает, Артем Павлович! Он все задачи порешал!

— Ну-ка, иди к доске, — приказал учитель.

Он продиктовал задачу, и я, бойко отстукивая мелом по доске, решил ее без затруднения.

— Странно, — пожал Артем Павлович плечом, засыпанным белой перхотью. — Очень странно. Почему ж у тебя стоят тут две единицы?

Степка Лягушкин, который так прямо и говорит все, что думает, встал и сказал:

— Это, Артем Павлович, не две единицы. Вы ему прошлый раз за хороший ответ поставили аж одиннадцать. Вы еще тогда сказали: «Поставил бы двенадцать, да ты ростом не вышел». Это одиннадцать, а не две единицы.

Артем Павлович хмыкнул, поморгал и зачеркнул в журнале отметку.

— Хорошо, поставлю тебе пять. Только смотри, аккуратно ходи на спевку.

Это была первая пятерка за все три с лишним года, что я провел в училище.

Еще больше удивил меня батюшка: расчесывая во время урока свои рыжие волосы, он все время дружелюбно поглядывал на меня, а раз даже подмигнул мне. Вот уж не думал, чтоб он так относился к ученику, на которого наложил эпитимию!

К регенту мне идти не хотелось, но и не пойти было страшно. Пересилив себя, я прямо из училища пошел на привокзальную площадь, где стояла церковь архангела Михаила.

Церковь была закрыта. Я направился к сторожке — маленькому домику за церковной оградой. Приоткрыв дверь, я увидел двух человек. Один — старый, лысый, в валенках и полушубке, хотя на дворе было совсем тепло. На другом, бритом и пышноволосом, — серый костюм и галстук бабочкой. Они чокнулись чайными стаканами, выпили, сморщились и закусили луковицей.

— И вот, Семен Прокофьевич, кажинный раз, как вы меня попотчуете водочкой, я, слава тебе, господи, в часах сбиваюсь. Прошедший раз, когда вы ночью ушли от меня, я вместо двенадцати ударил в колокол аж четырнадцать. Потом спохватился и отбил два часа назад. А тут случись поблизости околоточный надзиратель. Постучал мне в сторожку и спрашивает: «Ты сдурел?» И даже хотел на меня, слава тебе, господи, протокол написать. Спасибо, нашлось чем угостить: отвязался, окаянный.

— Неважно, — хмуро ответил бритый, — двенадцать или четырнадцать — кому какое ночью дело. Лишь бы колокол звонил.

— Э, не скажите, Семен Прокофьевич: по церковному бою все в городе часы проверяют. Иной по моему бою так свои часы поставит, что, слава тебе, господи, заявится на службу либо на два часа раньше, либо на два часа позже.

Я переступил порог и спросил, где мне найти регента. Оказалось, бритый и был регент.

— Ты насчет «Символа веры»?

— Кажется, насчет «Символа веры», — ответил я.

— А это правда, что у тебя голос райский?

— Райский? — удивился я.

— Ну да. Батюшка говорит, что так поют только святые ангелы в раю. Ну-ка, попробуем.

Он вынул из футляра скрипку, настроил ее и приказал мне тянуть «а».



— Голос есть, — подтвердил он. — И тембр приятный.

— Писклявенький голосок, — поддакнул лысый. — Аж в сердце щекочет, слава тебе, господи.

— Ну что ж, «Символ веры» так «Символ веры». Посиди, сейчас придут певчие, — сказал регент.

Пока певчие собирались, лысый и регент допили всю бутылку.

Спевка тянулась чуть ли не до вечера. Тоненьким голосом я выводил: «Верую во единого бо-о-га», а хор мужских голосов откликался тяжким гудением: «Бо-о-га». Я: «Отца-вседержителя, творца неба и земли-и-и». Хор: «И земли-и-и».

К концу спевки я так проголодался, что хоть луко-

вицу грызи. Но все луковицы погрызли лысый с регентом.

На другой день — опять спевка. И на третий тоже, Мама даже сказала:

— Замучат ребенка.

Наступило воскресенье. Тут бы подольше поспать, а меня разбудили еще раньше, чем в будни. Оказалось, пришел лысый с портным и принес завернутый в простыню белый костюм. А я-то и не догадывался, зачем с меня снимали в церковной сторожке мерку. Рубашка и брюки были ослепительной белизны, а поясок золотистый, наверно из парчи. Когда я все это надел на себя, лысый сказал портному:

— Ну, Кузьма Терентьевич, в самую точку попал. И перешивать ничего не надо. А то иной портной и примерит раз семь, а штаны, слава тебе, господи, либо совсем не лезут на человека, либо при всем честном народе сползают до самой земли.

Костюм опять завернули в простыню, а мне велели идти в церковь.

И вот я, одетый во все белое, стою перед батюшкой в самом алтаре. На батюшке золотая риза. От зажженных восковых свечей она так и искрится вся.

— Сложи руки и поднеси их к подбородку, — приказывает он мне. — Вот так, подобно ангелу. И, когда будешь петь, возведи очи горé. Ну, благослови тебя господь. Иди с миром к певчим на клирос. Там тебе скажут, когда стать перед алтарем.

Хоть и воскресенье, а народу в церкви не густо. Больше все старушки в темных платьях и белых платочках. В алтаре я слышал, как патлатый дьякон жаловался батюшке: «Ох, ох, отходят миряне от святой церкви, отходят! Раньше, бывало, идешь с кадилом, а православным и расступиться не вмоготу, до того тесно стоят. А ныне на митинги больше поспешают. В пятницу какие-то горлодеры прямо на вокзальной площади собрание устроили. Народу сошлось столько, что на три храма хватило бы. Спасибо, полиция подоспела и разогнала нечестивцев. А в храм все же не идут... Распустился народ». Батюшка ему ответил: «Пойдут, отец дьякон, помяни мое слово, пойдут», — и почему-то показал глазами на меня.

Стоять на клиросе было томительно. Певчие уныло тянули «аминь» и «господи, помилуй»; старушки, кряхтя, опускались на колени и стукались лбами о каменный пол, а ладаном и воском так сильно пахло, что у меня в голове туман стоял. Наконец регент сказал:

— Иди. Станешь перед алтарем и будешь смотреть на меня. Как взмахну рукой, так и начинай.

— А батюшка велел мне смотреть вверх, — сказал я.

— Гм... Ну, смотри вверх, только одним глазом поглядывай и на меня.

Я пошел к алтарю и стал на самом видном месте, спиной к царским вратам, а лицом к молящимся. Старушки перестали креститься и уставились на меня. Как я ни старался смотреть одним глазом вверх, а другим на клирос, у меня это не получалось. Наверно, лицо мое при этом сильно кривилось, потому что старушки уже смотрели на меня не с удивлением, а прямо-таки со страхом. Ко мне даже донесся чей-то громкий шепот:

— Юродивый!.. Ой, батюшки, страх какой!..

Хоть и одним глазом, но я все-таки увидел, что регент взмахнул камертоном. Я молитвенно сложил руки, поднес их к подбородку и пропел:

— «Верую во единого бо-о-о-га...»

Пропел и опять удивился, как легко понесся мой голос по церкви. Я даже услышал, как он вернулся ко мне, будто оттолкнулся от позолоченных икон и каменных стен.

— «...бо-о-о-га...» — одними басами повторил хор.

Теперь я уже не смотрел на регента, а смотрел вверх, туда, где на страшной высоте в огромный купол вливался дневной свет через множество окон.

— «Отца-вседержителя, творца неба и земли-и-и...» — пел я.

— «...и земли-и-и...» — будто подземным гулом отзывался хор.

Молитва эта длинная. Я ее допел до конца и взглянул на молящихся: все старушки стояли на коленях.

И потом, когда я шел к выходу, чтоб пробраться в сторожку и там переодеться, они со слезами на глазах хватали меня костлявыми пальцами за рубашку и что-то умиленно шамкали.

А на паперти стоял лысый. Он всем говорил:

— Приходите к вечерне: наш белый ангелочек опять будет петь. Слышали, как старался? Даже к концу малость охрип, слава тебе, господи...

ЗОЙКА МЕНЯ ПОМНИТ

Перед вечером к нам явился регент и сказал, чтобы я немедленно ехал в церковь.

— Да что ж это такое! — воскликнула мама. — И в праздник не дают ребенку отдохнуть!

— Праздник не для отдыха, а для молитвы, — назидательно объяснил регент. — Вы лучше обратите внимание на честь, которую оказывает церковь вашему сыну: батюшка экипаж за ним прислал.

Действительно, из окна мы увидели извозчицью пролетку. Регент усадил меня на кожаное сиденье и всю дорогу не выпускал из рук моей рубашки: наверно, боялся, что я соскочу с пролетки и убегу.

На этот раз церковь была полна. Те, которые не сумели протиснуться внутрь, стояли на паперти, где обыкновенно стоят нищие.

— Полный сбор, господин солист, — насмешливо сказал мне регент. — Аншлаг!

Я опять пел «Символ веры», и опять люди стояли на коленях, а некоторые даже плакали. И все называли меня ангелочком. Правду сказать, мне это не нравилось. Чего это ради старухи ловят меня за рубашку и всхлипывают! И вообще, я никогда не хотел быть ангелочком, а хотел быть настоящим мужчиной, как Петр. Поэтому я в понедельник вечером отправился не в церковь, а к Ильке, хоть и знал, что мне от батюшки попадет.

Илька стоял около кузницы и вертел в разные стороны головой.

Я сказал:

— Здравствуй, Илька.

Он посмотрел на меня сначала сверху вниз, потом снизу вверх и ответил:

— Здравствуйте, отец дьякон!

— Ну и глупо! — вспыхнул я. — Какой я дьякон?

— А кто же ты? Ну не дьякон, так псаломщик. Ах, да! Ты ангелочек! Вот ты кто!

Не помня себя от обиды, я размахнулся и ударил его кулаком.

— А, ты еще драться! — В одну секунду Илька свалил меня прямо в пыль и занес над моей головой кулак. — Как гепну, так сразу весь дух святой выпустишь.

Однако он не ударил, а даже помог подняться и стряхнул с меня пыль.

Весь мой задор спал.

— Илька, — сказал я жалобно, — ты думаешь, я по своей воле пою в церкви? Меня батюшка заставил, епитимию наложил.

— Не имеет права! — решительно заявил Илька. — Вот пойдем отца спросим: он все знает. — Но тут же спохватился: — Э, нет! Туда нельзя.

— Почему? — удивился я.

— Потому, что потому кончается на «у». Нельзя — и только. Я и стою тут, чтоб всякие провокаторы не запускали глаз в кузницу.

— Кто, кто?

— Про-во-каторы, — отдельно произнес Илька. — Не понимаешь? Где тебе понять, когда голова твоя молитвами забита. — Видя, что я жду объяснения, он подумал и сказал: — У царя полно разных шпигов и провокаторов. Шпики нашего брата вынюхивают, а провокаторы... они... ну, как это?.. Каты — знаешь, что такое?.. Падачи. Словом, тебе рано еще знать.

— Почему же это рано? — обиделся я. — Тебе не рано, а мне рано?

Илька хотел ответить, но вдруг пригнулся, всматриваясь во что-то в сумерках, и метнулся к кузнице. Он вернулся, запыхавшись, и сказал сквозь зубы:

— Стервец!.. Так и норовит в щелку заглянуть!

— Кто? — спросил я.

— Кто ж, как не твой собрат, дьячок из Николаевской церкви!

— Знаешь, Илька, иди ты к черту! — со слезами в голосе сказал я и пошел прочь.

Солнце уже спряталось, с пастбища возвращалось стадо коров и поднимало серую пыль. Все казалось мне серым, унылым, тоскливым. Я шел и думал: «Ах, почему я не умер маленьким!» Это чувство одиночества, горести и тоски я испытывал и раньше. Оно уходило без следа,

а потом опять появлялось. Иногда оно приходило ко мне во сне, и я, проснувшись, целый день ходил с камнем на душе, с предчувствием какой-то неотвратимой беды. Мне хотелось кому-нибудь пожаловаться, облегчить душу, но кому? Ни старший брат Витя, ни друг Илька, наверно, не посочувствовали бы мне: ведь сами они никогда такого не испытывали. И у Вити и у Ильки есть свои интересы, к которым они меня не допускают. Витя очень умный. Бывало, попадется трудная задача, и я до самой ночи мучаюсь с ней, никак решить не могу. А попрошу Витю — он чуточку подумает и решит. Он и книги читает такие, каких мне никогда не одолеть. Конечно, ему со мной неинтересно. Илька хоть и не такой способный, но у него есть от меня секреты, он мне их не доверяет. Только Зойке я мог бы рассказать все и не бояться насмешек. Но где она, эта Зойка? С тех пор как пан Сигизмунд отправил меня из Симферополя домой, я ее не видел. Сначала я часто заходил в будку к ее бабушке, а потом и заходить перестал. Чего ж заходить, если Зойка не пишет бабушке уже больше года! А говорила, что выпишет бабушку в самый Петербург и там будет катать на извозчиках. Вот и верь после этого девчонкам.

Но сейчас, когда мне было так тяжело, я решил пойти хоть к бабушке. Шел я медленно и все озирался, не рыщет ли по улице регент в поисках меня. Совсем стемнело, когда я добрался до будки и постучал в дверь. Бабушка прикрыла ладонью глаза от света лампы, присмотрелась и сказала:

— А, это ты?.. Пришел-таки. Все меня забыли, осталась совсем одна. Как умру, так некому будет и глаза закрыть. Чаю хочешь?

Она налила мне крепкого, почти черного чаю и положила на блюдечко кусочек сахара.

— Не пишет, значит, Зойка? — спросил я.

Бабушка пошарила на полочке и протянула мне конверт. В конверте был листок тетрадной бумаги. Я вслух прочитал:

Здравствуй, дорогая бабуся!

Кланяется тебе твоя внучка Зоя Лебедева. Не писала тебе долго потому, что поломала руку. Теперь рука срослась, но пришла другая беда. Наш цирк окончатель-

но разорился, а пана Сигизмунда посадили за долги в тюрьму. Он, бедненький, там заболел от переживаний и плохих харчей. Одни артисты поехали искать работы в Харьков и Ростов, а я с подружкой Дашей, что на афишах пишется Виолетта Кастельоне, остались здесь, в городе Чугуеве. Нас в другой цирк еще не взяли, да мы с Дашей и сами не хотим отсюда ехать, покуда пана Сигизмунда держат в тюрьме. А когда его выпустят, никто не знает. Он хоть и хозяином считался в цирке, а часто выходил на манеж клоуном и разные слова говорил про царских слуг и царских генералов, а раз даже про самого царя. Вот теперь ему и пришивают дело. Может, его даже в Сибирь сошлют. Мы с Дашей нанялись в мастерскую рубахи шить солдатам, которых погнали воевать с японцами. Что заработаем, то тратим на хлеб себе и на передачи пану Сигизмунду. А какие там передачи! Тоже только хлеб да папиросы по три копейки десяток. Может, я и домой вернулась бы, да совесть не велит бросить пана Сигизмунда одного в беде. А может, и вернусь, кто знает. Я тебя, бабуся, слезно прошу, не умирай, покуда мы не свидимся. А свидимся, так тоже не умирай. Вот скинем царя, тогда у нас жизнь будет совсем другая. Я опять буду акробаткой в цирке и выпишу тебя к себе, чтоб ты на старости лет жила у меня и ничего не делала. И еще прошу тебя, бабуся, когда повстречаешь Митю, который тебе пуховый платок привез, то поклонись ему от меня. И чтоб он никогда меня не забывал, а я его буду помнить вечно. Вот покуда все. Внучка твоя Зоя Лебеде-денко.

Бабка горестно покачала головой:

— «Не умирай»! Кому же охота с белым светом расставаться. Но только и в будке одной жить, вроде паршивой собаки, не очень привлекательно. Сманул Зойку, а теперь вот и сам в тюрьму сел. Так ему и надо.

— Нет, бабушка, вы его не знаете: он хороший, — возразил я. — Он и Зойку грамоте обучил, и с Петром дружил, а уж лучше Петра никого на свете нет.

Бабка подумала и повела бровями.

— Может быть. Только хороших людей на свете мало, особенно из этих, из хозяев. Каждый за свой карман держится.

Тогда я рассказал все, что мне говорили о пане Сигизмунде Петр и Зойка и что он сделал для меня самого.

Бабка молча выслушала и ничего не ответила. Но, когда я собрался уходить, вынула из сундучка носовой платочек, развязала в нем узелок и протянула мне памятную трехрублевую бумажку.

— Ты теперь уже грамотный — вот и пошли ей, — ворчливо сказала она. — Пусть берет с собой на работу по бутылочке молока... А тому... как его?.. Зидигмунду... хоть чаю с сахаром пусть передаст...

Я бумажку взял, но Зойкиного адреса в письме не оказалось, и деньги пришлось вернуть бабке обратно.

Пришел я домой поздно, когда половой уже подметал чайную.

Увидя меня, отец закричал:

— Опять ты стал шлаться по ночам, негодный мальчишка! Где был?

— У товарища. Я с ним уроки готовил, — соврал я.

— У товарища! Товарищи до добра не доведут. За тобой регент приезжал. Так и уехал ни с чем. Это как же, а? Хорошо получилось?

— Хорошо, — затаив страх перед отцом, ответил я. — Петь им я больше не буду. Меня уже мальчишки дьяконом дразнят.

— Дураки они, твои мальчишки. Не обращай внимания, — сказал отец. Но я и по голосу его, и по лицу заметил: ему было неприятно, что меня так дразнят. — На чужой роток не накинешь платок. Подразнят и перестанут.

— Все равно не буду, — упрямо продолжал я. — Какой я грешник! Да у меня и горло болит.

Мама подмигнула мне: дескать, не соглашайся, стой на своем.

Отец помолчал и примирительно сказал:

— Ну, не хочешь, так как хочешь. Я справлялся у знающих людей: говорят, на малолетних эпитимию накладывать не полагается.

— Конечно, не полагается, — сказала мама. — Они просто зарабатывают на нем. Театр из церкви сделали, патлачи чертовы. Не ходи — и только. А будут приставать, скажи, что горло болит.

— Ну, пусть так, — заключил отец.

Я успокоился и пошел спать.

Я УДИВЛЯЮ ОТЦА

На другой день перед началом урока истории батюшка приоткрыл дверь в класс и поманил меня пальцем. Я вышел в коридор.

— Ты почему не явился вчера в церковь? — злым шепотом спросил он.

— У меня горло болит, — спокойно ответил я.

Его серые глаза потемнели и стали похожими на глаза кошки, когда она вертит хвостом.

— Вот как! Отчего же оно заболело? Наверно, мороженое тайком ел, непослушный? Вот я поговорю с твоим отцом!

— Поговорите, пожалуйста, — будто не замечая угрозы, сказал я. — Отец любит, когда к нему приходят поговорить.

Батюшка недоуменно глянул на меня, фыркнул в бороду и пошел.

Вернувшись из училища домой, я увидел, что оба зала нашей чайной, «тот» и «этот», полны народа. Такого гама у нас еще никогда не было. Мужчины с красными, потными лицами что-то кричали, пересвистывались, стучали костяшками рук по столу, звякали крышками о чайники. На всех столах лежали ломти черного солдатского хлеба. Половой Герасим в рубашке, потемневшей на спине от пота, метался между столами, держа в каждой руке по два чайника с кипятком. Отец оставил буфет и тоже суетился в зале, беспрерывно повторяя: «Спокойнее, братцы, спокойнее! Подлили в котел воды, сейчас закипит».

В углу три молодых парня пели, страдальчески прикрывая глаза:

Ах, зачем нас берут во солдаты,
Отправляют на Дальний Восток!
Ах, при чем же мы тут виноваты,
Что мы вышли на лишний вершок!

— Братцы, — вопил пьяным голосом рябой мужчина с серебряной серьгой в ухе, — да мы этих япошек сапогами раздавим!.. Мы их солдатской крупой забросаем!..

— Забросали уже, раздавили! — кричали ему с разных столов. — Ты еще и до места не доедешь, как тебя

свои ж продадут!.. — У него теща, наверно, в Маньчжурии осталась, что он рвется туда!.. — Перевертенко, скажи ему, ты же там был!.. Перевертенко, не прячься!

— А чего мне прятаться! — нехотя встал из-за стола низко стриженный мужчина с желтым лицом. На минуту гам утих. Все смотрели на стриженного и ждали. — Я, можно сказать, того японца и не видел вовсе, даром что пролежал три месяца, раненный им. Он шпарит и шпарит по нас своими шимозами. Пойди задави его сапогами, когда он и за десять верст к себе не подпускает!.. Да вы, братцы, не невольте меня говорить... Я и без того подневольный человек... Мне приказано вас сопровождать — я и сопровождаю, а до другого мне касаться воспрещается. Вот унтер идет, его и спрашивайте.

Гвалт возобновился с новой силой. Но тут в зал быстрым шагом вошел военный с медалью на груди.

— Поторапливайтесь, братцы, поторапливайтесь. Вагоны поданы, поторапливайтесь!.. — говорил он, шагая между столами. Потом стал посредине зала и зычно прокричал, выкатывая глаза: — Станови-ись!..

В одну минуту оба зала опустели. Остались только черные корки житняка на мокрых клеенках столов да окурки самокруток, облепившие и столы и пол. Отец сказал:

— Ну, слава богу, отвалили. Я думал, разгромят всю чайную. И что оно делается с народом! Все кипит, бурлит. Тут эта несчастная война, а тут еще и революция вдобавок.

Так отец стал говорить теперь, а раньше, когда война только началась, он тоже говорил, что мы япошек шапками закидаем.

После того как мы всей семьей убрали чайную, я пошел в нашу комнату, за деревянную перегородку, и сел готовить уроки. Вдруг слышу шаги и голос отца:

— Пожалуйте, патер Анастасэ, пожалуйста!

Я незаметно выглянул из-за перегородки: в комнату входили отец и черный батюшка. «Что ему надо от нас, этому греческому монаху? — с тревогой подумал я. — Тогда он зашел будто за компанию с нашим батюшкой, а теперь вот и сам явился».

— Присаживайтесь, батюшка. Чем могу служить? —

говорил отец почтительно, но по лицу его все-таки было видно, что он тоже недоумевает и тревожится.

Под черным заскрипел стул.

— Очэнь спасибо, кириэ¹ Мимоходенко, очэнь спасибо, — кивнул он своей тяжелой головой в черном клобуке. — У менэ к вам дело. Я хочу, чтобы вы, кириэ Мимоходенко, кала эдулепса... Как это по-русски?.. Хорошо заработали.

— Заработал? — с удивлением, но и с интересом спросил отец. — Это как же, батюшка?

— Это так: вас паликари... как эта по-русскому? Вас мальчик очень хоросий голос имеет... Наси греки очень любят, когда хоросий голос молитвы поет... Наси греки усо дадут, чтоб слусать хоросий голос в своей церкви...

— Э, нет, батюшка! — решительно сказал отец. — Он даже в русской церкви больше не будет петь. У него и без того горло болит. Да и как он может в греческой церкви петь, если у вас богослужение совершается на греческом языке!

— Это ничиво: мы ему сделаем гоголе-моголе, мы ему хоросаго доктора привезем. А греческие слова он скоро поймет. Что тут трудного? По васому русскому будет так: верую во единого бога. А по насому греческому будет так: пистево сена феон. Что тут трудного?

— Нет, нет, батюшка! — хмурясь, отвечал отец. — Он не имеет никакого пристрастия к духовным занятиям. Он у нас по светской линии пойдет.

Но чем решительнее отец возражал, тем настойчивей его убеждал черный. Отец говорил, что у меня экзамены на носу и мне сейчас не до греческого языка. Черный отвечал, что меня греческие монахи научат «Символу веры» по-гречески в один момент. «Он слабенький, — стоял на своем отец, — ему нельзя перегружаться». — «Ничиво, ничиво, — успокаивал отца черный, — пусть приходит в наш монастырь обедать — через десять дней он будет толстый и сильный».

Отец умолк. Долго молчал, потом совсем другим голосом сказал:

— Да, хорошо попитаться ему следовало б. Какая у нас пища! Постный борщ да селедка. А он у нас в

¹ Господин (греческ.).

детстве кровью сошел. Совсем заморышем растет... Но нет в церкви он все равно не захочет. Из русской сбежал, а в греческую его и калачом не заманишь. Вместо церкви будет бог знает где бродить... Он такой...

— У нас, кириэ Мимоходенко, усо есть: масло есть, сардины есть, оливки есть, апельсины есть, инжир есть...

Может быть, черный еще долго перечислял бы, что у него есть в монастыре, но тут распахнулась дверь и на пороге показался наш рыжий батюшка.

— А-а, — протянул он ехидно, — так это вы, патер Анастасэ! А я думал, чей это медоточивый голос, кто тут соблазняет оливками да инжиром господина Мимоходенко подобно змию, соблазнявшему в эдеме легковверную жену Адама — Еву плодами древа познания добра и зла. Теперь понятно, почему отрок Димитрий отлучился от церкви архангела Михаила. Ах, патер Анастасэ, патер Анастасэ! А я-то считал вас своим лучшим другом и во всем доверял вам! Вот и верь после этого соленым грекам, хоть бы и в монашеском облачении!

Монах поднялся со стула и замахал широкими рукавами рясы, как черными крыльями.

— Не усо вам, не усо вам, патер Евстафий! Вы сами, патер Евстафий, меня обманули. Вы говорили, патер Евстафий, что мальчика будем делить пополам: половина царю Константину, половина архангелу Михаилу. А вы взяли архангелу Михаилу усо мальчик, усо!.. Нехоросо так, патер Евстафий, нехоросо!.. Асхима, асхима!..¹

— А долги не платить по четыре месяца — это «хоросо», патер Анастасэ? — сощурился, прошептал наш батюшка.

— Какие долги, патер Евстафий, какие?.. — тоже перешел на шепот черный.

— Забыли? А чье каре наскочило на мой покер?

— Патер Евстафий, так это был чистый блеф! Никакой покер у вас не был! Вы даже не показали карты, вы сунули карты под карты!..

— Что-о?.. Карты под карты?! Так я кто же, по-вашему, шулер?

— Сига². — Черный показал глазами на моего отца и уже громко сказал: — Я, патер Евстафий, очень вас ува-

¹ Плохо (греческ.).

² Тише (греческ.).

жаю. Просу вас ко мне в келию. Мы усо, усо — как это по-русскому? — миром уладим... Кириэ Мимоходенко, — повернулся он к отцу, — вы согласны посылать вас паликари... вас мальчик в нас монастырь?

— Видите ли, отец Анастасэ, — развел отец руками, — я, может, и согласился бы — как-никак, мальчику не вредно поправиться на хороших харчах, — но надобно и его согласием заручиться...

— Орео! — воскликнул черный. — Орео, кириэ Мимоходенко! Прислать сюда вас мальчик, я буду говорить с ним.

Тогда я вышел из-за перегородки и сказал:

— Папа, я согласен. Я все слышал. Я согласен.

— Ты согласен? — в удивлении отступил отец. — Согласен?

— Да, — твердо повторил я, — согласен. Я буду каждый день заходить в монастырь... обедать и учиться петь по-гречески.

Черный хлопал в ладоши:

— Орео!.. Орео, поликари!.. Орео!..

МОЛОТОЧЕК

У отца был деревянный ящик, в котором он держал разные инструменты: стамески, буравчики, плоскогубцы, отвертки, молотки. Отец редко пользовался ими, только в случаях, когда надо было забить гвоздь или выправить осевшую дверь, но, если он замечал, что какого-нибудь инструмента в его ящике не хватает, нам всем доставалось на орехи. И все-таки я этот ящик вытащил из-под конторки и долго в нем рылся, отыскивая маленький молоточек. Нет, молоточка в ящике не было. Большой молоток был, а маленький, который можно бы незаметно держать в кармане, куда-то исчез: наверно, Витька затаскал. Оставалось одно — идти к Ильке: в кузнице есть все на свете инструменты. Конечно, Илька будет допытываться, зачем мне понадобился молоточек. Что ж, пусть спрашивает: на этот раз я ему ничего не скажу.

Смеркалось, когда я подходил к кузнице.

— Эй, пономарь, лезь сюда! — донеслось до меня откуда-то сверху.

Я поднял голову и увидел на закопченной крыше Ильку. Одной рукой он держался за трубу, а другой показывал мне на деревянную приставную лестницу.

— Лезь, не бойся!

Не такая уж высокая крыша, чтоб я побоялся взобраться на нее. Но, взобравшись, я чуть не свалился — такая она была покатая.

— Ты что тут делаешь, Илька? — спросил я и тоже ухватился рукой за трубу.

— Звезды считаю.

Я обвел глазами небо. На нем светилась только одна звезда, да и та величиной с наперсток: ведь было еще рано.

— Сколько ж ты насчитал? — спросил я недоверчиво.

— Семь тысяч девятьсот одиннадцать, — не моргнув глазом, ответил Илька.

Вот и опять он разговаривает со мной так, будто я сую нос не в свое дело.

— Ладно, считай дальше, — сказал я небрежно, — только сперва дай мне маленький молоточек. У вас в кузнице, наверно, всякие есть.

— У нас всякие есть, — подтвердил Илька. — А нет, так нам ничего не стоит сделать. Тебе зачем молоток?

— Мух бить, — ответил я в отместку.

— Му-ух?! — несказанно удивился Илька. — Какой же дурак бьет мух молотком?

— А какой дурак звезды считает на пустом небе?

Некоторое время Илька таращил на меня свои зеленые глаза, потом закричал:

— Э, врешь, врешь!.. Говори, зачем тебе молоток! Говори, а то не дам.

— А ты признайся, зачем сюда залез, тогда скажу.

— Залез и залез, кому какое дело! Ну, говори! Говори, а то сейчас же полетишь с крыши.

Мы долго спорили. Потом Илька презрительно сказал:

— Подумаешь, очень мне интересно, зачем ему молоток понадобился! Хоть грабли попроси, я и не подумаю спрашивать. Сиди тут, я сейчас принесу. Настоящий парень всегда выручит товарища. А то есть такие прижимистые ангелочки, что у них и старого перышка не допросишься. — Он полез было с крыши, но затем вернулся и строго предупредил: — Ты сидеть сиди, да не зевай.



Взобравшись на крышу, я чуть не свалился — такая она была покатая.

Как увидишь, что кто-нибудь остановится тут и навестрит свое свинячье ухо, сейчас же постучи три раза по крыше. Да и сам не заглядывай.

Он прикрыл куском толя какую-то дыру в крыше и ушел.

Мне, конечно, было очень обидно: то «пономарь», то «ангелочек». И когда это было, чтоб я не одолжил ему перышка? Но все равно я решил терпеть до конца, лишь бы добиться того, что задумал. А вот почему я должен стучать кулаком по крыше, если кто остановится около кузницы, я не понимал. Одно было ясно: в кузнице делалось что-то такое, о чем никто не должен догадываться. Снизу доносился звон железа, какие-то шорохи и частые вздохи меха для раздувания горна. Ну и что ж? Это всегда несется из кузницы на улицу. Вдруг я заметил, что какой-то человек, шедший по пыльной дороге, оглянулся раз, другой — и напрямик направился к воротам кузницы. Я сейчас же застучал кулаком по крыше. Человек подошел к воротам и тоже постучал, сначала три раза подряд, а потом, с маленьким промежутком, еще раз. «Кто?» — донесся глухой голос из кузницы. «За подковой для коня Стрекопытова пришел», — ответил человек. «А деньги принес?» — «Принес. Два пятиалтынных». Ворота скрипнули, потом заскрежетал засов: значит, человека пропустили, а ворота крепко заперли. Прошло немного времени, и к воротам зашагал еще какой-то человек. Тот был в сапогах и в синей фуражке, а этот в ботинках, в соломенной шляпе и в очках. Я, конечно, опять застучал. Вероятно, человек услышал, потому что поднял кверху голову и смешно показал мне язык. Потом и сам постучал. Его тоже впустили, но только после разговора о коне Стрекопытова и двух пятиалтынных.

Илька притащил молоток чуть поменьше той кувалды, которой бьет по наковальне Гаврила. Я сказал:

— Илька, ты пристукнутый? Я ж у тебя просил молоточек маленький, чтоб можно было в кармане спрятать, а ты что принес?

— Детских не держим, — важно ответил Илька. — Что тебе молоток, игрушка? Не хочешь, не бери. — Я так огорчился, что Илька пожалел меня: — Ладно, сделаю тебе маленький. Сам выкую. Выкую и принесу завтра в класс. — Он прищурился. — А ты задачи порешал?

— Порешал, конечно.

— Дашь списать?

— Да. Только знаешь, Илька, ты лучше сам реши.

— «Сам, сам»! Такое скажешь! На крыше сиди, молотки ему делай, да еще и задачи для него решай! Жирно будет. — Наверно, поняв, что перехватил, Илька тут же смягчился: — Между прочим, ты парень ничего, исправно в крышу отстукивал.

В это время возле кузницы остановился еще какой-то человек. Илька уже поднял молоток, чтоб стукнуть, но всмотрелся и не стукнул. Человек тоже сказал, что принес два пятиалтынных. Когда и он вошел в кузницу, я спросил:

— Илька, а почему они все по два пятиалтынных приносят?

Илька подозрительно глянул на меня.

— А по сколько ж им приносить? Стоит подкова тридцать копеек, они столько и приносят. Мы лишнего не берем. — И испытующе спросил: — А ты думал зачем? — Я пожал плечами. — То-то. Не знаешь, так и молчи.

Когда я спускался по лестнице, он опять сказал:

— Держи язык за зубами, понял? Особенно среди своей братии, а то я не посмотрю, что ты мне друг: как дам, так и на том свете не очухаешься.

Вот и еще одна обида: «Среди своей братии». Какая она моя? Но я и тут промолчал: терпеть так терпеть.

Утром Илька принес мне в класс маленький молоточек, такой хорошенький, что я даже во время урока вынимал его из кармана и любовался. Илька отполировал рукоятку, и она скользила у меня в пальцах, как атласная.

Признаться, мне было завидно: почему я не умею делать ничего такого? В прошлом году мне один пьяница подарил лобзик и тоненькую пилочку к нему. Я принялся выпиливать из фанеры домик. Но он у меня получился такой неуклюжий, такой кривобокий, что не понравился ни Маше, ни Вите. Только мама похвалила, но я же хорошо понимал, что она просто не хотела меня огорчать. Да и что такое этот домик! Игрушка! В нем даже воробей не захотел бы жить. А молоток — это вещь, которая всем нужна. Скажу здесь кстати, что всю жизнь я чувствовал

себя каким-то неполноценным: мог на сцене играть Гамлета, мог речи с трибуны говорить, мог в сельской школе обучить грамоте шестьдесят мальчиков и девочек, а вот сделать простой молоток или построить плохонький, но настоящий, не игрушечный дом я так никогда и не научился. И мне часто бывало обидно, что все, чем я пользовался в жизни — пища, одежда, жилище, телефон, автомобиль, даже бумага и чернила, — сделано руками других. Обидно и завидно.

Лев Савельевич пришел на урок в благодушном настроении. Видно, ему хотелось поговорить. Он обвел насмешливыми глазами весь класс и, конечно, остановил их на мне:

— Ну, Мимоходенко, как ты себя чувствуешь?

Я встал, подумал и слегка развел руками:

— Как вам сказать, Лев Савельевич? На тройку с двумя минусами.

— Гм... Почему ж так неважно?

— Не знаю, Лев Савельевич, вам видней: вы мне поставили три с двумя минусами, я на три с двумя минусами и чувствую себя. А у кого стоит пятерка, тот, конечно, чувствует себя на пятерку.

— А у кого ж это стоит пятерка? — удивился Лев Савельевич. Все в классе переглянулись. — Пятерошники, встать! — Все продолжали сидеть. — Ну?

Поднялся Степка Лягушкин.

— У бога, — сказал он.

Учитель широко раскрыл глаза.

— У ко-о-го-о?..

— У бога, Лев Савельевич. Вы когда ставите отметки, то говорите: «Только бог знает на пять, я — на четыре, а ты — от силы на единицу».

Лев Савельевич заглянул в журнал:

— Вот ты соврал. У тебя стоит тройка:

— Так я ж и знаю лучше всех, — самоуверенно ответил Степка.

Мальчишки закричали:

— Куда тебе, лягушке!.. Воображалок!.. Есть и лучше тебя!

Лев Савельевич на крики не обратил внимания и опять взялся за меня.

— Вот, Мимоходенко, и пригодился тебе церковно-

славянский язык. Теперь ты поешь, аки ангел, и тебе внемлет вся церковная паства. Так тебя, Мимоходенко, прихожане церкви архангела Михаила и зовут: наш ангел. Видишь, Мимоходенко, благодаря церковнославянскому языку ты вроде в ангелы вышел.

То, что меня так зовут, мне осточертело, и я сказал:

— Если я ангел, Лев Савельевич, то какой же я Мимоходенко? У ангелов фамилий нет. Их по именам зовут: Михаил, Гавриил, Никифор и так далее.

— Правильно! — подтвердил Лягушкин. — Например, моего ангела зовут Степан.

— Молчать! — вдруг рывкнул Лев Савельевич. — Это что за разговоры! Я сказал «аки ангел». «Аки»! Лягушкин, что такое «аки»?

— «Аки» значит «потому что», — уверенно ответил Степка.

— Вот и дурак! «Аки» значит «как». А «потому что» будет «поелику». Я поставил тебе тройку по ошибке, поелику ты еси осел.

Лев Савельевич перечеркнул против фамилии Степки тройку и поставил жирную единицу.

Степка поморгал и сел.

В перемену он ни с того ни с сего дал мне затрещину.

Но я и это стерпел. Главное было то, что в кармане у меня лежал молоточек.

У МОНАХОВ

Признаться, я шел из училища к греческому монастырю с жутковатым чувством, а когда увидел решетки на окнах, мне и совсем стало не по себе.

В нашем городе жило много иностранцев. Греки держали хлебные ссыпки и пароходы. Итальянцы торговали заграничными винами, управляли оркестрами и писали картины. Старые люди рассказывали, что раньше в нашем театре лет тринадцать подряд и актерами были только итальянцы и итальянки. На сцене они не говорили, а пели, потому и театр наш тогда назывался необыкновенно: «оперный». Были и турки: они ничем другим не занимались, только пекарни держали. А турчанок не было: им по турецким законам выезжать из своего государства не полагалось. Болгары — те арендовали здесь землю под

огороды. Летом и осенью они складывали на базаре, прямо на разостланном брезенте, целые горы сладкого лука, помидоров, баклажанов, огурцов, капусты, а зимой открывали погреба и в них продавали соленые огурцы с чесноком, лавровым листом и укропом, такие вкусные, что у прохожих от одного запаха слюнки текли. Жили у нас еще немцы, французы, англичане, бельгийцы. Это были хозяева заводов и фабрик, разные директора, управляющие и инженеры. Они ездили в лакированных экипажах и смотрели на всех свысока, особенно англичане. Наверно, потому, что здесь промышляли всякие люди и дома строились разные. Помню, когда еще жил у нас Петр и я с ним шел по городу, он говорил: «Вот, брат, какие тут здания! Прямо вроде людей. Глянь-ка направо: это ж — угрюмый старик. Ишь как насупился! Ему все надоело, и хочет он только покоя. А это — молодая девушка. Надела белое платье и смотрится в зеркало, не налюбуется. А это вот — купчиха-миллионерша: раздобрела на блинах со сметаной да черной икрой — и уже не поймешь, где у нее физиономия, а где что другое. А это — делец. Ему красота ни к чему. Ему — чтоб было прочно, надежно, навеки нерушимо».

Вот об этом я и вспомнил, когда остановился около греческого монастыря. Что это был за дом! Он не походил ни на один из домов, какие были в городе. Какая-то прямоугольная глыба. Видно, тот, кто его строил, добивался одного: чтоб никто в этот дом не проник и не увидел, как там живут и что там делают. А рядом с этим глухим зданием стояла высокая церковь. На вид она была строгая, но так к себе и притягивала. Алексей Васильевич, наш учитель истории, сказал, что она построена в классическом стиле, и уже начал было объяснять, что это означает, но потом заговорил о братьях Гракхах, да так к классическому стилю больше и не вернулся.

Входа в монастырский дом нигде не было, значит, надо было стучать в глухие тяжелые ворота. Я долго переминался с ноги на ногу, потом набрался храбрости и стукнул. Сейчас же что-то звякнуло, на воротах открылся маленький треугольничек, и в нем я увидел чей-то жуткий черный глаз. Глаз смотрел на меня, а я, как замороженный, на глаз. Потом из-за ворот спросили:

— Сто нусна?

У меня язык оокостенел.

— Сто нусна? — не повышая голоса, спросили опять. Я молчал.

— Сто нусна? — все так же спросили в третий раз.

Тут я опомнился и, запинаясь, сказал, что пришел петь по-гречески.

— Как звать, мальсик?

— Митя Мимоходенко, — ответил я, все еще сжимаюсь от страха.

Ворота приоткрылись, в них показался чернобородый монах с дубинкой в руке. Я попятился.

— Иди, мальсик, — сказал монах. — Ну? Григора, григора!..¹

Я глотнул воздуха и вошел в ворота. Монах взял меня за плечо, отчего я опять сжался, и повел через вымощенный булыжником двор к каменным ступенькам. По ступенькам мы взобрались на каменное крылечко и вошли в длинный полутемный коридор с каменным полом. Оттого, что везде все было каменное, у меня будто застыло сердце. Мне казалось, что и рука у монаха была каменная, так крепко он сжимал мое плечо. Вдоль коридора, на одинаковом расстоянии одна от другой, шли плотно прикрытые двери, очень много дверей, но мы с монахом пошли не к ним, а вверх, опять по каменным ступенькам, и очутились в небольшой комнате. В ней стоял каменный диван — и больше ничего. Монах подошел к обитой клеенкой пухлой двери и три раза стукнул кулаком. Из-за двери кто-то глухо отозвался. Монах потянул дверь за железную заржавленную ручку, и я чуть не ахнул, увидев красивую, как в сказке, комнату. Я успел заметить только, что она была бархатная, темно-синяя и серебряная. На высокой кровати с малиновыми шелковыми занавесями лежал патер Анастас в очках, с книжкой в руках. Он приподнялся, спустил ноги с кровати, и я очень удивился, что на нем была не ряса, а обыкновенные серые штаны.

— Калимэра², Митя! — сказал он, сладко улыбаясь толстыми красными губами. — Присол?

— Пришел, — ответил я машинально.

¹ Скорей, скорей! (греческ.)

² Добрый день (греческ.).

Он стал говорить что-то монаху на непонятном языке, наверно на греческом, а я тем временем украдкой оглядывал комнату. Все стены были обиты темно-синим бархатом с серебряными узорами. На полу, устланном коврами, стоял большой лакированный стол — и тоже с узорами, но только из перламутра. Над столом висела серебряная люстра, увешанная, как сосульками, хрустальными палочками. На полках, на этажерках, на подставках — всюду стояли серебряные чаши и какие-то шары: голубые, красные, фиолетовые. В углу, от потолка до самого пола, сиял золочеными ризами и разноцветными камнями киот.

Патер опять сладко улыбнулся и спросил меня:

— Кусать хочес?

До еды ли мне было! Но я сказал:

— Хочу.

— Адельфос¹ Нифонт, отведи паликари в трапезную.

Нифонт опять взял меня за плечо и повел по лестнице вниз. Мы оказались в большой комнате со сводчатым потолком. В ней стоял только длинный некрашенный стол да две такие же длинные простые скамейки. Монах приказал мне сесть и ждать, а сам куда-то ушел. Сидеть одному в этой голой комнате с таким потолком было жутко. Сюда не доносился снаружи ни один звук, будто все на свете вымерло. Может быть, я не выдержал бы и сбежал, но разве отсюда убежишь! Не знаю, сколько прошло времени, когда наконец я услышал что-то похожее на шарканье. Дверь неслышно открылась, и в комнату вошел черный монах. Следом за ним шел второй, за вторым — третий, за третьим — четвертый.

Так, длинным черным рядом, монахи потянулись от двери до противоположной стены. Все они были толстые, с черными бородами, с желтыми, как после болезни, лицами, все перепоясаны широкими кожаными поясами. Вошли, остановились и застыли, глядя прямо перед собой черными с желтизной глазами. Опять неслышно открылась дверь, и в комнату медленным шагом вошел Анастасэ. Когда он дошел до середины комнаты, все монахи, как по команде, склонились перед ним до пояса. Патер стал перед иконой и прочитал по-гречески какую-то молитву. После этого все монахи сели за стол. А я за

¹ Брат (греческ.).



Я очень удивился, что на патере была не ряса, а обыкновенные серые штаны.

столом уже раньше сидел и теперь оказался между монахами. Вошли еще два монаха и внесли огромный медный бак. Они ходили вокруг стола и разливали в чашки горячий жирный суп. Каждый ел сколько хотел. Одному монаху подливали в чашку три раза. Он даже бороду вымочил в супе. Я тоже ел много, но одолеть всю чашку не смог — такая она была вместительная. Когда весь суп доели, прислуживавшие монахи унесли бак, а взамен принесли и расставили на столе четыре огромных блюда гусятины с яблоками. Монахи и гусятину съели всю. Потом принесли жбан черного кофе и какие-то тонкие пышки, похожие на еврейскую мацу. Монахи выпили весь кофе и съели всю мацу. Под конец принесли на блюдах инжир. Монахи и инжир съели. Я тоже так много всего съел, что пришлось расстегнуть пояс. Но даже и после этого было трудно дышать. А монахам хоть бы что! Поели, помолились и так же гуськом, один за другим, степенно вышли из комнаты.

Остались только Анастасэ, один здоровенный монах и я. Те монахи, что прислуживали за столом, внесли красивую, орехового дерева, фисгармонию, кряхтя, установили ее у стены и ушли. Огромный монах провел пухлым пальцем по клавишам. Послышались жалобные вязкие звуки.

— Слушайся адельфос Дамиана, — сказал мне Анастасэ и тоже ушел.

Дамиан шумно, как мех в Илькиной кузнице, вздохнул и страшным басом пропел:

— «Пистева сена фе-о-он...» Пой, как я, — приказал он.

Я набрал в грудь воздуха и, приседая от натуги, стал петь басом: «Кистена фиена сено-о-он!...»

Дамиан сначала выпучил на меня глаза, а потом лошадиному заржал. Кое-как он мне объяснил, что петь надо своим голосом, а слова выговаривать правильно, иначе получится «не как у ангела, а как у дьявола».

Манежил он меня долго, и каждый раз, когда я коверкал слова, закатывался таким громовым хохотом, что в окнах тоненько стонали стекла. Потом он повел меня вверх, к Анастасэ. Патер опять лежал в своей богатой кровати. Около него на красивой тумбочке стояла бутылка с чем-то желтым и серебряный стаканчик. Не поднимаясь с постели, Анастасэ подробно объяснил мне, что

я должен делать и чего я не должен делать. Я должен есть сколько влезет, чтобы лицо у меня стало красивое и розовое, как у святого ангела. Я должен петь тонко и нежно, как поют святые ангелы. Я должен правильно выговаривать греческие слова, как их выговаривают святые ангелы. Я никому не должен рассказывать, что здесь увижу и услышу, потому что церковь и монастырь есть места господней тайны. Например, если я расскажу, что видел бутылку с желтой жидкостью, все подумают, что это коньяк, а на самом деле это микстура от камней в почках. А самое главное, я не должен совать свой нос не в свое дело.

— Теперь иди домой, — сказал Анастасэ.

Я плотно прикрыл за собой дверь, огляделся и уже полез в карман, чтобы вынуть молоточек, как в комнату вошел Нифонт. Он опять взял меня за плечо своей каменной рукой и повел к выходу. Когда я наконец очутился на улице, то чуть не вскрикнул от радости — так ярко светило здесь солнце, так сладко пахло цветущей акацией.

ЯПОНЦЫ ТОПЯТ НАШ ФЛОТ

Отца не поймешь: то он ругает министров и генералов ворами и дураками, то грозит японцам: «Подождите, каналы, вот адмирал Рождественский вам покажет «банзай»! Такую флотилию ведет, что ваш Того живо на дне окажется». Он приколот кнопками к стене карту и каждый день водил по ней пальцем, показывая босякам, как идет наша флотилия к японским берегам чуть не вокруг всего земного шара. Босяки смотрели равнодушно и ничего не говорили. Только один какой-то спросил: «А не опрокинется он там, гусь тот Рождественский?» Босяки сипло засмеялись. Отец сердито глянул на них и отошел от карты. А потом пришел адвокат, как всегда пьяный. Он заказал пару чаю, выпил подряд шесть стаканов, отер ладонью пот с нахмуренного лба и зло сказал отцу:

— Какой позор! И стыдно, и страшно. Да, страшно, за Россию страшно. Вы бы, любезный, убрали эту карту: глазам смотреть больно.

— Почему ж больно? Наши боевые корабли все ближе и ближе к цели. Скоро они...

У адвоката болезненно скривилось лицо.

— Оставьте!.. — Он вскочил, подбежал к карте и пальцем ткнул в маленькое коричневое пятнышко: — Вот тут, тут... у острова Цусима... в два дня нашего флота не стало... Понимаете ли вы, российский гражданин, что происходит?.. Ни одной нации за всю историю морских сражений не приходилось переживать такого постыдного разгрома. Нет у нас больше флота, нет! Он на морском дне или в плену у японцев вместе со своим «доблестным» флотоводцем Рожественским!..

У отца побледнели губы.

— Вы... вы пьяны! Вы говорите вздор!.. — задыхаясь, крикнул он. — Этого не может быть!.. Вот... вот свежие газеты — тут ни слова об этом!..

— Да-а, так вам сразу в газетах и напишут. Весь мир уже давно облетела эта трагическая весть, а подлые, трусливые правители наши все еще не осмеливаются порадовать ею своих верноподданных...

Адвокат плюнул и пошел к двери. Три или четыре шага он прошел ровно, потом как-то сразу обмяк и на улицу вышел, еле волоча ноги. Отец растерянно смотрел ему вслед. Вдруг, будто пробудившись, шагнул к карте и так ее рванул, что все кнопки посыпались на пол.

На другой день уже и газеты напечатали. Везде только и было разговора, что о потоплении нашего флота. И все ругали министров и генералов. На базаре, когда я шел в училище, около одной женщины собралась толпа. Женщина рвала на себе седые волосы, страшно водила глазами и беспрерывно бормотала: «Вася, Петечка, Вася, Петечка!» Какой-то мужчина ловил ее руки и тут же объяснял народу, что Вася — это ее муж, а Петечка — сын, что оба они служили матросами на крейсере «Адмирал Нахимов» и, видать, оба потонули вместе с крейсером. Подбежал околоточный с двумя городовыми и стал разгонять толпу. Но толпы собирались то в одном, то в другом месте, и всех их разогнать не хватало городских.

На перемене ребята где-то нашли листовку с бледными фиолетовыми буквами, вроде печатных, но, ясное дело, написанных от руки. Андрей Кондарев, тот самый, дядю которого убили в январе в Петербурге, сел за учительский стол и вслух прочитал всю листовку. Она началась уже известными мне словами: «Пролетарии всех

стран, соединяйтесь!» В листовке говорилось, что самодержавие прогнило и ведет Россию к гибели, что вся храбрость солдат и матросов ни к чему: люди гибнут потому, что правительство у нас разбойничье. Настало время сбросить царя и всю его разбойничью свору в мусорную яму. Когда Андрей дочитал листовку до конца, Степка Лягушкин спросил:

— Как же мы его сбросим, когда он в Петербурге?

Одни засмеялись, другие закричали, что у Степки не хватает клепки.

Последним уроком была история. Против обыкновения, Алексей Васильевич пришел в класс почти сейчас же после звонка. Пришел и сразу начал рассказывать про Великую французскую революцию, хотя до французской революции нам было далеко: мы еще никак не могли выбраться из «Тридцатилетней войны». Алексея Васильевича мы все любили, но пользовались его рассеянностью и на уроках истории баловались. Правда, когда он принимался что-нибудь рассказывать, мы стихали — так он интересно говорил. А сегодня даже Сеня Запорощенко, который на всех уроках возится со своими перышками и переводными картинками, все оставил и не мигая смотрел на учителя. Алексей Васильевич изображал то Дантона, то Марата, то Робеспьера. Он отступал на три шага от учительского стола, потом быстрым шагом подступал к самым партам и поднимал руку вверх, подобно Робеспьеру, когда тот уличал жирондистов в измене революции. Прозвенел звонок, но Алексей Васильевич не обратил на него никакого внимания и все говорил и говорил. «Революция отменила всякие привилегии, все титулы и отличия знати и ввела одно для всех звание, звание гражданина!» — восклицал он. Илья, который почему-то в этот день как воды в рот набрал, тут стукнул кулаком по парте и крикнул:

— Вот здорово! И нам так надо!..

Алексей Васильевич продолжал рассказывать, что еще сделала революция для народа.

— А церковные земли?! — Он поднял вверх палец. — Свыше одной трети земель в европейских государствах принадлежали церквям и монастырям. Революция во Франции и с этим покончила.

Тут он с разгону перескочил на Россию и шепотом

сказал, что наши церкви и монастыри на сегодняшний день держат в своих цепких руках больше двух с половиной миллионов десятин самой плодородной земли, но долго это не протянется, потому что безземельные крестьяне потеряли терпение.

Только он это сказал, как за дверью кто-то чихнул. Илья соскочил с парты и распахнул дверь. И мы все увидели нашего батюшку. Одной рукой он держался за лоб, а другую вытянул вперед, намереваясь схватить Илью за ухо. Но Илья пригнулся и шмыгнул в коридор. Ехидно скривив рот, батюшка сказал:

— Что это вы увлеклись так, Алексей Васильевич? Даже звонка не слышали?..

Алексей Васильевич схватил со стола кипу своих книжечек и журналов и быстро вышел из класса. Мы гурьбой двинулись на улицу.

Когда я подходил к монастырю, то еще издали увидел около него толпу. Я прибавил шагу. На монастырской стене висела приклеенная листовка — точно такая, как та, которую мы читали в классе.

ЧУДЕСА НА ЧЕРДАКЕ

Прошло только три-четыре дня, а я уже стал своим человеком в монастыре. Я ходил где мне вздумается, даже в кельи заглядывал, и никто мне не препятствовал. Монах Дамиан, завидя меня, сейчас же принимался хохотать. Ему, похожему на слона, было смешно видеть такого тощего человечка: ведь я перед ним был просто мальчик с пальчик. А один раз у него даже слезы выступили на глазах от смеха. Это было тогда, когда я вздумал приветствовать его по-гречески. Греков в городе было много, поэтому все мальчишки знали хоть с десятков греческих слов. Придя как-то в монастырь, я протянул Дамиану руку и сказал: «Калимэра, калиспэра, ты хабариа, кала, асхима». Вот тут-то он и захохотал до слез. Оказалось, я сразу выпалил: «Добрый день, добрый вечер, как поживаете, хорошо, плохо».

Когда я оставался в коридоре или в комнате один, то сейчас же вытаскивал из кармана молоточки и принимался выстукивать им стены. Но стук получался везде одинаковый — такой, будто лошадь бьет копытом по мостовой.

Я же доискивался места глухого, гулкого. Надо бы все кельи обстучать, но из келий монахи выходили редко, больше все лежали на своих перинах или стояли у окна и смотрели через решетку на улицу. Если же я пробовал стукнуть разок-другой в присутствии монаха, то монах ворчливо говорил: «Не балуниса, мальсик. На фигас апо эдо!», то есть: «Ступай отсюда!» — «Ну и пусть думают, что я балуюсь, — говорил я себе, — мне еще лучше». — «Усо стуцыс, усо стуцыс! — удивленно ворочал глазами Дамиан. — Ты есть мальсик-стукалка». Другие монахи тоже стали звать меня стукалкой. Так эта кличка ко мне и пристала. Стукалка так стукалка — я не обижался.

«Символ веры» я выучил по-гречески быстро. Дамиан сказал, что хоть я и тощий, а память у меня, как у лошади. Он привел меня к Анастасэ и велел петь. Пока я пел, патер от удовольствия говорил: «Ца-ца-ца!.. Эма!.. Орео!.. Ца-ца-ца!» Но потом покачал головой и сказал, что в церковь меня выпускать рано, надо еще подкормить. Он велел мне побольше есть и поменьше бегать. Я сказал:

— Разрешите мне, патер, здесь и ночевать. Домой ходить далеко — весь жир растрясусь.

— О, да!.. Мосна, мосна!.. Эма!.. Орео!.. — воскликнул он и приказал поселить меня в келье монаха Нифонта.

Это мне и надо было. Я пришел домой и сказал, что, пока класс готовится к экзаменам, я буду ночевать в монастыре: там тихо и никто не мешает. Мама даже руками всплеснула:

— Господи, совсем монахом стал!

Но отец сказал, что это я хорошо придумал.

— Какие тут занятия под гвалт босяков! Хоть уши затыкай!

Келья Нифонта помещалась еще выше бархатной комнаты Анастасэ, где-то чуть ли не на чердаке. Потолок в ней был низкий и скошенный к окошку, а окошко выходило на крышу. В келье стояли стол и Нифонтова кровать. Мне тоже принесли кровать. Ночевать в одной комнате с чернобородым монахом было страшно, но я уже научился владеть собой — наверно, в то время, когда готовился стать йогом и подолгу смотрел на паука. Нифонт принес на тарелке здоровенный кусок пирога и жестяную кружку, полную сметаны. Он зажег лампу, сказал: «Ку-сай», — и ушел.

Я остался один. Намерение у меня было такое: приготовить уроки и лечь спать, а утром, когда монахи еще спят, пробраться в кухню и тихонько обстучать все ее стены. Если кто из монахов услышит, то подумает, что это на кухне рубят мясо для котлет.

Я еще не успел написать сочинение на тему «О любви к богу и царю», которое нам задал батюшка, как начались чудеса. Где-то, очень близко, заговорили два человека. Один голос был густой, другой — высокий, визгливый. Хотя я не мог разобрать ни одного слова, оба голоса показались мне знакомыми. Я стал прислушиваться. Голоса слышались то совсем рядом, то доносились откуда-то издали, будто из-под пола. Вдруг близко, вероятно в самой келье, что-то тоненько запело на двух нотах: пи-и, пи-и, пи-и. У меня по спине мурашки забегали. Первой мыслью было — бежать. Но подошвы мои приклеились к полу. Я сжался и сидел неподвижно, пока не понял, что пикало в широкой жестяной трубе, которую я еще раньше заметил. Она выходила из пола и уходила в потолок. Только позднее я догадался, что это был вентилятор. Постепенно подошвы мои отклеивались от пола, но я не убежал, а пересилив страх, тихонько подкрался к трубе и стал прислушиваться. По-прежнему доносились голоса и по-прежнему в трубе пикало. Я осмелел до того, что даже приложил к трубе ухо. И тут до меня отчетливо донеслись слова, сказанные визгливым человеком:

— Ну вот, немного вытянуло. Охота вам сосать эти ваши сигары. Ей-ей, наши папиросы «Дюбек» куда приятнее. Это вас все Дука совращает.

И сейчас же чей-то новый голос, крепкий, но хрипловатый, пропел:

— Дукало — здесь, Дукало — там, Дукало — вверх, Дукало — вниз, Ду-у-укало!

Визгливый засмеялся и с удовольствием сказал:

— Вот дьявол! Достаточно назвать его имя, как он тут как тут.

Я еще плотнее прижался к трубе и тут же почувствовал, что нога моя за что-то зацепилась. Всмотревшись, я увидел, что над полом торчит какая-то штука, похожая на печную задвижку. Я подвинул в сторону ногу, но вместе с ногой потянулась и задвижка. Неожиданно на полу открылась узкая светлая щелочка. Не помню, как дол-



го я стоял, прежде чем решился нагнуться и заглянуть в нее. Первое, что я увидел, была крышка стола с перламутровым узором. За столом три фигуры: одна — с рыжей головой, две другие — черноволосые. Я сразу догадался: тот, кто говорил густо, был патер Анастасэ, а кто визгливо — наш батюшка. Я узнал и третьего: это был известный всему городу шалопай, сын греческого коммерсанта Дукало; или короче — Дука. Я сам видел, как его однажды хоронили. Он лежал в гробу, на катафалке, а за катафалком шли его приятели, такие же шалопаи, громко плакали и причитали: «Ой, Дука, на кого ты нас оставил?». Около кладбищенских ворот Дука неожиданно поднялся в гробу. Народ в страхе разбежался, а Дука с приятелями поехал в ресторан праздновать свое «воскресение». Вот этот Дука и сидел теперь за столом с батюшками.

Я узнал и малиновые занавески около высокой кровати, и сияющий киот в углу. Ясно, это была бархатная комната патера. Дука взял со стола бутылку, разлил микстуру по серебряным стаканчикам. Все трое выпили, крикнули и заели кружочками лимона. Наш батюшка пожевал лимонную корочку, выплюнул ее в тарелку и спросил:

— Как живете, Дука? Что это вас не видно стало? Раньше вы каждый день разъезжали по городу на своих беговых дрожках, а тут как в воду канули.

Дука тоже пожевал корочку, но не выплюнул, а проглотил ее и только после этого ответил:

— Вы, отец Евстафий, ослепли, что ли? Улицами теперь овладела чернь. Хорошенькое дельце! Я выеду на беговых дрожках, а меня стянут с них и тихонько оземлю ударят.

— За что? Вы же никому зла не делали. Ваш достойный родитель — греческий подданный. Вы тоже.

— А я знаю, за что? Им хочется делать революции, так они хоть кого прибьют. Не-ет, я лучше подожду. Главноначальствующий полковник Дегтярников сказал по секрету моему папе, что скоро сюда придут донцы — целая сотня. Вот тогда я и поеду на своих беговых дрожках. Пусть только тронут, — а нагайки не хочешь?! Вот так будет хорошо. Здорово хорошо!

— Здорово хорошо! — крикнул и наш батюшка. — Что там рабочие! Среди учителей — и то появились вольнодумцы! Можете представить, детям о французской революции рассказывают. Да как! Прямо смакуют. Забыли и свое клятвенное обещание служить царю верой и правдой, и священное писание, где прямо говорится: «Несть власти, аще не от бога».

— Здорово хоро́со — тоже не хоро́со, — отозвался Анастас. — Надо их потихонька на коленка ставить. — Он выдвинул из стола ящик, покопался в нем и положил на стол две колоды карт. — Стукалка? — спросил он.

Душа у меня ушла в пятки.

«Заметил!» — мелькнуло у меня в голове. Я еще не успел отпрянуть, как услышал ответ нашего батюшки:

— Покер.

— Какой же покер втроем? — спросил Дука. — Стукалка!

— Ну, стукалка так стукалка, — согласился батюшка. Дука сдал карты и бросил на стол монету.

— В банке пять рублей.

Наш батюшка отвернул полу рясы, пошарил в кармане:

— Рубль.

Дука укоризненно покачал головой:

— Все жадничаете! Анастасэ, четыре свободных.

— Четыре, — кивнул патер.

Дука еще несколько раз сдавал карты, потом постукал по столу и сказал:

— Стучу.

Я вернулся к столу и дописал сочинение. Но заснуть еще долго не мог: внизу все стучали и стучали. А под конец стали топать ногами и петь:

Пезо ке гело,
Сена поли агапо! ¹

Пришел Нифонт, лег на свою кровать и захрапел. Такого страшного храпа я еще никогда не слышал. Потом на крыше стали возиться и кричать коты. И котов таких горластых я раньше не слышал.

Заснул я только под утро.

МЫ ВЫБРАСЫВАЕМ ЦАРЯ В МУСОРНЫЙ ЯЩИК

На другой день все шло до четвертого урока обыкновенно, а на четвертый вместо Алексея Васильевича пришел почему-то Лев Савельевич. Мы сказали:

— У нас сейчас история.

— У вас сейчас будет русский, — ответил Лев Савельевич. — Тарасов, чем выражается подлежащее?

Тарасов встал, но от неожиданности не мог сказать ни слова.

— Кто скажет? — спросил Лев Савельевич.

Никто руки не поднял.

— Да вы что, остолопы! — крикнул Лев Савельевич. Он когда сердился, то всегда выражался подобными словами.

¹ Играю и смеюсь,
Тебя крепко люблю! (греческ.)

Я вспомнил, что говорил вчера батюшка в комнате Анастасе, и у меня заняло сердце. Я поднял руку.

— Ну? — сказал Лев Савельевич.

Но, вместо того чтобы ответить, чем выражается подлежащее, я спросил учителя:

— Где наш Алексей Васильевич?

Учитель нахмурился, кашлянул и пробормотал:

— Не знаю...

Тогда встал Андрей Кондарев и прямо сказал:

— Нет, вы знаете, только скрываете. У нас история сейчас, а не русский.

И пошел из класса, не спросив разрешения.

За ним пошел Илька, за Илькой — я. А за нами — все остальные ребята.

Лев Савельевич выскочил из класса и что-то закричал нам вслед, но мы даже не обернулись. С топотом и гиканьем мы уже спускались по лестнице, когда дорогу нам преградил сам инспектор училища Михаил Семенович, самый страшный человек из всего училищного начальства. Меж собой мы звали его Михаилом Косолапым. И он действительно своей дородностью, маленькими глазками и вывернутой в сторону ступней одной ноги был похож на медведя.

— Стоп! — рявкнул он. — Кто отпустил?

Мы замерли.

— Почему гвалт? Кто отпустил, я спрашиваю!

Подбежал Лев Савельевич:

— Никто не отпускал, Михаил Семенович. Сорвались как бешеные и понеслись. Точно нечистая сила в них вселилась.

— Зачинщики? — выкрикнул инспектор.

Все молчали. Лев Савельевич немного выждал и со злорадством ткнул пальцем сначала в Андрея, потом в Ильку и, чуть поколебавшись, в меня.

— Вот они, зачинщики, вот!

— Шапки! — приказал инспектор.

Это означало, что мы трое остаемся «без обеда» и должны отнести свои фуражки в учительскую.

— Марш по местам!

Мы понуро вернулись в класс.

Лев Савельевич сел за стол, погладил бороду, запустил кончик ее в рот. Покусал и спросил:

— Ну те-с, так чем выражается подлежащее? Кто скажет?

Но и на этот раз никто не поднял руку. Видя, что ничего не получается, Лев Савельевич принялся объяснять какое-то склонение. Его никто не слушал. Даже не смотрели на него.

Когда прозвенел звонок, он встал, с грохотом оттолкнул стул и быстро вышел.

Училище опустело, затихло. Слышно было только, как где-то в другом классе сторожика шаркает метлой.

Андрей, Илья и я сидели рядышком и молчали.

— Как думаете, где Алексей Васильевич? — первым заговорил я.

— Спрашиваешь! Известно где: в тюрьме, — сказал Илья.

Я и сам подозревал это, но от такого решительного ответа у меня будто оторвалось что-то в груди.

— Откуда ты знаешь? — попробовал я поспорить.

— Знаю, — загадочно ответил Илья.

— За что?

— За французскую революцию.

— Так ведь про французскую революцию и в нашей «Истории» напечатано.

— Напечатано, да не так.

Андрей больше все молчит, а тут он заговорил:

— Нашему царю тоже надо голову отрубить, как Людовику. Пусть не расстреливает людей.

Илья присвистнул.

— А другой царь будет лучше?

Мы опять помолчали.

— Как думаешь, Илья, кто на Алексея Васильевича донес? — спросил Андрей.

— Известно кто — батюшка.

— Наверно, он, — сказал и Андрей.

— Он, я знаю, — вырвалось у меня.

Илья повернулся ко мне и подозрительно спросил:

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, — ответил я.

Илья посмотрел на меня и вздернул плечом.

— Тебя не поймешь. За Алексея Васильевича стоишь, а с попами компанию водишь. Ты ж сам говоришь, что донес поп.

— А ты мне все говоришь? — с укором спросил я. — Ты тоже от меня все скрываешь.

— Я! Разве я имею право тайну выдавать?! Да пусть меня тоже в тюрьму посадят, пусть мне палач руки-ноги ломает — я все равно смолчу.

— И я, — сказал за Илькой Андрей.

— И я, — сказал за Андреем я.

Пришла сторожиха подметать пол и выгнала нас из класса. Мы отправились во двор и сели на скамью на солнышке. Скамья стояла под самым окном учительской. Окно было открыто. Илька предложил выкрасть фуражки и убежать. Так мы и решили. Но тут из окна донесся громкий говор. Мы узнали голоса Артема Павловича и Льва Савельевича. Лев Савельевич говорил:

— Идите домой, Артем Павлович, проспитесь.

А Артем Павлович отвечал:

— Я пойду, пойду, но раньше ответьте мне на проклятый вопрос: кто мы, люди или чиновники?

— Странный вопрос, неуместный.

— Нет, уместный. Если бы мы были люди, мы пошли б к жандармскому полковнику и плюнули ему в лицо: не трогай порядочных людей! Да, порядочных! Только он один и был среди нас порядочный, а все остальные либо чинодралы, либо просто сволочи, хоть и числятся учителями. Мы учителя, а чему мы учим, чему?

— Не знаю, чему учите вы, а я учу детей великому русскому языку.

Артем Павлович хрипло рассмеялся.

— Это вы-то учите великому русскому языку?! Вы-то? Да если бы Тургенев услышал, как вы учите детей этому великому русскому языку, он взял бы вас за ухо и вывел из класса.

— Ну, знаете ли, Артем Павлович, — запальчиво крикнул Лев Савельевич, — вы хоть и пьяны, а думайте, что говорите!..

— А то что будет? — придиричиво спросил Артем Павлович. — На дуэль вызовете? Так теперь на дуэлях не дерутся, да и смелости у вас не хватит. Или, может, донесете на меня, как донесла какая-то скотина на Алексея Васильевича? Если б знать, кто это сделал! Я б его в уборной утопил.

— Руки коротки!.. — крикнул Лев Савельевич.



*Мы вырезали перочинным ножом из золоченой рамы портрет царя
и отнесли его во двор, в мусорный ящик.*

— Ижица!.. Рабѣ!..

Хлопнула дверь, и в учительской все стихло. Мы немного подождали, потом подставили Ильке плечи. Илька влез в окно и выбросил нам фуражки. Но, прежде чем убежать, мы прокрались в зал, вырезали перочинным ножом из золоченой рамы портрет царя и отнесли его во двор, в мусорный ящик.

ШОКОЛАД С ПРЕДСКАЗАНИЕМ СУДЬБЫ

Вечером в бархатную комнату Анастасэ опять пришел Дука. Хотя он и патер говорили больше по-гречески, чем по-русски, я из разговора все-таки понял, что ночью в монастырь должны приехать две подводы. Скоро пришел и наш батюшка. Сначала, как и вчера, все пили микстуру и заедали ее лимоном, потом позвали Дамиана и вчетвером принялись играть в карты. Когда пили, Дука рассказывал разные случаи из своих похождений, а патер и наш батюшка слушали и смеялись.

— Мой папа думает, что из меня никогда не выйдет настоящий коммерсант. Ну, это мы еще посмотрим! А почему он так думает, вы знаете? Однажды я нанял тридцать шесть извозчиков. Сам сел в передний экипаж, а остальным велел ехать за мной. Так мы проехали по всем улицам города. И все говорили: «Вот Дука едет на тридцати шести экипажах». Что, скажете, не остроумно? Так нет же, папа сказал, что я какургас¹, и стал от меня запира́ть деньги в железный шкаф, а мне на мелкие расходы выдавать только по тридцать золотых в месяц.

— По тридцать золотых? — всплеснул батюшка руками.

— Вы считаете, что это много? Пфе! Я трачу в пять раз больше. Я умею из рубля делать пять!

— Ты не умеес дерзать язык за зуби, — сурово сказал Анастасэ.

— Ничего, свои люди, — подмигнул Дука и начал рассказ о том, как он однажды въехал на осле в ресторан.

Когда сели играть в карты, я прикрыл щелку заслонкой и взялся за уроки. Но, когда внизу затопали ногами и запели «Пезо ке гело», я опять заглянул в щелку. На

¹ Паршивый, дрянной (греческ.).

столе карт уже не было, а были серебряные стаканчики и две пустые бутылки. Наш батюшка перестал притопывать ногами, обнял Дуку и сказал:

— Дука, вы милейший парень. Но все-таки скажите, как вы из рубля делаете пять. Скажите, Дука! Я за вас всю жизнь буду бога молить, я ваше имя в книжечку «О здравии» на вечные времена внесу.

Дука хитро подмигнул:

— Это, отец Евстафий, коммерческая тайна. Зачем мне лишние конкуренты! Шевелите мозгами сами. Настоящий коммерсант из всякой ситуации сделает деньги. Вот, например, в Харькове уже месяц бастуют рабочие кондитерской фабрики «Жорж Борман». Если б у меня были свободные оборотные средства, я бы сам начал делать шоколад. Весь Юг России у меня скупал бы его. Да что ситуация! Коммерсант должен сам делать ситуацию. Давайте мне оборотные средства, так я в два счета стану шоколадным королем!

— Бастуют на кондитерской фабрике! — Батюшка развел руками. — Отец небесный, что за времена! Едят на работе печенье с конфетами — и еще недовольны! А как бы вы, Дука, сделались шоколадным королем? Это интересно. Скажите! Может, и найдутся тогда оборотные средства. Вы станете королем, а я вице-королем.

— Вы хотите знать? Пожалуйста, сделайте ваше одолжение. Видели, как на базаре попугай вытаскивает из коробочки билетки с предсказанием судьбы? Всего за пятак.

— Ну видел.

— В этом все дело.

Батюшка с удивлением уставился на Дуку.

— То есть, это как же? Вы хотите, чтоб я, господний служитель, на котором почиет благодать божия, ходил с попугаем по базару?

— Какой же вы шоколадный вице-король, если не понимаете своего компаньона с полуслова! Каждая плитка шоколада нашей фабрики будет упакована вместе с предсказанием, напечатанным золотыми буквами на меловой бумаге. Надо только гениально придумать эти предсказания. Например: «Ваша судьба скоро переменится. Вы встретите трефового короля». Или: «Остерегайтесь пиковой дамы: она строит против вас козни».

Сколько стоит обыкновенная плитка шоколада? Серебряная монета в двадцать копеек. А мы будем продавать по двадцать три копейки. Кто поскупится дать лишние три копейки и получить в придачу к шоколаду предсказание, которое хватает прямо за душу? Мы разорим всех шоколадных фабрикантов и набьем наши нескороаемые кассы золотом. Вот тогда мы запоем: «Пезо ке гело, сена поли агапо». Соображать надо, святой отец!

Пока Дука говорил, в глазах у нашего батюшки, как у кошки, светились желтые огоньки. А когда Дука умолк, батюшка вскочил и не своим голосом крикнул:

— Дука, вы гениальный человек! Гениальный! Берите меня в свои компаньоны!

— И менэ, — сказал Анастасэ.

— И менэ, — как в бочку прогудел Дамиан. — Я буду болтайтис тесто.

— Какое тесто? — не понял Дука.

— Соколадное. Эма, какой будет тесто! Орео!..

Скоро наш батюшка ушел. А патер, Дука и Дамиан уселись на бархатный диван и закурили толстые черные сигары. Я смотрел, как на сигарах постепенно нарастал круглый белый пепел, и незаметно для себя, тут же на полу, задремал. И мне приснилось, будто я стою в монастырской кухне и стучу молоточком; но не по стенам, а по большому медному котлу, в котором варят для монахов суп. Только звук получался не чистый и звонкий, как в Илькиной кузнице, а грубый, скрежещущий. «Ага, — подумал я, — так вот куда запрятал пират Куркумели свои сокровища. Он их вынул из стены и засунул в котел, чтоб я не догадался, где они, а мой волшебный молоточек все равно их нашел». Вдруг в кухню вбегают Дука и, увидев меня, кричит: «Анастасэ, Дамиан, григора, григора! Какого вы дьявола копаетесь!» «Сейчас меня схватят», — подумал я и от страха проснулся. Хотя я уже не спал, в ушах у меня по-прежнему что-то грохотало и скрежетало, по-прежнему я слышал голос Дуки: «Дьяволос! С такими жирными гусями ола та эхаса!» Я заглянул в щелочку: Анастасэ и Дамиан впопыхах стаскивали с себя свои черные рясы. Скрежет вдруг умолк. Только слышно было через наше чердачное окно,

¹ Все потеряем (греческ.).

как лошадь бьет подковой о булыжник. Я вылез на крышу и глянул вниз. Около каменного крыльца в сумраке ночи виднелись две подводы, нагруженные какими-то ящиками. Тихонько скрипнула дверь, и с крыльца во двор сошли Анастасэ, Дамиан и Дука. Патер и монах были не в рясах, а в штанах и рубашках. «Григора, григора», — опять сказал Дука. Дамиан подставил спину, патер и Дука положили на нее большой ящик, монах крикнул и понес его в дом. «Григора, григора», — сказал ему вслед Дука. Я побоялся, что меня заметят, тихонько вполз в окно и опять оказался около щели. Анастасэ и Дамиан втаскивали на согнутых спинах ящики в бархатную комнату, а Дука помогал им ставить эти ящики один на другой и все время шипел. А я совсем не интересовался, что было в ящиках и почему их таскают не простые монахи, а сам патер, регент и посторонний монастырю человек — Дука. Я думал только о том, что Анастасэ и Дамиан сейчас заняты каким-то своим делом и, значит, можно стучать в кухне сколько угодно.

Осторожно сошел я вниз и приоткрыл дверь в кухню. В кухне было темно. Я чиркнул спичкой и зажег захваченную с собой свечку. Покапав воском, я прикрепил ее к столу. Противно зашуршали в мусоре и побежали по полу в разные стороны толстые черные тараканы. Я вытащил из кармана молоточек и принялся постукивать по стенам. Я придвигал стол к стенам, на стол ставил табуретку и стучал под самым потолком: звук везде получался одинаковый. Только там, где шел дымоход, звук менялся: он был глухой и гулкий. Но не в дымоход же замуровал пират свои сокровища! Я даже заглянул в медный бак, в тот самый, который приснился мне во сне. Там сидел огромный тараканище и притворялсядохлым. Больше не было ничего.

Когда я вернулся в келью Нифонта и посмотрел в щелку, в комнате Анастасэ было уже темно и тихо.

В ГРЕЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

Я ждал, что меня, Ильку и Андрея выгонят из училища. Кого ж еще могли подозревать? Кроме нас троих, никто в училище после занятий не оставался. Когда мы на другой день проходили через зал, то увидели, что

царь по-прежнему красуется в своей золоченой раме, будто его и не выбрасывали в мусорный ящик. Конечно, это был другой портрет, но такой точно.

Первым уроком была геометрия. Артем Павлович пришел заспанный и нахмуренный. И все видели, что ему сегодня особенно противны и теорема, которую он объяснял, и мел, и доска, и все на свете. Так и ушел, ничего не сказав о портрете.

На второй урок пришел Лев Савельевич. Он тоже про портрет ничего не говорил, а только все кусал бороду.

На третий явился батюшка. Этот начал с того, что в Харькове забастовали рабочие кондитерской фабрики «Жорж Борман».

— Чего им еще надо! — сказал он. — Целый день едят пирожные и закусывают шоколадными конфетами. Так нет, подавай им еще какую-то свободу! Что, их в тюрьме держат, что ли? Какая им нужна еще свобода! А все это — работа смутьянов, разных там социалистов, врагов нашей великой державы и православной церкви. Детей — и тех в разврат ввергают. До чего дошли! Портрет государя императора, божьего помазанника... — Но тут батюшка поперхнулся и опять начал ругать рабочих кондитерской фабрики.

Илька встал и сказал:

— Вы, батюшка, не знаете. А мой двоюродный брат на Жоржа Бормана уже пятый год работает. Так он рассказывал, что женщины, которые конфеты начиняют и в бумажки заворачивают, те конфеты едят только первый день, а потом и не смотрели б на них. Жорж Борман тоже не дурак: он знает, как отбить у своих рабочих охоту к сладкому.

Мы думали, что батюшка начнет ругаться, но он почему-то заулыбался и весь так и потянулся к Ильке.

— А как, как? Как же он отбивает охоту? Это интересно!

На последний урок пришел сам инспектор (он у нас преподавал естествознание).

— Вот когда нам крышка, — шепнул Андрей.

Но и Михаил Семенович ничего про портрет не сказал. Илька тоже боялся, а тут подмигнул нам с Андреем и сказал так, будто заранее все знал:

— Что они, дураки, чтоб шум поднимать! Им же пер-

вым жандармы и всыпят. Скажут: «А вы куда, лупоглазые, смотрели?»

Из училища я отправился в монастырь. Там меня поджидал сторож из церкви Михаила архангела.

— Ангелочек! — радостно крикнул он, увидя меня. — А я-то жду-пожду. Вот батюшка прислал твое ангельское одеяние. Отбился ты от нас, совсем отбился. Все прихожане, слава тебе, господи, жалуются и спрашивают: «Куда улетел наш белый ангел?» А я хоть и знаю, что наш батюшка, слава тебе, господи, запродавал тебя грекам, а молчу. Не мое это дело. Как думаешь, дадут мне монахи пообедать? Они что тут употребляют — водку или свой греческий коньяк? Да мне, слава тебе, господи, все равно: я могу и того и другого, лишь бы не обнесли.

Я сказал, что тут, кроме микстуры, ничего не пьют.

— Знаем мы эту микстуру, — проворчал старик. — У нас вот тоже: привезу я бочаночек красного винца для причастия прихожан, а глядь, его уже на донышке. Все «причащаются» подряд: и сам батюшка, и отец дьякон, и псаломщик, и регент. Один я ошварачиваюсь: верблюды я, что ли, чтоб вино пить. Это ж сколько его надо выпить, чтоб в голове прояснилось!

Пришел Дамиан и повел нас к Анастасе. Патер брезгливо осмотрел мою ангельскую одежду и покачал головой:

— Это глупо: ангелы не носят станы, ангелы носят хитоны.

— Истинная правда, батюшка, — поддакнул сторож. — Сколько я их видел, ангелов этих, все они были без штанов.

— Ну, иди, — отпустил патер сторожа. — Иди с богом.

— С богом! — Сторож поморщил свой дряблый нос. — Это я, батюшка, и сам знаю, с кем мне идти: с богом или с чертом. А вы бы лучше распорядились, чтоб ваши монахи покормили бедного человека. С самого утра, слава тебе, господи, не жрамни хожу.

Но Анастасе сделал вид, что не слышит, и сторож, посулив всем монахам холеру в бок, ушел.

Патер скрылся за бархатной занавеской, а когда опять появился, то в руках у него была белая шелковая материя. Он по-гречески что-то сказал Дамиану, отдал ему материю, и мы с монахом отправились в самый

дальний конец коридора, где слышно было, как за дверью что-то быстро-быстро стрекотало. Дамиан открыл дверь, и мы вошли в небольшую комнату, во всю длину которой тянулся узкий деревянный стол. За столом сидел монах с седыми клочкастыми волосами и строчил на машине сатиновую материю. Дамиан наклонился к клочкастому и прямо ему в ухо принялся кричать что-то по-гречески. Клочкастый развернул шелк, измерил его пальцами, потом измерил глазами мою фигуру и швырнул шелк Дамиану. Дамиан еще громче закричал, но клочкастый схватил его за ворот и вытолкал из комнаты. Это было страшно смешно, потому что Дамиан был вроде слона, а клочкастый — маленький и щуплый. Я хохотал как сумасшедший. Глядя на меня, и клочкастый захихикал. Наверно, я ему понравился: он отодвинул черный сатин, погладил меня по голове и принялся кроить белый шелк. Пока он строчил его на машине, я стучал молоточком по стенам. И до того осмелел, что даже взобрался на стол и начал стучать над головой клочкастого. Наверно, он принял меня за полоумного, потому что все поглядывал в мою сторону. Но, сколько я ни стучал, так ни до чего и здесь не достучался.

Я сел на стол и, болтая ногами, принялся рассказывать, какой у меня был замечательный товарищ, по имени Петр, и как мы с ним странствовали по Крымской земле. Клочкастый слушал, кивал и похихикивал. Но когда я сам стал его спрашивать, откуда он приехал в Россию и зачем поступил в монахи, то оказалось, что он по-русски не понимает ни бельмеса. А может, он был глухой?

Клочкастый сшил хитон быстро, сам надел его на меня и подвел к зеркалу. Вот так одежда! Настоящая ангельская! Только крыльев не хватало. Клочкастый отвел меня к патеру, последний раз хихикнул и ушел. Патер сказал:

— Ца-ца-ца!.. Кала!..! Орео!.. Ца-ца-ца!..

И долго объяснял мне, какой сегодня великий день во всей Греции и почему целую неделю будут идти в церкви богослужения. Но я так и не понял, то ли греческий царь сам на ком-то женится, то ли выдает свою дочь за какого-то царя. Во всяком случае, сегодня я должен петь в

¹ Хорошо (греческ.).

греческой церкви «Символ веры». К этому времени я уже стал сомневаться, удастся ли мне достучаться до пиратского сокровища, но так как две кельи и бархатную комнату мне еще не удалось обстучать, то я решил из монастыря пока не удирать.

Когда патер меня отпустил, мною завладел Дамиан. Регент долго тер содой мои пальцы, но так и не отмыл на них чернильные пятна. Потом он натянул мне на голову парик с волнистыми волосами до плеч, намазал щеки розовой мазью и попудрил лицо. Таким он и отвел меня через монастырский двор в церковь, в самый алтарь.

В алтаре уже сидели Анастасэ и еще какой-то монах. Оба были в блестящих, вышитых золотом ризах. Патер сказал мне, чтоб я из алтаря не выглядывал, а стоял перед иконой и молился. Молиться мне было неинтересно. О чем мне было просить бога? Чтоб он простил мне мои грехи? У меня, по-моему, грехов не было, а если и были, то не очень важные, так, мелочь разная. Чтоб он помог мне найти сокровища пирата? Так разве он выпустит их добровольно из монастыря? Вон сколько во всех церквях у него золота, серебра и драгоценных камней, а он хоть бы нищим, которые стоят на паперти с протянутой рукой, дал что-нибудь. Чтоб освободил Петра, пана Сигизмунда и Алексея Васильевича? Так сам батюшка говорит, что «несть власти, аще не от бога». Значит, бог и царь заодно. А главное, чего это ради я буду молиться богу, которого, скорее всего, и на свете совсем нет!

Патер выглянул из алтаря, потер руки и сказал:

— Эма!

Я тоже выглянул: народу в церкви было уже много, и народ был по большей части греческий. Одеты были по праздничному, особенно женщины. Но были греки и плюгавые: в потертых штанах, полинялых пиджаках и поседевших манишках.

Монах в ризе вышел из алтаря, стал перед царскими воротами и оттуда проревел:

— Эвлогисе деспота-а-а!..

Патер ответил ему из алтаря тоже ревом и тоже по-гречески, а монахи, которые собрались на клиросе, жалобно пропели:

— Ами-и-ин!..

Хоть в алтаре сидеть не полагалось, я все-таки сел. Патер укоризненно покачал головой, но ничего не сказал. Он то выходил из алтаря и пел перед молящимися, то возвращался в алтарь и подавал свой голос оттуда. Наконец он сказал мне:

— Иди! Пой, как ангелос небесни.

Как только я вышел, по всей церкви прошел гул. Я стал перед царскими воротами, сложил руки у подбородка, поднял глаза кверху и запел:

— Пистева сена фео-о-он...

— Фео-о-он... — отозвался мрачно хор монахов.

И все греки, как по команде, опустились на колени. Пока я пел, греки крестились, вздыхали и сморкались. Кончив петь, я пошел в алтарь, а по церкви двинулись гуськом три грека: передний нес большую медную кружку на двух замочках, двое других — медные тарелки. Даже в алтаре было слышно, как звякали монеты, которые бросали молящиеся в кружку и на тарелки. И, пока звякало, патер стоял неподвижно в алтаре, наклонив голову набок и прислушиваясь. А когда звякать перестало, он погладил меня по парику и сказал, чтоб я шел кушать и отдыхать.

К Л Ю Ч

Поздно вечером, когда я уже поделал уроки, снизу опять донеслись голоса Дуки и нашего батюшки. Я заглянул в щелку: на столе блестела та самая медная кружка, в которую бросали в церкви деньги. Наш батюшка приподнял ее двумя руками, потряс и сказал:

— Щедрые даяния, щедрые! Скажу не в осуждение своим соотечественникам, русские прихожане поскупее будут. На украшение храма божьего еще туда-сюда, а в кружку, для своего отца духовного и всего причта, норовят полушкой медной отделаться. Был даже случай, когда в кружке фальшивый гривенник обнаружился. Очень мне хотелось дознаться, какая это шельма всунула его туда, но даже на исповеди никто не признался. А жалко!.. Я б такую наложил епитимию на этого фальшивого христианина, что он до самой смерти стучался б лбом перед святой иконой. — Батюшка ласково погладил кружку. — Что ж, патер Анастасэ, приступим с божьего

благословения. Половина кружечки вам, половина, как договорились, мне.

Анастасэ, который слушал о фальшивом гривеннике равнодушно, тут вдруг заворочал глазами и сказал:

— Что-о-о?..

И они начали спорить. Патер доказывал, что отцу Евстафию следовало получить не половину всей кружки, а половину доли патера, доля же патера составляет три шестых всей кружки, так как другие три шестых идут дьякону и остальному причту. На это наш батюшка отвечал, что ему нет дела до дьякона и остального причта, а есть дело только до кружки, и что иначе он немедленно отберет меня у греков и вернет в русскую церковь, как подданного российского государя императора. Анастасэ, задыхаясь от волнения, кричал, что в русской церкви не попадет в кружку и десятой доли того, что попадает в греческой. Но батюшка заткнул пальцами уши и, мотая головой, в свою очередь, кричал, что он и слышать ничего не хочет. В конце концов наш батюшка взял верх. Оба они вынули из карманов по ключику и открыли на кружке по замочку; а потом вместе опрокинули кружку на середину стола и принялись считать монеты. Иногда попадались даже золотые драхмы. Их откладывали в сторону. Наш батюшка сказал:

— Вот так бы и поделить: вам русские монеты, а мне греческие.

Но Анастасэ, который все время сердито пыхтел, показал нашему батюшке кукиш и продолжал считать. Когда дележка кончилась, наш батюшка переложил свою долю в клетчатый платок и увязал кончики его в узелок.

— Ну-с, — сказал он весело, — теперь можно и предсказаниями судьбы заняться. Я тут кое-что подготовил.

Пока батюшка и Анастасэ делили кружку, Дука раскладывал карты, теперь он смешал их и сказал:

— Вот это разговор! К черту пасьянс! Займемся цыганским ремеслом. За хорошее предсказание, отец Евстафий, позолочу ручку.

— Вот первое: «Гряди, гряди, от Ливана невеста! Приди, приди, добрая моя, приди, приди, ближняя моя!» А? Как находите? Здорово? И богу угодно, и всякие эротические чувства возбуждает.

Дука ударил ладонью по столу:

— Здорово! Ну, отец Евстафий, скажу прямо, не ожидал я от вас! Да за такое предсказание каждая девица, особенно перезрелая, на шею бросится торговцу шоколадом.

Батюшка облизал губы, будто съел ложку варенья, и подмигнул Дуке.

— Это было из обряда венчания, а вот это из тропаря: «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяща».

Дука вопросительно посмотрел на Анастасэ. Тот подумал и кивнул.

— Ладно, сойдет, — сказал Дука. — Не очень понятно, но так и надо: пусть покупатель жует шоколад и думает: что бы оно, это предсказание, означало. Главное, что тут про жениха есть. Женихов на войну с японцами забрали, так они теперь здесь в цене. Выкладывайте дальше.

— Теперь из литургии святого Иоанна Златоуста: «О пособите и покорите под нозе их всякого врага и супостата».

— Гм... — Дука опять посмотрел на Анастасэ. Патер заворочал глазами. — Это под чьи же ноги? — спросил Дука.

— Известно, под чьи, — гордо ответил батюшка. — Под ноги государя императора Николая Александровича и всего царствующего дома.

— А кого же это — под их ноги?

— На данном этапе японцев, а если не изъявят покорности другие нации, то и их.

— И греков тоже? — вытаращил глаза Дука.

— А что ж такое — греки?

— Слышали, патер Анастасэ? — взвизгнул Дука. — Греков — под ноги! Вот так фунт изюму!

Патер опять показал нашему батюшке фигу. Батюшка озлился и стал кричать, что вся Греция у него на ладошке поместится и что наш царь, если захочет, спрячет греческого царя у себя в жилетном кармане.

Они долго ругались, но потом помирились и опять стали обсуждать предсказания. Дука сказал, что хватит цеплять к каждой плитке шоколада священное писание, надо прицепить что-нибудь из оперетты. Патер же гудел, что надо брать предсказания из «Илиады», например:

«Верь и дерзай возвести на оракул, какой бы он ни был», или: «Будет некогда день, и погибнет священная Троя». Против «оракула» наш батюшка ничего не возразил, а «Трой» испугался. Он замахал руками:

— Что вы, что вы! Всякие могут быть толкования в наше смутное время. Еще кто-нибудь подумает, что под Троей подразумевается Российская империя с государем-самодержцем во главе. Нельзя!

Дука сказал, что те, кто так могут подумать, шоколада не едят, а едят житный хлеб с квасом, но батюшка настоял на своем.

Вдруг в комнату вбежал Дамиан. Лицо монаха блестело от пота.

— Тесто сбезало!.. — крикнул он задыхаясь.

Дука, Анастасэ и наш батюшка бросились вон из комнаты. За ними, страшно топая толстыми, как у слона, ногами, побежал и Дамиан. Впопыхах патер не только не запер дверь, но даже не прикрыл ее. За время моей жизни в монастыре это был первый случай, когда комната патера осталась открытой. Меня будто ветром сдуло с чердачной кельи. На лестнице в нос ударил дух горелого сахара. Но мне было не до сахара. Я вскочил в бархатную комнату и принялся колотить по стенам. Я ужасно волновался, иногда даже не различал, что было стуком в висках, а что стуком молотка. И вдруг ясно услышал, как под молотком отозвалось что-то глухо и гулко. «Нашел!» — крикнул я и весь сжался, испугавшись своего же голоса. Но сейчас же овладел собой и опять стукнул. И опять услышал тот же глухой и гулкий звук.

Хоть я весь дрожал, но, выбегая, все же заметил, что в двери торчит ключ. И скорее безотчетно, чем с умыслом, выхватил его и сунул в карман.

В коридоре горелым сахаром пахло еще сильнее. Дверь в кухню была распахнута, и оттуда в темный коридор падал туманный свет. Когда я подбежал ближе, то понял, что таким он казался от дыма. А в самой кухне чад стоял такой густой, что видны были только бегающие фигуры. Какая из них батюшка, какая патер или Дука, рассмотреть было невозможно. На плите, сплошь во всю ее длину, что-то с шипением и треском горело синим огнем. Фигуры суетились, наталкивались одна на другую

и ругались. Слышно было, как батюшка кричал: «Пожарную!», а Дука ему отвечал: «Вы с ума спятили? Узнают — нам крышка! Воды!» В кельях захлопали двери, и отовсюду стали сбегаться люди. Они были в белых рубахах и кальсонах, и я только по патлам узнавал, что это монахи. Огонь потушили, но все, на кого я в этой кутерьме наткнулся, стали мокрыми и липкими, наверно, от шоколадного теста.

Я вернулся в чердачную келью несказанно счастливый и уже совсем засыпал, когда услышал внизу шум и какое-то шлепанье. С трудом я заставил себя подняться и заглянуть в щелочку. Но то, что я увидел, сразу согнало с меня сон: посредине комнаты стоял на коленях огромный Дамиан, а патер Анастасе таскал его за волосы, бил по толстым розовым щекам и злобно кричал:

— Катэргарис!.. Катэргарис!.. Катэргарис!..¹

НЕ ЗДЕСЬ ЛИ СОКРОВИЩА ПИРАТА?

Все смешалось в моем сне, и все было черное: черным огнем горел какой-то каменный дом, и из его окон валил черный дым; черный бык с патлатой головой патера Анастасе бил ногами о землю, и из-под ног его во все стороны летели куски черного угля; я в страхе бежал по улице, а на улице буря ломала акации, и на них трепетали черные гроздья. Я не знал, от кого убегаю, я только слышал позади топот ног. И оттого, что я не видел, кто гонится за мной, мне делалось еще страшнее. Топот все ближе, и вот уж кто-то хватает меня сзади каменной рукой за плечо. В ужасе я замычал и проснулся. Надо мной склонился Дамиан. Пухлой, совсем не каменной рукой монах тихонько тряс меня за плечо.

— Зачем кричишь? Вставай, мальчик. Надо скоро одевать. — Он показал на белый хитон и золотистый парик, лежавшие на кровати Нифонта. Щеки Дамиана были в синих пятнах.

— Дамиан, — спросил я, — почему у тебя лицо в синяках?

Он провел рукой по щеке и покачал своей огромной головой.

¹ Подлец (греческ.).

— Это мене бог наказал, бог!..

— Неправда! — горячо воскликнул я. — Не бог, а патер Анастасэ. За то, что у тебя шоколадное тесто сбежало. Зачем ты позволяешь себя бить? Ты ж сильнее его. Дай ему лапой по башке!..

Дамиан в ужасе попятился от меня:

— Сто ти, сто ти!.. Он перевс!..

Пока я одевался, Дамиан все время бормотал, что его наказал бог: из-за него, Дамиана, чуть не сгорел весь монастырь, из-за него ряса Анастасэ стала липкой, как пластырь, из-за него перевс затерял где-то ключ от комнаты, и монахи с ног сбились, ищут этот ключ. Вот что он, несчастный Дамиан, наделал и вот за что его наказал бог.

— Что ж будет, если ключ не найдется? — осторожно спросил я.

— А!.. — Дамиан махнул рукой. — Нисиво не будет! Адельфос Мефодий узе делает новый. Адельфос Мефодий усо умеет делать: и рясу, и ключ.

Когда Дамиан привел меня в алтарь, вся церковь была уже битком набита. Я смотрел, как Анастасэ крестится, читает нараспев молитвы, благословляет молящихся, и мне казалось, что на свете есть два Анастасэ — один этот, добрый и благостный, а другой тот, который бил Дамиана, жестокий и ненавидящий.

— Иди! — приказал мне патер.

Как только я появился перед алтарем, по всей церкви пронесся шепот, будто зашелестели под ветром деревья. Я опять запел. Глаза мои были подняты кверху, людей я почти не видел, но по шуму и глухому стуку я догадался, что все опять опустились на колени. Мне это все надоело, и я думал только о том, как поскорее кончить молитву. Вдруг я заметил, что около меня в воздухе что-то мелькнуло. Невольно я опустил глаза. У ног моих лежала большая белая роза. «Кто же ее бросил?» — подумал я, и в тот же момент глаза мои встретились с яркими карими глазами, которые смотрели на меня с любопытством и удивлением. Голос мой оборвался: я узнал глаза Дэзи. Она стояла на коленях в белом платье, и любой ангел был бы в сравнении с ней просто уродцем. Когда я немного пришел в себя, то заметил, что рядом с Дэзи стояла на коленях ее мама, мадам Прохорова, та

самая хорошенькая дамочка с усиками, к которой мы с братом Витей когда-то ходили за книжками Поль де Кока для наших босяков.

Монахи на клиросе уже третий раз пропели «пантонке аортон», слова, которые застряли у меня в горле, а я все еще не мог оторвать взгляд от Дэзи. А когда опять запел, то голос у меня так задрожал, что все от умиления закрестились. Я пел, но на Дэзи уже не смотрел: я боялся, что если опять увижу ее, то и совсем лишусь голоса.

Кое-как я дотянул до конца и не ушел, а прямо-таки убежал, так что слово «аминь» пропел уже на ходу. Мне бы выскочить в монастырский двор, а я заглянул в алтарь и там стал смотреть в щелочку на Дэзи. Все уже поднялись с колен. Дэзи, плутовато улыбаясь, тянулась к уху мадам Прохоровой, наверно, хотела ей что-то сказать смешное, а мадам Прохорова хмурилась и отстраняла ее: в церкви ведь разговаривать не полагалось. Сзади ко мне подошел патер Анастасэ, взял за ухо и три раза дернул.

— Не спеси, не спеси, не спеси!.. — сказал он, сдвинув свои и без того сросшиеся брови.

Хорошо, что Дэзи не видела, а то бы я провалился от стыда. Я обозлился, показал патеру кулак и убежал.

Монастырь был совсем пустой: Анастасэ, Дамиан, монахи — все были в церкви. Я переоделся, взвалил на плечо тяжелый молоток, которым Нифонт разбивал в сарае глыбы угля, и пробрался к комнате Анастасэ. Ноги у меня подгибались и, как и в прошлый раз, в висках ужасно стучало, но я решил не отступать, что бы ни случилось.

Я долго не мог нащупать в кармане ключ, а когда наконец вытащил его, то с трудом вставил в замочную скважину — так у меня дрожали руки. Больше всего я боялся, что Мефодий переделал замок и к нему старый ключ не подойдет. Но ключ повернулся легко. Дверь открылась. Подняв над головой молоток, я ринулся прямо к тому месту, где раздавался вчера гулкий звук.

Еще секунда — и я хватил бы изо всех сил молотком по стене. Только в самый последний момент сообразил, что сперва надо оттянуть синюю бархатную материю.



*Голос мой оборвался: я узнал глаза Дэзи. Она стояла на коленях
в белом платье.*

Я опустил на пол молот и ухватился за край полотнища, который еле приметно отходил от стены. Полотнище отошло, и я с удивлением увидел стену не каменную, а деревянную, полированную, с круглой маленькой кнопкой. Едва я к этой кнопке прикоснулся, как стена раздвинулась. Открылась внутренность чего-то вроде шкафа, только очень глубокого и большого. В шкафу один на другом стояли деревянные ящики, те самые, которые ночью сгружали Анастасэ, Дамиан и Дука. Но не в них же пират Куркумели спрятал свои сокровища! Я поднялся на цыпочки и заглянул в верхний ящик. Там лежали толстые широкие брусья, упакованные в глянцевую бумагу. На бумаге что-то было напечатано латинскими буквами, но что, я разобрать не успел: в церкви в это время затрезвонили.

Испугавшись, что сейчас вернется патер, я поскорей задвинул стену, схватил молот и ушел. Ах, как я был опечален!

ТАИНА КУЗНИЦЫ

Мне захотелось погулять с Илькой и поиграть с ним в городки. Весь день я провел дома, где по мне уже все соскучились, а перед вечером отправился на край города. Подойдя к кузнице, я заметил, что к крыше приставлена лестница: значит, Илька опять прячется за трубой и наблюдает. Конечно, я тоже полез на крышу. Но там Ильки не оказалось. Наверно, он отлучился. Я решил его подождать. Через дыру в крыше выходил кислый теплый чад. «Шик-шик-шик-шик» — несло из кузницы вместе с газом. «Не Илька ли раздувает мехом горн?» — подумал я и заглянул в дыру. На дворе были сумерки, и в кузнице уже горела лампа. При ее тусклом свете я увидел Тараса Ивановича, Гаврилу и еще нескольких человек. Мех раздувал не Илька, а Гаврила, Тарас же ворожал клещами в курном угле горна красную полосу железа. Около лампы сидел человек с серенькими усами и бороденкой, в очках, в шляпе. Перед ним стояло на полу корытце, до краев наполненное чем-то желтым, похожим на студень. Человек брал из стопы лист бумаги, расстилал его на студне и откладывал в сторону, где уже лежали другие листы. У самой стены, на черном земляном

полу, валялись железные штуки, похожие на тот пистолет, из которого стрелял Илька в подсолнечник. Двое мужчин в замасленных синих блузах поднимали их с пола и начищали наждачной бумагой.

Так вот что скрывал от меня Илька! Тут делают пистолеты и печатают листовки вроде той, которую кто-то занес к нам в класс. Кто-то! Теперь ясно, кто: Илька и занес, а то кто ж еще!

Едва я об этом подумал, как в голову пришла и еще одна мысль: за короткое время я одинаково — глядя через дыру, сверху вниз, — узнал две тайны. Но там, в монастыре, мне совсем не было стыдно. Почему же сейчас я чувствовал себя так, будто сделал что-то скверное? Бежать!.. Надо скорее бежать, пока меня не увидел Илька!

Только я это подумал, как сзади кто-то схватил меня за ворот и так потянул, что с моей рубашки посыпались и запрыгали по крыше пуговицы.

— Ты что тут делаешь? Подглядываешь?! Ах ты, провокатор! — услышал я злобный шепот Ильки. Не выпуская ворота из рук, он заставил меня слезть на землю и потащил к домику, где я когда-то обедал. — Сейчас мы тебя допросим, поповский подлипала, — сказал он и втолкнул меня в дверь.

От страха я лишился голоса.

Спустя минуту в дом вошли Тарас Иванович и Гаврила. Илька тыкал в меня пальцем и объяснял:

— Вот он, поповский наймит. Полез я на крышу, а он поджал хвост и сидит в дырку смотрит. Это его попы подослали, не иначе.

Тут ко мне вернулся голос и я сказал:

— Ты, Илька, дурак!.. Ничего не знаешь, а тащишь. У меня все пуговицы отлетели...



И неожиданно для себя я заплакал. В самом деле, я шел к Ильке, как к другу, а он — за ворот...

Тарас Иванович усмехнулся в усы и двумя пальцами поднял за подбородок мою голову.

— Ну, а все-таки, зачем ты на крышу залез, а? — спросил он, заглядывая мне в глаза.

— К Ильке, — ответил я. — Мы и раньше за трубой прятались, провокаторов подстерегали.

Илька смутился и заморгал глазами.

— Так то ж вдвоем, а тут ты один залез. Еще скажешь, я и в кузницу позволил тебе заглядывать?

— А что ты увидел в кузнице? — продолжал спрашивать Тарас Иванович.

— Все, — ответил я, не таясь. — И как листовки печатают, и как пистолеты делают.

Тарас Иванович посмотрел на Ильку и покачал укоризненно головой:

— Ах, Илька, Илька!.. Что ж нам теперь делать?

— А ничего! — ответил я. — Пусть мне провокаторы руки-ноги ломают, я все равно смолчу.

Мать Ильки, Кузьминишна, все время смотрела на меня своими карими ласковыми глазами молча, а тут и она вмешалась в разговор:

— И смолчит. Он хороший мальчик.

— Хороший-то хороший, а в церкви поет, — раздумчиво сказал Тарас Иванович.

— Ах, вы не знаете! — горячо воскликнул я. — Это ж вовсе не потому!..

— Тебя что ж, отец заставляет?

— Нет, я сам... Я там клад искал...

— Кла-ад? — удивленно воскликнули все четверо.

У Ильки от любопытства глаза стали круглыми.

— Ох ты!.. — присел он. — А мне ни слова! Ну не жулик?

Меня принялись расспрашивать. Я ничего не утаил. Рассказал и про то, как патер и наш батюшка кружку делили и как сбежало шоколадное тесто. Ну и смеялся же Тарас Иванович!

Пришел тот человек, который листовки печатал (звали его Михаилом Ефимовичем), и мне пришлось рассказывать все сначала; он слушал и записывал в книжечку. Потом Тарас Иванович сказал:

— Ах ты, Митя, Митюха! Пользы от твоей затеи не получилось никакой, а вреда ты наделал много. Если бы и был клад, так неужто монахи не поживились бы сами? На что другое, а на золото да на камни драгоценные у них нюх, как у гончих. А главное — не так надо освобождать царских узников. Не только твой Петр, или Сигизмунд, или учитель Алексей Васильевич — весь трудовой народ в России узник. Главное — надо царя свалить да разогнать его свору, темницы ж потом сами раскроются.

— Жди, когда вы его свалите, а у Алексея Васильевича чахотка, — опять вмешалась Кузьминишна. — Вот Илья рассказывал, учитель этот в школу с бутылочкой молока всегда приходил. Это как, а? Да он в тюрьме и года не протянет.

— Поможем, — сказал Тарас Иванович. — Ты ж сама и передачу понесешь. Если на то пошло, то и Сигизмунду чего-нибудь подкинем, даром что паном прозывается.

— Ой, какой он пан! — воскликнул я. — У него на штанах латка!

Потом Тарас Иванович стал объяснять мне, какой я принес вред тем, что пел в церкви.

— Пойми, что некоторые темные люди и впрямь посчитали тебя посланцем от бога!

— А все-таки, что же у них было в тех ящиках? — спросил Михаил Ефимович. — Неужто контрабанда?

— Судя по всему — контрабанда, — ответил Тарас Иванович. — Святые отцы на все идут, лишь бы набить карман потуже.

— Если б знать наверняка, то хорошо б в листовке упомянуть.

Мне так хотелось хоть чем-нибудь загладить свою вину, что я сейчас же крикнул:

— Я узнаю! Завтра ж узнаю и скажу вам.

Тарас Иванович переглянулся с Михаилом Ефимовичем и кивнул мне:

— Главное, сматывай там удочки поскорее.

Илька пошел меня проводить. Я сказал:

— Хочешь, Илька, проведем Зойкину бабу?

— Этого не хватало — к бабкам в гости ходить! — отозвался Илька. Но подумал и согласился. — Ладно уж, пойдем. Вот я проверю, как ты правду говоришь.

Про Зойку и про то, как я встретился с нею в Симферополе в цирке и как сам в цирке выступал, Илья уже не раз слышал от меня и каждый раз говорил: «А ты не врешь?» Вот пусть теперь узнает, как я вру.

К переезду мы подошли в то время, когда шел поезд и бабка сигналила ему зеленым светом. То, что бабка по своей воле может пропустить, а может и остановить целый состав, сразу возвысило ее в глазах Ильки. Он спросил:

— А если б царь ехал в поезде, вы б и царя могли остановить?

— А что мне царь! — фыркнула бабка.

Илья гикнул. А я подумал: неспроста бабка хорохорится, наверно, случилось что-то. Так и оказалось. Бабка покопалась в шкафчике и сунула мне конверт. Зойка писала, что пана Сигизмунда засудили и скоро по этапу отправят в Сибирь, но царь пусть не радуется: все равно народ ему пропишет сальто-мортале. А ей, Зойке, больше в Чугуеве сидеть незачем, она, того гляди, приедет к бабке в гости.

Пока я читал, бабка говорила, что на пана Сигизмунда у нее всегда была обида — зачем он увез от нее Зойку! — но раз царь его сослал в Сибирь, значит, он был хороший человек. И еще она сказала, что рабочие нашего металлургического завода скоро забастуют и тогда она остановит тут все поезда: пусть стоят и тоже бастуют.

Я просто не узнавал бабку: будто и не она уговаривала когда-то внучку жить тихонечко и никого не трогать. Куда и хворость ее делась! Когда мы вышли, Илья сказал:

— Ну, бабка! Такой дай кувалду в руки, так она всех городских разгонит.

МЕНЯ ХОТЯТ ЗАТОЧИТЬ В МОНАСТЫРЬ НА ГОРЕ АТОС

Я вернулся в Нифонтову келью и заглянул в щелочку. Кружка стояла на тумбочке раскрытая: значит, батюшка и патер ее уже поделили. Батюшка потирал руки и весело говорил:

— Знаете, патер Анастасэ, это не мальчик, а сундук с деньгами. Я делаю вам большое одолжение, что не забираю отрока обратно. Вы это должны чувствовать и все убытки с шоколадным тестом поделить только с Дукой.

Дамиан ваш, а не мой: вы и отвечайте. Моя хата с краю. А в новую партию шоколада я внесу свою долю полностью, как раньше договаривались.

Дука сидел верхом на стуле, а тут вскочил и закричал:

— Как, опять Дука? Все только и знают, что объегают бедного Дуку. Мой умный папочка вложил половину своих капиталов в акции металлургического завода, и теперь страшно боится, что рабочие не сегодня-завтра забастуют. Кто в убытке? Дука. Ему все меньше попадает от папы золотых кругляшек. А вот еще новость: сегодня я не досчитался в вашей кладовой целых четырех штук лилового лионского шелка. Вы не скажете, дорогой патер Анастасэ, как они перекочевали в мануфактурную лавку вашего друга — купца Сидорова? Опять Дука в убытке. Так я еще должен платить за дурака Дамиана? Черта с два!

Теперь вскочил Анастасэ и замахал черными широкими рукавами. Все трое кричали и ругались одновременно.

Я прикрыл щелку и лег спать. На душе у меня был праздник, а почему, я и сам не знал. Может, потому, что завтра я выполню поручение Илькиного отца и навсегда уйду из монастыря. Как он мне опротивел! Или потому, что вот-вот сбросят царя? Тогда и Петр вернется, и пан Сигизмунд, и Алексей Васильевич. А еще, может быть, потому, что под подушкой у меня лежит Дэзина белая роза и я все время чувствую ее запах.

Утром я проснулся до восхода солнца. На этот раз Дамиан, кроме белого хитона, принес еще веточку с темно-зелеными листочками и мелкими белыми цветочками. Дерево это, сказал он, привезли на пароходе из Греции. Называется оно — мирта. Патер будет сегодня говорить проповедь и призывать всех — и богатых, и бедных, и греков, и русских — жить в мире и подчиняться воле бога и его помазанников — царей, а я, когда буду петь, должен держать эту веточку перед собой. Я выслушал Дамиана со смиренным видом, потом переделся в белый хитон, натянул парик, взял ветку в руки и через пустой монастырский двор пошел в церковь. Я шел и думал, как бы их всех обставить.

В алтаре Анастасэ поманил меня пальцем и сказал, что сегодня после обедни даст мне много шоколада, но

если я буду спешить и петь без усердия, то оторвет мне «уси», а шоколада совсем не даст.

Время шло, а я все еще не мог ничего придумать.

Патер сделал мне знак выходить и предостерегающе погрозил пальцем.

И вот я опять перед молящимися, которые заполнили всю церковь. Я вижу толпу бородатых, усатых и бритых людей, черную группу монахов на клиросе, святых угодников, написанных яркими красками на стенах, мерцание сотен восковых свечей, но все это уголками глаз, как в тумане, по-настоящему же я вижу только одну Дэзи: она и сегодня стоит прямо передо мной, на прежнем месте, и смотрит на меня с удивлением, любопытством и радостью.

Анастасэ шипит мне что-то из алтаря, Дамиан уже какой раз взмахивает рукой, но все греческие слова из «Символа» от «пистево» до «амин» из моей головы куда-то вылетели, а взамен их звенит и звенит веселая песенка. И, не помня себя, я бросил ветку мирты к ногам Дэзи, хлопнул в ладоши и радостно на всю церковь запел:

Пезо ке гело,
Сена поли агапо!

То, что произошло вслед за тем, невозможно описать: сначала в церкви все окаменели, потом задвигались, загалдели, зашумели, замахали руками. В одном месте ругались, в другом смеялись, одни кричали: «На фигис апо эдо!» («Вон отсюда!»), в другом: «Пьяс тон!» («Держи его!»). Но и это все доносилось ко мне будто издалека: видел я только Дэзи. Она подняла ветку и, лукаво улыбаясь, нюхала ее беленькие цветочки.

Придя в себя, я бросился вон из церкви. И вдруг почувствовал, что меня схватили чьи-то железные руки. «Пропал!» — подумал я и в страхе закрыл глаза.

— Орео! Кала! — услышал я и удивленно посмотрел на того, кто держал меня в своих жестких объятиях. Это был грек Аленгоз, грузчик из порта. — Орео! Кала! — говорил он и гладил меня по голове тяжелой ручищей.

Через минуту я был уже в комнате Анастасэ. Я стоял перед раскрытой кладовой и разглядывал тугие штуки шелковой материи, завернутые в глянцевую бумагу с иностранными надписями. Я хотел уже выскочить из монастыря и во весь дух бежать к кузнице, чтоб все там

рассказать. Но в это время чья-то тяжелая рука легла мне сзади на плечо. Я оглянулся и увидел перекошенное злобой лицо Нифонта.

— Катэргарис!..—прошипел монах. — О, катэргарис!..

Он схватил меня в охапку, отнес в чердачную келью и там запер.

Я лежал на своей койке, скорчившись от страха: все перепуталось в моей голове. Пришел я в себя только утром, когда внизу опять заговорили. Дука кричал:

— Вы подумайте, какой сволочной мальчишка! Что он пропел в церкви нашу шансонетку, мне наплевать! Нет, зачем он, какургас, сунул свой нос в кладовую?! Если кто-нибудь узнает, что вы, патер Анастасэ, прячете тут контрабанду, заварится каша! Только на подарки полиции пойдет половина дохода.

— Каса узе варится, — плачущим голосом ответил Анастасэ. — Кто теперь придет в насу церковь? Только глупая старуха и совсем глупый старик. И то, чтоб посмеяться над бедным Анастасэ.

— Э, вы не о том толкуете! Надо мальчишку обезвредить, вот в чем сейчас дело! Но как, как?! — Дука вдруг хлопнул себя по лбу. — Эма! Гениальная идея! Завтра отходит пароход папиного друга Лекиардопуло в Салоники. Мы спрячем ангелочка в трюм и отправим с Нифонтом в Салоники. А от Салоник до Старого Афона, как говорят русские, рукой подать. Там Нифонт отведет малыша на гору Атос и укроет в самом крепком монастыре. Эма! Дука всегда вас выручал! Скажете, нет?

Я так и не услышал, что Анастасэ ответил Дуке. В один прыжок я оказался на подоконнике, потом на крыше и, совершив невероятное сальто-мортале, ухватился двумя руками за ветку тополя.

Но Нифонт, видимо, не сводил глаз с крыши и, как только я совершил свой воздушный полет, бросился ко мне. Я с тополя — на крышу сарая. Он — за мной. Я с крыши — на забор. Он — за мной. Я перебегал чьи-то дворы, перемахивал через заборы, падал на курятники — и все время слышал позади себя топот его ног и хриплое, частое дыхание. Вот монах схватил уже меня за плечо... Но тут мы оба свалились с забора на собачью будку. Кудлатый пес с визгом бросился на моего преследователя. Воспользовавшись этим, я влетел через калитку в

чей-то сад. Влетел — и замер от неожиданности: по утрамбованной красным песком площадке шла... Дэзи.

В ту же минуту в калитку ворвался разгоряченный Нифонт с оборванными собакой лапами запыленной рясы.

— Дэзи! — крикнул я в страхе. — Спаси меня, Дэзи!..

Девочка подняла голову, посмотрела на меня, на Нифонта и вскинула над головой крокетный молоточек.

— Не смей трогать мальчика, черномор борода-тый!.. — властно сказала она.

И — странное дело! — монах согнулся, попятился и исчез.

— Мама! — позвала девочка. — Посмотри, я сейчас какого-то мальчишку спасла. Его хотел колдун унести!

— Ну какого там еще мальчишку? — услышал я давно знакомый мне голос, и в окне дома показалась хорошенькая мадам Прохорова. — Вечно ты со своими фантазиями.

— Дэзи, — уныло сказал я, — ты меня не узнала?

Девочка удивленно подняла на меня свои карие с золотинками глаза.

— Нет. А кто ты?

«СМЕЛО, ТОВАРИЩИ, В НОГУ!»

Кто я? В самом деле, разве Дэзи может помнить, как больше трех лет назад в босяцкой чайной щупленький мальчишка обслуживал бродяг и нищих и думал завоевать внимание красивой и богатой девочки тем, что таскал по два чайника с кипятком в одной руке? Тогда эта девочка еще говорила ему, что из-за нее какой-то Шурик будет драться на шпагах с самим капитаном Протопоповым. Разве она может знать, что на новогоднем вечере, где ее избрали королевой бала, ей подарил чудесную книжку про «Каштанку» не гимназист Мелиареси, переодетый в нищенское платье, а этот щуплый мальчик, одетый в свое жалкое пальтишко? Правда, еще вчера она слушала его пение и даже приняла от него душистую ветку мирты, но ведь он был в шелковом белоснежном хитоне, с русыми пышными волосами и с румяными щеками, а не в этой ситцевой застиранной сорочке и не по росту коротких заштопанных брючках. Так или примерно так

я думал, стоя перед Дэзи с опущенными глазами и ничего ей не отвечая.

— Ну, так кто же ты? — спросила она опять и засмеялась, будто в чистом холодном ручье зазвенели льдинки, ударяясь одна о другую. — Может быть, мы танцевали с тобой мазурку во дворце у короля, где я потеряла хрустальный башмачок? Уж не принц ли ты? Ну-ка, покажи, что у тебя в кармане! Мой башмачок, да?

Она села на зеленую садовую скамью и, раскачивая ножкой в зеленой туфельке, расшитой серебряными нитями, приготовилась слушать. Что ж, если Дэзи любит сказки, отвечу ей сказкой.

— Нет, я не принц. Я — волшебник. Если ты девочка храбрая, дай мне свою руку, и мы поднимемся с тобой выше облаков. Мы будем летать в голубом небе, пока не наступит ночь. А тогда набьем наши карманы звездами и вернемся на землю. Я скажу волшебное слово и превращусь в великана — с латами, с копьем, с забралом. И всю ночь буду стоять под твоим окном, охранять твой сон.

— Ма-а-ма, да он забавный! — крикнула Дэзи в окно и, повернувшись ко мне, капризно сказала: — Я храбрая, но руки тебе не дам, потому что твои руки грязные.

Действительно, руки мои были в чернилах, в пыли.

— Попрыгала б ты с мое по крышам, по курятникам да по собачьим будкам, и твои руки стали б не чище, — с обидой ответил я.

— Но, если ты волшебник, почему ты испугался цыгана? Ты бы мог одним словом превратить его в мышонка или в муху.

— Это был не цыган, — уже серьезно ответил я. — Это был монах. Он хотел увезти меня в Грецию, на полуостров Старый Афон, и там на вечные времена заточить в монастырь на горе Атос.



По лицу Дэзи я видел, что она старается догадаться, правда это или тоже сказка. Я засмеялся и сказал:

— Ты все еще не веришь, что я волшебник. А как бы я иначе узнал, что тебя зовут Дэзи?

Девочка пожала плечами.

— Вот видишь, — воскликнул я, — мне все известно! Например, в вашем доме, в гостиной, стоит кадка с фикусом, а на стене висят золоченые клетки с канарейками.

— Да, правда, — растерянно сказала Дэзи.

— Твой отец зовет таких мальчишек, как я, хамским отродьем.

— Ну конечно!

— Однажды, под Новый год, маленький гимназист, переодетый в нищего, подарил тебе книжку «Каштанка».

Дэзи вскочила со скамьи и с испугом посмотрела на меня. Я побоялся, что она убежит, и поспешно сказал:

— Нет, Дэзи, я не волшебник. Только не спрашивай, почему я все это знаю. Это моя тайна.

— Ах, вот как! — воскликнула она. — Сию минуту говори! Говори или я сейчас же отдам тебя монаху.

Я и без того все время поглядывал с опаской на калитку, в которой скрылся Нифонт, а тут у меня опять пробежали мурашки по спине.

— Дэзи, неужели ты такая... такая... — Я не находил подходящего слова.

— Говори! — топнула она ножкой.

Нахохлившись, я молчал.

Тогда она сама взяла своей маленькой беленькой ручкой мою руку и заворковала:

— Ну скажи, скажи! Ведь я всю ночь не буду спать от любопытства... Скажи!..

Я готов уж был уступить, как из дома вышел старикашка, тот самый, который выгнал нас с Витькой из своего дома, и заковылял к крокетной площадке.

— Что за денди? — уставился он на меня злыми глазами из-под клочковатых бровей. — Зачем здесь?

— Этот мальчик — волшебник, — сказала Дэзи. — Он даже сквозь стены все видит. Хочешь, он узнает, сколько у тебя в кармане денег?

— Что другое, а это он, конечно, узнает, если плохо держаться за карман. Эй, Фома! — позвал старикашка. — Выпроводи мальчишку.

Из каретника высунулся толстомордый кучер, тот самый, который возит Дэзи в лакированной коляске.

— Папка, не смей! — прикрикнула Дэзи. — Мне скучно, ты не выпускаешь меня со двора, а он забавный.

— Пожалуйста, — сразу согласился старикашка. — Забавляйся, мне что! Только как бы он не напустил тут блох. — И заковылял в дом.

Если б у меня и в самом деле были блохи, я бы запустил их целую горсть за воротник противному старикану...

— А почему тебя не выпускают на улицу? — спросил я Дэзи.

— Ты не знаешь? А еще волшебник! Сегодня забастовка! Они могут и на улицу прийти.

— Ну и что ж?

— Как — что? Будут все разбивать, всех грабить, убивать. Моя подруга, Аня, тоже дома сидит. Мне не с кем даже в крокет играть. А ты умеешь в крокет?

Я боялся, что Нифонт приведет сюда других монахов и они меня все-таки уташат, но я не мог не только уйти от Дэзи, но даже оторвать от нее глаз. Теперь, когда я видел ее так близко, все казалось мне в ней бесподобным: и каштановый локон, трепетавший на лбу, и маленькое розовое ухо, и яркие глаза с золотинками, и даже чуть кривенький зубик, который так уютно сидел среди остальных ровных, блестящих зубов. Да что там! Тоненький белый шрам около ее локтя — и тот был несказанно приятным на взгляд.

Но как она забавлялась мной! Сначала я по ее приказанию ходил на руках по крокетной площадке. Потом кукарекал петухом. Потом с завязанными ее платочком глазами нацеливался крокетным молоточком в деревянный шар и попадал себе в лоб.

Когда я опомнился и заглянул через чугунные решетчатые ворота на улицу, то чуть не вскрикнул от страха: на мостовой стоял экипаж с поднятым верхом и сидящим в глубине кузова Дамианом, а около экипажа расхаживали Дука и несколько здоровенных парней. Я отпрянул от ворот.

— Дэзи, спрячь меня скорей!..

Она подбежала к воротам, вернулась и с недоумением сказала:

— Это Дука с приятелями. Они тебя ищут, да? Так что же ты наделал? А, понимаю! Ты их обокрал, да?

Я заметался по двору. Куда бежать? Через калитку в соседний двор? Но там, наверное, притаились монахи. На улицу? Там Дука с Дамианом. В дом? Там злой старикашка. А Дэзи наблюдала за мной, и на лице ее — или мне это только показалось? — появилось то же выражение, какое было и на лице ее отца, когда он крикнул Фоме: «Выпроводи мальчишку!»

Я метался и еле замечал, что откуда-то несло пение множества голосов. Но вот налетел ветерок, зашелестел в листьях акаций, и ко мне ясно донеслись слова песни.

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе...

Высунувшись из окна, старикан так заверещал, будто его резали:

— Фома, запри ворота на замок!.. Дэзи, беги в дом!.. Дарья, закрой ставни!.. Скорей!.. Скорей!.. Скорей!..

Я кинулся к воротам. Ни экипажа с Дамианом, ни Дуки с парнями нигде видно не было: их как ветром снесло. Поперек улицы плыло огромное красное полотнище с белыми буквами, каждая в аршин: «ДОЛОЙ ЦАРИЗМ!»

За полотнищем непрерывным потоком вливались в улицу люди с красными знаменами. Впереди всех шли Тарас Иванович, Гаврила и все те, кого я видел в кузнице.

А вот и Илька! Он бежит между рядами и бросает вверх пачки листовок. В солнечном воздухе листовки кружатся, как белые голуби, и, козыряя, опускаются на руки людей. А песня гремит:

В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе!

Вдруг по рядам будто трепет прошел: послышался дробный цокот копыт, и из-за угла показались чубатые всадники в фуражках набекрень, с винтовками за плечами, с нагайками в руках.

— Ага! — донесся до меня злорадный выкрик старикашки.

Седая женщина, в которой я тотчас узнал Зойкину

бабку, вышла из рядов людей и протянула перед собой красный флажок, будто останавливала им поезд.

В ту же минуту рядом с ней стала девочка-подросток с ярко горящими на солнце волосами. Она взяла из рук старухи флажок, подняла его над головой и пошла навстречу казакам.

— Зойка!.. — крикнул я не своим от радости голосом и бросился к девочке.





П О В Е С Т Ь Т Р Е Т Ь Я

ПОДЛИННОЕ СКВЕРНО

«НАМ МИНИСТРАМИ НЕ БЫТЬ»

Наступил день, когда все учителя, ученики и родители учеников заполнили актовый зал. Батюшка позвякивал кадилом, и солнечный свет, щедро лившийся через вымытые к этому торжественному дню окна, синел от ладанного дыма. «Ныне и присно и вовеки веко-о-ов!» — тянул батюшка, а ученический хор чистыми свежими голосами ему отвечал: «Ами-и-ины!» Нет, не получалось у нас это заключительное слово молитвы так, как поют его в церквях: там звучит оно покорно и печально, мы же пели задорно и весело, будто выкрикивали на весь город: «Конец!» Когда пропели «Многая лета», батюшка еще раз поклонился киоту, повернулся к нам лицом и начал: «Дети и юноши, в сей светлый день...» Говорил он медово, ла-

сково, назидательно, но, кроме начала этой проповеди, которую он произносил всегда по окончании учебного года, никто не запомнил больше ни слова: до проповеди ли, когда у ребят впереди целых два месяца свободы, а некоторые и совсем сюда не вернутся!

Не вернусь сюда и я. Сколько лет прошло с тех пор, как я впервые сел за парту! Пришел я в училище щупленьким и таким маленьким, что когда разговаривал с учителем, то задирал кверху голову, будто смотрел на пожарную каланчу. Чего только не произошло за эти годы! И русско-японская война, и революция, и страшные погромы, учиненные черными сотнями монархистов. Да и живем мы уже не в чайной-читальне общества трезвости, которой заведовал отец, а на частной квартире. Я бы и раньше кончил училище, но оставался на второй год. Один раз — когда переболел скарлатиной, а второй... второй...

Да, мне до сих пор надо сделать усилие, чтобы вспомнить, почему я еще раз остался на второй год.

Как-то, открыв глаза, я увидел, что лежу на кровати, укрытый застиранной бязевой простыней. В комнате, совсем мне не знакомой, стояло еще несколько кроватей. Людей, которые на них лежали под такими же простынями, я тоже не знал. Вообще я ничего не знал: ни того, что это за комната, ни того, как я в нее попал. Не знал и не пытался узнать. Мне было все равно. Вошла женщина в белом халате и стала кормить меня с ложечки супом. Потом пришла мама. Она улыбалась, говорила, что теперь я выздоровею обязательно, и все целовала меня, но по щекам ее скатывались слезы и падали мне на лицо, на руки. Я знал, что это — мама, но никаких чувств к ней у меня не было. Приходили и другие люди. О чем бы они ни спрашивали, я не отвечал. Когда меня называли Митей, я не откликался. Пришли сестра Маша и брат Витя и тоже пробовали со мной говорить. Я и им не отвечал. Они смотрели на меня, и глаза их, как и у мамы, были полны слез. Свет в комнате сменялся тьмой, тьма светом. Я засыпал, просыпался, опять засыпал. Снилось мне всегда одно и то же: море, по морю плывет избушка, на избушке стоит длинноногая птица.

Но однажды, когда меня отнесли в другую комнату, положили на стол и стали перебинтовывать голову, я по-

чувствовал страшную боль и закричал. В ту же ночь мне приснился новый сон — будто я иду по мостовой, а на меня несется огромная гнедая лошадь. От страха я проснулся. И все вспомнил. Я вспомнил, как по улице шли рабочие с красными знаменами, как в стройной рыжей девочке, которая несла флаг впереди рабочих, я узнал Зойку и бросился к ней. Зойка тоже меня узнала. Она крикнула: «Митенька!» — и схватила мою руку. Так мы и понесли вместе флаг. Не успел я и слова сказать Зойке, как услышал протяжный злобный крик: «Ра-азойди-и-ись!» Цокая подковами о каменную мостовую, прямо на нас двигался конный отряд. «Ра-азойди-и-ись!» — кричал с перекошенным лицом рыжеусый офицер. Ремень его нагайки извивался, как змея. «Неужели ударит?» — сказала Зойка, и на ее лице резче выступили веснушки. Не сговариваясь, мы еще выше подняли флаг. В ту же минуту чья-то сильная рука обняла и оттеснила нас. Впереди, заслонив меня и Зойку своей широкой спиной, стал Тарас Иванович. «Братья казаки! — крикнул он глухим, но сильным голосом, от которого у меня почему-то пробежала по телу дрожь. — Не лейте рабочую кровь. У всех нас, трудовых людей, один враг — самодержавие. Не лейте напрасно кровь, братья казаки!» Лицо офицера перекосилось еще сильнее. «Пес тебе брат!» — не выкрикнул, а выплюнул он и хрипло подал команду. Казаки гикнули и с оскаленными зубами ринулись на рабочих. В одно мгновение все смешалось: люди, лошади, цоканье подков, крики, гиканье, выстрелы. Казак с серебряной серьгой в ухе вскинул над Зойкой нагайку. Зойка из-под удара ловко увернулась и обеими руками вцепилась в ремень нагайки. Я бросился к Зойке, и мы вместе так дернули за ремень, что казак чуть не свалился с лошади. Он выпустил нагайку, скверно выругался и схватился за саблю. Зойка, завладев нагайкой, стегнула сначала казака, а потом лошадь. Лошадь шарахнулась. Взбешенный казак выхватил саблю из ножен и опять бросился на Зойку. И тут у самого моего уха раздался выстрел. Казак завалился на бок. «Вы что, ополоумели? С голыми руками на саблю претесь? Живо отсюда марш!» Перед нами стоял Илья с дымящимся пистолетом в руке. Я хотел крикнуть: «Илья, дай и нам пистолеты!», но что-то меня со страшной силой толкнуло в бок и бросило на мостовую. Я еще уви-

дел над своей головой лошадиное копыто в подкове, и все исчезло.

Вот обо всем этом я и вспомнил, когда мне в больнице приснилась лошадь.

Больница, в которую я попал, содержалась на средства мещанской управы, лечили в ней бесплатно, но долго больных не держали: лежал — и выходи, дай другому полежать. Меня вскоре выписали. Пришлось долеживать дома.

Когда я наконец выздоровел, то прежде всего пошел искать своих друзей. Признаться, мне было очень обидно, что ни Зойка, ни Илька даже не поинтересовались, жив я или умер. Во всяком случае, ни он, ни она так к нам ни разу и не заглянули.

Сначала я отправился к бабкиной будке. Но бабки там не оказалось. Вместо нее к поезду выходила с флажками какая-то рябая женщина. На все мои расспросы, где теперь живет бабка и при ней ли рыжая девочка, женщина отвечала одно и то же: «Иди, хлопчик, своей дорогой».

Ничего я не узнал и об Ильке. Кузница стояла с заколоченной дверью. Когда я постучал в калитку соседней хаты и спросил, куда перебрался кузнец Тарас Иванович, то хозяин только свистнул и хлопнул дверью. Домой я вернулся до того удрученный, что весь день ни с кем не разговаривал, а только вздыхал. Теперь понятно, почему никто из них не навестил меня: они либо бежали из города, либо сидят в тюрьме. А может быть, их и совсем нет на свете: ведь какой бой шел тогда на улице! Илька, Илька... Как я мог подозревать его в измене нашей дружбе! Да еще после того, как он спас мне жизнь. Да, спас, потому что казак обязательно зарубил бы нас с Зойкой, если б Илька не пальнул в него из пистолета. Но ничего, придет время — и я за всех отомщу. Вот только бы мне поправиться поскорей, а то я так ослабел, что у меня подгибаются ноги.

Утром, когда брат Витя собрался в училище, я попросил его узнать у ребят нашего класса, куда делся Илька. Вернувшись, Витя сказал, что ребята ничего толком не знают: одни говорили, что Илька застрелил самого офицера и был за это повешен, другие — что он подался на весельной лодке в Румынию, а третьи — будто видели его

на паровозе, где он бросал лопатой в топку уголь. Всё это было похоже на Ильку, и я не знал, чему же верить.

Поправлялся я туго и в училище не ходил. Мне бы надо было заниматься дома, чтобы не отстать, но отец говорил, что главное — это иметь хороший почерк. «Нам министрами не быть, — внушал он мне. — Геометрия да астрономия — это все хорошо, но в канцелярии у тебя не спросят, сколько верст до луны, в канцелярию по почерку принимают. Напишешь прошение каллиграфически — примут, нацарапаешь — не примут, а если по протекции и примут, то потом все равно выгонят. Это только министр может позволить себе подписываться, как курица лапой. Ему что! За него другие пишут». Отец прослужил в разных канцеляриях без малого тридцать лет, как он говорил, отполировал штанами не меньше дюжины стульев и не представлял себе теперь, кем еще могут быть его сыновья, если не канцеляристами. И вот, вместо того чтобы решать задачи по арифметике и алгебре или заучивать по учебнику ботаники, какие растения принадлежат к семейству амариллисовых, я под диктовку отца исписывал целые стопы бумаги всевозможными «отношениями».

Я писал, а отец смотрел через мое плечо, хорошо ли у меня получалось. Если ему какая-нибудь буква моя не нравилась, он брал перо из моей руки и показывал, как надо писать эту букву, чтобы она выглядела позакovskyстей. При этом он, точь-в-точь как гоголевский Акакий Акакиевич, «и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами», а я смотрел и давал себе клятвенное обещание, что скорей пойду грузчиком в порт и буду таскать на спине пятипудовые мешки с пшеницей (это я-то, заморыш!), чем вековать в канцелярии.

Однажды отец решил, как сказали бы в наши дни, сочетать теорию с практикой в обучении меня канцелярскому делу. К этому времени наша чайная-читальня окончательно прогорела и отец служил регистратором в городской управе. Он взял меня с собой в канцелярию и занялся регистрацией писем, а я их вкладывал в конверты и на конвертах писал адреса. Одно письмо адресовалось причту Митрофаниевской церкви. Хотя я и знал, что причт — это не один человек, а все служители церкви вкупе, но машинально написал: «Господину причту Митрофаниевской церкви». Через два дня отца вызвал в свой

кабинет секретарь управы и, тыча в какую-то бумажку пальцем, грозно спросил: «Это что такое, а? Я вас спрашиваю, что это такое?!» Трясущейся рукой отец взял бумажку и с ужасом прочитал: «Имею честь сообщить, что если городская управа и впредь будет писать: «Господину причту», то я ей буду отвечать: «Госпоже городской управе». Священник Митрофаниевской церкви Григорий Курилкин».

На том и кончилось в моем обучении канцелярской премудрости сочетание теории с практикой.

Вскоре я опять пошел в училище. Так как я сильно отстал, меня оставили на второй год. Я проучился еще несколько лет, в течение которых, как мне казалось, на земле не произошло ничего особенного. Учась, я не обнаруживал ничего особенного и в своих способностях. Так и дотянул до выпускных экзаменов. Но на экзаменах порази всех учеников и учителей. Дело в том, что вследствие ранения в голову я часто забывал самые обыкновенные вещи. Доходило до того, что я иногда даже не мог вспомнить, как меня зовут. К кличке Заморыш, которая пристала ко мне очень давно, присоединилась еще одна — Тронутый. Переходил я из класса в класс с посредственными оценками. А на выпускном экзамене взял и написал сочинение, вызвавшее в педагогическом совете смятение и спор. Сочинение называлось «М. В. Ломоносов — ученый и стихотворец». На первых двух страницах я, как и все экзаменовавшиеся, точно следовал теме сочинения. Первую часть его я закончил словами Пушкина: «...Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник...» На двух остальных страницах я пустился в рассуждение о том, что в России много талантливых людей, но им нет хода, и в доказательство сослался на решение мирового судьи, который приговорил самоучку-изобретателя Курганова к заключению в арестном доме. Сочинение я закончил надеждой, что наступит время, когда в России будут чтить не одного Ломоносова, а сотни Ломоносовых.

Ребята через окно учительской слышали, как Артем Павлович, учитель математики и пения, хрипло настаивал: «Пять с плюсом!.. Пять с плюсом!» Лев Савельевич,

наш словесник, визгливо кричал: «Не может быть, чтоб этот заморыш сам написал! Ему кто-то сочинил, а он только переписывал. Единица, и копию — в жандармское управление!» — «Оставьте! — мычал Михаил Семенович, инспектор. — Вам же первому и влетит. Скажут, кто ж другой, как не вы, заблаговременно разгласил тему сочинения. Надо вторую половину оторвать и уничтожить, а за первую поставить тройку». — «Почему тройку, почему тройку, если и первая написана превосходно?» — возмущался Артем Павлович. «А пусть крамолу не пишет, — упрямо отвечал инспектор. — Тройка — и все тут!» Так и сделали. Только по арифметике, геометрии и алгебре я получил на выпускном экзамене четыре, по всем же остальным предметам мне была выставлена неизменная тройка.

...И вот стою я, юноша семнадцати без малого лет, в училище, где прошли годы моего детства и отрочества, вдыхаю ладанный дым камильницы, смотрю на лоснящееся, торжественно-самодовольное лицо Михаила Семеновича, под руководством которого все эти одетые в форменные сюртуки педагоги готовили нас к жизни, и, не вникая в медовую проповедь батюшки, думаю, к чему же теперь приложить свои руки, ничего не умеющие делать, кроме как писать канцелярские отношения каллиграфическим почерком, и свои знания, в которых не нуждается ни одна канцелярия.

КЕМ ЖЕ БЫТЬ?

Через три дня после торжественного акта я отправился в училище получать аттестат. В темном коридорчике собралось человек семь выпускников. На дверях инспекторского кабинета висел белый листок с объявлением: «При получении аттестата надлежит внести пятьдесят копеек за разбитую чернильницу». Что это за чернильница, кто ее разбил, когда произошло это знаменательное событие и почему сорок выпускников должны заплатить за нее двадцать рублей, тогда как великолепная чернильница на мраморной доске стояла в магазине три рубля пятьдесят копеек, никто из нас не спрашивал. Все покорно несли свои полтинники, лишь бы поскорее получить аттестат. Хорошо еще, что по полтиннику, а в прошлом году, например, выпускники платили по рублю за разбитое

зеркало, хотя никто из них за все годы своего учения никакого зеркала в училище даже не видел. Мы по очереди входили в кабинет, со звяканьем клали на тарелку серебряный полтинник и, получив из рук инспектора аттестат, с поклоном выходили в коридор.

Только один из нас, Коля Перепелицын, выразил против незаконных поборов свой протест: вместо полтинника или двух-трех серебряных монет он высыпал в тарелку пятьдесят медных копеек. Задетый за живое, инспектор ядовито сказал: «Под церковью собирал, что ли?» — на что Коля дерзко ответил: «Да вы хоть кого по миру пустите!»

Мы принялись рассматривать свои аттестаты. В них были выставлены оценки по всем предметам и, кроме того, говорилось, что на основании статьи такой-то высочайше утвержденного положения такого-то предъявитель аттестата, если он имеет право вступить в государственную службу, при производстве в первый классный чин освобождается от установленного для сего испытания.

Сема Блох сказал:

— Я на это освобождение хотел плевать с крыши каждого дома: евреи в государственную службу не принимаются.

Тут открылась дверь, и в коридор ввалилась тучная махина инспектора. Рассерженный Колькиными копейками, он рявкнул:

— Чего собрались? Получили аттестаты — ну и убирайтесь к лешему!

Это было последнее напутствие в жизнь, полученное нами от нашей *alma mater*¹.

Мы отправились в трактир, заняли там отдельный кабинет и потребовали вина с брынзой. Вино было ужасно терпкое, но мы ухарски пили, делая вид, будто нам это занятие давно знакомо. Пили и ругали Кольку за то, что он не сказал нам раньше о своей выдумке: мы бы, все сорок человек, тоже принесли свой «оброк» копеечными монетами. Ведь это две тысячи монет! Вот бы ругался Михайло Косолапый! А если б пришлось сдавать их в банк, может, и Михайлу кто-нибудь сказал бы: «Под церковью изволили собрать?»

Потом мы принялись поздравлять друг друга. Соб-

¹ Родная мать (латинск.) — так в шутку называли студенты свои учебные заведения.

ственно, поздравляли с полным и окончательным освобождением от страха, что вот-вот тебя вызовут к доске и заставят спрягать слово «воззывать»¹. Что же касается обычных в таких случаях пожеланий, то тут уста наши немели: мы просто не знали, что же можно пожелать друг другу, если мы ничему не научились. Правда, Сема Блох мог портняжить, но это потому, что отец его был портной; Сеня Степкин мог делать столы, стулья и даже шкафы, тоже потому, что столярное дело переходило у Степкиных из рода в род. Я сказал:

— Давайте пожелаем друг другу так прожить, чтоб никого не обжуливать.

— И никому спуска не давать, — добавил Степкин.

Все прокричали «ура». Сема Блох сказал:

— Один мой знакомый, студент из Варшавы, говорил, что при коммунизме всех жуликов будут сажать в сумасшедший дом и там лечить теплыми ваннами и холодным душем. Может, и так, кто знает! А мы с папой и теперь живем честно. Если нам удастся чуточку расширить портняжную мастерскую и если вам так повезет в жизни, что вы когда-нибудь сможете заказать себе костюм, то заказывайте только у нас: по такому хорошему знакомству мы сошьем вам с большой скидкой и вернем все обрезки.

Мы прокричали «ура», выпили за Семину портняжную мастерскую и разошлись по домам.

Отец уже вернулся из управы и поджидал меня. Я был абсолютно убежден, что со дня торжественного выпуска он обошел не меньше полдюжины разных учреждений и переговорил, по крайней мере, с дюжиной знакомых канцеляристов и влиятельных особ: это было видно по его лицу, которому он старался придать самое обыкновенное выражение, но с которого не сходил ответ заискивающей улыбки, смирения и услужливости.

— А что, Митя, не хочешь ли ты поступить в съезд мировых судей? — спросил он таким тоном, будто предлагал мне полную свободу решать свою судьбу и только подсказывал одно из могущих быть решений.

— В съезд мировых су-у-де-ей?! — Я мог ожидать чего угодно: писцом в мещанской управе, переписчиком в нотариальной конторе, вторым помощником младшего

¹ Воскликать, просить (древ.-слав.).

архивариуса, даже, если повезет, счетоводом в каком-нибудь банке, но в съезд мировых судей... — Кем же?..

Отец развел руками:

— Ну, не судьей, конечно... На первых порах будешь копии снимать...

Я сказал, что подумаю и отвечу утром.

СУДЬЯ ПРАВЕДНЫЙ

Что такое суд, я немножко знал, поэтому и не ответил сразу.

Периоды моего более или менее спокойного ровного существования не раз сменялись бурными событиями. Другие люди сами тянутся к приключениям, но так и проживут свою жизнь, катясь по однажды избранной колее. Я же иной раз и сам не замечал, как оказывался в гуще необыкновенных происшествий. Так уж на роду у меня было написано.

Еще когда мы жили в чайной-читальне общества трезвости, я часто забегал к Павлу Тихоновичу Курганову. Мастерская его стояла на базаре. Это было что-то вроде деревянного сарая, только с застекленным окном и трубой на крыше. Чего только не висело на стенах и не лежало на полу этого сарая! Старый велосипед с поломанными спицами, детская коляска без двух колес, граммофон с погнутой трубой, швейная машина без ручки, мельничка для помола зерна, фарфоровые чайники с медными носками, люстра с хрустальными подвесками, книжный шкаф из дорогого красного дерева, но без боковой стенки, какие-то рефлекторы и прожекторы, газовые фонари и вентиляторы.

Павел Тихонович был и слесарем, и лудильщиком, и столяром, и часовщиком. Он все умел. Помню, принесла ему кухарка разбитого фарфорового оленя. Павел Тихонович повертел фигурку в руках и сказал: «Воссоздать ее невозможно. От оленя только рожки да ножки остались». — «А ты поколдуй, — со слезами попросила кухарка. — Поколдуешь — и создашь. А то барыня меня со света сживет». Вот какая была вера в волшебную силу пальцев мастера.

Здесь я просиживал часами, не отрывая взгляда от рук «колдуна». Был он маленький, сухонький, серенький,

ходил неслышно и больше все молчал, только синие глаза светились, как у святых на старых иконах. Но вещи, которые приносили люди в этот удивительный сарай разбитыми и мертвыми, спустя некоторое время приобретали прежние формы и краски, оживали и вновь принимались двигаться, стучать, стрелять, молотить, вертеться, то есть делать то, для чего и были раньше созданы.

В своей мастерской Павел Тихонович и работал и жил. Ночью, когда тьма окутывала всю базарную площадь, только одно его окошко светилось. Он не ходил ни в церковь, ни в театр, ни в парк, ни в ресторан и жил, казалось, только для того, чтобы воскрешать умершие вещи. Когда весь город сходил с ума, увлеченный велогонками, он по-прежнему стучал своим молоточком по листу железа или наводил тампоном глянец на музыкальной шкатулке. Даже когда огромные афиши объявили о приезде знаменитого спортсмена Уточкина и все устремились на велодром, чтоб увидеть непобедимого гонщика, Павел Тихонович не покинул своей мастерской.

Но вот к нам в город прибыл голландец Кейп и на своем велосипеде с узкими желтыми шинами принялся шутя обгонять и чемпиона города Заднепровского, и гастролировавшего здесь чемпиона Одессы Славоросова. Рассказывали, что велосипеду голландца была придана небольшая металлическая коробка, но, безусловно, это не был мотор: голландец так же нажимал ногами на педали, как и все другие гонщики. Что за коробка? Почему на последнем круге, когда оркестр исполняет галоп и все зрители вскакивают с мест и неистово орут: «Заднепровский, жми, жми, жми!» — велосипед голландца точно нечистая сила подхватывает, а Заднепровский, как равно и одессит, сразу оказываются на четверть круга позади иностранца? Что в коробке голландца? Не черт ли? «Это интересно», — сказал Павел Тихонович и, захватив меня с собой, отправился наконец к месту гонок.

С большим трудом удалось нам перекупить два билета и протиснуться на велодром. А там уже собрался весь город. День был нестерпимо жаркий. Люди обмахивались веерами, шляпами, газетами. Пока состязались второстепенные гонщики, Павел Тихонович читал «Русские ведомости» и только изредка бросал на трек рассеянный взгляд.



Но вот к старту подкатили наш белобрысый чемпион Заднепровский, массивный веснушчатый одессит Славоров и худой и длинный, как жердь, голландец. Павел Тихонович сложил газету, сунул ее в карман пиджака и скрестил руки, приготовившись наблюдать. «У тебя слух поострей, — шепнул он мне, — не донесется ли сквозь музыку какое-нибудь постукивание или стрекотание из коробки иностранца?» Я наострил уши. Три с половиной круга гонщики шли рядом, но тут зазвонили в колокол, духовой оркестр с печального вальса перешел на стремительный галоп, чемпионы и голландец напряглись, пригнулись к рулю, и велосипед с таинственной коробочкой точно вихрем отнесло от двух других машин. Ни стрекота, ни стука я не услышал. Заднепровский и Славоров потребовали, чтобы голландец тут же, у финиша, раскрыл свою коробку. Но победитель обругал их на

всех европейских языках и укатил с велодрома, а потом и из города. Так никто и не узнал, какой черт помогал иностранцу.

Павел Тихонович вернулся в свой сарайчик и, оставив коляски и примусы, принялся что-то вычерчивать на листе желтой оберточной бумаги. Дня через три он сказал:

— Все ясно: шестерни, подшипник, передаточный механизм, пружина... Можно сделать еще и лучше, можно сделать так, что заряжаться будет при движении, силой инерции. Но, чтоб все части отлить и выточить, чтоб все испытать в лабораториях, а потом и в работе, надо, по крайней мере, семьдесят пять рублей. А где их взять?

Павел Тихонович собрал все свои чертежи и расчеты и отправился к Заднепровскому. Чемпион города, как, впрочем, и все горожане, не сомневался ни в умелости, ни в честности Павла Тихоновича; он выслушал его с живейшим интересом, обругал голландца не менее энергично, чем тот его, но когда изобретатель назвал сумму предстоящих расходов, то только горестно головой помотал:

— Все, что у меня есть, это медали и жетоны, но за них и четвертную не дадут.

От нашего чемпиона Павел Тихонович пошел к одесскому. Тот сказал:

— Вы — комик! Одесситы и сами умеют объегоривать!

Кто-то посоветовал Павлу Тихоновичу попытаться заинтересовать местных промышленников и коммерсантов. Они не заинтересовались. Но один из них, судовладелец Прохоров, отец Дэзи, спросил:

— Лучше скажи, ты и краснодеревщик?

— Да, сударь, — ответил Павел Тихонович.

— И можешь облицевать на пароходе мою личную каюту?

— Конечно, сударь.

— Вот это уже деловой разговор. В конце недели мой пароход «Медая» отправляется в Пирей. До Пирея он зайдет еще в три-четыре порта, времени вполне хватит, чтоб в пути закончить всю облицовку. В Пирее капитан, если найдет работу исправной, уплатит тебе тридцать рублей. Остальные получишь здесь, по возвращении па-

рохода. И тогда сможешь все истратить, как захочешь. Хоть на велосипед, хоть на пять бочек сантуринского. Согласен?

— О да, сударь! — сказал обрадованный Павел Тихонович.

В субботу пароход «Медеея» отделился от пристани и пошел из гавани. Я стоял на берегу и смотрел, как он делался все меньше и меньше, а потом и совсем скрылся в туманной дали моря. Почему-то мне стало грустно. Вернувшись в город, я подошел к мастерской-сарая и потянул дверь. Она свободно открылась. Уезжая в далекую Грецию, Павел Тихонович даже не запер на замок свою мастерскую — так он верил в человеческую порядочность. И то сказать: кто бы позарился на погнутую граммофонную трубу или кастрюлю без дна!

«Медеея» вернулась через тридцать дней. Я пробрался на пристань с утра и видел, как подкатывали к причалу экипажи и извозничьи пролетки. Это съезжались родственники тех, кого ожидали с «Медеей». Сначала на горизонте показался дым, потом из воды высунулись трубы, потом вырисовался весь корпус корабля. И только когда встречавшие, не отрывая биноклей от глаз, закричали, завизжали и замахали руками, на пристань въехал экипаж владельца парохода — Прохорова. Старик мне показался еще более облезшим и посеревшим, мадам же Прохорова располнела, но оставалась хорошенькой, как и прежде, и по-прежнему ее украшали очень приметные темные усики.

Хотя Павла Тихоновича знал весь город, я был единственным, кто встречал его. Только бы он не подумал, что я жду от него какого-нибудь заграничного подарка. Я просто соскучился по нему, и, кроме того, мне так не терпелось узнать, признал ли капитан его работу исправной и заплатил ли тридцать рублей.

Пароход был уже совсем близко, я видел ясно на его палубе перегибавшихся через перила пассажиров, но Павла Тихоновича среди них не различал. Впрочем, разве мог он, такой скромный и бедно одетый, протиснуться вперед! Вероятно, он стоит где-то там, за спинами нарядившихся во все заграничное пассажиров.

Наконец пароход пришвартовывается. Матросы с грохотом выдвигают на пристань сходни. Ага, вот и Па-

вел Тихонович. Он стоит на каком-то тюке и, улыбаясь, кивает мне головой.

Все бросились к сходням. Но раздалась команда капитана, и матросы, стоявшие попарно в обоих концах сходней, взялись за руки и преградили проход. Все в недоумении. Те, кто посмелей и нетерпеливей, начали ругаться. Матросы смеялись, но рук не разнимали.

У сходней показался капитан в ослепительно белом, с иголки костюме. Почтительным жестом он пригласил кого-то сойти на берег. Матросы разняли руки, вытянулись. Я еще успел подумать, не принца ли какого привез пароход, как передо мною все озарилось. В мягком золотистом платье, с букетом чайных роз в руке на сходни ступила... Дэзи! Да, это была Дэзи. Я узнал ее мгновенно, хотя видел последний раз еще девочкой. И узнал не столько по изящному овалу лица, ласковому и в то же время надменному взгляду больших ярких глаз, детски-капризному складу губ, сколько по мгновенному толчку в сердце. Да что греха таить: я никогда не мог даже вспомнить ее без того, чтоб не почувствовать стеснения в груди...

Мадам Прохорова коротко ахнула и бросилась к дочери. За ней поковылял и старик. Теперь уже никто не ругался: все умиленно смотрели на хорошенькую Прохорову и ее красавицу дочь.

Откуда-то вынырнул Дука в полосатых брюках со штрипками, голубом жилете и кремовом чесучовом пиджаке. В одной руке его была трость с серебряным набалдашником в виде обезьянки, а в другой — роскошный букет красных и белых роз. Подняв букет над головой и пробираясь сквозь толпу, он еще издали кричал:

— Мадемуазель Дэзи, бонжур! Я здесь!.. Калимэра!

Наконец он приблизился к девушке, но только наклонился, чтоб поцеловать ей руку, как его грубо оттиснул коротконогий плотный грек Каламбики, с такими густыми иссиня-черными волосами, что сизым был даже чисто выбритый подбородок. Дука взмахнул руками, как петух крыльями, и оба грека угрожающе уставились друг на друга. Дэзи прыснула, подхватила мать под руку, и они быстро пошли к экипажу.

Попасть на пароход было не легко, но я все-таки протиснулся.



Я узнал ее мгновенно, хотя видел последний раз девочкой.

— Закончили отделку? Успели? — спросил я, подбегая к Павлу Тихоновичу.

Брови у Павла Тихоновича чуть сдвинулись. Может, он обиделся? Может, он ждал, что первый вопрос будет о здоровье, о том, не укачало ли его. Но тут же лицо Павла Тихоновича посветлело. Он понимал, что я полностью проникся его же главным интересом.

— Как же, успел. Нельзя было не успеть. Успел, успел.

— А в Константинополь заходили? А Софийский храм видели? А Салоники — красивый город? А видели, как растут апельсины? — забрасывал я его вопросами.

Он огорченно развел руками:

— Ничего, брат, я этого не видел. И носа из каюты не высывал. Надо же было успеть. Зато отделал так, что мадемуазель Дэзи нарадоваться не могла. Да вот пойдем, посмотришь.

Мы спустились по трапу и вошли в небольшую, красиво обставленную каюту. Ее стены из красного дерева были тщательно отполированы, хоть смотришь в них, как в зеркало. Но это был не резкий блеск, а удивительно мягкий глянец, от которого делалось особенно уютно.

— И в этой каюте ехала... Дэзи? — спросил я, вдыхая запах каких-то особенно легких и освежающих духов, смешанный с запахами кипарисового дерева и чайных роз.

— Да, мадемуазель Дэзи... — с мягкой застенчивой улыбкой сказал Павел Тихонович. — Мы приняли ее на борт в Афинах, точнее в Пирее, — это до Афин рукой подать. Когда капитан отправился за барышней в знаменитую греческую столицу, я попросил у него разрешения тоже съездить туда. Так хотелось хоть немножко побродить по Акрополю, полюбоваться вечно прекрасным искусством древних греков. Но... пришлось только горестно вздохнуть: капитан никому не позволил сойти на берег. Как только барышня поднялась на борт, пароход отправился в обратный рейс. И до сих пор не верится, что был у самых врат царства. По усам текло, а в рот не попало.

— А как же Дэзи там оказалась?

— В Афинах? Так ведь в Греции у мадам Прохоровой родственников — как у нас в роще грачей. Дэзи в

Каком-то афинском пансионе обучалась. А ты как думал? По-нашему с тобой, что ли?

Так вот почему я столько лет нигде не встречался с Дэзи! Она жила в самой греческой столице. Видеть Парфенон для нее было так же обычно, как для меня закопченные стены гвоздильного завода, который сгорел пять лет назад. Да, до Афин тысяча миль, но разве ближе я был к этой девушке вот только что, когда она проходила в двух шагах от меня!

— Что же, уплатил вам капитан тридцать рублей? — спросил я.

— Уплатил, — с застенчивой гордостью ответил Павел Тихонович. — Сказал, что работа хоть на выставку. Теперь наверняка догоним «Летучего голландца». Да что! Пружины уже в чемодане у меня. Чудесная сталь! Один матрос со шведского парохода продал. Все остальное и здесь сделать можно, были бы деньги.

— Вам наши гонщики памятник поставят, — сказал я.

Павел Тихонович улыбнулся:

— Памятник не памятник, а бутылъ водки обеспечена.

Потом, уже без улыбки, тихо сказал:

— Велосипед ведь не только для гонок. На велосипеде все должны ездить: крестьяне — в поле, рабочие — на фабрику, хозяйки — на базар... Нужно сделать такой велосипед, чтоб человек сил тратил поменьше, а ехал побыстрей.

— И вы сделаете такой?

— Сделаю, — уверенно ответил Павел Тихонович. — Теперь сделаю.

Вот что произошло в дальнейшем.

Шесть дней ходил Павел Тихонович в пароходную контору, чтобы получить остальные сорок пять рублей. Но бухгалтер неизменно говорил, что хозяин никаких распоряжений относительно этого не давал. На все просьбы Павла Тихоновича допустить его к самому Прохорову служащие отвечали, что хозяин занят и принять не может. Столкнувшись наконец с Прохоровым нос к носу в дверях конторы, Павел Тихонович снял кепку и почтительно попросил рассчитаться с ним.

— А чего, собственно, тебе надо? — спросил Прохоров.

— Как — чего? — удивился Павел Тихонович. — Получить остальные сорок пять рублей.

— Остальные сорок пять? А не хочешь ли вернуть и те тридцать, которые ты обманом получил у капитана?

Пораженный Павел Тихонович еле мог выговорить:

— Каким обманом?.. Что вы такое говорите, господин Прохоров?..

— Не прикидывайся младенцем! — затряс реденькой седой бороденкой старик. — Ты какой обещался вырезать орнамент? Бахуса на пивной бочке. А какой вырезал? А вырезал какие-то паршивые листья и испортил мне драгоценное красное дерево. И у тебя еще хватает наглости просить у меня денег!

— Господин Прохоров, зачем же вы оскорбляете человека? — с обидой и горечью сказал Павел Тихонович. — Я действительно предполагал вырезать орнамент с пивными бочками, как вы изволили приказать. Но в пути, когда господин капитан осведомил меня, кто будет ехать в каюте, я должен был оставить эту мысль. Посудите сами, господин Прохоров, сколь был бы оскорбителен для взора мадемуазель Дэзи вид бога пьянства на пивной бочке в ее девичьей каюте! Я посоветовался с господином капитаном, и мы решили заменить сей вольный узор узором листьев виноградной лозы. Уверяю вас, господин Прохоров, такая работа и тоньше, и сложнее. В чем же вы изволите видеть обман?

Это объяснение еще больше взбесило старого козла.

— Не твое дело решать, что должно быть у меня на пароходе! — заверещал он. — Я — хозяин, я! Если каждый проходимец будет совать свой нос в хозяйские дела...

Он не договорил: Павел Тихонович гордо вскинул голову и, в свою очередь, закричал:

— Я — проходимец? С четырнадцати лет я возвращаю жизнь разным предметам-трудягам, что покалечились на верной службе человеку, никто в городе про меня худого слова еще не сказал, я чиню вещи даже тем бедолагам, которые и медного гроша мне за труд дать не могут, а ты, старая дырявая калоша, тунеядец, рваный хомут на человеческой шее, проходимцем меня обзываешь? Да я!.. Да ты!..



— С четырнадцати лет я возвращаю жизнь разным предметам-
трудягам, что покалечились на вёрной службе человеку...

И пошел, и пошел отчитывать. А ведь раньше такой был робкий!

Прохоров сначала оторопело пялил свои подслеповатые глаза. Потом опомнился, кликнул сторожа, кучера, и Павла Тихоновича вывели за пределы порта.

С этого времени нашего мастера будто подменили. Раньше он был немногословен, больше слушал других да улыбался своей кроткой улыбкой. Теперь же первый со всеми заговаривал и пространно рассказывал, как бессовестно поступил с ним судовладелец Прохоров. Взгляд его синих глаз посуровел, в голосе слышалось ожесточение. Одни советовали ему подать мировому, другие же говорили, что с богатым судиться — лучше утопиться.

Однажды он сказал мне:

— Пойди-ка, Митя, в эту самую камеру, послушай, как там судят — по справедливости или абы как. Я б и сам пошел, да боюсь, чтоб в случае чего не сорваться: нервы пошаливать стали.

Я отправился в камеру судьи Понятовского. Судил он в относительно небольшой комнате, заставленной длинными скрипучими скамейками. Перед скамейками стоял покрытый зеленым сукном стол, а позади стола возвышался до самого потолка царь в золоченой раме. Свет в камере был серенький, воздух несвежий, к чему бы ни прикоснулся — на пальцах оставалась пыль. На скамьях сидело десятка полтора людей. Одни разговаривали шепотом, другие громко и свободно, как у себя дома. Были тут и торговцы, и домовладельцы, и подрядчики — словом, разный народ. О судье говорили, что он судит, как на него найдет: иной раз и справедливо, а большею частью, особенно, когда бывает «под парами», такие выносит решения, что диву дивятся и истцы, и ответчики.

— Хоть бы он сегодня трезвый был! — донесся до меня шепот какой-то убогой старушки.

— А ваше дело каким идет? — спросил ее плешивый, по-актерски бритый мужчина в потертом пиджаке и несвежем галстуке.

— Кажись, третьим.

— Ну, до третьего, может, и продержится.

Из боковой двери вышел угреватый молодой человек в короткой тужурке и стоптанных ботинках.

— Суд идет! Прошу встать! — крикнул он начальническим голосом.

Вслед за ним в камеру вошел пожилой щуплый человек в обыкновенном костюме, но с бронзовой цепью на шее; цепь заканчивалась на груди овальной бронзовой бляхой. Он стал у стола и просто, по-домашнему сказал:

— Так-так, приступим к разбирательству дел. Много накопилось, много. Но мы их все рассмотрим и вынесем надлежащие решения. Вот тут, с правой стороны, дела у меня будут еще не разобранные, а с левой... Или нет, лучше разобранные я буду класть в кресло, под себя, а то как бы не спутать... — Он взял из стопы папок верхнюю. — Ну-с, по указу его императорского величества слушается дело... по иску купца третьей гильдии Карнаухова Михея Петровича к мещанину Золотухову Василию Ивановичу о девяноста трех рублях. Карнаухов и Золотухов, подойдите к столу.

Краснощекий, бородатый Карнаухов и рябой, с бельмом на глазу Золотухов стали по обе стороны судьи. Они почтительно отвечали на его вопросы и ожесточенно, со злобой пререкались друг с другом, а угреватый молодой человек, примостившись к краешку стола и пыхтя от натуги, строчил что-то на листе бумаги.

— Ну, довольно! — сказал судья. — Значит, не хотите миром уладить дело? Удаляюсь для вынесения решения.

Он ушел. За ним с листом бумаги в руке и карандашом за ухом пошел и его письмоводитель. Минут десять спустя оба вернулись. Пуча глаза, письмоводитель крикнул:

— Суд идет! Прошу встать!

Судья прокашлялся и принялся читать:

— По указу его императорского величества мировой судья седьмого участка, разобрав дело по иску ростовского-на-Дону купца третьей гильдии Карнаухова Михея Петровича к мариупольскому мещанину Золопхнутову Ва... — Он запнулся и укоризненно сказал письмоводителю: — Какому Золопхнутову? Золотухову, а не Золопхнутову. Экий ты, братец!.. — Угреватый виновато поморгал, судья продолжал: — Так вот, к Золотухову Василию Ивановичу о девяноста трех рублях и принимая во внимание все обстоятельства, постановил: удов-

летворить иск купца Карнаухова и взыскать в его пользу с мещанина Золотухова сорок девять рублей. Что касается остальных сорока четырех рублей, то за недоказанностью разбития сосуда с прованским маслом именно мещанином Золотуховым, а не вследствие случайного падения с прилавка на пол, во взыскании их с мещанина Золотухова в пользу купца Карнаухова отказать.

Судья положил папку с разобранным делом под себя в кресло, взял из стопы папок следующее дело и занялся его разбирательством.

По мере того, как уменьшалась стопа папок с неразобранными делами, судья все дольше задерживался в комнате, где писал решения. Щеки у него багровели, язык заплетался. Когда он шел от двери к столу, бляха на его груди раскачивалась, как маятник стенных часов.

— Так-так, — сказал он, подложив под себя папку с разобранным делом и беря из стопы другую. — Будем слушать дело по иску титулярного советника Чернохлебова Семена Кузьмича к коллежскому регистратору... Гм... Как же так? Я же, кажется, сегодня... это дело... уже разбирал... А почему оно на столе?.. Почему... не подо мной? Забыл положить, что ли... Гм... Ну, на сегодня хватит... Надо и себя пожалеть. Хватит... Остальные дела... откладываются... до... повестки... Да, ждите повестки...

Человек с рукой на перевязи вскочил и принялся жалобно просить:

— Господин судья, ваше высокородие, окажите божескую милость, разберите мое дело... Третий раз откладываете... Что ж это такое!.. Как дойдете до моей папки, так вы, извините, уже в полной пропорции... Нет никакой возможности больше ждать. У меня дети, есть-то надо, а с одной рукой как заработать! С одной рукой только на паперти стоять... Пусть уплатит обидчик мой за увечье, не виляет хвостом...

Судья тер пальцами лоб и что-то бормотал. Потом сказал:

— Ладно, разберу еще одно... Но только одно, только одно... Остальным — ждать повестку. Излагайте обстоятельства... и того... короче...

Истец с рукой на перевязи говорил, что плечо ему повредил кирпич, упавший с третьего этажа постройки,

и что никакой подрядчик не имеет права калечить прохожих, а если покалечил, то должен платить на прожитие до полного выздоровления. Подрядчик, бойкий мужичок с жилистой шеей, в сапогах и сюртуке, объяснял, что под постройками ходят только полоумные да пьяницы и отвечать за них никакой закон заставить его не может.

Судья ушел составлять решение и не показывался так долго, что истец и ответчик даже забеспокоились. Наконец он появился. Пошатываясь, подошел к столу, но сколько ни пытался начать чтение судебного решения, у него ничего, кроме какого-то странного звука «поу... поу...», не получалось. Потеряв надежду членораздельно объявить решение, он шлепнулся в кресло, ткнул пальцем назад, в направлении портрета царя, потом вперед, в направлении истца, и показал последнему кукиш. Это обозначало: по указу его императорского величества в иске отказать.

Угрюватый письмоводитель собрал папки с делами, взял их под мышки и направился в соседнюю комнату. Его окружили, величали Васенькой и даже Василием Никифоровичем, совали в карман тужурки монеты и просили поскорее приготовить какие-то копии и выписки. Он каждому говорил: «Некогда мне, некогда. Видите, сколько дел скопилось. Ну, уж ладно, для вас постараюсь». И, хихикая, добавлял: «Я для вас, вы для меня — вот так и будет ладненько, красивенько».

Я подробно рассказал Павлу Тихоновичу все, что видел и слышал в камере мирового судьи. Он долго молчал, потом сказал:

— А все-таки я в суд подам. Не может быть, чтоб мне отказали. Не может быть!..

И подал.

В день, когда должно было разбираться дело (назначили его к слушанию только зимой), я в училище не пошел и с утра сидел рядом с Павлом Тихоновичем на скрипучей скамейке в углу камеры. Прохоров, конечно, на суд сам не явился, а прислал своего юрисконсульта, известного в городе присяжного поверенного Чеботарева. К камере он подкатил в коляске, в богатой шубе, надушенный. Письмоводитель засуетился, помог снять шубу, бросился с нею в соседнюю комнату и оттуда вынес стул. Даже подхалимски смахнул своим носовым плат-

ком пыль с сиденья. Судья наскоро закончил предыдущее дело и вне очереди приступил к разбору «иска мещанина Павла Тихоновича Курганова к судовладельцу Христофору Галактионовичу Прохорову о сорока пяти рублях».

Павел Тихонович в непривычной для себя обстановке смущался и излагал обстоятельства дела очень сбивчиво. Чеботарев, напротив, чувствовал себя как рыба в воде, делал иронические восклицания, перебивал показания истца разными вопросами, отчего тот терялся еще больше. Свою речь Чеботарев нарочито составил всего из нескольких слов. Он сказал:

— Благодарю вас, господин судья, за предоставленную мне возможность дать исчерпывающее объяснение. Но разрешите этой возможностью не воспользоваться: все ведь и так ясно. Где же это видано, чтобы работополучатели решали за работодателей, что и как делать из материалов последних и за их счет! Мир пока еще с ума не спятил.

Для составления решения судья даже не удалился в отдельную комнату, а написал его здесь же, за столом. В иске Павлу Тихоновичу было отказано. И сейчас же, после оглашения решения, судья объявил:

— Слушается дело по жалобе судовладельца Христофора Галактионовича Прохорова на мещанина Павла Тихоновича Курганова об оскорблении словами.

Тут только понял Павел Тихонович, что вручение ему полицией двух повесток — одной он вызывался в качестве истца, а другой в качестве обвиняемого — вовсе не являлось ошибкой, как он думал раньше.

Теперь уж Чеботарев развернул все свое красноречие. В высокопарных выражениях, с умилением в голосе он говорил об «уважаемом, почтенном и высоконравственном нашем согражданине Христофоре Галактионовиче Прохорове, щедрые пожертвования которого на городские нужды снискали ему любовь и благодарность всего города». Затем он желчно охарактеризовал обвиняемого ремесленника Курганова как личность дерзкую, наглую и хамскую.

— И вот этот, с позволения сказать, человек осмелился назвать моего доверителя, ноготка которого он не стоит, старой калошой, рваным хомутом и другими сло-



вами, даже неудобными для произношения в сем помещении, где висит портрет государя! — оскорбленно воскликнул адвокат.

В качестве свидетеля со стороны жалобщика был допрошен кучер Прохорова. Он кланялся, бросал для большей убедительности шапку о пол, крестился и повторял:

— Собственными ушами слышал, как он ругал моего барина! Дырявой калошей, хомутом... Да это что! Такими непотребными словами обкладывал, что мне аж стыдно делалось! Собственными ушами слышал, чтоб не сойти с этого места!

— Господин судья, так меня же первого оскорбили!.. Ведь Прохоров меня проходимцем обозвал! Как же можно стерпеть? — с болью в голосе оправдывался Павел Тихонович. — Если я бедный ремесленник, так должен покорно глотать брань богача? Где же справедливость? Не понимаю...

Судья не удалился для составления приговора и на этот раз. В оглашенном решении говорилось, что суд считает факт оскорбления мещанином Павлом Тихоновичем Кургановым судовладельца Христофора Галактионовича Прохорова доказанным и подвергает Курганова заключению в арестном доме сроком на две недели.

Когда Чеботарев направился к выходу, угреватый письмоводитель Васька забежал вперед и распахнул перед ним дверь.

А Павел Тихонович продолжал стоять перед судьей и смотреть на него. Казалось, он силился понять, что с ним произошло в этой запыленной комнате.

— Ваше дело окончено. Можете идти, — сказал судья.

Но Павел Тихонович не двинулся с места и все с тем же выражением на побледневшем лице смотрел на судью.

Подошел Васька, взял его за рукав и повел к двери.

Вот обо всем этом я и вспомнил, когда отец предложил мне поступить писцом в съезд мировых судей. Тут было над чем подумать. Карьера угреватого Васьки меня никак не привлекала. Министром я не собирался стать, но у меня было кое-что другое на уме. Мой брат Витя вот уже год, как учительствует в начальной школе на селе. Почему бы и мне не стать учителем? Конечно, для этого надо выдержать экзамен на звание учителя начальных училищ. Что ж, я подготовлюсь и тоже буду держать экзамен, как сделал это брат. Надо только подождать, когда мне исполнится семнадцать лет, так как до семнадцати к экзаменам не допускают. Ну, а что же я буду делать до тех пор? Сидеть на шее у отца не очень-то приятно.

Я думал весь вечер. Ночью даже видел во сне Ваську. Но утром, когда отец вопросительно взглянул на меня, я сказал:

— Хорошо, папа, я, пожалуй, поступлю.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КАНЦЕЛЯРСКОЙ КАРЬЕРЫ

Мы вышли из дому и направились к Петропавловской улице. Там, на главной улице города, и находился съезд мировых судей. В руке я держал свернутый в трубочку лист писчей бумаги. Я испортил три или четыре листа, прежде чем без единой пометки каллиграфически вывел:

*Его Превосходительству
Господину председателю съезда мировых судей.*

*Дмитрия Степановича Мимоходенко,
живущего по Ярмарочному переулку
в доме № 66.*

прошение.

*Окончив 4-классное городское училище, честь
имею покорнейше просить Ваше Превосходитель-
ство принять меня на службу во вверенный Вам
съезд мировых судей.*

Выходило так, что я столько лет учился только для того, чтобы поступить на службу в этот самый съезд. Но ничего не поделаешь: такова форма.

Отец сошел с тротуара на немощеную дорожку.

— Здесь лучше, — сказал он, — не так быстро подошвы стираются.

Чем ближе мы подходили к месту моей будущей службы, тем ошутимей я чувствовал, будто меня тянут на веревке. Вот так когда-то повели со двора нашу корову Ганнусю, а она поворачивала голову назад и мычала. Мне тоже хотелось замычать. Но... мычать уже было поздно: отец потянул за ручку обшарпанную дверь, и я шагнул на первую ступеньку каменной замусоренной лестницы. Мы поднялись на второй этаж. Сначала попали в длинный полутемный коридор. Одна стена его была глухая, и вдоль нее тянулись деревянные скамьи. Из коридора в другие помещения вело несколько дверей. Отец подошел к последней из них, приоткрыл ее, покашлял, чтоб обратить на себя чье-то внимание, и уже затем сказал:

— Войдем, Митя: Севастьян Петрович разрешает.

Вслед за отцом я переступил порог и оказался в ком-

нате, стены которой были оклеены желтыми вылинявшими обоями, местами порванными и обнажавшими штукатурку. Половину комнаты занимал большой некрашенный стол, за которым сидели и что-то старательно писали три человека разных возрастов — от мальчишки лет четырнадцати до старика с огромной, суживающейся книзу темно-русой бородой, острый кончик которой спускался до самого стола. В углу кто-то согнул спину над пишущей машинкой.

— Вот, Севастьян Петрович, привел вам своего младшенького, — с заискивающей улыбкой поклонился отец. — Старший по учительской части пошел, а младший намерен по канцелярской. Извольте взглянуть на почерк. Поддай, Митя!

Я протянул бородатому трубочку. Он взял ее, положил, не развертывая, на стол, а отцу сказал:

— Что ж, Степан Сидорович, оставляйте сына.

Хоть бородатый был, как мне казалось, не очень-то высокого ранга в канцелярском мире, отец, уходя и кланяясь, дважды шаркнул ногой.

— Вот ваше место, — показал мне Севастьян Петрович на край скамейки, стоявшей вдоль стены. Он встал, вынул из шкафа папку, полистал ее и положил передо мной. — Снимите копию.

Я подложил под лист писчей бумаги транспарант, обмакнул перо в чернила и аккуратно вверху вывел: «Копия». Затем взял со стола закапанную чернилами линейку и по ней подчеркнул это слово ровной линией. Сидевший рядом со мной подросток в изумлении выпучил свои рыбы глаза. Я подмигнул ему и каллиграфически вывел крупными буквами: «По указу Его Императорского Величества». Подросток презрительно выпятил мясистую влажную губу.

— Так ты нам братских и на копейку не настроишь. Выводишь по букве в час. Чистописалка!..

Что такое «братские», я не знал, но мне не хотелось ударить лицом в грязь перед мальчишкой, и я сказал:

— Нам министрами не быть. В канцелярском деле почерк — все.

Паренек лет шестнадцати, до невероятности худой, длинный и весь какой-то облезший, сказал:

— Ги!

Я понял, что это он так засмеялся.

— Чего — ги? — обозлился я.

— Того. Я сначала подумал, что к нам сам министр юстиции заявился. Извиняюсь — ошибся.

Все, кроме старика, захихикали. Старик сказал:

— Не обижайте новичка. Кому какой талант от бога дан. В хорошем почерке тоже своя красота.

— Вот именно, — обернулся тот, что сидел за машинкой. И его костюм, и волосы, и глаза — все было тускло-табачного цвета, а голос сиплый, будто прокуренный. — Вот именно! Я испытываю просто наслаждение, когда перепечатаваю протоколы, написанные вашей рукой.

Губастый и худой прыснули. Старик конфузливо улыбнулся и опустил глаза.

Уже без особого старания, но все же аккуратно, без помарок я переписал весь протокол. Из него я понял, что съезд мировых судей — это судебное учреждение, куда подают жалобу недовольные решением мирового судьи. Такая жалоба называется апелляционной. Съезд либо утверждает решение судьи, либо отменяет и передает дело на пересмотр другому судье. Писал я долго: протокол был написан до того неразборчиво, что над иными словами я минут по десяти сидел, пытаюсь толковать их на разные лады, и, по крайней мере, раз двадцать мне пришлось подходить к старику и спрашивать: «А что это за слово?» Губастый и худой при этом перемигивались, а старик, отвечая, слегка смущался. Один раз даже и он не смог разобрать какое-то заковыристо написанное слово, кряхтел, сопел и, наконец, сказал:

— Ладно, пропустите его — я на досуге разберу.

Губастый и худой при этом зажали рты руками и затряслись от беззвучного смеха, а табачный машинист застонал, прикрыл глаза и так сморщился, будто понюхал крепкого хрена. Тут я догадался, что подлинник писал сам старик и что он и есть тот именно С. П. Коровин, который упоминается в протоколе как помощник секретаря съезда. В конце копии я под диктовку Севастьяна Петровича написал: «С подлинным верно. Секретарь съезда». За этим в скобках: «Г. Крапушкин».

Севастьян Петрович взял копию и, мягко шагая большими ступнями, обутыми в сафьяновые туфли, вышел из комнаты. Спустя немного он вернулся в сопровождении

отлично одетого господина, которому и вручил мою копию, уже подписанную секретарем.

— Четыре с половиной страницы, — сказал господин. — По двадцать копеек за страницу — итого девяносто копеек. — Он вынул изящное кожаное портмоне и двумя пальцами ловко извлек из него несколько серебряных монет. — Извольте получить. А... — Его свежие красные губы под черными небольшими усами сложились в еле уловимую насмешливую улыбку. — А господин Корсунь еще не получал копии?

— Как же, еще вчера, — ответил Севастьян Петрович.

— Спешит, — с той же улыбкой сказал господин и вышел, коротко кивнув головой.

— Кто это? — спросил я своего соседа.

— А ты не знаешь? Перцев, присяжный поверенный. Уж Перцева не знать!..

— А чем он замечателен?

— Перцев? Слыхали, Севастьян Петрович, спрашивает, чем замечательный Перцев? — показал на меня глазами губастый, как на полного невежду. — Тем, что все дела выигрывает. На этот раз у присяжного поверенного Корсуня выиграл. Вот поубивай сторожей и ограбь банк — и тебя оправдают, только возьми защитником Перцева. А что, не правда? — повернулся он за подтверждением к Севастьяну Петровичу.

— Да, Николай Николаевич — адвокат способный, — равнодушно сказал Севастьян Петрович. Он открыл замок на одном из шкафов, вынул оттуда железную кружку вроде тех, в которые монахи собирают пожертвования, и через узкую щелочку опустил в нее серебряные монеты. — Вот видишь, Тимошка, новичок уже девяносто копеек братских выработал, а ты принижал его.

В это время открылась дверь и в комнату вошел человек в зеленом мундире с золотыми пуговицами, с раздваивающейся бородой, с бледно-серым безжизненным лицом. Все встали и поклонились ему. Севастьян Петрович сделал такое движение, будто тоже намеревался встать или, по крайней мере, привстать, но так и не поднялся, только выжидательно посмотрел на вошедшего. Тот передал Севастьяну Петровичу какую-то папку, а Тимошке приказал ржавым голосом:

— Ступай за завтраком. По дороге купи сифон с сельтерской. — Тимошка опрометью бросился к двери. — А вы, — повел вошедший по моему лицу строгим взглядом, — следуйте за мной.

В душу мою будто холод проник. Я встал и покорно пошел за зеленым мундиром. И мне почему-то казалось, что впереди меня движется не живое существо, а нечто сделанное из папье-маше, хотя и способное видеть, слышать и приказывать. В коридоре мы подошли к двери с табличкой «Секретарь». Зеленый мундир повернул ключ в двери и перешагнул порог. Я за ним. Он сел в кресло за письменный стол, будто пополам перегнулся, и с минуту молча смотрел на меня тусклыми глазами. Затем все так же ровно и безжизненно проговорил:

— Я согласился принять вас в канцелярию по рекомендации моего помощника, а вашего теперешнего непосредственного начальника, титулярного советника Севастьяна Петровича Коровина. Вы окончили городское четырехклассное училище — значит, получили достаточное образование. Но никакое образование не может заменить старания. Без старания невозможно продвижение по службе. Вам положено жалованье — семь рублей пятьдесят копеек в месяц и, кроме того, соответствующая доля братских. Старайтесь. — Он помолчал, не сводя с меня безжизненного взгляда, и приказал: — Идите на свое место.

Я вернулся в канцелярию и сел на свое место.

— Внушил? — язвительно спросил худющий. — Чего так быстро? Мне сорок минут внушал.



— Степень образования разная, — пояснил табачный. — Тебя из второго класса выгнали, а он профессор. — И опять сморщил лицо так, что трудно было понять, то ли он хочет чихнуть, то ли засмеяться.

— Снимите копию, — сказал Севастьян Петрович и подал мне новую папку.

Вернулся Тимошка. В одной руке у него был стеклянный сифон с сельтерской водой, а в другой — синий эмалированный судочек, увязанный в чистую салфетку. Оглядываясь на дверь, Тимошка развязал салфетку, вынул из судка кусочек жареного мяса и, не разжевывая, второпях проглотил его. Облизнул свои толстые губы, подставил рот под трубочку сифона и нажал на рычажок. Сельтерская зашипела.

— Тимошка, поменьше — заметит, — предупредил худющий.

— Тебя, Тимошка, судить надо, — из своего угла сказал табачный. — По Уголовному уложению о наказаниях. За систематическое воровство пропитания у самого секретаря мирового съезда, коллежского ассессора Крапушкина.

— И сколько я тут съел! Кусочек! — обиделся Тимошка. — Когда за все судить, так и судей не хватит.

— Чего другого, а судей, брат Тимошка, на наш с тобой век хватит. А ты вот что: если уж крадешь, то хоть делись с Касьяном. Видишь, какой он сухопарый.

Худющий презрительно фыркнул:

— Надо мне его кусочек! Прошлый раз, как поделили братские, я зашел в ресторан и съел целого гуся!

— Один?! — изумился табачный.

— Один, — гордо вскинул Касьян голову.

— А, будь ты проклят, прорва! До сих пор я думал, что гусь — птица неудобная: для одного много, а для двух мало. А тут — нате вам! — один слопал!

Севастьян Петрович, слушавший весь этот разговор, равнодушно сказал Тимошке:

— Неси уж, неси, а то как бы не заглянул сюда.

Тимошка одернул рубашку, взял в одну руку судок, в другую — сифон и понес из комнаты.

Минуту спустя он вернулся, держа на ладони клочок писчей бумаги с кусочками мяса и двумя кружочками жареной картошки.

— Во! Сам дал, — сказал он, очень довольный. Склонил набок голову, полюбовался мясом с картошкой и все отправил в рот. Проглотил, облизнулся и сел писать повести.

Некоторое время в канцелярии слышалось только стрекотание машинки.

Приходил курьер Осип, седоусый старик с зелеными петлицами на воротнике, клал на стол какие-то бумаги, а другие брал со стола и уносил.

Дойдя в переписывании до слова «апелляция», я спросил:

— Как же правильно писать? В том деле «апелляция» писалась с двумя «л», но с одним «п», а в этом с двумя «п», но с одним «л».

Севастьян Петрович вздохнул и со своей конфузливой улыбкой сказал:

— Кто ж его знает? Так и из сената бумаги приходят: в одной два «л», в другой два «п». Где как написано, так и переписывайте: на то и копия.

— По учению православной церкви все на свете либо от бога, либо от дьявола, — сказал табачный. — Если предположить, что два «эл» от бога, то, значит, два «пе» от дьявола. А сенат до сих пор не может разобраться, кто грамотнее — бог или дьявол.

— Не богохульствуйте, Арнольд Викентьевич, — поднял Севастьян Петрович свои кроткие глаза на машиниста. — Грамматика — не божье дело, грамматика — дело человеческое.

— А если человеческое, то и писать надо по-человечьи. Напишет ли наш Касьян «касса» с двумя «эс» или с одним, ему из этой кассы все равно выдадут жалованья ровно восемь рублей и пятьдесят копеек, ни на копейку больше.

— Чего? — обиделся почему-то Касьян. — Вы всегда к кому-нибудь прицепитесь.

— Что ты, Касьяша! — с притворным удивлением сказал Арнольд Викентьевич. — К кому же я сегодня цеплялся?

— Все слышали к кому. Сначала к богу, потом к дьяволу, а теперь вот ко мне. А я и без того обиженный.

— Чем же ты обиженный, Касьяша?

— Чем? Будто не знаете. Тем, что родился двадцать

девятого февраля. Люди каждый год празднуют именины, а я раз в четыре года. Это как, по-вашему, весело?

— Куда веселей, — сочувственно покачал табачный головой. — А ты празднуй двадцать восьмого.

— Нельзя. По календарю Касьян бывает только двадцать девятого, в високосный год.

Тимошка встал и, притопывая ногами, запел, издевательски глядя на Касьяна:

Февраля двадцать девятого
Целый штоф вина проклятого
Влил Касьян в утробу грешную,
Позабыл жену сердечную,
И родимых милых детушек,
Близнецов, двух малолетушек...

Но тут распахнулась дверь, и усатый курьер, будто пророча беду, сказал строгим голосом:

— Тимофей — к самому!..

Тимошка испуганно глянул на него, одернул рубашку и пошел к двери, как-то странно приседая.

Вернулся он с синим листком повестки в руке, сердито скомкал его и бросил на пол. Потом взял со стола чистый бланк повестки и, сопя, принялся его заполнять.

— Что случилось? — спросил Севастьян Петрович.

— В повестке казначею пропустил «его высокородию».

— Что же он тебе сказал? — любопытствовал Касьян.

— Ничего особенного...

— А не особенного? — многозначительно спросил табачный.

— А не особенного сказал, что выгонит ко всем чертям, если еще раз ошибусь.

Стенные часы зашипели и дребезжаще пробили четыре.

Все принялись складывать папки.

Первый день моей канцелярской службы кончился.

«БРАТСКИЕ»

Прошло недели две, в течение которых я снял уйму копий. Это все были дела по искам одних лиц к другим. Подобно чеховской Каштанке, которая делила всех лю-

дей на хозяев и заказчиков, я невольно стал делить всех людей на истцов и ответчиков. И, странное дело, если в канцелярию заходил новый человек, то не успевал он еще заговорить, как я почти безошибочно определял, ответчик это или истец. По выражению лица, по походке, что ли? Арнольд Викентьевич, наш табачный машинист, говорил, что ответчиков он даже по спине мог отличать от истцов, до того у него глаз наметан.

За эти две недели в нашей канцелярии перебивали чуть ли не все адвокаты города. Они были самые разнообразные: молодые и старые, бородатые и бритые, курчавые и плешивые, красивые и безобразные. Одни приходили в визитках с атласными лацканами или даже во фраках, другие — в обыкновенных пиджаках. Но у всех было и что-то общее: то ли апломб, с которым они разговаривали друг с другом, то ли рысье выражение глаз. Заходил и прохоровский юрисконсульт Чеботарев. Как и тогда, в камере мирового судьи, на нем был фрак и от него пахло крепкими духами. Случившийся тут знаменитый Перцев сказал ему:

— Вот кстати. А я искал вас. Не согласитесь ли вы взять от меня одно дело? Мой помощник заболел, а я до того перегружен...

— Благодарю вас, — перебил его Чеботарев, — я и сам могу уступить вам дело и даже не одно...

Они молча отошли друг от друга, обменявшись взглядами — Перцев деланно-недоуменным, Чеботарев вежливо-презрительным.

Иногда я пробирался в зал заседаний и там, прячась за колонну, чтоб меня не увидел Крапушкин, смотрел, как судят людей. Председательствующий и два участковых мировых судьи, одетые в темно-зеленые мундиры, сидели на возвышении, за большим столом, покрытым зеленым сукном, на стульях со спинками в рост человека. За ними, чуть не до потолка, возвышался портрет царя. Перед тем как судьям появиться в зале, раздавался возглас: «Суд идет! Прошу встать!»

Все это: и предупреждение, сделанное на высокой ноте, и следуемое за ним шествие судей с бронзовыми цепями на шее, и огромный, в красках портрет царя во весь рост, и необычайно высокие спинки стульев — действовало на простых людей ошеломляюще. Помню, один

забитый жизнью мещанин, попавший сюда по обвинению в краже у бакалейщика мешка ржаной муки, потом рассказывал: «Тут кто-то как закричит вроде бы в архангельскую трубу: «Страшный суд наступает!» Меня аж мороз по спине пробрал. И вот выходит сама грозная судьбина. Глазищи — во! Усищи — во! Зубищи — во! А за нею две судьбины покороче. Идут, цепями звякают, зубами скрипят... Ну, думаю, тут мне и каюк!»

Робели не только обвиняемые, но и свидетели. Ведь всех их тут же, в зале, в присутствии всего состава судей, старый попик приводил к присяге на бархатном с серебряными застежками евангелии и массивном поповском кресте. Еще и сейчас, много-много лет спустя, я слышу их дрожащие голоса, повторяющие вслед за священником: «Клянусь всемогущим богом перед его святым евангелием и животворящим крестом, что, не увлекаясь ни дружбой, ни родством, ниже ожиданием выгод, я покажу по сему делу сущую правду, не утаив ничего мне известного»...

Кто чувствовал себя в зале суда совершенно свободно, так это адвокаты. «Судейский мундир, — говорил какой-то из них в нашей канцелярии, — для меня не страшнее моего старого халата, а перед бронзовой цепью я испытываю не больше трепета, чем перед своим изрядно поношенным галстуком». Если один выступал от имени истца, а другой от имени ответчика, то, стоя перед судьями, они друг друга вышучивали, ожесточенно пререкались, размахивали руками. «Ах, вот как вы толкуете эту статью! — иронически восклицал один. — Но позвольте напомнить, господа судьи, что по аналогичному делу уже было разъяснение сената, и оно прямо противоположно тому, что с таким апломбом утверждает здесь доверенный ответчик!» — «В том-то и суть, что не по аналогичному! Истец хочет получить курицу за яйцо и произвольно ссылается на сенат», — парировал другой. Такие стычки отнюдь не мешали адвокатам по оглашению решения суда отправляться в буфет под руку.

В числе тех, кого я здесь видел чуть ли не ежедневно, были и так называемые сутяги. Всю жизнь они только и делали, что вели тяжбы — с родственниками, с соседями, даже с людьми, попавшимися на их жизненном пути совершенно случайно. Для них судебные учреждения стали



чем-то вроде клубов. Здесь они встречались со знакомыми, судачили, узнавали новости. Один из таких сутяг, с очень характерной для него фамилией, Прицепкин, превратил сутяжничество в своего рода профессию, приносящую ему регулярный доход. Плешивый, с морщинистым лицом и гнилыми зубами, он ходил по базару и выискивал себе очередную жертву. Нацелившись на какую-нибудь торговку погорластее, он подкрадывался к ней, склонялся к уху и шептал гнуснейшую гадость. Торговка вскакивала, как ошпаренная, и принималась на весь базар облаивать его. «Господа, — обращался Прицепкин к окружавшим их людям, — вы слышите, как она меня оскорбляет? Будьте свидетелями». И подавал на торговку в суд. Базар находился в участке мирового судьи Буряковского. К нему-то и поступало дело. У Буряковско-

го был свой метод вести такие дела. Он говорил тяжущимся: «Я уйду и вернусь через десять минут. Чтоб вы за это время на чем-нибудь сошлись. Не сойдетесь, обоим хуже будет». Обычно Прицепкин запрашивал с обидчиц от пятнадцати до двадцати рублей. Начинался торг, в конце которого сходились на пяти или семи рублях. «Вот и молодцы, что поладили», — говорил судья, довольный своим методом примирения сторон. Прицепкин клал в портмоне деньги и отправлялся с обидчицей в ближайший трактир пить мировую. Там, за отдельным столиком, торговка вполголоса высказывала ему все известные ей бранные слова. Прицепкин слушал, сочувственно кивал головой, даже поддакивал своей собеседнице и пил за ее здоровье.

Как Прицепкин вызывал торговков на оскорбление, знал весь город, в том числе и судья Буряковский. Тем не менее Прицепкин неизменно выигрывал дело. В кругу своих приятелей судья говорил: «Знаю: он мошенник. Но что шепчет этот мошенник торговке на ухо, никто не слышит, а как торговка кроет его последними словами, слышат все. Представьте, что я отказал бы плуту. Он передаст дело в съезд мировых судей. А там, приняв во внимание показания свидетелей, мое решение, как пить дать, отменят. Зачем же мне терять репутацию справедливого судьи?»

Через каждые два-три дня отец спрашивал меня: «Ну, Митя, как идут твои дела?» — «Все так же, — отвечал я. — Снимаю копии». Отец говорил: «Гм...» — и задумывался. Видимо, он все-таки недоумевал, как это могло получиться, что меня, изучавшего геометрию с алгеброй, естествознание и всеобщую историю, ни в чем больше не используют, как только в писании копий. Вначале он о Севастьяне Петровиче говорил: «Чудный человек, чудный!» Теперь, со свойственной ему особенностью переходить от восхищения к брани, раздраженно восклицал: «Черт бородатый! Будто не может посадить на что-нибудь посерьезней!» Я объяснял, что ничего более серьезного там нет. Тимошка повестки пишет, Касьян сидит на входящих и исходящих и подшивает бумаги к делу, Арнольд Викентьевич стучит на машинке. Вот только Севастьян Петрович ведет более серьезную работу — записывает в протокол все судопроизводство, но Севастьян

Петрович не в счет: он — начальство. Вероятно, отец вспоминал, что и сам он, прослужив в канцелярии десятки лет, занимается тем же, чем и шестнадцатилетний недоучка Касьян: регистрирует бумаги и пришивает их к делу. Вздохнув, он переводил разговор на что-нибудь другое.

Двадцатого числа Севастьян Петрович вынул из шкафа железную кружку и, похожий на крестьянина, собирающего подаяния для погорельцев, отнес ее в кабинет секретаря. К концу занятий мы поодиночке заходили к нашему страшному, сделанному из папье-маше начальнику и получали жалованье и братские. Братские — это содержимое кружки. Оно делилось между Арнольдом Викентьевичем, Касьяном, Тимошкой и мною пропорционально получаемому жалованью. Пошел и я. Секретарь придвинул ко мне мертвым пальцем кучку серебряных монет и сказал:

— Возьмите. Старайтесь.

Это были братские. Потом, отдельно, он выдал жалованье и велел расписаться.

Когда я вернулся в канцелярию, Арнольд Викентьевич возбужденно спросил:

— Сколько братских?

Я сосчитал:

— Два рубля семьдесят копеек.

Лицо у Арнольда Викентьевича сморщилось в брезгливую гримасу:

— Какая подлость! Обкрадывать нищих! У этой мумии двухэтажный дом, он один получает жалованье вчетверо большее, чем я, Митя, Касьян и Тимошка, взятые вместе, и вот — не стесняется каждый месяц воровать из наших братских по пятнадцать — двадцать целковых! Какая подлость!

Севастьян Петрович покраснел, потупился и тихо сказал:

— Да ведь кто знает, сколько было в кружке? Может, это и не так...

— Я знаю, я! — стукнул Арнольд Викентьевич кулаком себя в грудь. — Все, что вы бросали в кружку, я вот на этом листке отмечал. Все, до гривенника! Шестнадцать рублей украл в этом месяце, чтоб ему подавиться ими!..

Касьян обиженно заморгал безресничными красными веками:

— Это он и мою трешку захарлачил... Опять без штиблет остался...

— Вот возьму и наплюю ему в судок с мясом! — решительно пообещал Тимошка.

Но тут раскрылась дверь, и на пороге появился сам Крапушкин. Касьян побледнел, вскочил и отвесил поклон. Тимошка одернул рубашку, а Арнольд Викентьевич решительным шагом направился к своей машинке.

— Что здесь за шум? — шелестящим ровным голосом спросила мумия. — Почему нарушается тишина, надлежащая в государственном учреждении? Севастьян Петрович, ответьте.

Севастьян Петрович шумно вздохнул и, глядя вбок, уклончиво сказал:

— Поволновались немножко... Обувь вздорожала... Трудно с обувью приходится...

Все так же, не повышая голоса, мумия сказала:

— Надо не волноваться, а стараться... Кто старается, тот всегда обут. — Он постоял в ожидании, не скажет ли что-нибудь Севастьян Петрович или кто другой. Никто ничего не сказал, только у Арнольда Викентьевича вырвался из горла какой-то странный звук. — Что? — повернул к нему голову секретарь.

— Ничего-с, — с подчеркнутой почтительностью ответил Арнольд Викентьевич. — С вашего разрешения, я кашлянул. Прошу прощения.

— А... ну-ну... — сказала мумия и, обведя нас померкшим взглядом, медленно повернулась к двери.

Когда отец узнал, какую ничтожную плату я получил за две недели своей канцелярской службы, то сначала обругал Севастьяна Петровича старым козлом, а потом, после раздумий, сказал:

— Ну ничего, Митя, снимай копии, вникай во все хитрости судопроизводства, а тем временем готовься к экзамену на звание частного поверенного. Как-никак, это — профессия! До старости прокормить сможет, если проявишь в ней способности. Конечно, хором себе не построишь, да ведь нам министрами не быть...

Частный поверенный! Да, есть и такая профессия... За две недели я успел присмотреться и к частным поверенным. Попросту зовут их стряпчими. В большинстве это люди в поношенных пиджаках, порыжелых шляпах и

стоптанных штиблетах. Выражение лица у них то униженно-просящее, то наглое. Они тоже «адвокаты», но без высшего образования, из «недоучек». Дела ведут мелкие и с доверителей берут плату «божескую»: в два и три раза меньшую, чем присяжные поверенные. Потому и клиентуру их составляют люди небогатые — лавочники, ремесленники, мелкие домовладельцы. Присяжные поверенные их презирают, а они присяжных ненавидят и злорадствуют, если удастся выиграть дело у «высокообразованного» юриста. Помню, как торжествовали они, когда купец Литягов при всех срамил в канцелярии молодого щеголеватого помощника присяжного поверенного с университетским значком на борту визитки. «Стряпчий Мухобоев взял с меня пятерку, — говорил он, тряся бородой, — и высудил мне полторы тысячи, а ты загнул четвертную и прошляпил моих пятьсот целковых. Вертихвост!» Когда судебные дела «не наклевывались», частные поверенные подрабатывали тем, что по трактирам, а то и на базарных лотках писали простому люду разные прошения да заявления. Иные даже пузырек с чернилами носили при себе.

Вот к такой профессии и предложил мне отец готовиться. Через несколько дней он где-то раздобыл изрядно подержанный том, содержащий в себе разные законы, и, чтобы облегчить мне нахождение того или иного раздела, раскрасил книгу по ее обрезау разными красками. Так, свод законов гражданских он выкрасил в синий цвет, уложение о наказаниях в зеленый, устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, в красный. И долго еще эта книга с разноцветным обрезом лежала в доме у нас на этажерке, пока ее не сточили всю мыши. В свободное время я раскрывал не «Свод законов», а «Методику обучения грамоте и арифметике» Тихомирова. Так и пропал труд отца по раскраске царских законов.

СЕВАСТЬЯН ПЕТРОВИЧ

Однажды, снимая копию, я услышал рядом знакомый голос:

— Позвольте вас потревожить: не поступило ли наконец мое дело к вам?

Я поднял голову: перед Севастьяном Петровичем

стоял мой старый знакомый — Павел Тихонович. Поза и лицо его выражали почтительность и покорность, но в синих глазах затаился укор.

— Пока не поступало, — сочувственно сказал Севастьян Петрович и потупился. — Справьтесь у мирового.

— Справлялся уже. Десять раз справлялся. Ответ один и тот же: ждите. А ведь больше полгода прошло.

Севастьян Петрович развел руками.

— Что же это? — растерянно сказал Павел Тихонович. — Судья разговаривать со мной не хочет, а его письмоводитель прячет глаза и все бормочет: «Ждите». Сколько ж можно ждать?! — Тут взгляды наши встретились. Он очень удивился: — А вы что тут делаете?

— Представьте, служу, — усмехнулся я.

— Служите? Здесь, в суде? — обвел он меня недоверчивым взглядом.

Я встал, взял его за руку, и мы вместе вышли в коридор. Там я ему пообещал, что останусь после занятий и переберу все дела.

— Если дело поступило, я его разыщу обязательно.

— Так вы и вправду здесь служите? — спросил Павел Тихонович.

— А что же в этом удивительного? — в свою очередь, задал я ему вопрос.

Он немного смутился:

— Удивительного?.. Пожалуй, удивительного тут ничего нет... Просто так, неожиданно получилось...

Битый час я рылся в шкафах, но дела так и не обнаружил. Я знал, что Павел Тихонович подал апелляционную жалобу, поэтому-то решение мирового суда о заключении мастера в арестный дом пока в исполнение не приводилось. Но почему же судья до сих пор не передал апелляцию в мировой съезд? Ведь все законные сроки давно прошли.

По пути домой я зашел к Павлу Тихоновичу в его мастерскую.

— Вы совсем забыли меня, — мягко упрекнул он. — Уж и не помню, когда были в последний раз.

После службы в мировом съезде я допоздна занимался «Методикой» Тихомирова. Но разве это могло служить оправданием! Да еще в случае с человеком, которого так незаслуженно обидели. Мне стало стыдно, и я сказал:

— Зато теперь буду вас навещать, пока не разыщем дело. В мировом съезде его нет. Где же оно? Кому вы его вручили?

— Мне объяснили, что апелляцию в съезд надо подавать через того мирового судью, который вынес решение. Я так и сделал. Принял мою жалобу письмоводитель и даже расписку выдал, а почему не передал дело в съезд, понятия не имею. Жалобу, конечно, писал не сам, а стряпчий Иорданский. Он хоть и пьяница, а в судах, говорят, не одного присяжного в калошу сажал. Спрашиваю его: «Почему же до сих пор нет движения?» Он загадочно смеется. «Надоедайте, говорит, им, требуйте».

Вечером я раскрыл свою «Методику», но из головы никак не шла фраза: «Загадочно смеется», и я не мог сосредоточиться. «Загадочно смеется, загадочно смеется»... Что бы это могло обозначать?.. Ведь неспроста же он так смеется. Значит, что-то знает или, по крайней мере, подозревает. Ложась спать, я твердо решил, что завтра, по окончании занятий в съезде, пойду проводить Севастьяна Петровича до его дома и по дороге расспрошу, что все это могло обозначать.

Но провожать Севастьяна Петровича не пришлось. На другой день случилось нечто, о чем я и сейчас, много лет спустя, вспоминаю с содроганием.

Из всех служащих канцелярии Севастьян Петрович был единственным, кто мне нравился. Тимошка — тот был копией в уменьшенном размере письмоводителя Василия из камеры мирового судьи. Касьян — о нем и говорить не приходится. Это даже не человек, а жалкое подобие человека. Арнольда Викентьевича я не понимал. Он всех высмеивал — богатых за то, что они богатые, бедных за то, что они бедные, умных за то, что они умные, дураков за то, что они дураки, подлецов за то, что они подлецы. Наверно, жизнь по нем проехала тяжелым возом на железных колесах. И только в Севастьяне Петровиче я чувствовал за его конфузливой улыбкой настоящую человеческую душу. Но именно его и избрали адвокаты с университетскими значками на визитках и фраках козлом отпущения для насмешек и издевательств. Каких только прозвищ они ему не придумывали, каких каверз не устраивали! Был даже случай, когда один дурак с университетским дипломом подложил ему под стул и зажег

шутиху, и бедный старик бросился в страхе из канцелярии в коридор.

В день, когда я намеревался с Севастьяном Петровичем поговорить, он пришел в канцелярию больной лихорадкой. Сидя в своем кресле, старик прикрывал глаза и все ниже и ниже опускал голову. Этим и воспользовался помощник присяжного поверенного, шут с высшим образованием, Абрикосов. Он расплавил сургуч и прикрепил им к столу кончик бороды старика. Севастьян Петрович с трудом открыл глаза, сделал движение, чтобы приподнять голову, — и от боли застонал. Абрикосов прыснул. Севастьян Петрович конфузливо, через силу, улыбнулся, поднялся и, пошатываясь, пошел из канцелярии. Лицо у Арнольда Викентьевича исказилось. Он подошел к Абрикосову и прохрипел:

— Я тебе, сволочь, морду разобью. Вон отсюда!

Абрикосов попятился к двери. У Арнольда Викентьевича вдруг затряслись плечи. Он прикрыл лицо рукой, и из горла его вырвался звук, похожий на хриплый лай.

Я бросился в коридор, чтобы разыскать Севастьяна Петровича, но его нигде не было. Так, без нашего начальника, и закончился день в канцелярии.

Я взял извозчика и поехал в далекий Кузнечный переулок, где жил Севастьян Петрович. Пролетка остановилась около кирпичного домика с геранью на окнах. Я осторожно постучал в «парадную» дверь. Вышла маленькая круглая старушка и озабоченно сказала:

— Болен он.

Но все же посторонилась и пропустила меня.

Севастьян Петрович с багровым лицом, с перевязанной полотенцем головой лежал на высокой деревянной кровати. Увидев меня, он смущенно поднял руку, чтобы снять полотенце.

Я сказал:

— Севастьян Петрович, хотите, я его убью?

— Кого это? — не понял он.

— Абрикосова, сволочь эту.

— Господь с тобой! Стоит ли из-за дурака жизнь себе портить? Его и без того бог обидел, разума лишил. — Севастьян Петрович помолчал и снисходительно улыбнулся. — Что поделаешь, разболтался господинчик. Отец у него коммерсант известный, живет по правилу «нашему

ндрову не перечь», ну и сын с такими же замашками, хоть и получил образование в самом Петербурге. — Он опять помолчал, вытер полотенцем лицо и спросил: — Ты по делу ко мне или так?

— И по делу, Севастьян Петрович, и так. Но, видно, придется отложить разговор до поры, когда поправитесь.

— Ничего, говори, не смертельно болен. Говори.

Мне жалко было старика, но боязнь, что темные силы и на этот раз одолеют Павла Тихоновича, заставила меня не посчитаться с болезнью. Я рассказал, что знал. Севастьян Петрович слушал и вздыхал.

— Что ж тебе посоветовать? — сказал он, как мне показалось, уклончиво. — Пусть твой Курганов напишет нашему секретарю официальный запрос, почему до сих пор... — Он не договорил и махнул рукой. — Да нет, ничего из этого не выйдет: не захочет он обострять отношения с судьей Понятовским, сошлется на какую-нибудь формальность...

— Севастьян Петрович, в чем же дело? — воскликнул я, теряя терпение. — Почему они не передают жалобу, почему?! Я уверен, что вы знаете... Не доверяете мне, да?..

— Что же я могу знать, — забормотал старик. — Ничего я наверняка не знаю... А наше дело — держать язык за зубами... Это, брат, суд: зацепят тебя — и вертись на крючке до смерти. — Но тут старика вдруг прорвало. — «Почему, почему!» — сердито закричал он. — Потому, что ждут другого состава судей!.. Чувствует Понятовский — неправильно решил дело, ну и опасается, что мировой съезд отменит его решение. А попадет дело к приятелям Понятовского — те не подведут.

— Так это же подлость! — крикнул я в свою очередь.

— Считай, как знаешь, — буркнул старик.

Домой я шел в том тяжелом состоянии, которое не раз овладевало мной и прежде. Мне все казалось гадким, омерзительным, бессмысленным, мучительно противоречивым. Я старался связать концы с концами и приходил в отчаяние, не находя ответа на мучившие меня вопросы. А вопросов было тысячи, они сверлили мой мозг, мою душу. Чтоб впасть в такое состояние, нужен был толчок. А тогда уж нахлынут вопросы за вопросами. Таким

толчком сейчас был мой разговор с Севастьяном Петровичем. Я знал, что это человек с мягкой, деликатной душой, неспособный отвечать на зло злом, робеющий перед всяким проявлением наглости и хамства. Как же мог он отдать всю свою жизнь службе в таком нечестивом учреждении, как суд? Разве не лучше было бы пахать землю или таскать в порту мешки с мукой? Или вот священник, который приводит в суде людей к присяге: он же знает, что суд — это наказание, сопротивление злу — как же он может помогать этому суду, если Иисус Христос учил: «Не противьтесь злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет взять у тебя рубашку, отдай ему кафтан»? Или, например, доктор Корнеев: он читает в коммерческом клубе публичные лекции на темы: «Альтруизм и эгоизм», «Свет и тени нашей жизни», с горечью говорит о Беликове и Ионыче — как же может он предупреждать через горничную своих пациентов, что за визит следует платить не меньше трех рублей? Или местный поэт Карпинский: в стихах, которые печатает наша газета в воскресном приложении, он воспекает «тихие струны светлой души» и «белые венчики голубиц-невест» — как же может он обзывать в ресторане официантов хамами и требовать, чтобы они называли его «ваше высокоблагородие»? В чем же смысл жизни вообще, если все так пошло, гадко, мелко и запутанно, если тех, кто против этого восстает, кто пытается все это распутать, ссылают в тюрьмы, казнят?

На другой день я опять пошел к Севастьяну Петровичу. Круглая седенькая старушка сказала, что «у Севушки температуры, слава богу, сегодня уже нет», и проводила меня в «зал». Севастьян Петрович сидел у окна, в глубоком кресле, с книжкой в руке. Длинный халат, пышные волосы и большая борода делали его похожим на нашего соборного дьякона. Он снял очки и кивнул на книгу:

— Мучитель. И героев своих вымучивает, и читателя, и самого себя. Истинный мучитель.

— О ком это вы? — спросил я.

— О Достоевском. Великий был писатель, но страшный. Вот не могу дочитать его «Преступление и наказание». Терзатель душ человеческих.

Занятый своими мыслями, я тут только заметил, что все стены комнаты были в книжных полках.



— Севастьян Петрович, вот вы перечитали сотни книг, скажите, в чем же смысл жизни?

— Вы много читаете? — спросил я.

Он показал рукой на книги.

— Все читал. А иное и по два-три раза. Мельникова-Печерского люблю: «В лесах» да «На горах». Обширное чтение!.. В зимние вечера только подливай в лампу керосину. Соловьева Всеволода Сергеевича с большим увлечением читаю. «Жених царевны», «Сергей Горбатов», «Юный император» — одно интереснее другого. А «Камо грядеши?» Сенкевича Генриха! Я своей Настасье Петровне даже вслух читал. На десять вечеров хватило. Сейчас «Ниву» с приложением получаю. А выйду на пенсию, времени свободного прибудет — тогда можно и «Родину» выписать. К «Родине» тоже интересные приложения дают.

— Севастьян Петрович, вот вы перечитали сотни книг, скажите, в чем же смысл жизни? — с болью в голосе спросил я. — Зачем мы живем? Зачем вы, прожив такую большую жизнь, исписали в суде пуды бумаги?

Севастьян Петрович вскинул голову, в его маленьких добрых глазах я увидел испуг.

— Ты... ты меня про это не спрашивай, — прошептал он побелевшими губами. — Я про это не знаю... Я про это знать не хочу...

И, конечно, я больше не спрашивал. Мне стало ясно: старик с его доброй душой сделался книголюбом потому, что «Жених царевны» и «Камо грядеши?» отвлекают его от страшных мыслей, зачем он истратил полвека на писание решений неправедных судей.

Некоторое время мы сидели молча.

— Вот что, — сказал он, вздохнув, — приведи-ка сюда этого частного поверенного... ну, который писал жалобы Курганова. Иорданский, что ли? Может, что-нибудь придумаем.

Возможность вывести судебное дело Павла Тихоновича из тупика, хотя бы даже и чуть наметившаяся, сразу взбодрила меня. Я тотчас же отправился к Павлу Тихоновичу. Вместе мы обошли с полдюжины трактиров, пока в самом шумном из них, с музыкой, звоном посуды и пьяным гвалтом, не обнаружили стряпчего в компании подвыпивших людей, обутых в гигантские, с широким раструбом сапоги. Узнав, что его ждет у себя Севастьян Петрович, стряпчий, бородатый человек с морщинистым испытанным лицом, сказал:

— Севастьяна Петровича я уважаю и немедленно отправляюсь к нему. До свиданья, господа рыбаки. Спасибо за угощение. Будьте благонадежны: ваше дело — в шляпе... виноват, я хотел сказать, в баркасе. Так будет верней. Пошли.

Павел Тихонович вернулся в свою мастерскую, а я повел стряпчего в Кузнечный переулок. Сиплым то ли от водки, то ли от многоговoreния голосом он рассказал мне по дороге с десятков анекдотов из судейского быта, чрезвычайно схоже изобразил нашего секретаря, когда тот провозглашает: «Суд идет!» — и под конец попросил у меня взаймы до четверга тридцать копеек.

К Севастьяну Петровичу в дом он вошел один, я же остался ждать снаружи. Когда переулок погрузился уже в сумерки и жители выходили из калиток и закрывали окна ставнями, стряпчий окликнул меня:

— Где вы тут? Ведите меня обратно в трактир. Я остро чувствую, что недопил. — Был он в самом радужном настроении. — Чудный старик, чудный! Какая душевная чистота!.. На месте бога я взял бы его живым на небо и вручил ему ключи от рая. Чудный, но... наивный. До глупости наивный, извините меня за откровенность. Он собственноручно написал: «Дело по жалобе Курганова на решение суда седьмого участка в съезд мировых судей не поступало». Написал и посоветовал отнести сию справку Чужеденковым репортерам. Вы их знаете? Нет? А Чужеденко? И Чужеденко не знаете? Так что же вы тогда на свете знаете? Чужеденко — это редактор нашей газеты. Когда он знакомится с важным лицом, то говорит всегда так: «Представитель прессы, редактор местной газеты Козьма Денисыч Чужеденко». Ходит в черной бархатной куртке, носит бородку, золотое пенсне и притворяется либералом. А у Чужеденко есть два репортера: один длинный, как фонарный столб, и зовется в народе «Иноходец», а другой короткий, как чугунная тумба в порту, и зовется «Мопс». Оба тоже в бархатных тужурках, но весьма заношенных, и оба заики. Весь день рыщут по городу, добывают материал под рубрику «Местная хроника» и «Происшествие». Чудное зрелище, когда они встречаются на улице. Иноходец, глядя с вышины вниз, спрашивает: «Т-т-ты от-от-откуда?» А Мопс, задрав голову кверху, отвечает: «С-с-с-с пожара. Склад

дот-т-тла сгорел. А т-т-ты?» — «А я из с-с-суда. На д-д-десять лет законоп-п-пятили». Оба они берут у нашего достопочтенного Севастьяна Петровича материал для судебной хроники и зарабатывают по пятаку за строчку. Вот наш старик и думает, что если я расскажу им о странно пропавшей грамоте и покажу справку, то в погоне за пятаками репортеришки немедленно тиснут в газете пять или шесть строчек, дескать, предстоит интересное дело, но почему-то долго не разбирается!.. Святая наивность!.. Так Чужеденко и пропустит заметку, хоть в малейшей степени бросающую тень на Прохорова! Чужеденко ведь не только редактор, он еще и владелец типографии. А у кого, в какой типографии заказывает Прохоров всевозможные бланки для своей конторы? В типографии Чужеденко. Вот и подумайте, юноша, рискнет ли наш редактор навлечь на себя неудовольствие такого выгодного заказчика. Черта с два!.. Он скорее... — Но тут стряпчий вдруг остановился, хлопнул себя ладонью по лысому черепу и оторопело сказал: — Постой, постой... Так ведь Прохоров теперь печатает бланки в типографии Мараховского, а не у Чужеденко. Еще на прошлой неделе я видел проспект прохоровского пароходства, отпечатанный у Мараховского. А если так, то Чужеденко с радостью подложит Прохорову за это маленького поросенка! Ай да старик! Мудрейшая голова! А я-то наивным его посчитал! Скорее, скорее в бильярдную! В этот час там всегда Мопс с Иноходцем сражаются!

И стряпчий чуть не рысью припустил вдоль переулочка.

Спустя два дня все горожане могли прочесть в газете «Наш вестник» такие строчки:

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО

Шесть месяцев назад мировой судья седьмого участка рассматривал иск ремесленника Курганова к судовладельцу Прохорову о неуплате денег за сделанную работу. Судья не только отказал ремесленнику, но, по жалобе г-на Прохорова, еще и приговорил Курганова к двухнедельному заключению в арестном доме за оскорбление, якобы нанесенное судовладельцу. Курганов подал апелляционную жалобу, и жители нашего города, хорошо знающие его как искусного мастера, смогут прослушать это интересное дело в съезде мировых судей.

К сожалению, мы лишены возможности сообщить день разбора дела, так как господин судья седьмого участка почему-то до сих пор не передал жалобу Курганова в мировой съезд по принадлежности.

А еще спустя день в нашу канцелярию явился Васька и, что-то невнятно бормоча, вручил Севастьяну Петровичу под расписку злополучное «дело».

ДОРОГАЯ НАХОДКА

Хотя наш город и не очень большой, но, вероятно, потому, что здесь жило много итальянцев, по вечерам в продолжение всего лета в городском саду играл настоящий симфонический оркестр. Сад делился на две части: в одной, слабо освещенной, гулял по аллеям народ простой, а в другой, называемой «кругом», куда вход был платный, спасалась от летней жары публика «чистая». Для нее-то и играл симфонический оркестр. В детстве, чтоб не платить двугривенный, я в темном местечке перелезал через забор, отделявший «простых» от «чистых», и оказывался в заветном «кругу». Здесь, на высоких столбах, ярко горели фонари, и надо было искусно прятаться в кустах, чтоб не попасть на глаза городовому: у городского глаз был наметан, он брал бесплатного любителя музыки за шиворот и выпроваживал вон из «круга».

Кусты были колючие, но, когда на дирижерский мостик музыкальной раковины поднимался свободный художник Минолла, итальянец с большим бледным лбом, черной бородкой и волнистой шевелюрой, я забывал о шипах, о городовом и о том, какая кара ждет меня дома за самовольную отлучку и разодранную в кустах рубашку.

Я прикрываю глаза и вижу длинную золотую нить. Она спускается с высоты. Вот нить коснулась куста, под которым я сижу, и оплела его золотой паутиной. Куст затрепетал, наполнился тонким дрожащим звоном. Что за чудесная нить! Откуда она? А, это в золотую нить превратился голос жаворонка: маленькая птичка вьется в небе и поет, поет, поет, упиваясь светом и теплом солнца. Вдруг, затрепетав, голос жаворонка оборвался, и распалась с жалобным звоном золотая сеть на кусте.

Я открываю глаза и сквозь листья вижу черную фигуру дирижера, сходящего с возвышения. Ни золотой нити, ни голубого неба. Только что-то внутри меня звенит тонким хрустальным звоном, готовым вот-вот замереть. Всем существом своим я тужусь удержать в себе этот звон, но в нескольких шагах от меня шаркают подошвами по гравию мужчины с фатовскими усами, что-то шепчут своим дамам в шляпках с искусственными цветами и потом гогочут. Звон в моей груди обрывается. Я сижу прибитый, растерянный, ничего не понимающий, пока на возвышение не поднимется человек в черном фраке, с волшебной палочкой в руке.

Я опять прикрываю глаза, и мне чудится, будто я плыву в лодке по синей глади моря. За кормой что-то дремотно журчит, серебряные рыбки с тихим плеском вырываются из воды и, сверкнув на солнце, исчезают. Душе моей легко и просторно. Это чувство так полно охватывает меня, что исчезают и лодка, и море, и остаюсь только я да ласковый ветерок. Одним лишь дыханием я плыву по воздуху, то стремительно поднимаясь, то плавно опускаясь. Но вот издалека доносится глухое бормотание, постепенно небо затягивается свинцовыми тучами. Страшный удар грома, и я камнем падаю в воду. Серые волны перекатываются через мою голову. Сквозь их рев я слышу чьи-то крики о помощи, проклятия, женский плач, набатный звон. Что это? Гибель корабля? Пожар? Да, конечно же, это тонет огромный пароход, подожженный молнией. Я хватаюсь за плывущее обгорелое бревно и с невыразимым страхом смотрю на черный дым и багровое пламя, будто вырывающиеся из водной глубины. Скрежет железа, треск горящего дерева, крики погибающих, колокольный звон — весь этот хаос звуков вдруг сразу обрывается, наступает тишина, и в ней, в этой жуткой тишине, где-то далеко возникает скорбное пение. Оно все ближе и ближе. И я смутно начинаю различать черный плот, а на нем, в сумеречном свете, женщину с распущенными, как у русалки, волосами. Только она одна спаслась с утонувшего корабля. Женщина гневно поднимает обнаженные руки к мрачному небу и с воплем бросается в воду, туда, где осталось ее дитя. Еще удар грома — и все стихает.

Так, по мере того как Минолла возвращался на свой

мостик и принимался водить в воздухе палочкой, передо мной возникали удивительные картины, и душа моя то сжималась от страха, то испытывала блаженство покоя, то гневалась, обливалась слезами.

В канцелярии суда я ещё и месяца не прослужил, но все то, что там суенилось, томилось, торжествовало, завидовало, ненавидело, интриговало, подхалимничало, мне ужасно надоело. Я чувствовал абсолютную необходимость отвлечься от всего этого и в первую субботу после получения жалованья отправился в городской сад. В кармане у меня позвякивали «братские» двугривенные, лезть через забор нужды не было, я чинно взял в кассе билет и направился по тополевой аллее к музыкальной раковине. В городе все изнывало от духоты, здесь же недавно политые аллеи дышали прохладой, оживленно лопотали глянцево-белые подбоя тополевые листья, даже томящие запахи цветов на пестрых клумбах не подавляли свежести воздуха.

Все скамьи перед раковиной уже были заняты. Четыре деревянных ложи, на места в которых билеты рассылались местной знати, тоже были полны. Три дня во всем городе со скрипучих тумб-вертушек бросалась в глаза зеленая афиша. Она извещала, что симфонический оркестр под управлением свободного художника Миноллы с участием военного духового оркестра и оркестра железнодорожников исполнит при бенгальском освещении знаменитую увертюру Чайковского «1812 год». Это «бенгальское освещение» сыграло, вероятно, немалую роль в том, что к эстраде невозможно было протиснуться. Обычно здесь сидело не больше двух-трех десятков меломанов¹ в побитых молю тальмах² и в пахнущих бензином потертых сюртуках.

Кое-как мне все же удалось протолкаться к самым перилам, окружавшим скамьи перед эстрадой. И тут, как и тогда, на пристани, я почувствовал внезапное стеснение в груди: в ближайшей к раковине ложе сидела Дэзи. Даже в своем воображении я никогда не видел ее такой обаятельной, как в этот вечер. Я смог заметить только, что на ней было газовое бирюзовое платье и такого же

¹ Меломан — страстный любитель музыки.

² Тальма — устаревшая женская одежда: длинная накидка без рукавов.

цвета бархатная шапочка, на которой при повороте головы что-то загоралось то белым, то голубым, то красным огоньком. Все внимание мое было приковано к лицу девушки. Дэзи что-то просяще говорила своей матери, кому-то небрежно отвечала, на кого-то посмотрела с лукавинкой, чему-то весело засмеялась, но все это было исполнено невыразимой прелести, и, даже когда она сдвигала с досадой свои милые брови, от лица ее будто исходили не видимые глазом теплые, умиротворяющие лучи.

Кроме Дэзи и мадам Прохоровой, в ложе сидели еще «два болвана», как мысленно называл я ветрогона Дуку и толстого черного грека Каламбики, не сводившего с Дэзи масляных глаз.

Вышел Минолла с торжественно-суровым и еще более побледневшим лицом. Он повел палочкой — и увертюра началась. Публика, плотно окружившая скамьи, смотрела то на вдохновенные движения рук дирижера, то на высокого и худого, как жердь, театрального капельдинера Сорокина, известного всему городу тем, что он и афиши расклеивал, и билеты проверял, и на вешалке подрабатывал, и за кулисами, если требовалось то по ходу действия, издавал свист и трели соловья. Теперь он стоял сбоку эстрады с винтовкой за плечами и бенгальской свечой в руке.

В самом патетическом месте увертюры, когда по воле дирижерской палочки грянули все три оркестра и послышался церковный перезвон, Сорокин зажег и высоко поднял бенгальскую свечу. Все вокруг озарилось густо-красным светом. Передав торопливо свечу городовому, Сорокин скрылся за эстрадой и там бабахнул из винтовки. Выстрел был сделан не вовремя, и я видел, как Дэзи удивленно повела бровями. То, что она заметила этот промах, на который, кстати сказать, никто не обратил внимания, меня почему-то очень обрадовало. «Милая!» — невольно шепнул я. Сорокин вернулся, выхватил у городского свечу, потом опять побежал с винтовкой за эстраду и до того разжег публику, что даже слышались выкрики: «Давай еще, Сорокин! Пали! Жги, жги!» Только когда Минолла оглянулся и окинул капельдинера яростным взглядом, тот бросил винтовку и испуганно затоптал свечу. Впоследствии стало известно, что и бенгаль-

ский огонь, и винтовочные выстрелы потребовал от Миноллы член городской управы купец Капустин из «патриотических» побуждений.

Публика медленно расходилась. Сторож вертел на столбах железные ручки, фонари спускались на блоках к земле и гасли. А я все стоял у перил и смотрел на опустевшую ложу. Когда в саду никого уже, кроме сторожа и меня, не осталось, я машинально прошел за перила и опустился на скамью, где недавно сидела Дэзи. Я сидел и с какой-то обреченностью думал, что вот уже сколько лет судьба сталкивает меня с этой девушкой. Но в то время, когда при одном лишь взгляде на Дэзи у меня останавливается дыхание, тяжелеют ноги, я не знаю, как повернуться, куда деть руки, она даже не замечает меня. Да если бы и заметила, то, безусловно, не узнала бы, а только подумала, какое худшее и заморенное существо живет на свете.

— Ты что, ночевать тут собрался? — прервал мои невеселые думы сторож.

Мне это «ты» не понравилось, и я сказал:

— Вот именно. Тащи-ка мне сюда перину да подушку попышней.

— Такая подойдет? — показал мне свою метлу сторож.

Вероятно, разговор вышел бы покрупней, но тут сторож чиркнул спичкой, чтоб раскурить сигарку, и я увидел, как у ног моих вспыхнул голубой огонек. Что такое? Светлячок? Но у него свет призрачный, будто слегка затуманенный. Спичка погасла, погас и голубой огонек. Я нагнулся и нащупал плотный комочек, от которого шла длинная игла. Сунув ее в карман, я сказал:

— Прощай, старик. Я не ведьма, чтобы спать на метле.

И ушел.

На улице под первым же фонарем я вынул свою находку и рассмотрел. Это была булава, которой женщины прикалывают к волосам шляпы. В расширенный конец ее был вправлен прозрачный камушек. Он вспыхивал то красным, то голубым, то оранжевым огоньками. Такие же огни играли и на шляпе Дэзи. Ясно, кто обронил булаву. Я побежал в сторону так хорошо знакомого мне дома. Но тут же сообразил, что Дэзи мне не догнать: экипаж, наверно, уже довез ее с матерью домой. А стучать в дверь

ночью было едва ли удобно. «Ничего, верну завтра», — решил я и пошел к себе домой.

Утром я отправился к Павлу Тихоновичу и показал ему булавку. Он взял лупу и долго разглядывал граненый камушек, зажатый в пасти дракона.

— Ни одной трещинки, — пробормотал он. — В таких делах я не специалист, но, думаю, бриллиант этот чистой воды и стоит немало. А оправка — платиновая. Где вы взяли?

— Разрешите вам не ответить, Павел Тихонович, — сказал я. — Но, разумеется, не украл. Сколько же, по-вашему, стоит эта вещь?

Он пожал плечами.

— Не знаю. Зайдите в ювелирный магазин. Там оценят и даже купят, если захотите продать. Но остерегайтесь. Могут обжулить, дать в десять раз дешевле. Важно знать вот что: если бриллиант стоит, допустим, пятьдесят рублей, то другой, вдвое более крупный, будет стоить уже не сто, а пятьсот или даже больше.

Тут в мастерскую вошел стряпчий, и я поспешил спрятать булавку в карман.

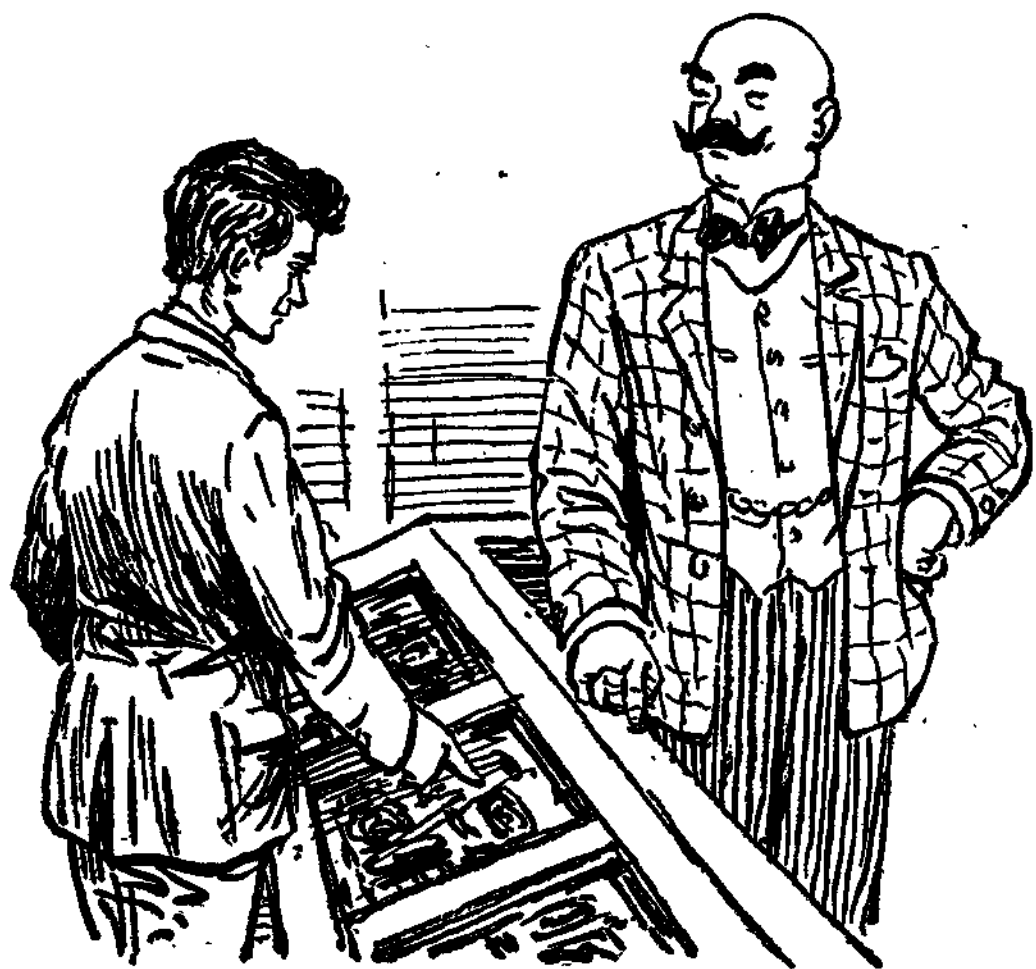
О том, что «дело» нашлось, Павел Тихонович уже знал. Когда три дня назад я принес ему эту весть, он сначала будто обрадовался, потом задумчиво сказал:

— Чувствую, одолеют они меня и на этот раз. Не умею я говорить. Руками, кажется, все на свете сделал бы, не только блоху, как Левша у писателя Лескова, но и малых ее блошенят подковал бы, а связать десятка слов не могу. Куда мне с таким краснобаем, как адвокат Чеботарев, тягаться...

— А вы тоже возьмите адвоката, — посоветовал я. — Хоть бы того же Иорданского. Он дорого не запросит.

Стряпчего не пришлось разыскивать: он явился сам и предложил безвозмездно выступать в суде. «Исключительно из спортивного интереса, — объяснил он. — Очень уж мне хочется притушить адвокатский блеск Чеботарева». — И он принялся досконально изучать дело.

Сейчас он явился, чтоб узнать какие-то дополнительные детали, но расспрашивать о них не спешил. Вместо того принялся рассказывать о себе: как он учился в духовной семинарии, как его за неприличный анекдот об архиерее выгнали всего лишь за три месяца до окончания;



как на радостях, что не придется постригаться в попы, выпил штоф водки и как с тех пор, вот уже двадцать семь лет, никак протрезвиться не может.

Об Иорданском я слышал в нашей канцелярии раньше. Рассказывали, что однажды он судился с Калмыковым, таким же частным поверенным, как и сам. В заявлении, поданном мировому судье, наш стряпчий написал: «...а посему прошу взыскать с сукиного сына, подлеца и жулика Калмыкова в мою пользу семнадцать рублей и пятьдесят копеек». Ругательные слова он благоразумно зачеркнул, но, подписавшись, сделал приписку: «Зачеркнутому верить».

Я оставил стряпчего с его подзащитным, а вечером отправился на Петропавловскую улицу, в ювелирный магазин. На прилавке, под толстым стеклом, сияли кольца, броши, серьги. Чувствуя на себе подозрительный взгляд

владельца магазина, человека с отполированным черепом и крашеными усами, я внимательно осмотрел все драгоценности и наконец показал пальцем на кольцо с бриллиантом чуть поменьше камня на моей находке.

— Сколько стоит?

— А вам примерно в какую цену? — с изысканной вежливостью, явно издеваясь, спросил хозяин.

— Мне бы рублей в пять.

Лысый с деланной беспомощностью развел руками.

— К сожалению, не найдется. У вас не хватает ровно ста сорока рублей.

Я почесал в затылке и вышел.

Итак, моя находка стоит не меньше ста пятидесяти рублей. Есть о чем подумать.

И я думал до рассвета.

Булавка принадлежит Дэзи. Чтобы купить такую дорогую вещь, надо иметь много денег. Заработать их своим трудом Дэзи не могла. Следовательно, булавку купил ей отец. Этот человек совершил бесчестный поступок: он, богач, ограбил бедняка, не доплатив ему за его труд. Разве не будет справедливо, если я булавку продам и верну Павлу Тихоновичу деньги, фактически украденные у него? К тому же эти деньги пойдут на такое полезное для всех дело, как изобретение быстродвижущегося велосипеда. Это так. Но... булавка была утеряна. Я ее нашел. И, хотя знаю, кому она принадлежит, оставлю у себя. Не равносильно ли это краже? Правда, кража эта не корыстная, совершается она во имя справедливости, но допустимо ли восстанавливать справедливость такими способами?

Я поворачивался на другой бок и говорил себе: ну хорошо, допустим, что утаить булавку при таких условиях будет делом хорошим, справедливым, полезным. Но булавка все-таки принадлежит Дэзи. Следовательно, я краду у Дэзи принадлежащую ей вещь. Разве я могу решиться на такой поступок? Почувствовав, что в голове у меня будто разжижаются мозги, я встал, зажег лампу и взялся за перо.

Дэзи, — написал я, — возвращаю Вам булавку, утерянную в городском саду. Я не называю себя — это ни к чему. Я только прошу Вас исправить злое дело, совершен-

ное Вашим отцом в отношении хорошего человека, и тем доставить мне большое счастье — уважать Вас. Человек, обиженный Вашим отцом, есть тот самый тихий и незаметный мастер Курганов, который так чудесно и с такой любовью украсил стены Вашей каюты на пароходе. Ваш отец не доплатил ему больше половины заработка, а свой заработок Курганов хотел обратить на интересное изобретение. Мало того, по жалобе Вашего отца пьяница-судья приговорил Курганова к двухнедельному заключению в арестном доме. Вскоре это дело будет пересматриваться в съезде мировых судей. Я знаю, что Ваш отец исполняет все Ваши желания. Пожелайте же, чтобы он добровольно уплатил бедняку Курганову украденные у него сорок пять рублей и отказался от своей жалобы.

Я переписал записку начисто, вложил ее и булавку в свой пенал, оставшийся у меня от детских школьных лет, и перевязал его шнурком. А рано утром позвонил у знакомого мне подъезда, сунул пенал заспанной горничной, сказав: «Отдайте барышне Дэзи», поспешно ушел.

СОСТЯЗАНИЕ

Главное — принять решение и выполнить его, а там — конец волнениям. Решение я принял и выполнил. Правильное оно или неправильное, перерешать уже поздно. Остается спокойно ждать. Спокойно и хладнокровно. Если избалованная всеобщим вниманием девушка примет возвращение ей утерянной вещи как должное и тотчас забудет о просьбе, с какой обратилась к ней неизвестная личность, то стоит ли омрачаться поведением бездушного существа! Если же по требованию Дэзи Прохоров «дело» прекратит, я всю жизнь буду благодарить счастливый случай с булавкой: он убедит меня, что даже богатство не в состоянии расправиться со всеми человеческими чувствами. Так или приблизительно так думал я, шагая от дома Прохоровых к морскому бульвару. Тут я остановился среди молодых лип у самого обрыва и зачарованно смотрел, как солнце, пытаясь вырваться из воды, выбрасывало в небо огненно-красные пики. Пики вытягивались все выше и выше. Морская гладь заколыхалась, задышала, в ней задвигались, переливаясь, огненно-багровые

блики. Вот оно, солнце, думал я, чудесный кудесник мира, источник тепла, жизни и красоты, гениальнейший художник Вселенной! Занятые своими повседневными делами, мы почти не уделяем ему внимания. Мы поздно встаем и пропускаем самое торжественное и прекрасное зрелище — его восход над землею. Так и уходит незамеченной в сонном городе эта ни с чем не сравнимая красота. Эх, поеду в деревню, учительствовать, буду каждое утро выходить с ребятами в поле навстречу солнцу!

В нескольких шагах от меня стоял белобрысый мальчик лет четырех, босой, в синих выцветших штанишках. Он неотрывно смотрел в одном со мной направлении и неслышно шевелил губами. Даже такого малыша, думал я, и то захватила красота природы.

— Красиво? — спросил я его.

Он прерывисто вздохнул.

Мне захотелось уточнить:

— Красиво-то красиво, а что именно красиво? Ну-ка ответь...

— Сляпочка, — сказал он, и веснушчатое личико его плаксиво сморщилось. — Маньке купили, а мне не купили.

Тут только я заметил, что по обрыву ходит девочка в соломенной с пышным бантом шляпке и рвет траву для привязанной к колышку козы.

Охлажденный таким неожиданным ответом, я вернулся домой, выпил чаю и отправился на службу, в съезд мировых судей.

Моего спокойствия и хладнокровия хватило лишь на несколько часов. Как только кончилась служба и я остался с самим собой, мысли мои опять обратились к Дэзи. Против своей воли я представлял себе, как горничная вносит пенал в комнату своей барышни и недоуменно говорит, что его принес какой-то худющий парень, наверно, посыльный. Дэзи смотрит на старенький облезший пенал брезгливо, даже с опаской, в руки его не берет, а велит горничной унести на кухню и там раскрыть. Горничная уносит, безуспешно пытается развязать шнурок, потом с досадой берет кухонный нож и разрезает узел. И вдруг, прямо из кухни, кричит: «Барышня, барышня! Ваша булавка! Булавка ваша нашлась!» Она бежит в комнату и протягивает Дэзи булавку и записку. Дэзи с любопыт-

ством раскрывает записку, читает и... Но тут мое воображение обрывается. Что отразится на лице Дэзи: недоумение? досада? возмущение? Или холодное равнодушие, скука? Я вспоминаю свое решение не думать обо всем этом и спокойно ждать, но проходит пять — десять минут, и я опять строю догадки.

Так идут часы, дни. Так прошла неделя, потянулась другая... А заявление Прохорова в мировой съезд все не поступало. И, по мере того как приближался день слушания «дела», все назойливей рисовало мое воображение брезгливую гримаску на лице Дэзи, мелкие кусочки разорванной записки на паркете и горничную, старательно выметающую их из комнаты своей барышни.

Тем временем стряпчий энергично готовился к состязанию. Почти каждый день его можно было видеть в мастерской Павла Тихоновича листавшим толстые тома «Свода законов», справочники по столярному делу или «Древнегреческую мифологию». Читая, он все время делал заметки в своей записной книжке в лоснящемся от долгой службы переплете.

Наконец съезд мировых судей приступил к публичному слушанию дела. Не знаю, возымела ли действие заметка в газете, или сыграла свою роль необыкновенная популярность Павла Тихоновича среди простого народа, или заинтриговали любителей судебного производства угрозы стряпчего посадить в калошу блестящего адвоката Чеботарева, но судебный зал в этот день наполнился так плотно, что даже священник, приводивший свидетелей к присяге, еле смог протиснуться. Все мы, служащие съезда, в прямое нарушение служебных обязанностей, бросили свою канцелярию и проникли в зал.

И вот стали друг перед другом близ судейского стола присяжный поверенный Чеботарев в черной фракной паре, в накрахмаленной и до блеска разутюженной рубашке и выдавший виды стряпчий Иорданский в коричневом порыжелом пиджаке, лишь накануне подвергнутому основательной чистке. Чеботарев изредка бросал на стряпчего рассеянно-пренебрежительный взгляд, на который тот с готовностью отвечал наглейшей ухмылкой.

Свидетелей на этот раз было двое: кучер Прохорова, дававший уже показания у мирового, и сторож паровой конторы, вызванный по требованию стряпчего. Когда

тощий попик приводил их к присяге, кучер повторял слова клятвенного обещания нарочито громко и пялил угодливо глаза на попа, сторож же пропускал через густую щетину усов и бороды слова невнятно и коверкал их до неузнаваемости, на что, впрочем, поп не обращал внимания.

Обстоятельства дела доложил своим шуршащим голосом наш живой мертвец — секретарь Крапушкин. Начался опрос свидетелей. Кучер и на этот раз бросал картуз об пол и, крестясь, оглушительно повторял:

— Собственными ушами слышал, как он ругал моего барина, чтоб не сойтить мне с этого места!.. Такими словами ругал, что аж лошадь отворачивалась, чтоб не сойтить мне с этого места!..

— Господин председатель, разрешите задать вопрос свидетелю, — попросил стряпчий.

Председательствующий, статский советник Черкасов, грузный мужчина с изуродованным шрамом багровым лицом, нехотя кивнул.

— Вот вы, свидетель, утверждаете, что даже лошадь отворачивалась. Это ж почему? От застенчивости, что ли?

— Так точно, от застенчивости, потому как лошадь наша не приучена к таким словам, — охотно подтвердил кучер.

— Я прошу суд обратить внимание на двойную абсурдность этих показаний, — сказал стряпчий. — Во-первых, свидетель наделяет животное несвойственными ему чувствами, а во-вторых, сам свидетель, как это известно всему городу, выражается такими словами, особенно когда бывает пьян, что его лошадей уже невозможно ничем удивить. Какова же цена показаниям этого свидетеля?!

Зал грохнул от хохота. Председатель побагровел еще гуще и, заикаясь, прорычал стряпчему:

— Я прошу не ус... ус... устраивать здесь балагана,

Но стряпчий сделал вид, что предупреждение это относится к кучеру, и даже укоризненно покачал головой.

Чеботарев тотчас же пошел на реванш.

— Свидетель, вы можете здесь (на слове «здесь» он сделал нажим) повторить бранные слова, сказанные ремесленником Кургановым?

— Никак нет! — заученно быстро ответил кучер. —

Как здесь присутствует сам государь наш император и которые дамы женского пола, то никак этого невозможно.

Второй свидетель, сторож Дормидонт, смотрел исподлобья, отвечал невпопад, и его совершенно невозможно было понять.

— Свидетель, вы присутствовали во дворе, когда ремесленник Курганов оскорблял господина Прохорова? — спросил его председатель.

— Ась?..

— Я спрашиваю, вы были во дворе, когда ремесленник Курганов ругал вашего барина?

— Я всегда во дворе. На то я и сторож. Там бочки стоят с селедкой, опять же кожа свалена под забором... Мне отлучаться невозможно... Ежели что пропадет, с кого спросят? С Жучки?

— Э, да вы не о том. Я спрашиваю, вы слышали, как Курганов оскорблял господина Прохорова, барина вашего?

— Ась?

— Опять «ась»!.. Вспомните, свидетель, ругался Курганов, вот этот человек (председатель пальцем показал на Павла Тихоновича, молча стоявшего тут же в почтительной позе), или не ругался? Оскорблял или не оскорблял?

— Зачем же оскорблять? Оскорблять нехорошо. Есть, конечно, дураки, которым море по колено. Вот у свата моего, Терентия, племянник... Напьется, непутевый, и ну выражаться... А то и кулаками в стенку стучит... Целый Содом с Гоморрой...

— Свидетель, вы слушайте внимательно, о чем я спрашиваю. Я спрашиваю, вы слышали, как Курганов разговаривал с вашим барином? Что он, Курганов, ругался или нет?

Лицо у сторожа сморщилось.

— Ваше скородие, отпустите меня за ради бога, — сказал он жалобно. — Ну разве это мое дело — в хозяйские разговоры вступать? Приказал мне барин вывести Павла Тихоновича со двора, я и вывел. Вот с кучером Михеем вместе выводили. А за что, про что, это не мое дело... Я пойду, ваше скородие, а то как бы худой человек во двор не пробрался. Там бочки стоят с селедкой, опять же кожа ничем не прикрытая.

— Господин председатель, разрешите задать свидетелю вопрос? — спросил стряпчий.

По лицу председателя катились крупные горошины пота. Он вяло кивнул.

— Свидетель, скажите только одно, — обратился к сторожу стряпчий, — здорово ругал ваш барин Павла Тихоновича или не здорово?

— Как же не здорово? — будто даже обиделся за Прохорова сторож. — Наш барин уж коли ругнет, так будь здоров, по гроб жисти запомнишь.

— Вот это и требовалось знаты! — торжествующе воскликнул стряпчий. — Господин председатель, я прошу занести в протокол показания свидетеля о том, что господин Прохоров оскорблял моего доверителя и делал это, по словам свидетеля, очень здорово.

Чеботарев так и рванулся к столу:

— Господин председатель, я решительно протестую против этого требования господина стряпчего. (Слово «стряпчего» присяжный поверенный произнес с нескрываемым презрением.) Он задал нарочито провокационный вопрос этому темному человеку, и ответ свидетеля при таких обстоятельствах не может быть принят во внимание.

— А я считаю, господин председатель, что протест господина присяжного поверенного не может быть принят во внимание судом. Что же получается? Если богатый человек оскорбляет бедного, то это в порядке вещей, а если на брань богача бедняк отвечает словами человеческого достоинства, то его надо сажать в арестный дом? И кто же защищает такой, с позволения сказать, порядок? Присяжный поверенный Чеботарев, готовящийся баллотироваться в Государственную думу от конституционно-демократической партии. Хорош демократизм у кадета Чеботарева!..

Последние слова стряпчий выкрикнул под отчаянный звон председательского колокольчика и оглушительные хлопки в зале.

От лица Чеботарева кровь отхлынула, губы у него дрожали, глаза с яростью перебегали с председателя на стряпчего, со стряпчего — на хлопавшую публику.

— Поверенный! — рявкнул председатель. — Не смейте касаться здесь политических вопросов! Делаю вам

строгое замечание и предупреждение! А публику прошу не хлопаты! Здесь не театр!

— Слушаюсь, господин председатель, — сказал стряпчий с почтительным поклоном. — Прошу суд принять мои извинения.

Легко извиниться после того, как удар по противнику уже нанесен. И это в зале хорошо поняли: многие ухмылялись, перемигивались.

— Ну, я пойду, — сказал сторож и, не ожидая разрешения председателя, направился к двери. Проходя мимо Павла Тихоновича, он поклонился ему в пояс и с дрожью в голосе проговорил: — Прости меня, Павел Тихонович, что давеча вывел тебя со двора. Не по своей воле сделал это: прости старого пса.

Председатель объявил перерыв, и суд удалился, но в зале никто не двинулся с места: не стесняясь, люди громко разговаривали, перекликались, смеялись. Своим смелым и острым выступлением стряпчий будто развязал обычную сдержанность публики в судебных учреждениях. Да и сама публика, надо сказать, сегодня была необычная.

Когда заседание суда возобновилось и суд перешел к рассмотрению вопроса о неуплате Прохоровым Павлу Тихоновичу большей доли заработка, стряпчий Иорданский показал великолепные познания в орнаментике, греческой мифологии и столярном деле. Он блестяще доказал, что мастер, заменив Бахуса на бочке виноградной лозой, вложил значительно больше труда в порученное ему дело и проявил тонкий вкус, достойный «прекрасной обитательницы каюты, дочери Прохорова, очаровательной мадемуазель Дэзи». Чеботареву ничего не оставалось делать, как требовать, чтобы суд исходил в своем решении из формального признания того, что рабочий не имеет права по своему усмотрению менять характер работы, порученной ему нанимателем, чем бы это вызвано ни было. Во время его речи в зале кто-то сказал чистым ранним баском:

— Вот и пошли такого в Государственную думу. Он тебе напишет законы, останешься доволен.

Председатель тряхнул звонком и приказал нарушителя порядка покинуть зал заседания. Но никто не вышел. И Чеботарев закончил свою речь напыщенными воскли-

цаниями, что демократизм — это одно, а анархия — другое и с нею надо бороться всеми средствами.

Суд опять удалился, и опять из зала никто не вышел.

Прошло, наверно, не меньше часа, прежде чем раздался голос нашего сделанного из папье-маше секретаря:

— Суд идет! Прошу встать!

Председатель, необычно комкая слова, проговорил принятые в таких случаях фразы и еще менее внятно закончил:

— ...а потому съезд мировых судей постановил: решение мирового судьи седьмого участка оставить в силе.

Иорданский вздохнул и развел руками. Некоторое время в зале стояла гнетущая тишина. Вдруг тот же молодой басок сказал:

— Господа царские судьи, а нельзя ли мне отсидеть в арестном доме вместо невинно осужденного вами Курганова? Я молодой и крепкий, а Курганов много поработал за свою жизнь для граждан нашего города, ему это будет трудно.

Председатель фыркнул, что-то пробубнил, и судьи гуськом пошли из зала.

— Будь вы трижды прокляты! — сказала сморщенная старушка и перекрестилась.

— Чтоб вы подошли! — в тон ей отозвался кто-то хрипло.

Сухонький старичок в синей рабочей блузе встал на скамью и бодро сказал:

— Братцы, нам это дело привычное: ежели с кем беда случается, один из нас снимает шапку, а остальные кладут в нее кто сколько может. Поддержим товарища Курганова в его хорошем деле! Ну-ка, подходи! — и подставил кепку.

Со всех сторон к ней потянулись руки.

— Получи и от меня, — сказал крепко сложенный паренек своим свежим баском.

Я взглянул ему в лицо — и вдруг почувствовал, как на меня повеяло чем-то далеким и родным.

— Ильяка! — вскрикнул я. — Ильяка!

Паренек вздрогнул, глянул на меня и удивленно раскрыл рот. Но тут же сдвинул густые брови и резко сказал:

— Никакой я не Илька. Путаешь, браток.

Собранные деньги вручили Павлу Тихоновичу. Принимая их, он сказал:

— Спасибо, братцы. Беру, не отказываюсь. Мне самому ничего не требуется. Но надо ж доказать голландцу, что и у русских есть головы на плечах. А отсидеть — отсижу. Это не позор. Позор тем, кто сажает меня.

Все стали расходиться. Паренек шагнул ко мне и негромко сказал:

— Говори, где живешь. Живо.

— Ярмарочный, шестьдесят шесть, — обрадованно ответил я.



ПОДЛИННОЕ СКВЕРНО

Когда присяжный поверенный и стряпчий стали друг против друга, готовые к состязанию, у меня еще оставалась надежда, что разбирательство дела не состоится. Я ждал, что Чеботарев раскроет свой богатый портфель, вынет из него лист бумаги и зачитает просьбу Прохорова к суду о прекращении «дела». Этого не случилось, и я с горечью почувствовал, что никогда, никогда в течение всей своей жизни у меня не будет к Дэзи уважения. Состояние было такое, будто я утерял что-то драгоценное, без чего жизнь станет неинтересной, скучной, неприятной. Стряпчий делал против Чеботарева один выпад за другим, и с каждым ударом во мне разгоралось мстительное чувство: мне казалось, что моральному разгрому подвергался не только богач Прохоров, точнее, не столько богач Прохоров, сколько его бессердечная красавица дочка. Стало легче, когда я увидел, как живо и согласно выражали люди в зале свое сочувствие Павлу Тихоновичу и негодование по адресу судей. Но все-таки в душе у

меня щемило, и неожиданное появление Ильки было как нельзя более кстати: мне так недоставало жизнелюбиво-го, уверенного в себе товарища! Уже одно сознание, что Илька жив и находится где-то здесь, близко, подняло мой дух. Я почувствовал, что даже походка у меня стала более твердой.

Илька пришел ко мне в тот же вечер. Рядом с домом, в котором мы снимали квартиру, находилась пустошь, заросшая бурьяном. В гуще этого бурьяна мы и засели с Илькой. Начал он с того, что принялся меня ругать.

— Кричишь на весь народ: «Илька, Илька!» Какой там Илька, когда я уже давно Семен. Никакого у тебя понятия о конспирации нет. Вот такому доверь секрет, он сразу всех провалит.

— Но я же, Иль... то есть Семен, ничего о тебе не знал...

— А не знал, так и молчал бы. Или подмигнул бы, что ли. Ну ладно, кажется, все кончилось благополучно. Только вперед будь умней. Рассказывай.

— Что ж тебе рассказывать? Мне рассказывать нечего. Ты сам мне расскажи.

— Чего рассказывать-то?

— Но ведь я не знаю даже, куда вы все пропали. И ты, и отец твой, и Зойка с бабкой. Как в воду канули.

— Ничего мы не пропали. Все живы и здоровы. Только пришлось поменять вывески и местожительство.

— Какие вывески?

— Ну, имя, фамилию... А ты как думал? Сбежать из тюрьмы и спокойно ходить себе по городу?

— Так вы в тюрьме сидели?

— Нет, у жандармского полковника на именинах гуляли. Ты знай про меня одно: я приехал сюда из Калужской губернии на заработки, работаю на металлургическом заводе подручным слесаря, зовут меня Семен, по отцу Захарович, фамилия Сытников. На суд сегодня попал потому, что шел мимо, увидел толпу — ну и завернул. Про тебя я сегодня узнал, что ты в том суде писцом работаешь. Интересно, что ты за птица. Может, такого же полета, как тот присяжный поверенный?

— Чеботарев мне такой же враг, как и тебе, — с достоинством ответил я.

— Ну, тогда мне жалеть не приходится, что вытащил тебя из-под лошадиных копыт и в больницу отправил.

— Так это ты меня спас? — взволнованно сказал я. — И даже не раз, а два раза в один день: и тогда, когда казак замахнулся на меня саблей, и когда меня свалила лошадь!

— Ну, пошел считать! — засмеялся Илья. — Чего доброго, до десяти насчитаешь. — И недовольно сказал: — Не люблю я этих слов: «спас, спас»... Просто выручил товарища — вот и все. А ты б не так поступил?

— Нет, Илья, что там ни говори, а я тебе жизнью обязан, — продолжал я настаивать.

— Ты вот лучше скажи, зачем поступил в такое пакостное место, как суд?

— Это так, временно, отцу в угоду. Я скоро в деревню уеду, учить ребят буду.

— В учителя? В деревню? — Илья пододвинулся ко мне поближе. — Подожди, это интересно. Гм... Даже очень интересно... Ты намгодишься.

— А пригожусь, так берите меня, — твердо сказал я.

— И возьмем, — почти сурово ответил Илья. Он помолчал и уже мягко, по-дружески попросил: — Расскажи, Митя, о себе: как ты это время жил, что делал, о чем мечтал. Худющий ты такой же, как и был. Много думаешь, что ли? Много думать, может, и не обязательно. Индюк тоже думает днем и ночью, а что толку? Все равно его съедят. Надо правильно думать — вот в чем задача.

Я рассказывал о себе все, что мне казалось значительным. Не умолчал и о случае с булавкой. Правда, рассказывая об этом, я опасался, как бы Илья не высмеял меня. Но он отнесся к моему поступку очень серьезно, даже, как мне показалось, сочувственно.

— Я бы, конечно, так не сделал, — сказал он. — Но есть смысл и в том, как ты поступил. Разве заранее угадаешь? Может, твоя булавка и открыла б ей глаза на жизнь. А это было б куда важнее драгоценного камушка. Ну, не вышло, значит, так тому и быть. — Он помолчал и лукаво спросил: — А не та ли это краля, на которую ты засматривался около женской гимназии?

— Та, — признался я.

— Ишь ты! Дело, значит, давнее... — Он опять помолчал, как бы обдумывая что-то, и решительно сказал: — А Зойка лучше! Куда там! Таких, как Зойка, может, и на свете больше нет!

— Где она, ты знаешь? — встрепенулся я.

— Знаю. Но сказать тебе пока не могу. Не обижайся, Митя: не могу, понятно?

— Понятно, — ответил я упавшим голосом. — Я подожду, когда мне будут доверять, как доверяют тебе.

— Подожди, — просто сказал Илька. — Знаешь, как оно поползло все? Одни в кусты шарахнулись и тихонько скулят там, другие к чеботаревым перекинулись... А революция все равно свое возьмет. И поведут рабочих в бой не те, кто в кустах отсиживаются, не ликвидаторы паршивые, а те, кто ни разу не выпустил из рук красного знамени... — Илька наклонился к моему уху и шепотом спросил: — Ты знаешь, кто такой Ленин?

— Знаю, но плохо, — признался я.

— Вот он и ведет рабочий класс. Придется, брат, взяться за тебя. Ты, я вижу, только и знаешь, чему наслушался в своей чайной-читальне. Ну, я пойду, мне некогда. — Он поднялся, но потом опять опустил и странно дрогнувшим голосом спросил: — А знаешь ты, что Зойке жандарм хотел в тюрьме пальцы на руке отрубить?

— Что ты! — в страхе воскликнул я.

— Ага, не знаешь!.. Зойку в тюрьму доставили без сознания, а пальцы ее все равно сжимали красный флажок. Жандарм тянул, тянул за флажок — пальцы не разжимаются... Он вынул саблю и уже вскинул, чтоб рубануть по пальцам, но тут... один арестованный так его толкнул, что он только к вечеру очухался... Ну, прощай, я пошел. Не надо выходить вместе.

На другой день в канцелярию явился Чеботарев и потребовал выдать ему копию вчерашнего заседания суда. Я сел писать. Злоба душила меня, рука плохо слушалась. А тут еще наш табачный машинист подкладывал жару.

— Сволочи!.. — хрипло выбрасывал он ругательства. — Мерзавцы!.. Негодяи!.. Учинить такую расправу! Дико, гадко, скверно!

Все-таки копию я снял. Мне оставалось написать только слова: «С подлинным верно». Но слово «верно» так соблазнительно рифмовалось со словом «скверно»,

что я не выдержал и со злорадством написал: «Подлинное скверно».

— Готово! — сказал я.

Севастьян Петрович взял у меня копию, пробежал ее глазами и не спеша понес к секретарю на подпись.

Я раскрыл раму окна, приготовившись прыгнуть прямо на улицу, если бы вдруг Крапушкин бросился ко мне с линейкой (Тимошку он не раз ею угощал). Но, к моему изумлению, Севастьян Петрович вернулся той же неторопливой походкой и положил копию на стол. На копии под словами «Подлинное скверно» стояла еще не высохшая подпись Крапушкина.

Через некоторое время вернулся Чеботарев, сунул копию в портфель, а в кружку опустил три серебряных двугривенника. Это была плата за мою работу по снятию копии. «Ну, нет, — подумал я, — моя совесть чиста: это не Иудины сребреники»...

Собственно, можно уже было встать, распрощаться с моими сослуживцами и уйти, отряхнув прах от своих ног. Но мне так хотелось увидеть, изменится ли выражение лица у нашей мумии, когда она узнает, под чем поставила свою подпись. И я скоро увидел.

Крапушкин распахнул дверь с треском и стал на пороге, дрожа, как в лихорадке. Даже штаны на нем тряслись. Челюсть его отвисла, глаза выпучились прямо на меня.

— Я... я... тте-бя в тюрь...му бр...брошу!.. — проговорил он, как паралитик.

— Ага! — злорадно воскликнул я. — Значит, вы не из папье-маше?! А в тюрьму мы вместе сядем. Я — за то, что написал: «Подлинное скверно», а вы — за то, что своей подписью засвидетельствовали это.

Чеботарев, выглянувший из-за плеча Крапушкина, выхватил у него из руки мою копию и разорвал на куски.

Тут Арнольд Викентьевич вдруг разразился демоническим хохотом. Хохотал, хохотал да вдруг, размахнувшись, как треснет кулаком по клавишам пишущей машинки.

— К черту!.. — выкрикнул он дико. — К черту!.. К черту!..

Я до сих пор не могу понять, в какой связи со всем этим вскочил облезлый Касьян и, хлопнув ладонью по столу, злобно уставился на Крапушкина:

— А где мои братские, а? Где мои братские, я спрашиваю! Зажилил два рубля семьдесят шесть копеек, чтобы подавился ими! Опять я без штиблет!..

Тимошка от восторга взвизгнул и застучал, как в четке, ногами.

Только Севастьян Петрович продолжал сидеть в своем старом деревянном кресле и спокойно поглаживал длинную бороду. Неужели он знал, что нес секретарю на подпись? О, милый старик!

Я почтительно поклонился совсем обалдевшему начальнику и навсегда покинул это гнусное учреждение.

СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА

Еще месяц назад я послал по надлежащему адресу заявление с просьбой выдать мне свидетельство о политической благонадежности. Без такого свидетельства к экзаменам на звание учителя не допускали. Вернувшись домой после скандала в канцелярии суда, я увидел, что на террасе у нас сидит околоточный надзиратель и листает какие-то бумаги. «Неужто пришел арестовать?» — подумал я, мгновенно связав это посещение со скандалом. Но первый же вопрос, заданный мне полицейским офицером, объяснил, в чем было дело.

— Вы подавали заявление о выдаче свидетельства? — спросил он вежливо.

— Подавал, — ответил я.

— Ну вот, давайте побеседуем. — Он вынул из папки печатный бланк и принялся задавать мне обычные в таких случаях вопросы: имя? отчество? фамилия? сословие? где учился? и прочее. Затем сделал хитроватое лицо и спросил: — К какой партии принадлежите?

— Беспартийный, — ответил я.

— Так, так... А... — Он прищурил глаза. — А какой партии сочувствуете?

— Союзу русского народа, — ответил я вызывающе. (Это была монархическая организация, создавшая погромные черные сотни.)

— Вот как! — одобрительно воскликнул околоточный.

— Именно так, — подтвердил я.

— Значит, на ниве народной решили потрудиться, учителем хотите быть? Похвально.

— Это временно, — небрежно ответил я. — Поучительствую год-два, потом в Петербург уеду. Там у меня двоюродный дядя живет, действительный статский советник. Обещал устроить в министерство народного просвещения инспектором.

Околоточный дернулся на стуле, будто хотел встать, и, подхалимски заулыбавшись, сказал:

— Далеко пойдете, молодой человек, далеко.

— Будьте покойны, — ответил я заносчиво, — до министра дослужусь.

— Ну, дай бог, дай бог.

Уходя, он протянул мне руку и опять сказал:

— Дай бог.

— А что, — спросил я, — вы уже собрали сведения обо мне у соседей?

Околоточный доверительно склонил голову.

— Это секрет, но от вас я не утаю: прекрасные отзывы, прекрасные!

— То-то, — посмотрел я на него строго.

Когда я рассказывал об этом разговоре Ильке, он трясся от хохота:

— До министра, а?! Ну и загнул!

— Это в отместку отцу, — объяснил я. — Он уже сколько лет твердит мне: «Нам министрами не быть». Потому-то и сунул меня в канцелярию суда.

— В отместку или не в отместку, а конспиратор из тебя, пожалуй, выйдет добрый, — похвалил меня Илька. — Ей-богу, ты нам здорово пригодишься в своей деревне.

Экзамены на звание учителя я выдержал удовлетворительно (брат Витя такой экзамен выдержал отлично). Теперь оставалось получить место, что было не так просто. Но и это уладилось: отец, махнувший рукой на мою канцелярскую карьеру, попросил городского голову, своего высокого начальника, замолвить за меня словечко перед инспектором народного образования. Голова замолвил, и я получил назначение в Новосергеевское начальное училище, недалеко от города.

Но до отъезда оставалось еще десять дней, и, чем их заполнить, я не знал.

Илька сказал:

— В городской сад требуются рабочие — сухие ветки

подрезать. Не худо б тебе поработать топориком, а то все пером да пером.

— И то правда, — с готовностью согласился я и на другой же день, одетый в какую-то мешковину, уже взбирался на липы и тополя.

Возвращался я из сада усталый, с непривычки к физическому труду ныло все тело, и все-таки чувствовал себя превосходно, куда бодрей, чем после писания копий в судейской канцелярии.

Однажды, сидя верхом на ветке клена, я увидел идущую по аллее девушку в сиреновом костюме, с пестреньким зонтиком в руке, и чуть не свалился на землю: даже на большом расстоянии я сразу узнал Дэзи. Когда она была уже совсем близко от дерева, на котором я замер, из боковой аллеи выскочил с обеспокоенным лицом прохвост Дука и бросился к девушке:

— Дэзи, вот вы где!.. А я вас ищу!.. Ваша маман сказала, что вы в сад пошли, — и вот я здесь! — Он сделал такое движение, будто хотел эффектно стать на одно колено.

По лицу Дэзи скользнула гримаска досады:

— От вас никуда не спрячешься. Это мучительно. Оставьте меня, пожалуйста, хоть на час.

Дука приложил ладони к груди:

— Но, Дэзи!..

— Подите прочь!.. — гневно выкрикнула девушка, и лицо ее ярко вспыхнуло.

Дука закивал головой:

— Уйду, уйду, уйду. Ваше слово для меня закон.

Кивая, как болванчик, и пятясь задом, он скрылся в аллее, откуда перед этим выскочил. Дэзи стояла, прикусив губу. Грудь ее вздымалась...

Засмотревшись на нее... что скрывать, скажу точнее: залюбовавшись ею, я выпустил из рук топор, и он упал на дорожку. Дэзи вздрогнула и подняла голову к дереву. Мне ничего не оставалось, как спрыгнуть с ветки.

— Ах!.. — вскрикнула девушка.

— Не бойтесь, я не разбойник, хоть и с топором, — угрюмо сказал я.

Но она уже пришла в себя. Видимо, моя одежда из мешковины объяснила ей, что за чучело свалилось с дерева.



*Я чуть не свалился на землю: даже на большом расстоянии
я сразу узнал Дэзи.*

— А я и не боюсь. — Она гордо взглянула на меня. Я хотел пройти мимо и уже сделал несколько шагов, как она окликнула меня.

— Послушайте, вы дровосек?

— Вроде, — буркнул я.

— А вам можно отлучиться из сада?

— Я не привязан.

— Тогда вот что... — Она слегка поколебалась, потом решительно раскрыла бархатную сумочку и вынула из нее маленький розовый конвертик. — Отнесите это по адресу. Я вам заплачу.

Я машинально взял конверт.

— И подождите ответа, — крикнула она мне вдогонку.

На конверте тонкими изящными буквочками было написано: Багрову Алексею Викторовичу, Итальянский переулок, 7.

Так вот кто адресат! Этого студента Петербургского университета, сына доктора Багрова, я знал, как знали и многие в городе: он печатал свои стихи в местной газете, декламировал их со сцены на концертах литературно-художественного кружка, писал в петербургские «Биржевые ведомости» коротенькие живые корреспонденции о местной жизни. Лицо у него было смуглое, с еле заметными рябинками, волосы черные, глаза диковатые, цыганские. Барышни и, особенно, дамочки были от него без ума, но он, говорят, никому не отдавал предпочтения и был со всеми одинаково сдержан и даже суров. Я нашел его во дворе, под густой шелковицей, с книжкой в руке.

Прочитав записку, он сказал:

— Передайте, сейчас приду, — и полез в карман.

— Спасибо, мне уже заплатили, — буркнул я.

— Ничего, возьми еще.

— А я вам говорю, что мне уже заплатили! — раздельно отчеканил я каждое слово и пошел со двора.

Дэзи сидела на скамье вблизи того места, где я свалился с дерева. Не доходя нескольких шагов, я остановился и сказал:

— Сейчас придет.

Дэзи раскрыла сумочку.

— Мне уже заплатили, — предупредил я.

— Ничего, возьмите еще.

— А я вам говорю, что мне уже заплатили! — ответил я так же резко, как и студенту.

Она удивленно взглянула на меня, и лицо ее вспыхнуло румянцем оскорбления:

— Простите, — сказал я тихо и отошел.

Показался студент.

С тех пор я еще два раза видел их вдвоем — на той же скамье, в ту же пору дня. Проходя мимо, я слышал, как он глухим голосом декламировал ей стихи. Она вертела зонтик и молча слушала, глядя на носочки своих туфелек.

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж... —

доносилось до меня.

Накануне своего отъезда в деревню я, одетый уже в учительскую форму, то есть в костюм с золотыми пуговицами и бархатными темно-синими петличками, опять пришел в сад. Перед тем как надолго покинуть город, я прощался со всеми своими любимыми уголками. И вот здесь, сидя на садовой скамейке, я стал невольным свидетелем разговора, который вели Дэзи и студент. Они сидели на другой скамье, отделенной от моей густыми кустами акации, и, конечно, меня не видели.

— Почему вы мне всегда декламируете чужие стихи? — спрашивала Дэзи с ноткой раздражения. — Игоря Северянина, Бальмонта, Андрея Белого я и сама могу прочитать по книгам.

— И мои стихи вы можете сами прочитать: они печатаются... гм... в местной газете. — Последние слова студент произнес иронически.

— Но вы же другим декламируете их?

— Другие лучших стихов и не заслуживают. Вот если напишу что-нибудь настоящее, в чем, однако, сомневаюсь, то и без просьбы прочту вам, и только вам.

— Тогда, может быть, будет уже поздно. Меня выдают замуж — не до стихов будет.

— Вот как! — глухо воскликнул студент. Он долго молчал, потом спросил: — А за кого же — не секрет? Уж не за дурака ли этого, Дукало?

— Нет, не за Дукало. За Каламбики.

— Да-а, это жених! Одной земли у него больше пяти тысяч десятин. А домá! А конный завод! Словом, ваш папаша — мужичок не промах. Или это мать облюбовала такого себе зятя?

— Оба, — вздохнула Дэзи. — Но больше, конечно, настаивает отец.

— А вы не выходите!

— Как же это сделать? Уж не вы ли поможете мне в этом?

— Я б помог, да теперь, кажется, не в моде увозить чужих невест из-под венца.

— А я бы с вами и не уехала, — гордо ответила Дэзи. — Знаете что, прочтите мне еще раз Северянина и идите. Я сегодня хочу побыть одна. А завтра опять приходите.

— Хорошо, прочту. Но завтра я не приду. Мне надо перечувствовать наедине все, что вы сейчас сказали. Приду перед отъездом в Петербург. Прямо к вам в дом. И, если застану там этого жирного грека с маслеными глазками, то, уж извините, такие ему стихи прочитаю, что его кондрашка хватит. Так Северянина? Ладно, слушайте.

И начал читать стихи, которые я уже дважды слышал:

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж,
Королева играла в башне замка Шопена —
И, внимая Шопену, полюбил ее паж,

Студент ушел. Я хотел тоже уйти, но мстительное чувство подхватило меня, и я не заметил, как оказался перед Дэзи.

— Вы упиваетесь стихами о море, об ажурной пене, — прерывающимся от волнения голосом сказал я. — По этому морю вы прибыли сюда в каюте, отделанной для вас честным бедняком. Что ж, упивайтесь! А бедный мастер за то хорошее, что сделано для вас, сидит теперь в арестном доме. Вас выдают замуж за грузное кабанообразное животное. Так вам, бездушному существу, и надо!.. Так вам и надо!..

Увидя меня перед собой, Дэзи удивленно подняла голову. Но, по мере того как я говорил, от лица ее все силь-

нее отливала кровь. Когда я кончил и шагнул, чтоб уйти, она вскочила и приглушенно воскликнула:

— Кто сидит в арестном доме? Кто?

— Будто вы не знаете, — язвительно сказал я. — Кто же, как не Курганов, замечательный мастер, обруганный и ограбленный вашим отцом.

— Не может быть! — сказала она, еще более бледнея. — Отец обещал мне не трогать его! Не может быть...

— Как! Вы просили отца?.. — ошеломленно спросил я.

— Боже мой, он дал мне слово, он дал мне честное слово уплатить деньги и взять свою жалобу из суда. Какая низость!

— Дэзи!.. — чуть не задохнувшись от радости, крикнул я. — Так вы просили его!

— Я требовала от него, я взяла с него слово! Он гадко, подло обманул меня! Но... Но кто вы? От кого все узнали? Мне ваше лицо будто знакомо. Как странно... Кто вы?.. Кто вы?

— Кто? Самый счастливый человек на свете — вот кто! — сказал я, радостно смеясь. — Прощайте, Дэзи. Будьте счастливы, как счастлив сейчас я.





П О В Е С Т Ь Ч Е Т В Е Р Т А Я В НЕОСВЯЩЕННОЙ ШКОЛЕ

НА ПОРОГЕ К ДЕЛУ

С улицы приглушенно доносится лай, а в школе тишина такая, что слышно, как возятся, шурша и попискивая, мыши под полом. В классе и в кухне темно, в моей же комнатухе горит на столе жестяная лампа. Стекло на ней хоть закопчено, но читать можно. И я, лежа в кровати на колючем соломенном тюфяке, читаю до тех пор, пока не зарядит в глазах. Тогда я одеваюсь и выхожу на улицу. На улице кромешная тьма, непролазная грязь и холодный морозящий дождь. Все собачьи голоса слились в один переливчатый несмолкаемый лай. Наверно, в этой черной тьме, что окутала деревню, собак охватывает жуть, и они, перекликаясь, подбадривают себя. Жутко и мне. Постояв несколько минут, я возвращаюсь в комнату и опять берусь за книгу.

Вот уже месяц, как я в деревне. Здесь много кирпич-

ных домов, крытых железом. Но есть и мазанки с камышовыми крышами. Возникла деревня совсем недавно, а как это произошло, мне и теперь не ясно. Знаю лишь, что здешние крестьяне жили раньше в деревне Лукьяновке. Они вышли из общины, продали свои наделы и перебрались сюда, на землю богатого помещика Алчаковского. Сам помещик жил в Петербурге. Крестьяне послали к нему своих уполномоченных и при посредстве банка купили землю. Часть денег уплатили наличными, остальное выплачивают еще и теперь. Между крестьянами идут беспрерывные распри. Почти каждую неделю около школы собирается сход, и я из своей комнаты слышу галдеж. Говорят все разом, и каждый старается перекричать другого. Если на короткое время наступает тишина — значит, читается какая-то официальная бумага или оглашается раскладка платежей. Но как только чтение прекратится, гвалт возобновляется с еще большей силой. Смолкают все и тогда, когда начинает говорить Наум Иванович Перегуденко, грузный мужик с вечно помятой седой бородой и заспанными глазами. Говорит он не спеша, лениво и негромко, уверенный, что даже самые строптивые будут прикладывать к уху ладонь, чтоб все слышать, и всегда заканчивает одной и той же фразой: «Вот так, добрые люди, и никак иначе». После этого кто вздохнет, кто сплюнет, и все молча разойдутся по домам. О чем шел спор, я не знаю. Да особенно и не старался узнать: меня одолевали свои заботы.

Но расскажу по порядку.

Перед тем как отправиться в деревню, я зашел к инспектору народного образования. Из маленькой передней вели две двери: одна — в канцелярию, где сидел делопроизводитель, а другая — в квартиру инспектора. Обе двери были открыты. Длинноносый, со скучным лицом делопроизводитель что-то строчил, брезгливо вытягивая губу, а инспектор лежал в гостиной на диване с книжкой в руке. Если делопроизводитель был похож на болотную птицу, то инспектор с его коротким тупым носом и тяжелой челюстью сильно смахивал на бегемота. Увидя меня, инспектор недовольно крикнул, сполз с дивана и, не выпуская из руки книжку, прошел в переднюю.

— Что вам, господин Мимоходенко? — спросил он с плохо скрываемой досадой.

— Вы приказали явиться к вам перед отправлением к месту службы.

— А, да... Гм... Значит, вы отправляетесь?.. Гм... — Тусклые глаза его оторвались от книжки, на обложке которой я успел прочитать: «А. Вербицкая. Ключи счастья», и с неудовольствием оглядели меня. — Очень уж вы... гм... тощий и мелкий. Опасаюсь, что вас ученики бояться не будут...

— А разве они должны бояться? — с недоумением спросил я.

Инспектор оттопырил презрительно губу (делопроизводитель, делая то же, видимо, подражал своему начальнику).

— Вот все вы, молодые, рассуждаете одинаково: ученики должны учителя уважать, любить, но не бояться. А чем кончаете? Тем, что ставите на колени и дерете за уши. Мало любить, мало! Должны бояться. Иначе у вас получится не класс, а шайка разбойников, бедлам. Будут бояться — и за уши не понадобится драть. С самого начала установите строгость. Ну, поезжайте. — Он протянул мне пухлую руку, вяло пожал мою и направился к дивану, на ходу углубляясь в «Ключи счастья». — Да, вот еще что, — повернулся он ко мне. — Когда будете объяснять ученикам разницу между буквой и звуком, то спрячьтесь за доску и постучите мелом. «Вот это, скажите, — звук». А потом напишите на доске букву и скажите: «Вот это — буква». Так они скорей поймут. У меня это подробно изложено в диссертации. Вы ее читали? Нет? Как же вы едете учить ребят грамоте, не прочитав моей диссертации?

Я обещал прочитать.

— Вот-вот, — сказал инспектор и на ходу опять уткнулся в книгу.

С этими двумя указаниями — вести себя строго и спрятаться за доску — я и отправился в деревню Новосергеевку.

Новосергеевка находилась в десяти верстах. Я быстро шагнул и скоро вышел за город. День был чудесный: стояло «бабье лето», время, когда солнце не печет, а ласкает, небо светится голубизной, в прозрачном воздухе плавают серебристые паутинки. Я шел по мягкой дороге, и мне припоминалось, что все окружавшее меня было описано

Чеховым в повести «Огни»: и ветряная мельница на углу городского кладбища, и заброшенное четырехэтажное здание бывшей мукомольни, в котором «сидит эхо», и плешивая роща, и синее море слева дороги, и бесконечная степь справа ее. Мы годами топчем наши улицы, видим одни и те же дома, одних и тех же людей, даже одних и тех же сеттеров и болонок, а оказывается, нужно потратить лишь полчаса и выйти за город, чтобы перед нами открылся совсем иной мир...

За двадцать лет в этой пригородной полосе возникли лишь два кирпичных здания: одно — двухэтажное, с густой сетью проводов над крышей, другое — маленькое, с крошечным двориком. В большом, как говорили, работала радиостанция, но толком мало кто знал, что это за новшество такое, в маленьком жил заведующий с техниками. Оба здания стояли прямо в степи, видны были издалека и вызывали у прохожих и проезжих смутно-тревожное чувство — и тем, что люди обитали в стороне от других жилищ, и тем, что какими-то таинственными способами они переговаривались с невидимыми кораблями. Мог ли я предполагать, что всего четыре года спустя вся эта местность изменится до неузнаваемости, что на ней вырастут огромные заводские корпуса с трубами до небес, что оба здания окажутся на территории завода, а их «таинственных» обитателей просто-напросто вытурят, чтобы разместить здесь главную контору завода. Не знал я, конечно, и того, какие приключения готовила мне здесь судьба.

Я все дальше и дальше уходил от города, миновал ничем не огороженное сельское кладбище, с наклонившимися деревянными крестами, наверно уже заброшенное. За кладбищем девчата в повязанных по самые брови платках ломали кукурузу. При виде меня они принялись пересмеиваться. Обычно, чувствуя на себе взгляд девушки, я смущался, не знал, куда девать руки, с досадой замечал, что шаг у меня делается неровный, как у пьяного. Но сейчас, под влиянием этого благодатного солнца, свежего воздуха, запаха степных трав, я наполнился какой-то жизненной силой, осмелел и на смешки девчат ответил тоже смехом.

— Девчата, а скоро ли будет Новосергеевка? — спросил я.

— Новосергеевка? А вон она, вон! — дружно ответили

они, показывая руками в сторону, где виднелись белые дома под железными крышами. — Вам на какую улицу? Вы до кого? Вы, бывает, не землемер?

— Нет, не землемер. Я учитель.

— Учитель? — Девчата недоверчиво оглядели меня. — Вот у нас был учитель в Лукьяновке: с бородой, в очках, с линейкой. А вы еще совсем хлопчик. Вас диты и слухаться не будут.

«И эти туда ж!» — подумал я и сказал:

— Я тоже бороду отпущу и линейку заведу.

Девчата так и прыснули:

— Та вона ще у вас и не ростэ, та борода! А линейку хлопчики отнимут и поломают.

Я решил уйти от этой темы и спросил:

— Зачем вы платки повязали так низко? Теперь уже солнце не печет. Да и не узнать, какая из вас брюнетка, а какая блондинка.

— А вам яки больше нравятся? — кокетливо спросила та, что звонче всех смеялась — круглолицая и кареглазая.

Чтоб поддержать шутливый тон, я сказал:

— Брюнетки. Но ничего не имею и против блондинок. Шутка была вознаграждена дружным смехом.

— Так выбирайте! Мы зараз платки поснимаемо. Выбирайте, яка больше по сердцу.

Я сделал вид, что испугался, и быстро зашагал от девчат.

— Тикайте швыдче! — кричали они мне вслед. — А то догоним и оженим!..

Деревня расположилась между берегом моря и шляхом. Дойдя по шляху до средней улицы, я увидел в другом конце ее кирпичное здание, стоявшее чуть особняком от других домов, и догадался, что оно-то и есть школа. По мере того как я продвигался к нему, из дворов выскакивали кудлатые собаки и бросались на меня со злобным лаем, то поднимавшимся до визга, то падавшим до хрипа. Я долго шарахался в разные стороны улицы, пока мне на выручку не прибежал босоногий мальчишка, весь коричневый от загара. Он вытянул из плетня хворостину и, грозя ею собакам, закричал: «Пишлы, шоб вы здохлы, прокляти!»

Школа была совсем новой постройки, даже пахло еще известью. На дверях висел замок, и я ограничился тем,



Деревня расположилась между берегом моря и шляхом.

что обошел вокруг здания. В окнах виднелись парты, поставленные одна на другую до самого потолка.

— У кого же ключи? — спросил я мальчика.

— А у Кигтенки.

— Он кто, сторож?

— Не. Попечитель. Позвать?

— Лучше уж я к нему. Веди.

До усадьбы Кигтенко было рукой подать. По узенькой тропинке вдоль оврага, врезавшегося в самую деревню, мы прошли к каменному дому с занавесками на окнах. Во дворе и под навесом стояли брички, дроги, веялка, лобогрейка. Через открытые двери добротной конюшни видны были две рослые, до лоска вычищенные лошади. Хозяин, человек с круглым бабьим лицом, без намека на талию в фигуре — прямо мешок муки на двух коротких тумбочках, стоял у кормушки и чинил хомут. Узнав, что я учитель, он приветливо сказал:

— Милости просим. Только не рано ли вы приехали? Дети еще гусей пасут.

В селах нашего края говорят на смешанном русско-украинском языке, он же говорил по-русски относительно чисто.

— Занятия в школах должны начинаться в установленный срок, — возразил я.

Попечитель удивленно взглянул на меня:

— А кто же будет гусей пасты, коз? Покуда с хозяйством не управимся, с календаря хоть и не срывай листки.

Он сходил в дом за ключами, и мы отправились осматривать школу. Кухня, маленькая комната для учителя и большой класс — вот вся школа. А в ней парты, доска, стол и табурет — все некрашеное.

— Вот вам совет, — сказал попечитель: — езжайте домой, а дней через десять мы придем за вами подводу. К тому времени и кровать в комнате поставим.

Подошло еще несколько человек, и все подтвердили, что, покуда гуси пасутся, хозяева не пошлют детей в школу.

Мне ничего не оставалось, как вернуться в город.

Дома сидеть было скучно, а ходить по улицам опасно: наткнешься где-нибудь на инспектора — доказывай ему, что, пока гуси пасутся, о занятиях в школе не может быть и речи. Но выйти нужно было обязательно, чтобы поста-

вить Ильку в известность, в какую деревню я послан учительствовать.

Однажды, сидя у окна, я увидел, что мимо прошел Миша Проценко. Он учился в одном со мной классе, участвовал в любительских спектаклях и нередко заходил ко мне загримированный то дьячком, то лихим казаком, то китайцем. Я выскочил на улицу и окликнул его:

— Миша, голубчик, загримируй меня!

— Кем тебя загримировать? — нисколько не удивился он такой просьбе.

— Кем хочешь, лишь бы меня никто не узнал.

— Пожалуйста, ничего не стоит.

К вечеру я уже был ярким блондином с пышными усами и бородкой клинышком. Я так осмелел, что отправился на многолюдную Петропавловскую улицу, где в вечерние часы обычно прохаживался, заложив руки за спину, сам инспектор. И повстречал его, как только сделал несколько шагов среди нарядной публики. Но он едва скользнул по мне взглядом. И вообще никто не обращал на меня внимания, даже знакомые. Лишь двое подвыпивших шалопаев в студенческих тужурках загородили дорогу и принялись разглядывать меня, как какой-то музейный экспонат. Один сказал:

— Как ты думаешь, что это за гибрид?

Другой с видом знатока ответил:

— Это помесь *Iacerta* и *arvicola terrestris*¹. Довольно редкостный экземпляр.

Следующие два дня я потратил на то, что прохаживался около металлургического завода в надежде увидеть Ильку. «Должен же он появиться наконец, коль работает на заводе», — рассуждал я. Завод поглощал и выбрасывал сотни рабочих, а Ильки все не было. Показался он только на третий день. В синей блузе, с увязанным в красный платочек завтраком в руке, — ни дать, ни взять настоящий рабочий, — он шел прямо на меня. По всем правилам конспирации я сделал вид, будто всматриваюсь куда-то в даль, то ли в кувыркавшихся в небе голубей, то ли в бумажного с трещоткой змея, а сам настороженно ждал, когда Илька поравняется со мной, чтоб подмигнуть ему и шепнуть два слова. Но ни подмигнуть, ни шепнуть

¹ Помесь ящерицы и водяной крысы (латинск.).

я не успел. Поравнявшись, Илька сказал: «Ну и дурак!» — и прошел дальше тем же ровным шагом к заводской проходной.

Некоторое время я стоял с раскрытым ртом. Потом меня охватила досада: там — «гибрид», здесь — «дурак». Что же это в самом деле! Я забрался в чей-то палисадник, стащил с головы парик, сорвал усы с бородой и зашагал домой.

Ночью, когда я, растревоженный, ворочался в постели, в окно осторожно постучали. «Илька!» — с радостью и смущением догадался я и, в чем был, выскочил на улицу. Так и есть: в темноте, под акацией, еще не обронившей листы, стоял мой приятель.

— Пойди оденься, конспиратор, — буркнул он.

«Конечно, сейчас он устроит мне баню. Но за что, за что?» — думал я, наскоро одеваясь.

Мы зашли в наш двор и уселись в сарайчике на pile-ных дровах.

— У тебя как, варит котелок? — начал Илька. — Натянул парик, приклеил бороду — и ну вышагивать у самой проходной. И хоть бы ночью, а то днем, когда последнему дураку видно, что борода фальшивая. Я еще не успел дойти до завода, как меня наши предупредили: держи курс на зюйд-вест — около завода бродит переодетый шпик. Два дня я от «шпики» прятался, а на третий, когда издали увидел, что за скелет прицепил себе бороду, сразу догадался: да это ж мой дорогой Мимоходенко желает встретиться со мной и выказывает чудеса конспирации. Эх, ты!

Илька презрительно сплюнул.

Я виновато молчал.

— Ну ладно, — примирительно сказал он, — говори, зачем я тебе понадобился.

Тут я обрел наконец голос:

— Как — зачем? Ведь ты же сам говорил, что я пригожусь вам в деревне. Вот я и решил разыскать тебя и сказать, в какую именно деревню меня назначили. Я хотел сделать как лучше, а ты ругаешься.

— А в какую ж тебя назначили?

— В Новосергеевку, десять верст от города.

— Гм... Десять верст... С одной стороны, будто дело подходящее, а с другой... Гм... Ты там уже был?

— Был.

— Ну и как?

— Что — как?

— Ну какой там народ, много ли бедняков, есть ли батраки, в какую сторону смотрят, о чем толкуют?

— Да я там и часа не пробыл. Откуда мне все это знать?

— Кому интересно, тот и за час все узнает. Как же тебя не ругать! Ну, а почему ты был там только час?

Когда я все рассказал, Илька задумался:

— Так, говоришь, крыши железом крыты? И дома кирпичные?

— Есть и мазанки, крытые соломой. Но кирпичных домов больше.

— Так, так... Значит, есть и богачи, и бедняки, и батраки. Добре, Митя, я завтра опять к тебе заверну, и тогда уж получишь полную инструкцию действий, а теперь пойду. Как бы, сволочи, не выследили... Работает у нас в заводе один подозрительный тип, — что-то он стал присматриваться ко мне. — У калитки Илька обнял меня и неожиданно ласково сказал: — Не серчай, Митюшенька, ты же знаешь, я тебя люблю, как брата родного. А что поругал, так это у меня такой характер. Кстати, ты не заметил, есть в вашей деревне бакалейная лавочка?

— Не обратил внимания.

— Жаль. Ну ладно, до послезавтра.

«Зачем ему лавочка понадобилась? — думал я, ложась спать. — Этот Илька всегда загадки загадывает. Да еще говорит «кстати». При чем тут «кстати»? Лишь бы запутать».

В назначенное время мы опять встретились и уселись в сарайчике на пиленых дровах.

— Значит, так: лавочки в вашей деревне нет. До города рукой подать — так все делают закупки здесь. Нет лавочки, — решительно повторил Илька и прихлопнул ладонью по колену, будто от удовольствия.

— Откуда ты знаешь? — удивился я.

— Подумаешь, трудная задача! Новосергеевские каждый день на базаре. Спросил одного, другого — они и открыли мне эту военную тайну. Так-то, брат.

— Да что ты все о лавочке?

— А то, что хоть ее нет, но она будет. И вот тебе на-

ша инструкция: вступай ты с лавочником в непримиримую вражду. Уличай его в том, что он сбывает гнилой товар, продает ученикам тетради из паршивой бумаги, разбавляет чернила водой, — словом, наживаетея, подлец. Заглянет урядник — жалуйся на него уряднику, наедет старшина — жалуйся старшине. Пусть все начальство, все богатеи знают, какой паук свил в лавочке паутину.

— И это все?

— Покуда все. В свое время получишь новую инструкцию, а теперь езжай в свою деревню и принимайся учить ребят уму-разуму.

Илька встал, намереваясь уйти, но я его задержал:

— Подожди, я не понимаю. Выходит, вся надежда на начальство и богатеи: это они должны укротить лавочника-обдиралу? Это к ним я должен обращаться за справедливостью? По-моему, партия так вопрос ставить не может. Тут что-то не так.

— Гм... А ты, брат, соображать стал. Конечно, партия рабочего класса за справедливостью к начальству и богатеям не пойдет. Но ты все-таки делай так, как я сказал. В свое время поймешь, где собака зарыта. Ну, будь здоров. Меня не ищи: надо будет, я сам тебя найду.

Илька ушел, и я вдруг почувствовал, что совершенно не в состоянии сидеть сложа руки в ожидании подводы. «Завтра же вернусь в деревню, — решил я, хотя и не знал, чем заняться в школе, пока ребята пасут гусей. — Э, там видно будет!»

На рассвете следующего дня я уже шагал по знакомой дороге. Стоял густой туман, и заброшенная мукомольня с пустыми прямоугольниками окон и дверей выступала из белой мути фантастической и страшной. Мне стало не по себе. Но к тому времени, когда я дошел до Новосергеевки (а шел я около двух часов), туман рассеялся, красное солнце заблестало на мокрых листьях деревьев, разлилось по крышам домов. Я почувствовал себя бодрее, даже на воинственный лад настроился. Во всяком случае, когда кудлатый старый пес, высунувшись из-под ворот, захрипел на меня, я поднял камень и свирепо сказал: «Пишов, шоб ты здох!» В том же настроении я вошел во двор попечителя.

— Как, вы уже вернулись? — приветливо улыбнулся толстяк. — А ребята еще гусей пасут.



— Василий Савельевич, объявите всем, чтоб шли записывать детей. Кого сегодня не запишут, я их потом уж не приму. Так пусть и знают, — решительно заявил я.

К моему удивлению, попечитель сразу же согласился:

— И правильно. Время идет — потом не догонишь. На что было и школу строить? Гуси гусями, а азбука азбукой. Сейчас пошлю загадывать. Прасковья! — крикнул он в окошко. — А ну швыдче сюды! — И, понизив голос, объяснил: — Я вам уже и сторожиху присмотрел: женщина одинокая, набожная, тверезая. Что школу убрать и печь истопить, что послать куда. Вроде ординарца при вас будет или, сказать, денщика, — улыбнулся он своей шутке.

— Вы что же, на военной были? — догадался я.

— А как же! Шесть лет царю-батюшке отслужил. В чине унтера на сверхсрочной оставался.

На пороге показалась пожилая женщина в поношенном черном платье, белобрысая, лицо круглое, без бровей, без ресниц. Она поклонилась мне в пояс и сладким голосом, нараспев, сказала:

— Вот и хозяин мой приехал, сокол мой. Будем жить в ладу, в смирении. Бог нас не оставит.

И сразу не понравилась мне: «Монашка, что ли?»

Прасковья взяла кнут и, странно подпрыгивая на ходу, будто брыкаясь, пошла «загадывать», а мы с попечителем направились в школу.

Не прошло и получаса, как скрипнула дверь и по-пра-

здничному одетый мужчина, улыбаясь в прокуренные усы, ввел того самого коричневого от загара мальчишку, который спасал меня от собак. Следом пришла женщина и привела беленькую девочку, стыдливо закрывавшую рукавом лицо. А еще немного времени спустя у стола, за которым я записывал своих будущих учеников, образовалась уже очередь. Вот вам и гуси! Словом, к двенадцати часам все шестьдесят семь детей и подростков деревни в возрасте от девяти до четырнадцати лет были уже записаны. «Что значит проявить решительность и настойчивость», — подумал я. От меня не ускользнуло, конечно, что кое-кто из родителей поглядывал на безусого и тощего учителя с сомнением: куда, мол, ему справиться с такими рослыми ребятами. Ладно. Пусть сомневаются, а я пойду своей дорогой. Главное — не отступать, а делать то, что считаешь правильным. Вот только бы не ошибиться, что правильно, а что неправильно.

Кровать мне в комнату еще не поставили, и первую ночь я провел в классе на сиденьях двух сдвинутых парт, положив под голову кулак. Долго я ворочался на своем жестком ложе, пока наконец заснул. А проснулся от назойливого шума и крика. Открыл глаза — рассвет, выглянул из окна, а перед школой полчище ребят. Там с криком: «Мала куча! Дави сало!» — барахтаются друг на друге, здесь прыгают в чехарде через согнутые спины, кто вертится на одной ножке, кто ходит на руках. Свист, гоготанье, смех, плач. И этакой-то оравой я должен овладеть, заставить слушаться даже тех, кто ростом на полголовы выше меня. Что-то похожее на робость прокралось ко мне в сердце, даже будто пол качнулся легонько подо мною. Но тут же я вспомнил любимую поговорку отца: «Не так страшен черт, как его малюют», наскоро умылся и вышел на крыльцо. Те, кто был ближе, сразу умолкли. Постепенно утихли и остальные. Без особого труда я расставил всех по росту в одну шеренгу. На правом фланге оказался паренек богатырского сложения Надгаевский Семен, а на левом — мальчик с пальчик Надгаевский Кузьма.

— Да тебе сколько лет? — спросил я малыша, тщетно пытаюсь вспомнить, записывал его или нет.

— Семь, — ответил он.

— Но ведь семилетних в школу не принимают. Я записывал только с девяти лет.

— А я сам присол. Взял и присол, — сказал он и так доверчиво посмотрел на меня своими ясными глазами, что у меня не хватило духу отослать его домой.

Он-то и вошел первым в школу. За ним двинулись остальные. Последним вошёл и занял место за крайней партой Надгаевский Семен. Началась перекличка. Из шестидесяти семи учеников только Надгаевских было ни много ни мало — тридцать пять, причем двое были Семены и двое Кузьмы. Чтоб не путать их, я сказал, что богатыря и мальчика с пальчик буду звать по имени-отчеству, то есть Семеном Панкратьевичем и Кузьмой Ивановичем. Такое мое решение все приняли с веселым смехом и явным одобрением.

Я рассказал ребятам, как вести себя в классе, потом принялся выяснять их знания.

И с первого же дня занятий попал в тот мучительный тупик, из которого не мог выбраться целый месяц. Оказалось, что не менее полутора десятка ребят уже умели читать и писать. Они ходили в соседнюю деревню и там учились грамоте у какой-то старушки. А я имел предписание инспектора открыть только первое отделение, и, значит, грамотные ребята должны были вместе с неграмотными писать палочки с хвостиками и учиться делить слова на звуки, а звуки соединять в слова.

Тогда я видел в этом лишь нелепость, бессмысленную трату времени пятнадцатью ребятами, которые по своему возрасту должны были уже кончить школу, и не подозревал, как эта нелепость отзовется на занятиях всей школы. Отпустив ребят, я немедленно отправился в город, к инспектору.

И вот опять тесная прихожая: слева — птицеобразный делопроизводитель, справа — гостиная с диваном и возлежащим на нем инспектором. И тот же вопрос занятого человека, которого беспокоят по пустякам:

— Что вам, господин Мимоходенко?

Еще по дороге я обдумал, как короче и яснее изложить суть дела. Инспектор слушал, стоя одним боком ко мне, а другим к дивану, и на лице его были та же скука и та же досада, что и в прошлый раз.

— Нет, нет, господин Мимоходенко, никакого второго отделения. Бог знает, чему их обучали в частном порядке. Школа — учреждение государственное.

— Так что же с ними делать, господин инспектор? Ведь некоторые из них даже для третьего отделения вполне пригодны.

— Не имеет значения. Все должны обучаться по установленным государственным программам. До свидания, господин Мимоходенко, до свидания.

Так же вяло сунул мне руку, так же уткнулся в книгу на ходу к дивану, только на обложке ее стояло уже не «Ключи счастья», а «Санин» Арцыбашева.

Я вернулся в деревню и принялся обучать грамоте всех ребят подряд по государственной программе для первого отделения.

И вот что получилось.

Когда я спрашивал: «Дети, «у» и «с» — что будет?», то, прежде чем неграмотные успевали в уме соединить в слово эти два звука, грамотные страшными голосами кричали «у-у-у-с-с-с!» «Дети, разделите слово «ус» на звуки». И, прежде чем неграмотные успевали сделать это мысленно, все в классной комнате начинало вибрировать от протяжного и оглушающего «у-у-у-у-у-у!», подобного заводскому гудку. Гудение умолкало, чтоб уступить место разбойничьему свисту: «с-с-с-с!» Никакие уговоры на грамотных не действовали: им было скучно, и они развлекались, как умели, не давая мне никакой возможности обучать неграмотных. В отчаянии я убежал в свою комнату и там, упав на кровать, затыкал пальцами уши, чтобы не слышать, как беснуется класс.

В ПОИСКАХ ОПЫТА

В одну из бессонных ночей, когда я в сотый раз спрашивал себя, неужели все дело в тщедушности моей фигуры, мне пришла мысль посетить какую-нибудь сельскую школу, посмотреть, как ведет занятия тамошний учитель, посоветоваться с ним. Едва забрезжил рассвет, я вывесил на дверях школы объявление, что занятий в этот день не будет, вышел на большой шлях и с попутной подводой отправился в волостную деревню Бацановку.

Без меня наш же, новосергеевский, крестьянин — человечье под стать Илье Муромцу. Перед ним я, наверно, был чем-то вроде котенка перед бульдогом. Он долго молчал, потом хриплым басом спросил:



— А зачем это вы моего Семку рогульки писать учите? Он же грамотный.

— А кто этот Семка?

— Ну, Надгаевский, Семен Надгаевский.

— А, Семен Панкратьевич! Есть такой. Как это я не догадался! Он весь в вас: богатырь. Значит, вы — Панкрат... Как по батюшке?

— Гаврилыч.

— Да, Панкрат Гаврилыч, это верно: Семену рогульки ни к чему. Но такое распоряжение инспектора народных училищ: всех посадить в первое отделение.

— Он тронутый, ваш инспектор? Всех под одну гребенку?

— Он чиновник, статский советник, а высокие чиновники почти все на один манер. Они боятся, как бы чего не вышло, вот и стригут всех под одну гребенку.

Надгаевский повернул широкое бородатое лицо и с доброжелательным любопытством оглядел меня.

— Это ж какой будет чин, статский советник, если повернуть на военный лад?

— Это будет вот что, — показал я дулю. — Между генералом и полковником, чуть пониже генерала, но выше полковника.

Панкрату Гавриловичу мое образное объяснение, видимо, понравилось: он так оглушающе засмеялся, что лошадь прынула ушами. Но потом лицо его затуманилось и он в раздумье сказал:

— От чиновников, конечно, добра не жди. Но бывает и так, что и чина на человеке нету никакого, а жмет он крепче мельничного жернова. В порошок может истереть другого.

Теперь уж я оглядел своего собеседника с головы до ног. О ком он так говорит? Ведь не о себе же? В моем представлении большие, физически сильные люди обычно добродушны, отзывчивы на чужое горе. Таким был, например, Петр, к которому я в детстве привязался всем сердцем. Только Петр был стройный, мускулистый, а Панкрат Гаврилович — мясистый, громоздкий, этаким борец-тяжеловес.

— Ну, вам бояться не приходится, — сказал я смеясь. — Вы, наверно, одной рукой крыло ветряка остановите.

— Крыло ветряка останавлию, а вот с этой старой собакой, Наумом Перегуденко, и сам черт не справится.

— Наум Перегуденко? Это не тот ли старик с помятой бородой, против которого никто на сходе слова сказать не смеет?

— А, вы, значит, уже заметили?

— Он кто у вас, кулак, что ли?

— Кулак или куркуль, как ни скажете — все правильно будет. Одним словом, мироед.

Некоторое время я молчал, не решаясь высказать свою мысль. Но потом все-таки сказал:

— Лошадь у вас добрая, дроги, упряжь — все добротное, да и сами вы одеты не бедно. Извините, я даже подумал...

Тут я слегка замялся.

— Что подумали? — усмехнулся он. — Не куркуль ли я тоже?

— Во всяком случае, не бедняк. Правда, дома вашего я не видел, но все же, мне думается, что вы из крепких. А если так, то куркуль Перегуденко вам не страшен: куркули, как я понимаю, больше бедняков да батраков жмут.

— Рассуждаете вы правильно, но... — Лицо Надгаевского потемнело. — Но в жизни дела по-разному складываются. Давайте лучше я вам расскажу, как у меня получилось, что я вроде и не бедняк — это вы правильно подметили — и вроде стою уже одной ногой рядом

Куприяновым Тимохой. Тимоху нашего вы знаете? Нет? Все хозяйство у него похилилось. Так вот, того гляди, и я, как этот Тимоха-незадачник, рухну.

Дорога, по которой мы ехали, тянулась сплошным черным массивом, слева, сквозь редкий туман, видна была серая скучная пелена моря, справа уходила в туманную даль побуревшая степь, и то, что рассказал Панкрат Гаврилович, казалось мне таким же безнадежным и унылым, как и окружавшая нас природа. А рассказал он о себе вот что.

Жил он раньше в слободе Лукьяновке, жил хотя не богато, но и ни на кого не батрачил: свой надел, своя лошадь, корова. Когда взяли силу столыпинские законы о свободном выходе из общины, своего надела не продал, но и чужого не прикупил. Перегуденко в то время имел уже маслобойку и зашибал хорошую деньгу. А тут жадность его до того разгорелась, что принялся он скупать надел за наделом — все у своих же односельчан-незаможников. Прошло два-три года, и стал он озиаться, где бы еще земли прикупить. Тем временем прошел слух, что помещик Алчаковский хочет свои земли распродать и остаться навсегда в Петербурге. Перегуденко потолковал с самыми богатыми односельчанами и отправился в столицу. Задача сперва была такая, чтобы купить у Алчаковского только часть земли, для богатеев, но помещик с распродажей по частям возиться не хотел, и богатеи стали втягивать в это дело других односельчан, победнее, чтоб купить всю землю целиком через банк. Кому было не под силу, тем обещали по-доброму, по-соседски помощь оказать. Втянули и Панкрата Гавриловича. Многие в то время продали свои наделы и переселились на новые земли. Богатеи действительно и постройиться им помогли, и помогли уплатить первые взносы за землю. Помогать помогали, а брать расписки да векселя не забывали. И теперь дело повернулось так, что у иного хозяина и дом под железной крышей, и лошадь добрая в конюшне, а хоть в петлю лезь: надо в банк очередные взносы за землю платить и богатею долг возвращать. Не внесешь в банк — с земли сгонят, не вернешь долг богатею — он и лошадь отберет, и на все хозяйство руку наложит, и заставит работать на себя. Так вот и с Тимохой случилось: был вроде самостоятельный хозяин, а теперь день и ночь

батрачит на Перегуденко. Так и с ним, Панкратом Гавриловичем, может случиться. И даже наверное случится. Недаром Перегуденко все чаще и чаще оглядывает его лошадь и всякие в ней недочеты выискивает: видно, заранее цену на нее сбавляет.

— Поверите, он мне по ночам стал сниться, Перегуденко этот. В одной руке будто уздечку держит, а в другой — ключ от моей конюшни. Жинка жалуется, что я во сне мычу. Замычишь тут!.. — с тоскливой злобой закончил свой рассказ Панкрат Гаврилович и без всякой нужды стегнул лошадь.

Наверно, он заметил на моем лице недоумение, потому что тут же сказал:

— Конечно, животная неповинна. Но как привидится мне, что она стоит уже на конюшне у Перегуденко, так у меня злоба и на нее разгорается.

Мне хотелось его подбодрить, и я сказал:

— У Толстого, в драме «Власть тьмы», есть такой работник, Митричем называется. Так он никаких людей не боялся. «Ты их в бане-то погляди, — говорил он. — Все из одного теста».

— Как-как? — живо заинтересовался Панкрат Гаврилович. — Все из одного теста? Вот это правильно подмечено!

И о чем бы мы потом ни говорили, он нет-нет да и вспоминал:

— Все из одного теста! Фу ты, слова какие верные!

Когда из низины всплыл зеленый купол церкви, Панкрат Гаврилович снял треух, истово перекрестился и тут же сплюнул.

— Ехали, ехали — и приехали в... — Он сердито выругался.

«Да, невеселые, видно, ждут тебя дела в волости», — подумал я.

После Новосергеевки с ее кирпичными домами Бацановка показалась мне скоплением хлебов: только на площади стояли каменные дома, а то всё мазанки, крытые черной от ветхости соломой.

К школе, тоже старой и крытой соломой, мы подъехали в то время, когда дребезжал звонок и ребята, скопившись у входа и толкаясь, с гвалтом протискивались в класс.

Темно-русому, с хитроватыми карими глазами учителю было на вид лет двадцать восемь — тридцать, и я без смущения попросил его помочь мне советом. Он улыбнулся, отчего глаза его стали еще хитрее.

— Дело знакомое, — сказал он. — Первый год я тоже проклинал и ребят, и себя, и жизнь. Начнем, пожалуй, с того, что вы посидите у меня на уроке. Пойдемте.

Нас встретили коротким шумом, одинаковым, наверно, во всех на свете школах, когда ученики встают при входе учителя.

Класс состоял из трех отделений: две задние парты — это третье отделение, четыре следующих — второе, а весь левый ряд парт — первое. В первом отделении проходили то же, что во всем классе моей школы, то есть учились читать, писать и считать до ста.

Примостившись на краешек парты, я с затаенным восхищением наблюдал, как просто и в то же время четко учитель вел занятия одновременно со всеми тремя отделениями. Старшее писало пересказ басни «Лебедь, рак и щука», среднее решало задачу, а младшее знакомилось с новой для него буквой «М» и придумывало слова, начинавшиеся с этой буквы. Когда голос учителя смолк, слышались лишь пыхтение старательных учеников да постукивание перьев о донышки чернильниц.

Я смотрел, слушал, и мне начинало казаться, что от всех учеников к учителю протянуты невидимые ниточки, что он чуть ли не кожей ощущает, чем занят каждый из них. Был, например, такой случай: учитель, стоя к классу спиной, писал мелом на доске; с задних парт донеслась еле уловимая ухом возня. Не оборачиваясь, учитель сказал: «Пастушенко, не заглядывай в тетрадку Винокурова. А ты, Винокуров, правильно делаешь, что не даешь ему списывать: пусть сам учится писать пересказы». И я подумал: «Вот это учитель! Куда мне до него!»

— Семен Иванович, вы прямо маг педагогического искусства, — с нескрываемым восторгом сказал я на перемене.

— Через несколько лет и вы будете «магом», — ответил он.

Ах, эта хитринка в глазах! Как узнать, искренне ли он так говорит или только подбадривает меня.

Когда я рассказал, почему так получилось в моей

школе, что грамотные ребята учатся вместе с неграмотными, учитель расхохотался:

— Ну, Веня (инспектора звали Вениамином Васильевичем) боится, как бы в начертание буквы не проникла крамола. — Но, посмеявшись, он задумался. — Трудное ваше положение. Даже не знаю, что вам посоветовать.

С тем же удовольствием я сидел на втором и третьем уроках.

На большой перемене, когда мы завтракали селедочкой и печеным картофелем — чем бог послал, как сказал Семен Иванович, — дверь в кухню стремительно распахнулась, и на пороге возникла высокая фигура человека с острой бородкой и черными волнистыми кудрями, падавшими на плечи из-под шляпы.

— Здравствуйте, отец Константин! — приветствовал вошедшего Семен Иванович. — Милости просим к столу. Кусочек селедки еще есть.

— А чем оный окропить?

— На донышке что-то оставалось. — Учитель вынул из шкафчика бутылку с недопитой водкой и поставил на стол. — Кропите, отец Константин.

Не присаживаясь, священник запрокинул голову и прямо из бутылки, с бульканьем, выпил всю водку. Потом перевел на меня взгляд черных блестящих глаз и с усмешкой спросил:

— Как полагаете, юноша, подобает священному служителю дуть в таком стиле водку?

Я не знал, что ответить, и беспомощно взглянул на хозяина.

— Это учитель Новосергеевской школы, — представил меня Семен Иванович.

Священник пожал своей узкой, с длинными пальцами рукой мою руку и, не сразу выпустив ее, сказал:

— Не осудите: горе у меня.

— Будете давать урок? — спросил Семен Иванович.

— Всенепременно.

Не дожидаясь звонка, священник пошел в класс.

— Послушайте, Семен Иванович, — прошептал я удивленно, — он скорее похож на демона, чем на священника. А глаза! Это же цыганские глаза!

— Верно. Наш поп не совсем обыкновенный. Ну, да вы его сами узнаете: он ведь и в вашей школе будет за-

кон божий преподавать. А теперь не хотите ли познакомиться с одним старым учителем? Он сейчас на пенсии, но еще год назад учительствовал. Как знать, может, и он чем-нибудь поможет... Хотя...

Семен Иванович запылся.

— Что «хотя»?

— Нет, ничего... — уклонился он. — Пойдемте.

Дом старого учителя стоял в ряду других крестьянских домов и ничем от них не отличался. Да и внутри ничто не указывало, что здесь живет учитель, интеллигентный человек, а не простой крестьянин. Ни стола с чернильным прибором, ни шкафа или, по крайней мере, полочки с книгами. Висели только конторские счета на стене да выцветшая, вся в мушиных следах карта Российской империи. Впрочем, одну книгу я смог заметить: это был 34-й том энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона на букву «Л», замусоленный, с пожелтевшими от времени листами, и его присутствие здесь, где больше не было никаких других книг, мне показалось полной нелепостью.

Когда мы вошли, хозяин стоял у кухонного стола и сек капусту. Пергаментное лицо, серая борода, серые всклокоченные волосы, серая в заплатках тужурка. Казалось, он много лет лежал в темной кладовой, где всего его, от дырявых носков до кудлатой головы, осыпало пылью и оплело паутиной.

— Здравствуйте, Аким Акимыч! Вот я гостя привел к вам, учителя из Новосергеевской школы, — нарочито бодро и весело сказал Семен Иванович. — Будем вместе помогать нашему юному коллеге сеять «разумное, доброе, вечное», а на данном этапе — просто обучать ребят чтению и письму.

Старый учитель некоторое время стоял неподвижно, с



приподнятым над столом кухонным ножом, потом вдруг обнажил в улыбке желтые зубы и засуетился:

— Пожалуйте, милости прошу!.. Душевно рад, душевно рад!.. Я, знаете ли, сперва даже не поверил своим глазам... Вы такой редкий у меня гость, Семен Иванович, а тут и сами пожаловали, и гостя привели.

— Не было ни гроша — да вдруг алтын? — засмеялся Семен Иванович.

— Вот именно, вот именно!.. Весьма приятно. Садитесь, вот стульчик, в нем одна ножка шатается, ну, да вас выдержит. А вы, молодой человек, присаживайтесь на сундучок. Одинокó живу, так не обзавелся надлежащей мебелью...

Семен Иванович посидел несколько минут и отправился в свою школу. Мы со старым учителем остались вдвоем.

— Вы, кажется, обед готовите, — сказал я. — Может быть, помочь вам?

— Э, какой там обед! — махнул Аким Акимович рукой. — Просто борщ. Я варю его на три дня. Сегодня как раз очередная варка.

Все же мои услуги были приняты. Через час борщ, заправленный старым салом, уже распространял по комнате свой пахучий пар.

Аким Акимович на короткое время отлучился и вернулся с бутылкой красного вина и связкой бубликов.

— Пировать так пировать, — подмигнул он мне. — Не каждый день гости у меня. Да и то сказать, какой интерес с таким ископаемым время тратить.

Мы пообедали. От вина Аким Акимович не то что охмелел, а как-то присмирел, притих и не отрывал от меня затуманенных грустью глаз.

— Вам нездоровится? — с участием спросил я.

Не отвечая на вопрос, он стал просить:

— Голубчик, не торопитесь уходить. Побудьте со старым хрычом, а то я совсем мохом обрасту. Посмотрите в окно, на дворе уже темнеет. Куда вам на ночь в такую, слякоть. Заночуете у меня, а утречком с попутной подводой и отправитесь.

Я согласился, хотя, правду сказать, не предвидел особого удовольствия провести ночь с человеком, всем обликом напоминавшим домового.

— Ну, вот и отлично, вот и отлично!.. — обрадовался он. — Мы еще чайку попьем с бубличками. По такому случаю не грех и баночку вишневого варенья открыть.

Чаевничали мы до полуночи. Я все пытался вывести у старого учителя, каким способом добиться в моей школе нужной дисциплины, как лучше обучать ребят письму и чтению. Он хотя и объяснял, но как-то вяло, сбивчиво, неубедительно и, наконец, сказал:

— Голубчик, вам про это лучше Семена Ивановича расспросить. Он начал учительствовать, когда уже повсеместно введен был звуковой метод, а я ведь десятки лет трубил по буквослагательному способу: аз, буки, веде, глаголь... Выучат ребята названия всех букв в алфавитном порядке — и только после этого начинают складывать буквы в слова. Трудно было учить и учиться, ох, трудно! Ну как мог ученик догадаться, что, скажем, в слове «отец» присутствуют буквы: «он», «твердо», «есть», «цы», «ер»? Это при письме. А при чтении как догадаться, что «он», «твердо», «есть», «цы», «ер» составляют слово «отец»?

Потеряв надежду что-нибудь позаимствовать, я предоставил хозяину говорить о чем угодно, и он с жаром заговорил о своей загубленной жизни:

— Господи, ведь и мне когда-то было семнадцать лет, и я, как, наверно, вы теперь, мечтал обойти весь земной шар, а что получилось? Мне уже в могилу пора, а я дальше нашего уездного города нигде не бывал.

— Но почему же? — удивился я.

— Почему? Сказал бы вам, но и сам не разберусь. То ли скупость меня заела, то ли эта проклятая пенсия. Нас у отца было трое сыновей и две дочери. Отец из кожи лез, чтобы дать нам хоть какое-нибудь образование. Сам-то он был участковым фельдшером, жил в волостном селе. Старшего брата удалось в духовное училище определить, и он до своей недавней смерти диаконом служил в церкви Трех святителей, а я кое-как выдержал экстерном экзамен на учителя школы грамоты и поехал в самую глухую деревушку уезда, чтоб обучать ребят вот этим самым азам да букам. Жалованье крохотное, еле хватало на квас с хлебом, кругом невежество, суеверие, а нищета такая, что почти каждый год солома с крыш на корм скоту шла. Тосковал я там страшно. А между тем, живя у

отца, я и в журнальчике «Вокруг света», и в разных книжечках читал про большие города, в которых ночью светло, как днем, про реки с роскошными пароходами в три, а то и больше этажей, про всякие там музеи, театры, монументы...

Уже тогда я мечтал: вот сошью себе котомку, возьму в руки палку и пойду бродить по земле, чтоб увидеть все собственными глазами, пощупать своими руками, чтоб и в Киево-Печерскую лавру спуститься, и на колокольню Иоанна Великого подняться, и по Невскому пройти, и — мечтать так уж мечтать — с верхушки самой Эйфелевой башни на мир поглядеть. Можете представить, как возгорелись мои мечты, когда я оказался в этой гнилой деревушке. И стал я урывать у себя самое необходимое, без чего даже простому крестьянину жизнь не в жизнь, чтобы только скопить денег и вырваться в живой мир. Мало — урывать у себя, у других даже стал рвать, на подлость пошел. То закуплю в городе по дешевке тетрадок третьего сорта и продаю их своим ученикам с надбавкой по полкопейки, то перед рождественскими или пасхальными каникулами объявлю ребятам: «Дети, спросите у своих родителей, не продаст ли кто мне коровьего масла немножко или яичек парочку». И дети, конечно, несли все это, и, конечно, родители денег не брали, как не брали они с урядника, с волостного писаря, с батюшки, наезжавших в нашу деревню с поборами. Ни яичек, ни масла я сам не ел, а складывал в корзину и сдавал лавочнику за полцены.

Но вот наступали летние каникулы, я отправлялся в город за покупками. И что же оказывалось? Купив у старьевщика сапоги да кое-чего из одежды, я обнаруживал, что на остаток от своих сбережений мне не только до Эйфелевой башни не добраться, а даже в нашем паршивом городишке не прожить по-человечески и полмесяца. И я возвращался в свою школу и принимался копить сначала.

Лицо Акима Акимовича исказилось от странной гримасы, будто он хотел улыбнуться, но губы не послушались. Помолчав, он продолжал:

— Так прошло девять лет, целых девять лет! Из той деревушки меня перевели в другое село, в начальное училище. И жалованье повысили. Но я уже втянулся в на-

копительство и по-прежнему наживал по полкопеечки на тетрадах да перьях. Мне бы жениться, а я девиц, как колдовства, опасался: обкрутит, думал, какая-нибудь, и все мои сбережения на пеленки детишкам пойдут. А сбережения накопились уже такие, что, пожалуй, можно бы и в Киев съездить, а то и в самый Петербург. Один раз совсем было решился, но как подумал, что все накопленное за столько лет ухнет в какие-нибудь две-три недели, так даже съежился весь, будто чья-то злодейская рука залезла ко мне за пазуху и тянет из потаенного кармана кредитки. Так из года в год откладывал я свое путешествие — и все копил, все копил, пока не попался, как самый последний дурак.

Аким Акимович скрипуче засмеялся и тут же вытер повлажневшие глаза.

— Приехала однажды к нашему диакону его дальняя родственница, этакая кругленькая дамочка с розовыми щечками. Впервые заметил я ее на молебствии в церкви: сама крестится, а сама головой вертит; черными глазками стреляет. На другой день, только я кончил занятия, вбегает она в школу с каким-то листом бумаги в руке и прямо ко мне: «Господин учитель, вы человек образованный, прочтите, пожалуйста, что тут написано». Взял я лист, посмотрел и пожал плечами: «Не могу, говорю, понять, что это такое. Наверно, по-арабски. Совсем незнакомые буквы. А может, по-еврейски». — «А так?» — спрашивает она и поворачивает лист написанным к окну, к свету, а обратной, чистой стороной ко мне. Когда я увидел те же строчки, но с обратной стороны, то без труда прочел:

Стоит гора крутая,
(Здесь нужна запятая)
Под той горой крутой
(Здесь не нужно запятой)
Стоит попова дочка.
(Здесь нужна точка.)

Дамочка захохотала, хлопнула меня розовой ладошкой по лбу и убежала. И я до сих пор не могу понять, как это случилось, что через три дня она поселилась у меня в комнате и завертела мною, как игрушкой. Сперва я поддавался, но как увидел, что мои сбережения начинают заметно таять, то заартачился, спрятал кредитки под по-

ловицу, а дамочке сказал, что жить надо по средствам, то есть исключительно на жалованье. Дамочка назвала меня умницей, даже поцеловала. Я пошел в школу, а когда вернулся домой, то кредиток не обнаружил: они исчезли вместе с дамочкой. Хотел я в тот день повеситься, даже голову в петлю просунул, но смалодушничал. Дня три провалялся в кровати, потом встал и... начал копить сначала. Теперь уже просто по привычке, без всякой цели, ибо хорошо понимал, что, сколько б ни копил, все равно не решусь истратить накопленное. Вскорости настало время получать мне пенсию. Здоровье мое уже сильно было подорвано — и от такого образа жизни, когда сам себя во всем урезывал, и, главное, от нашего чахоточного, прямо-таки мученического труда, труда сельского учителя. Тут бы уйти на покой, но закон о пенсиях так хитро построен, что заманивает учителя еще и еще служить: прослужи сверх положенного срока изрядное количество лет — и пенсия увеличится. А кому это под силу после того, как уже изнурил себя долголетним трудом? Попытался было и я дотянуть до «большой» пенсии, но на третьем году свалился прямо в классе. С тех пор не работаю. Купил вот эту хатенку и живу, а зачем живу — не знаю. Только и радости, что в сновидениях.

— В сновидениях?.. Это как же? — не понял я.

— А так: ложусь, укрывшись с головой, и засыпаю. А во сне гуляю по Невскому проспекту, поднимаюсь на Эйфелеву башню, плыву на пароходе по голубой реке.

— А читать вы не любите?

— Я читать разучился, когда по полкопейки накапливал. Жалко было тратить на книжки деньги. Впрочем, одну книжку я много раз читал. Вон она, на подоконнике лежит: тридцать четвертый том энциклопедического словаря, все слова на букву «Л» от «Ледье» до «Лопарев». В помещицьем покинутом доме нашел. От скуки столько раз перечитывал, что выучил наизусть. Вот назовите какое-нибудь слово из этой книжки, первое попавшееся.

Я раскрыл том на 719-й странице и прочитал слово «Липанин». Аким Акимович тотчас же начал:

— «Смесь прованского масла с 6% олеиновой кислоты, предложена взамен рыбьего жира, перед которым имеет то преимущество...» — и точь-в-точь рассказал все,

что было напечатано под этим словом. Заметив мое изумление, он криво улыбнулся: — А вот что такое олеиновая кислота, не знаю. Это ж на букву «О».

Легли мы поздно. Хозяин уступил мне свою кровать, а сам скорчился на сундуке. Всю ночь мне снилось какое-то морщинистое дерево с двумя стволами, похожими на человеческие ноги. Оно что-то шептало, я вслушивался, но не мог понять ни одного слова, и от этого мне делалось невыразимо тяжело. Я просыпался, а когда вновь засыпал, то опять видел то же дерево и слышал его шепот. «Да что же оно шепчет, что оно шепчет?» — с тоской спрашивал я себя. Дерево дрогнуло, потянулось, и я увидел, что оно имеет совершенно определенную форму буквы «Л». И как только я это увидел, то сейчас же услышал и слово, которое оно шептало. «Лихо, лихо, лихо», — шептало дерево. «Да, конечно, — подумал я, — ведь слово «лихо» на букву «Л». А какие еще есть слова на букву «Л»?» И, будто отвечая мне, дерево зашептало: «Лихолетье, лихолетье, лихолетье. Лихорадка, лихорадка, лихорадка». «Да, да, — говорил я себе, — у меня лихорадка, потому мне и тяжело так, а лихолетье — это у Акима Акимовича. Бедный Аким Акимович: сколько есть хороших слов на букву «Л», но они в этот том почему-то не вошли. Бедный, бедный Аким Акимович!»

С этим чувством жалости к старому учителю я и пронулся. В комнату просачивался серый рассвет. Аким Акимович лежал на сундуке все в той же позе, и вид его скорчившейся фигуры еще сильнее сжал мне душу.

В свою школу я ехал опять с Панкратом Гавриловичем. Ему удалось добиться в волостном управлении какой-то отсрочки, и возвращался он домой повеселевший.

ГНИЛЫЕ ТЕТРАДИ

Я познакомил детей с новой для них буквой «М» и пошел от парты к парте, проверяя, так ли ребята пишут эту букву в своих тетрадях. Если у кого буква получалась нечеткой, некрасивой, я подсаживался к ученику и сам вписывал ее в тетрадь.

— Э-э, Кузьма Иванович, — сказал я маленькому Кузе Надгаевскому, — что же это у тебя буква расплывается?

— Не знаю, я ее пишу, пишу, а она тает и тает, — плаксиво ответил мальчик.

Я взял у него ручку и показал, как надо писать. Но и моя буква расплылась в тетради. Ясно, тетрадь была из бракованной бумаги. Я насторожился.

— Ты где взял тетрадь?

— Батя купил.

— Где купил? В городе?

— Не... в нашей лавочке.

— А разве у нас уже есть лавочка?

Ребята закричали:

— ЕСТЬ! Еще в воскресенье открылась! На Третьей улице!

— Что ж там продают?

— А все. И деготь, и керосин, и мыло.

— У кого еще буквы расплываются?

Трое подняли руки. Я отобрал у ребят негодные тетради и после занятий отправился с ними к попечителю. «Экий мерзавец, — думал я о лавочнике. — Аким Акимович тоже снабжал своих учеников подобной дрянью, но того жизнь изуродовала, а этот, видно, в два счета хочет разбогатеть. Наверно, Илька раньше знал его, если так точно предсказал, какими тетрадями он будет торговать».

Когда я вошел в дом, Василий Савельевич вырезывал на столе голенищи из хромовой кожи (он всегда что-нибудь делал).

— Василий Савельич, вы взгляните на эти тетради, — уже с порога начал я возбужденно, — это же безобразие! Все буквы расплываются. Я категорически вам заявляю, что с такими тетрадями ребята никогда не научатся писать. И кто же их сбывает ученикам? Наш лавочник! Только открыл свою лавку — и сейчас же принялся жульничать!

С доброй улыбкой попечитель раскрыл одну тетрадь и, будто увидев что-то очень приятное, заулыбался еще приветливее:

— Скажите пожалуйста, какой сорт бумаги! Вроде промокашки.

— Вот именно. Этой тетради в оптовой продаже полкопейки цена, а он, выжига, дерет по три копейки, как и за хорошую тетрадь. Я вас прошу, Василий Савельич,

запретите ему заниматься кожедерством. Ведь вы — попечитель, это ваша прямая обязанность.

На минутку улыбка сошла с круглого лица попечителя. Он озабоченно сказал:

— Так-то оно так, но только правов у меня таких нет. «Я, — скажет лавочник, — никого не принуждаю. Не нравится — не покупайте». Да вы сами поговорите с ним. Вас он скорее послушает.

Помня, что мне наказывал Илька, я все так же возбужденно ответил:

— Ну, нет! Я к этому живоглоту на поклон не пойду! Я жаловаться буду! Уряднику!.. Старшине!..

Василий Савельевич с сомнением покачал головой:

— Что ж урядник! Урядник к такому делу не причастен. А там смотрите сами. Он как раз сейчас здесь, у Перегуденко ведомости проверяет.

Я попросил Василия Савельевича отвести меня к Перегуденко и, пока попечитель натягивал сапоги, оглядел комнату. Никелированная кровать с шишками, венские стулья, ковер на стене, граммофон с солидной стопой пластинок — совсем, как в городе.

На улице Василий Савельевич вытянул хворостину из чужого плетня и пошел вперед, охраняя меня от собак. И, конечно, не обошлось без обычного «пишла, шоб ты здохла!»

Так вот кто выстроил себе этот пятиоконный дом с парадной дверью на улицу и застекленной террасой! А двор!.. Он весь окружен каменными постройками: здесь и амбар, и конюшня, и коровник, и хлев, и курятник. Богато живет Наум Иванович Перегуденко!

На наш стук в окошко дверь открыл сам хозяин. Спутанная борода его торчала как-то вбок, а маленькие глазки были красны, будто ему не дали выспаться.

— Чего надо? — спросил он недовольно. — Мне некогда, у меня урядник.

— Вот урядник и нужен учителю, — сказал попечитель. — Дело есть к нему.

Перегуденко поскреб в бороде, подумал и крикнул из сеней в комнату:

— Иван Петрович, учитель к тебе. Допустить?

— Допустить, — ответил из комнаты красивый сочный баритон.

В деревянном кресле, положив ноги в белых шерстяных носках на маленькую скамеечку, сидел черноусый мужчина. Он был без кителя, и только по шароварам с красными лампасами можно было догадаться, что это человек военный.

— Прошу, прошу, — протянул он мне руку. — Очень приятно познакомиться. Хозяин так натопил, что нет никакой мочи терпеть. Пришлось снять китель да заодно и сапоги, ха-ха-ха!

— Ничего, не стесняйтесь, свои люди, ха-ха-ха! — ответил я ему в тон.

Он настороженно взглянул на меня и спросил уже с официальным видом:

— Чем могу служить?

— Господин урядник, обращаюсь к вам как к представителю власти, — начал я, стараясь и себе придать официальный вид. — Правительство поощряет коммерцию, но живодерство никому не позволено. А наш местный «коммерсант», едва открыл свою лавчонку, принялся три шкуры с народа драть. Вот извольте взглянуть на тетради. — И я повторил все, что перед этим говорил попечителю.

— Ну уж и шкуры!.. — фыркнул Перегуденко. — Копеечное дело.

— Тем хуже! — горячо воскликнул я. — Из-за копеечной наживы он портит великое дело народного образования! Сразу видно паучка!..

Урядник внимательно осмотрел тетради и вернул мне.

— Да, бумага неважная. Однако ж никакого нарушения закона я тут не усматриваю. Вот ежели бы он водкой без патента торговал, я бы ему показал кузькину мать. Или табаком без акцизной бандероли. А тетради — это не предусмотрено. Кстати, Наум Иванович, ты где это покупал? — кивнул он на недопитую бутылку, стоявшую на столе.

— У него, — буркнул Перегуденко.

— Не заметил, патент на стеночке висит?

— Кажись, висит.

— Ну, значит, все в порядке. А вам, молодой человек, я советую: не обостряйте отношений из-за пустяков. Вы кто? Учитель? Значит, ваше дело учить как можно лучше. Он кто? Купец? Его дело торговать с наибольшей



— Взгляните на эти тетради, это же безобразие! Все буквы расплываются,

выгодой. Не нравится бумага — пусть в городе покупают. Никто не неволит. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Так-то. Рюмочку не желаете? Иванович, что ж не угощаешь учителя?

— Пусть пьет, мне не жалко.

От рюмочки я отказался и пошел в школу, довольный тем, что выполнил поручение Ильки вступить с лавочником в непримиримую борьбу, и в то же время озадаченный: писать-то на паршивой бумаге все-таки нельзя? До самого вечера я размышлял, стоит ли разговаривать с лавочником, как советовал попечитель. А если он сразу пойдет на уступку — какая же это будет «непримиримая борьба»? «Нет, все-таки поговорю, — решил я, — чтоб не переложили за все вину на меня одного».

— Тетя Прасковья! — позвал я сторожиху, мывшую пол в классе.

Послышалось шлепанье босых ног, и предо мною предстал мой «ординарец» с мокрой тряпкой в руке, с прядями выбившихся из-под черного платка бесцветных волос.

— Слушаю, соколик!

— Где у нас открылась лавочка? Как ее найти?

— Лавочка? А это на Третьей улице. Двор Тимохи Куприянова знаете? Вот в его доме. Тимоха-то хозяйство свое промотал, ну и подался в город, где-то на заводе раскаленное железо кует, чертей тешит, а дом купцу под лавку сдал. Спасибо Науму Ивановичу, отобрал у него коня, а то б он и коня промотал.

Я вспомнил, что рассказывал мне Надгаевский о разорении Куприянова, и присвистнул.

— За что же ему спасибо говорить, если он-то и разорил Куприянова?

— Господь с вами! Что вы такое говорите! — бросив тряпку и крестясь, воскликнула Прасковья. — О таком человеке — да такие слова! Грех!

— Ну ладно, тетя Прасковья, мойте пол, а я в лавочку схожу.

Стемнело, когда я разыскал дом Куприянова. На всей улице только в этом доме и светилося окно. Пахло свежеструганым деревом и краской. Проворный народ — лавочники: уже успел и вход с улицы сделать. Я толкнул дверь — над головой звякнул колокольчик. За прилавком, обитым оцинкованным железом, стоял крепко сложенный

мужчина с черной седеющей бородой, а перед стойкой двое парубков пальцами разрывали тарань, с чмоканьем сосали ребрышки и запивали пивом. Я сказал:

— Здравствуйте.

Все трое ответили:

— Здравствуйте.

А парубки еще и пригласили:

— Пожалуйста с нами.

Сдвинув брови, я холодно сказал:

— Меня интересует, господин лавочник, по какому праву вы продаете моим ученикам негодные тетради. При этом дерете с них по три копейки, тогда как вашей тетради цена полущка.

Лицо бородатого из приветливого сразу сделалось каменным.

— А позвольте, в свою очередь, спросить вас, господин: по какому праву вы требуете от меня отчета?

Такой ответ меня вполне устраивал: он давал мне основание продолжать выпады против наглого купца-выжиги.

— По праву здешнего учителя и честного человека! — воскликнул я запальчиво. — А если еще не понятно, то знайте, что вы наживаетесь за счет крестьянского труда, что вы тормозите народное просвещение, что вы паук, выжига, мироед... — И пошел, и пошел честить.

Парубки перестали чмокать и с каким-то, как мне показалось, радостным изумлением переводили глаза с меня — на лавочника и с лавочника — на меня. Бородатый хмурился, хмыкал, укоризненно качал головой, но так меня и не прервал, пока я не израсходовал весь запас бранных слов и не умолк сам. Только после этого он ответил, да и то очень коротко:

— Выжига так выжига. На том стоит всякое торговое дело. А товар свой я никому не навязываю. Не нравится, пусть не берут. Вот хлопцы пришли пива выпить. Я ж их не приневоливаю. Понравится — еще придут, не понравится — на том и делу конец. Так-тося. Прощайте, господин учитель.

Можно сказать, он меня просто выпроваживал. Уходя, я не удержался, чтобы не хлопнуть дверью.

С усилием вытягивая ноги из грязи, я думал: «А все-таки ему здорово от меня попало. Эти хлопцы завтра же

всем расскажут, как я его живодером да мироедом обзывал. Подожди, я на тебя еще волостному правлению нажалуюсь». Но рядом с этими мыслями шли чередом и другие и все больше и больше тревожили меня. Я вспоминал, что когда отчитывал лавочника, а он укоризненно качал головой и хмурился, то в карих глазах его не было заметно никакой вражды ко мне. Больше того, глаза его смотрели на меня, казалось, доброжелательно и будто даже подзадоривали: давай, мол, еще, давай покрепче. Да и сами глаза эти с их особенной лукавинкой казались мне удивительно знакомыми, будто когда-то, может быть, очень давно, они поглядывали на меня с таким же дружеским лукавством.

Тревожное чувство какой-то раздвоенности долго не давало мне в тот вечер уснуть.

НОЧНОЙ ГОСТЬ

С этим чувством я и проснулся и носил его в себе еще несколько дней.

Поздно вечером, когда я уже лежал в постели, но еще не спал, в наружную дверь класса постучали. Стук был тихий, осторожный. Кто бы мог быть в такой час? Да и стучат как-то особенно, будто остерегаются, чтобы на улице не услышали. Мне стало не по себе. Как-никак, в школе я был один, а она стояла в сторонке от других домов, у обрыва к морю и вблизи глубокой, заросшей кустарником балки. Мимо этой балки, возвращаясь ночью с гулянки, хлопцы шли не иначе, как по двое, трое: боялись. Затаив дыхание я прислушивался, не повторится ли стук. И, когда он повторился, все так же тихо и пугающе осторожно, я невольно вздрогнул. А минуту спустя опять: стук-стук-стук... На этот раз громче и требовательней. Нашупав в кухне топор, я неслышно прошел через кухню в класс и замер у наружной двери. И мне показалось, что через дверь ко мне доносится чье-то дыхание. Так, я — по эту сторону двери, а кто-то таинственный и страшный — по ту, мы и стояли, напряженно прислушиваясь, пока я не услышал донельзя знакомый, с хрипотцой голос, проворчавший с досадой:

— Спит, чертов сын! Хоть в трубу лезь.

— Ты? — с облегчением воскликнул я.



*Мне показалось, что через дверь ко мне доносится
чье-то дыхание.*

— Открывай. Да не ори, — ворчливо ответил тот же голос.

Я снял болт и распахнул дверь.

На пороге в ночной мути стоял Илька. Как я ему обрадовался!

— Один? — спросил он.

— Один.

— Ну, веди. А то тут глаза выколешь.

С топором в одной руке и Илькиной мозолистой лапшей в другой я прошел в свою комнату и зажег ночничок. Илька стащил с головы шапку-ушанку, стряхнул с нее водяную пыль и снял пальто.

— Где тут расправить, чтоб просохло?

Повесив пальто на дверь, он обтер тряпочкой сапоги, вымыл руки, одернул рубаху и подступил ко мне с кулаками:

— Ты за что моего отца ругал, а? Вот я тебе покажу, как честных людей оскорблять!

Я попятился:

— Твоего отца?! Я?! Что ты, Илька! Я твоего отца даже не видел с тех пор, как на нас казаки напали.

— А, ты еще отказываешься! А кто кричал на отца: «Мироед! Паук!»? Не ты?!

Я раскрыл рот. Илька расхохотался.

— Подожди, подожди! — воскликнул я. — Так, значит, этот лавочник — Тарас Иванович? А я все думаю, чьи же эти глаза, так мне знакомые! Но как он изменился!

— Изменишься от такой жизни! Да и времени немало утекло. К тому же — борода. А в общем, хорошо: если даже ты не узнал, значит, дело в шляпе.

— Но зачем же ты натравил меня на него? А, понимаю!.. Мироед, живодер — это маска, а под ней...

— Вот это самое, — перебил меня Илька. — Молодец, Митя! А знаешь, что о тебе говорил урядник?

— Кому говорил?

— Лавочнику. Ведь он, урядник, на другой же день побывал в лавочке. Выпил с отцом бутылку водки, взял «взаймы» десятку и ушел. А про тебя сказал: «Мальчишка, сопляк. Тоже в драку лезет. Не обращайтесь внимания, я вас в обиду не дам. Торгуйте себе на здоровье, выходите в крупные люди».

Тут уж мы оба расхохотались.

— Пстой, — спохватился я, — ведь ты, наверно, голодный.

Мы перешли в кухню и принялись печь картошку в поддувале, в золе. До чего ж она вкусна, эта запеченная картошка, в хрустящей кожуре! Разломишь — и от одного пара слюнки текут. Нашлись и соленые огурцы, и лук, и подсолнечное масло. Поели, выпили горячего чаю, улеглись рядышком в кровать — и пошли воспоминания. И как Илья у меня задачи в училище списывал, и как мы царя из золоченой рамы выдрали и в мусорный ящик бросили, и как я от монахов убежал, и как мы трое — Илья, я и Зойка — с казаками дрались.

— Ах, Зойка, Зойка, где она теперь, где? — сказал я.

— Гм... — начал было Илья и умолк.

Потом я рассказал, как трудно мне учить письму и чтению грамотных ребят вместе с неграмотными.

— Да ты что, обалдел?! — возмутился Илья. — Так и профессор начнет ходить на голове, если его посадить за одну парту с гимназистом.

— Но что же мне делать, что?! — с отчаянием воскликнул я.

— Как — что? Да расседи их. Одних — в первое отделение, других — во второе.

— Но я же тебе сказал, что инспектор запрещает.

— А ты плюнь на его запрещение. Делай так, как подсказывает разум. Подумаешь инспектор! Паршивый царский чиновник.

— А если он с ревизией придет?

— Ну и что ж! На этот день опять сведи всех в первом отделении. А лучше так прямо ему и скажи: я еще с ума не спятил, чтобы учить грамотных ребят палочки писать. Так, мол, недолго и бунт у мужиков вызвать. Он бунта испугается и прикусит язык. Действуй смелее. Инспектора бояться, так лучше и на свете не жить.

Я с горечью воскликнул:

— Илья, ну почему мне самому не пришло это в голову! А ведь совсем недавно я советовал одному крестьянину не бояться людей. Неужели я таким и останусь трусом, безвольным существом, словом, заморышем?

Он обнял меня и ласково сказал:

— Не горюй, Митя. Это потому, что ты в хлюпкой

среде жил. Ничего, постепенно закалишься. Ого, таким железным будешь, что хоть штыки из тебя делай!

— Ладно, постараюсь быть штыком и проколоть самого инспектора, — ответил я. — Ну, а как все-таки быть с лавочником? Ведь нельзя ж на гнилой бумаге учить ребят письму.

— Об этом отец уже подумал. Вот тебе его наказ: организуй кооператив.

— Кооператив?! Ка-акой кооператив?! — удивился я.

— А школьный, из учеников. Закупите сами в городе тетрадки и продавайте своим членам по сходной цене. Двух зайцев поймаете: и писать будете на хорошей бумаге, и нос «лавочнику» утрете.

Такому решению «трудной проблемы» я несказанно обрадовался:

— Илька, это ж великолепно! Даже не двух, а трех зайцев!

— А третий какой?

— Дух коллективизма.

— Правильно, — одобрительно кивнул Илька. — Я ж говорил, что котелок у тебя варит. — Он подумал и с той важностью, с которой еще в детстве показывал мне свою осведомленность в политических делах, сказал: — Но сильно кооперативом не увлекайся. Будут тебе поручения и поважнее. А то вот за границей некоторые смиреннькие социалисты все спасение видят в кооперативах. Сто лет уже кооперативы разводят, а рабочий люд как гнул спину на буржуев, так и теперь гнет.

— Какое же мне будет поручение «поважнее»? — спросил я, стараясь не выдать охватившего меня волнения.

Илька опять помолчал.

— Видишь, батя мой учился, как говорится, на медные гроши. Книжки он читает свободно и проникает в самое их существо. Тут его никакие ликвидаторы не соьбют — ни Мартов, ни Потресов, ни Дан. — Произнеся эти три имени, Илька искоса взглянул на меня, желая, видимо, проверить, какое впечатление произвела его осведомленность. — Да, а вот по части там всяких запятых, твердых знаков и ятей он слабоват. Я, сам знаешь, и двух классов не закончил, от жандармов скрывался. Так что разбираюсь в этой грамматике с синтаксисом не дю-

же лучше отца. А ты, как-никак, в училище до последнего класса дошел и даже на учителя выдержал, значит, все знаки препинания тебя слушаются, как солдаты фельдфебеля. Ну, и, конечно, не напишешь корову через ять. А главное, сумеешь так слова расставить, чтоб каждому человеку, даже малограмотному, вся суть вопроса была б видна как на ладони. Вот по этой части отец и хочет тебя использовать. Как ты, согласен?

— Я на все согласен, но ты скажи: что я должен делать? Учить вас знакам препинания, что ли?

— Не догадываешься? Ну, сейчас объясню. Ты от своего инспектора пакеты получаешь? Разные там предписания, циркуляры?

— Да, конечно.

— Кто ж их тебе доставляет?

— Пакет идет почтой до волостного села, до Бацановки. А оттуда волостное правление с оказией сюда направляет.

— То-то, что с оказией. Значит, не случись оказии, пакет так и будет в волости лежать?

— Так и будет. До города десять верст, а пакеты иной раз только на двенадцатый день приходят.

— Скоро этому безобразию конец наступит. Почту из Бацановки во все пункты волости будет развозить почтарка. А поселится она у вас, в Новосергеевке, на квартире у «лавочника», потому что «лавочнику» этому она племянницей приходится. Сам урядник за нее хлопотал перед волостным старшиной. Что значит хорошо угостить начальство и дать ему десятку «взаймы».

Илька беззвучно засмеялся, отчего под нами затряслась кровать.

— Дальше, дальше!.. — нетерпеливо потребовал я.

— А дальше все само собой понятно. Почтарка доставит тебе пакет от «инспектора», ты его распечатаешь и приведешь «предписания» в порядок. Потом сдашь на почту через ту же почтарку. Писать надо хоть и ясно, но коротко. Помнишь, как говорил в нашем училище Лев Савельич: «Во многоглаголении несть спасения». Для образца я дам тебе одну штуку. — Илька встал, отпорол перочинным ножиком подкладку на своем пальто и двумя пальцами извлек конверт величиною с почтовую открытку. — На. Садись за стол и вчитывайся,

Так примерно и мы будем печатать. Читай и запоминай, а я пока подремлю. Часа через два ты меня разбудишь и выпустишь.

Я вынул из конверта сложенный в несколько раз лист печатной бумаги и развернул его. Это была маленькая газета с крупно набранным названием «Путь рабочего» и уже знакомым мне лозунгом вверху: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Так вот что я буду делать! Я буду обрабатывать для печатной газеты материалы ее корреспондентов! Какое счастье!

Я обернулся к Ильке, чтоб высказать ему свою благодарность за такое ко мне доверие. Но Илька уже спал.

КООПЕРАТИВ

С утра я должен был познакомить ребят с буквой «Т». Вместо этого я весь первый урок проверял знания своих учеников и рассказывал их по отделениям. Для второго отделения оказались подготовленными шестнадцать мальчиков и девочек. Вот они-то и мешали мне до сих пор вести занятия. Все изменилось уже со следующего урока. Я продиктовал второму отделению задачу и занялся первым отделением. Пока младшие придумывали слова со звуком «Т» и учились изображать его буквой, старшие озабоченно писали в своих тетрадях или, подперев рукой подбородок, думали. «Топор!», «Толстый!», «Кот!», «Вата!» — находили нужные слова младшие. В другое время старшие орали бы, краснея от натуги: «Ро-о-от!», «По-о-от!», «То-о-о-от!» Но сейчас в моем классе был такой же порядок, как и в классе Семёна Ивановича. Я и радовался этому, и досадовал, что не решался раньше нарушить глупое распоряжение инспектора.

Когда кончился последний урок, я сказал:

— Пойдите побегайте и по звонку возвращайтесь в класс: у нас будет сход.

Минутку длилось молчание, потом кто-то недоуменно спросил:

— Какой сход?

— Что такое сельский сход, вы знаете?

— Знаем! — ответил весь класс.

— Ну вот такой же будет и у нас сход. Только на



*Это была маленькая газета с крупно набранным названием
«Путь рабочего».*

сельском сходе женщин не бывает, а у нас все будут — и мальчики, и девочки.

Через несколько минут ребята опять заполнили классную комнату. И, когда я сказал: «Начнем школьный сход» — все, точно по уговору, встали: крестьяне на сельских сходах всегда стоят.

— Вот что, ребята, — начал я: — наш лавочник хочет на вас нажиться, поставляет негодные тетради и заламывает большую цену. Давайте дадим ему отпор. А как это сделать? Сделать это можно, если мы создадим школьный кооператив. Знаете, что такое кооператив?

О кооперативе ребята, конечно, ничего не слышали. Но о кредитных обществах, которые в ту пору стали появляться в деревне, кое-что от своих отцов слышали. Тем легче мне было объяснить, что такое кооператив и какую он приносит трудовым людям пользу.

— Будем сами закупать в городе и ручки, и тетради, и перья. Вот второму отделению понадобятся новые книги. Мы и книги закупим. Городские торговцы нам, как оптовым покупателям, сделают скидку, а товар мы будем брать самый лучший. Ну как, согласны?

— Согла-асны!.. — единодушно ответил сход.

— Ну, раз согласны, то давайте назначим уполномоченных. Они и в город со мной съезжат, и тетради с перьями будут вам выдавать, и деньги с вас получать.

И тут поднялся такой же гвалт, как и на «взрослых» сходах. Одни кричали:

— Пантелея Шевченко!

Другие им отвечали:

— Тю-у! Он и считать не умеет!

— Петра Надгаевского!..

— У него сапогов нема!..

— Сапогов нема, зато голова е, а у тебя ни сапогов, ни головы.

— Варю Кигтенко! — робко предложила сестра маленького Кузи Надгаевского, Лиза Надгаевская.

— Не треба!.. — заорал мальчишеский хор. — Дивчат не треба!..

— Прекратите галдеж! — приказал я и, обращаясь к Пантелею Шевченко, кричавшему громче всех, спросил: — А почему — не треба? Ну-ка, объясни, Шевченко.

Пантелей насупился и так склонил голову, будто приготовился бодаться.

— Цэ не их дило.

— А какое их дело?

— Звисно, яке: хату прибрать, дытыну нянчить...

— Обед готовить. Рубахи стирать. Корову доить, — подсказывали ему со всех сторон.

— Так, может, и учиться в школе не их дело?

Наступило озадаченное молчание. Видимо, мужская часть схода думала: «Если учатся — значит, можно. А для чего учатся — неизвестно». Я попытался объяснить, что женщины должны участвовать в общественных делах наравне с мужчинами, но скоро убедился, что не только мальчикам, но и самим девочкам такие понятия совершенно чужды.

И все же мне удалось убедить ребят провести в состав правления школьного кооператива девочку. Выбрали быстроглазую, бойкую Варю Кигтенко.

Семен Панкратьевич прошел в правление единогласно.

Зато с кандидатурой Кузьмы Ивановича было много шума. Мальчик с пальчик оказался необыкновенно способным. Мы еще и половины букв не прошли, а он уже весь букварь знал наизусть. Первое отделение считало только до десяти. Он с необыкновенной легкостью проделывал в уме все действия в пределах ста. «Кузьма Иванович, — говорил я, — раздели восемьдесят на пять, то, что получится, умножь на два и от полученного отними двадцать шесть». Едва я заканчивал вопрос, малыш отвечал: «Сесть». Когда он выходил к доске и наизусть читал басню про легкомысленную стрекозу и трудолюбивого муравья, класс освещался улыбками всех ребят. Вот этого чудо-хлопчика и выдвинуло все первое отделение. Старшие заартачились:

— Вин ще малый.

Но первое отделение не отступало, и старшим, после пререканий и перебранки, пришлось согласиться.



Председателем правления назначили Семена Панкратьевича.

Удивительно, что во время схода, длившегося час с лишним, никто не присел.

Распуская сход, я спросил Семена Панкратьевича, не сможет ли его отец дать мне и только что избранному правлению подводу, чтобы съездить в город.

— Даст, — сказал наш председатель. — Я сам запрягу.

Прошло немного времени, и к школе подкатила телега с впряженным в нее добрым конем Панкрата Гавриловича. Вместе с сыном в ней сидел и сам хозяин.

Сначала мы заехали за Варей Кигтенко. Семья только что села обедать. Как мы ни отбивались, нас тоже усадили за стол. Борщ с чесноком и пирожки со сметаной были так вкусны, что мы ни о чем за столом не говорили, а только покрхтывали от удовольствия.

— Вот не думали, не гадали, подряд два раза пообедали с сыном, — сказал Панкрат Гаврилович, вставая и вытирая ладонью усы. — А теперь давайте нам вашу дочку: повезем ее в город за покупками для школы. Отпускаете?

Варя уже успела рассказать дома, как ее выбирали. Добродушно посмеиваясь, хозяйка говорила:

— Как же ее не отпустить: теперь она правительница.

Лицо Вари покрылось смуглым румянцем, а глаза сияли.

Оставалось заехать за Кузей. И надо ж было так случиться, что в дом мы вошли в то время, когда мать нашего малыша, маленькая и худенькая, как девочка, разливала по чашкам дымящиеся галушки.

— Обедайте, добрые люди, мы подождем, — сказал Панкрат Гаврилович.

— Нет, уж пожалуйста с нами, — басом ответил хозяин, широкий и плотный.

— Нету такого правила, чтобы человек обедал три раза в день. Мы только-только отобедали у Кигтенки.

— А где ж есть такое правило, чтоб хозяева обедали, а гости в рот им смотрели?

Как мы ни отказывались, нас и здесь усадили за стол.

— Добри галушки, — похваливал Панкрат Гаврилович, подставляя второй раз свою чашку под уполовник хозяйки.

Кузю тоже отпустили в город без возражений.

И вот мы уже на большом шляху. Все то же вязкое черное месиво под колесами, все то же сумрачное небо над головой и все та же голая степь до горизонта.

Когда проезжали мимо заброшенной мукомольни, Панкрат Гаврилович вдруг спросил:

— Дмитрий Степаныч, а это ж правду говорят, что тут нечистая сила водится? Будто через то хозяин и забросил свою мельницу.

— А как вы думаете?

— Я думаю, что брехня. Но худой человек тут, конечно, может притаиться. Рассказывают, будто из окна выбрасывают петли и тащат проезжих в мукомольню.

— А что ж полиция смотрит?

— Э, полиция! Полиция сама обходит это разбойничье логово за сто шагов.

Мы поравнялись с подводой, груженной песком. Поверх песка сидел сумрачный мужчина, закутанный в рваную дерюгу.

— Здорово, Васыль! — крикнул Панкрат Гаврилович. — Все возишь?

Когда мы обогнали подводу, я спросил:

— Это кто?

— А работник нашего Перегуденко. Кулацкая жадность. Чтоб работник не ел даром хлеб зимой, Перегуденко заставляет его возить в город песок и сдавать там подрядчикам. Полтинник за воз. Два раза обернется в день — вот тебе и целковый. Выходит за месяц тридцать рублей. А работнику Перегуденко платит в месяц всего четыре рубля и кормит остатками от обеда наравне с собакой. Вот на кого набросить бы петлю из того чертова логова, на нашего «благодетеля», холера ему в бок.

— Он, что ж, местный, этот Васыль?

— Он, как и все мы, из Лукьяновки. Покуда была коняга, все цеплялся за свой надел. А как коняга издохла, вышел из общины, продал надел и пошел в батраки. И жена с ним, тоже батрачит на Перегуденко. Не дай бог докатиться до такой доли.

— Кому ж он продал надел свой?

— А банку. Банк скупает мужицкую землю по шестьдесят четыре рубля за десятину, а помещичью — по сто двадцать одному рублю. Почему так — неизвестно.

У въезда в город нам повстречалась подвода с отцом Константином. Панкрат Гаврилович и мальчики сняли шапки. Узнав меня, священник толкнул возчика, чтобы тот остановил лошадь, и радостно, будто сообщал приятную новость, сказал:

— У владыки был, принимал выволочку.

— За что, батюшка? — полюбопытствовал я.

— За злоупотребление спиритусом вини. Я говорю: «Так это ж злостная клевета, владыка. Если когда и случилось воспринять сей дьявольский напиток, то только в целях гигиены». А он мне: «Знаю твою гигиену. Смотри, как бы не гореть тебе на том свете в огненной геенне». — Опять толкнул возницу: — Поезжай! — И, уже отъехав, крикнул мне вслед: — Скоро заверну на закон божий! Приготовьте селедочку!

— Ну и поп! — покачал Панкрат Гаврилович своей массивной головой. — Наши к его приходу приписаны, так говорят, наберется — и все тропари¹ перемешает. Такое в алтаре мелет, что у регента аж глаза выкатываются от умственной натуги: то ли «упокой господи» затянуть в ответ, то ли «многая лета».

В город мы приехали еще засветло, но в книжном магазине, куда мы зашли все пятеро, горели электрические лампочки и мягко отражались в отлично отполированной облицовке шкафов и прилавка. За прилавками стояли щегольски одетые приказчики, сам же хозяин сидел в застекленной будочке. Я знал его еще тогда, когда он носил по базару корзину с календарями, почтовой бумагой, перочинными ножами. Звали его в те времена просто Алешкой. Потом он открыл на том же базаре книжную лавку, растолстел и превратился в Алеху Пузатого. Теперь его зовут не иначе, как Алексей Митрофанович, он один из наиболее почетных коммерсантов города, магазин его — на главной улице, а над магазином — вывеска с золочеными буквами. С тех пор как он поручал мне продавать открытки с изображением наследника-цесаревича, прошло несколько лет, и, понятно, почтенный коммерсант меня не узнал.

— Хотите иметь оптового покупателя? — приступил я

¹ Тропарь — церковная песнь в честь какого-либо праздника или святого.

сразу к делу. — Нам нужны тетради, перья, чернила, учебники.

— В кредит или за наличные? — так же по-деловому осведомился коммерсант.

— А какая разница?

— В кредит — меньшая скидка, за наличные — бо́льшая.

Жалованья своего я еще не успел истратить и поэтому сказал:

— За наличные.

Не прошло и получаса, как тетради со вложенными в них в виде премии переводными картинками, задачки и книжки для чтения на втором году обучения, ручки, карандаши и коробки с перьями были добротнo упакованы и снесены услужливыми приказчиками на дроги.

Можно было бы и возвращаться, но на фасаде противоположного дома так зазывно светились огромные слова «Театр «Модерн», а на щитах так интригующе изображались картины из комедии «Глупышкин женится», что, посоветовавшись с Панкратом Гавриловичем, я купил четыре билета и повел ребят в кинематограф: ведь кинокартин никто из них еще не видел.

Мы сидели в облицованном мрамором вестибюле в ожидании начала сеанса, и я невольно вспоминал, как сам впервые увидел кинокартину. До этого все в городе знали только «туманные картины», которые возникали на экране при помощи волшебного фонаря. А тут прошел слух, что приехал какой-то ловкий предприниматель и то в коммерческих клубах, то в школах показывает движущиеся картины. Однажды сестра Маша прибежала домой из прогимназии, где она тогда училась, с удивительной и радостной новостью: вечером в их актовом зале будут показывать движущиеся картины и она уже купила три билета — для себя, для брата Вити и для меня. Но радость наша была омрачена тем, что, имея более или менее приличные шубы, мы с братом не имели костюмов и были одеты в ситцевые старые рубашки. Когда мы вошли в гардеробную и увидели, в каких костюмчиках другие мальчики, то постеснялись раздеваться: так, в шубах, и сидели в зале во время сеанса. Пот струйками лился по нашим спинам, но мы ничего не замечали и только таращили глаза на большое белое полотно. А там творились

чудеса: то появлялась корова и, все увеличиваясь, шла будто прямо на нас. То русский солдат пронизывал штыком японского солдата. То мальчик и девочка, взявшись за руки, кружились в танце. С каким восторгом встречала публика эти чудесные картины! В зале кричали, пищали, охали, свистели. А уж на сколько дней хватило дома разговоров об этом изумительном зрелище!

Мои «правленцы» сидели рядом, боясь пошевелиться. Горожане, прогуливаясь по вестибюлю, бросали на них насмешливые взгляды и плохо сдерживали улыбки. Особенно привлекал к себе внимание Кузя: маленький, но в больших сапогах старшего брата, в фуражке по уши, он, казалось, пришел сюда из какой-то забавной сказки.

— Там крутят? — шепотом спросил Семен и показал глазами на бархатную портьеру.

Из-за портьеры приглушенно доносились звуки рояля и взрывы смеха.

— В том зале есть будка: в ней и крутят. А ты разве уже видел?

— Нет, отец рассказывал.

За портьерой послышался топот множества ног, затем все стихло и портьера распахнулась. Из вестибюля все двинулись в зрительный зал. Боясь, что Кузю затолкают, Семен поднял его на руки. Но когда наш мальчик с пальчик сел на стул, то оказалось, что, кроме спины впереди сидящего человека, он ничего не видит. И Семен посадил его к себе на колени.

Как только зал погрузился в темноту и на экране задвигались люди, оживились и мои ребята. Улица с многоэтажными домами и бегущим трамваем сменилась морем с гибнущим кораблем; исчезло море — возник лес со стадом антилоп и крадущимся в зарослях тигром; вот бородатые люди, закутанные в белое, едут на двугорбых верблюдах по пескам пустыни; вот парижская площадь и шагающие по ней войска в шляпах с султанами; вот горит огромное, в восемь этажей, здание, а пожарники в касках льют и льют в дымящиеся окна струи воды. И с каждой сменой картины Варя и Кузя вскрикивают то в страхе, то в изумлении, то в восторге. На что солидный человек Семен, но и он не может воздержаться от восклицаний; вроде «Ух, чудо-юдо!», «Ну и прет!», «Вот это лошадка!» После того как на экране промелькнула надпись «Патэ-

журнал все знает, все видит», началось «Глупышкин женится». И тутужебезудержный смех ребят слился с хохотом, свистом всего зала. Кузя так подпрыгивал в волнении на коленях у Семена, что тот наконец не выдержал и заорал на весь зал: «Да сиди ты, чертова дытына!»

— Ну как?— спросил ребят Панкрат Гаврилович, поджидавший нас на дорогах около кинематографа.

— Лес со всяким зверьем — здорово. И как французы маршируют на параде — занятно. А Глупышкин—это для маленьких, — с важностью сказал Семен.

— Для маленьких! — с обидой воскликнули Варя и Кузя. — А сам реготал, аж скамейка под ним ездил.

— Ездил, ездил!.. — проворчал Семен. — Держите покупки покрепче, а то выпадет какая, ищи ее потом ночью в грязи.

В голосе Семена Панкратьевича уже звучали начальнические нотки. Что значит — председатель!

И ребята как вцепились в кооперативное добро, так до самой Новосергеевки не выпустили его из рук.

На другой день, после занятий, все опять задержались в классе. Но это был уже не сход, а общее собрание членов кооператива. Правленцы сидели за учительским столом, а рядовые члены — за партами. Стоял только председатель Семен Панкратьевич Надгаевский, да и то лишь потому, что докладывал собранию о поездке в город. Я старался без крайней нужды не вмешиваться.

— Почему вы покупали тетрадки? — спрашивал председатель и сам же отвечал: — По три копейки. А сразу почему будете покупать? По пятак за пару. Да еще с промокашкой, да еще с переводной картинкой. Можно было продавать своим и по две копейки за штуку, только тогда не будет накопления.

— Какого такого накопления? — неприязненно спрашивает Сидор Перегуденко, сын могущественного Наума Ивановича Перегуденко.

— Хочешь спросить, подними руку, — строго замечает Семен Панкратьевич.

— Да ты кто — учитель?

— Не учитель, а председатель. Поднимай руку, а то не буду отвечать.

Перегуденко вопросительно смотрит на меня: как, мол, правильно это, что Надгаевский корчит из себя какого-то

распорядителя? Я киваю головой. Он неохотно приподнимает руку.

— Ну вот, поднял. Теперь отвечай.

— Накопления на разные наши дела. Шкаф треба купить, чтоб тетрадки с перьями запирать? Треба. Петьке, пастухову сыну, треба дать задачник без грошей? Треба. А то у батьки его только блохи за пазухой.

— От так! — хихикнул Сидор. — Лавочника облаяли, а сами тоже за выгодой гонитесь. На кинематограф наживаете?

— Ну и дурень, — спокойно говорит председатель. — Не понимаешь разницы. А за кинематограф Дмитрий Степаных заплатил из своих.

— Сам ты дурень! — злобно выкрикивает Сидор. — Да еще и жулик!

Поднимается гвалт. Кричат главным образом на Сидора, а он крутит головой и огрызается. Приходится мне вмешаться и водворить порядок.

Но гвалт еще не раз вспыхивал, прежде чем собрание утвердило все предложенные правлением цены.

Кажется, с этим поручением «лавочника» я справился.

• ПОЧТАРКА

В нашей деревне умерла старушка, и отец Константин с псаломщиком приехал отпевать ее. После похорон были поминки. Псаломщик уснул за столом, а отец Константин, тоже изрядно выпивший, пришел в школу.

Распахнув дверь в кухню, он сбросил на топчан пальто и шапку и весело сказал:

— Одним махом по всем свахам! Старуху отпел, теперь урок дам. А то как бы опять к преосвященному не вызвали. Здравствуйте, юноша!

— Благословите, батюшка! — сложила Прасковья ладони лодочкой.

Священник сделал рукой небрежный жест, скорее похожий на нетерпеливое «отвяжись, матушка», чем на благословение, но Прасковья поймала его руку на лету и чмокнула.

— Вы меня все время называете юношей, — сказал я, пропуская священника в свою комнату. — Но сами-то вы совсем еще молоды.

— Формально я старше вас, наверно, лет на восемь, а морально — на все восемьдесят. Грех жаловаться, но все-таки скажу: у жизни я пасынок... Это у вас чай? Разрешите щепотку? — Священник отсыпал из чайницы на ладонь немного чаю и пожевал его. — Это чтоб не так несло от меня водкой на ребят.

Он хотел пройти в класс, но Прасковья, брыкнув ногой, стала на пороге и запричитала:

— Батюшка, что же это?! Школа-то ведь не освящена. Где же это видано, чтоб люди жили в неосвященном доме! В неосвященном доме всякая нечисть заводится. Мне бы вот в кухоньке этой приютиться, а я боюсь, боюсь, батюшка. Один раз заночевала, когда наш соколик в волость ездил, так нечистый всю ночь мне в ухо пако-сти шептал, предложения непристойные делал.

— Ох, нечистый ли? — с сомнением покачал головой отец Константин.

— А кто же, батюшка? — выкатила Прасковья на священника косящие глаза.

— Ну ладно, старая кочерыжка, отступи в сторонку, не торчи передо мной, как надгробный памятник.

Отец Константин прошел в класс, а Прасковья еще долго стояла перед дверью и отплевывалась.

Через дверь ко мне доносился голос священника:

— «Отче наш, иже еси на небеси». Кто скажет, про какого отца говорится в этой молитве?

— Про небе-есного! — хором отвечал класс.

— Он видимый или невидимый? Кто его видел?

Некоторое время длилось молчание. Потом слышался робкий голос Кузи:

— Я видел.

— Ты?! — удивленно спросил отец Константин. — Где же?

— У нас в хате висит. Он старый, без очков не бачит, так мамка ему лампадку зажигает.



Ребятам дай только посмеяться. И смеются они так, что Прасковья выкатывает глаза и крестится.

На переменке отец Константин, жуя крепкими белыми зубами сухую тарань и запивая пивом (за тем и другим я посылал в лавочку Прасковью), говорил:

— Молитву господню они знают, но слова коверкают ужасно и толкуют их по-язычески. Спрашиваю: «Что значит: «Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли»?» А здоровенный хлопец (его уже женить пора) отвечает: «Яко на небеси и на земли значит, что на небе все есть так, как и на земле. И наша Новосергеевка, и школа, и учитель Дмитрий Степаныч». — Отец Константин захохотал. Потом разорвал другую тарань и, жуя, сказал: — Дам сегодня еще один урок и приеду к вам только через месяц. Законоучительство приносит мне сущие пустяки: всего пять рублей в месяц. Так вы уж, голубчик, сами учите их молитвам; а я буду изредка приезжать и проверять. Знаете, для вида, чтоб не потянули опять к преосвященному.

Отец Константин опять пошел в класс, Прасковья отправилась добывать хворост для растопки печи, а я вышел на улицу, чтоб подышать свежим воздухом — уж очень давал себя чувствовать в комнате водочный перегар. И вот, когда я так стоял, на дороге показался всадник. Был он в шапке, в ватнике, через плечо на ремне висела брезентовая сумка. И совсем безусый, видно молодой. Но чем ближе подъезжал, тем больше чувствовалось в нем что-то не совсем обычное. «Э, да он в юбке! — мысленно воскликнул я. — Неужели женщина? А сидит с той небрежностью, с какой держатся в седле казаки». Подъехав к школе, всадник ловко спрыгнул с коня, глянул на меня зелеными насмешливыми глазами и девичьим контральто сказал:

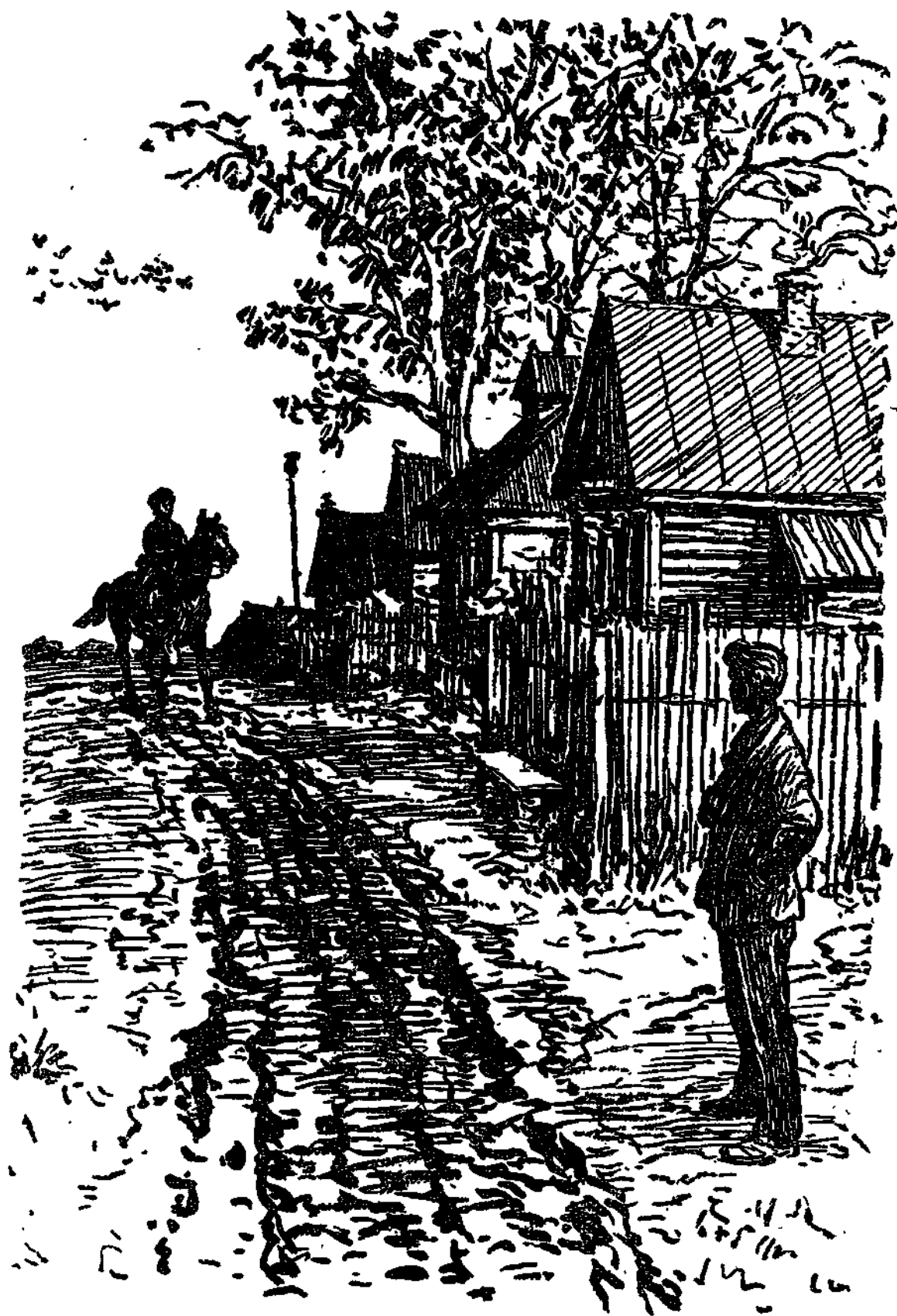
— Учитель, что ж у тебя тут голо кругом? Ни изгороди, ни деревца, хоть лезь на крышу да привязывай коня к трубе.

— Ты — почтарка? — догадался я.

— Почтарка.

— Ну привязывай коня к двери и заходи в помещение.

— К двери? А он не увезет ее вместе со школой и учителем?



На дороге показался всадник.

— Не такой уж он богатырский у тебя. Да если б и увез — тоже не страшно: с такой почтаркой проехаться — одно удовольствие.

Зеленые глаза посмотрели на меня строго и пристально:

— Ишь, бойкий какой! Разбаловали, верно, тебя девушки.

— Я не красавец, чтоб меня девушки баловали. Ну заходи, заходи!

Войдя через кухню в мою комнату, почтарка прислушалась к доносившемуся из класса голосу отца Константина и шепотом спросила:

— Кто там?

— Поп. Урок закона божьего дает.

— А-а-а... Это какой же? Из Бацановки? Пьяница?

— Он самый.

— А скоро урок кончится?

— Минут через десять.

— Ну тогда скорей бери и прячь. — Почтарка вытащила из сумки пухлый пакет. — Под тюфяк спрячь. А на стол положи старый пакет от инспектора. Придет поп, скажешь, что это я сейчас доставила.

Я сделал, как она велела, и предложил ей свой табурет, а сам сел на краешек кровати.

— Через неделю я опять заеду. Успеешь приготовить?

— Не знаю. Мне еще не приходилось такое делать.

— Мало ли что. Мне вот тоже не приходилось почтаркой по деревням скакать, а вот скачу.

— Если надо — значит, сделаю.

— Вот это другой разговор.

Мы умолкли и смотрели друг на друга. Глаза ее смеялись.

— Всматриваешься? — шепотом спросила она.

— Да, — так же шепотом ответил я.

— Ну смотри, смотри. Говорят, когда я снимаю шапку, в комнате светлее делается. Я ведь жар-птица. Смотри! — Легким движением руки она сбросила шапку. Голова ее будто вспыхнула. — И теперь не узнаешь?..

— Так это в самом деле ты?.. — еле мог я сказать от волнения. — Зойка, милая Зойка, как я рад!..

— Ну, давай поцелуемся. Сколько лет не виделись! — Обеими руками она притянула мою голову к себе и креп-

ко поцеловала в губы. — Вот ты какой стал, мой родненький! Я тебя сразу узнала. А ты меня нет.

— Так это потому, что я каким был заморышем, таким и остался, а ты, ты расцвела, красавицей стала. Как в сказке.

— Уж и красавица! — улыбнулась она. Чуть-чуть подумала и с такой же мягкой улыбкой сказала: — А может, и правда. Сколько на мне, девчонке, веснушек было! А теперь сошли. Сами сошли, без «Мадам Морфозы»!

Я вспомнил, что «Мадам Морфозой» Зойкина бабка называла крем «Метаморфоза», и спросил:

— Жива?

— Жива-а! Во Франции нашим эмигрантам борщ варит.

— Во Франции? Бабка?! — чуть не присел я от удивления.

— А ты думал как? Даже по-французски лопотать научилась. «Мадам, комбьен кут се шу?»¹ Тю, ты очумела!» — передразнила Зойка свою бабку и расхохоталась.

— Но как же она туда попала?

— Потом, потом! Я ж к тебе буду часто приезжать.

За стеной послышался топот ног: это законоучитель отпустил ребят домой. Зойка встала, намереваясь уйти. Но дверь распахнулась — и в комнату вошел отец Константин. Он уставился на почтарку своими жгучими глазами и вскинул черные брови-дуги:

— «Откуда ты, прелестное дитя?»

— Благословите, батюшка! — склонилась Зойка, пряча плутоватую улыбку.

Отец Константин размашисто сделал благословляющий жест и опять спросил:

— Ты из пены морской, что ли? Афродита?

— Матрена, батюшка. — Пресерьезно ответила Зойка, и только в уголках губ продолжала таиться все та же улыбка.

— Дурак же был тот поп, который окрестил тебя таким именем.

— А разве, батюшка, и среди попов есть дураки? — с наивной простотой спросила Зойка.

— Бывают, Матрена, бывают, хоть на них и почит

¹ Мадам, сколько стоит капуста? (французск.).



благодать божия. Сие даже согласуется с божественным учением. «Будьте аки дети», — говорится в писании, а дети, известно, народ неразумный.

— Это почтарка, отец Константин, — объяснил я. — Доставила мне пакет от инспектора. Теперь она всю волость обслуживает.

— Почтарка? А-а-а... Всю волость?.. А-а-а... Так, значит, предписания из епархиальной консистории теперь ты будешь доставлять мне?

— Нет, уж извольте за почтой посылать своего звоняря в волостное правление.

В Бацановке до правления из любого места рукой подать.

— Жалко, жалко! — покачал отец Константин головой. — Я бы тебя принял с подобающей твоей красоте щедростью.

— А как бы приняла меня попадья? — прищурилась Зойка.

Отец Константин вздохнул:

— Попадья уже год, как спит во гробе. А в книге «Бытие» сказано: «Не добро быти человеку единому». Оттого и создал господь для Адама Еву. Скучно, Матрена, мне без Евы. — Он тряхнул своей черной волнистой гривой и крикнул в кухню, где слышались спотыкающиеся шаги Прасковьи: — Эй, убогая, поди сюда! Сбегай-ка в лавчонку, принеси сладкого винца, «церковным» называется. Да прихвати пряничков мятных, да орешков, да барбарисовых конфеток.

— Как же можно, батюшка, церковное вино тут пить? Школа ведь не освящена, — укоризненно покачала головой сторожиха.

— Иди, иди, не твое это дело! На вот две полтины.

Прасковья затопала к выходу, а батюшка, обратясь ко мне, спросил:

— В самом деле, почему ж до сих пор не освятили школу? Дойдет до его преосвященства, опять мне будет выволочка.

— Попечитель говорит, — ответил я, — что освятить школу — это не просто отслужить молебен и окропить стены святой водой, а еще — накрыть на улице столы, отобедать всей деревней и выпить десять ведер водки. Нужны деньги, а общественные деньги богатей Перегуденко потратил на постройку своей мельницы и не торопится возвращать. Кстати, вы знаете, что в прошлом году тут уже был какой-то молебен с общественным обедом? Помолились, напились и устроили поножовщину. Двух парней зарезали.

— Да, было дело под Полтавой, — пробормотал отец Константин. — А сами вы не боитесь жить в неосвященном помещении?

— До сих пор меня не навещали ни черти, ни ведьмы.

— Черти — может быть, что же касается ведьм... — Отец Константин многозначительно покосился на Зойку. Та сейчас же отозвалась:

— Да и я вас, батюшка, пока не рассмотрела на груди креста, приняла за кого-то другого. Вроде, сказать, за того, который в поэме Лермонтова «летит над грешною землей».

Отец Константин расхохотался:

— Что значит неосвященная школа: вся бесовская сила собралась здесь. Вот принесет сторожика вина — устроим шабаш.

«Церковного» в лавочке не оказалось, и Прасковья принесла чего-то покрепче. Священник налил ей полную чашку:

— Пей и ступай по своим делам.

Глаза у Прасковьи стали масляные. Она перекрестилась, высосала все до дна, опять перекрестилась и умиленно сказала:

— Причастилась, сподобилась. Слава тя, царица небесная! — Брыкнула ногой и ушла.

Зойка прыснула.

— Чего смеешься? — с притворной строгостью сказал отец Константин. — Грех!

— Так, смешинка в рот попала. Удивительно, батюшка: на меня намекаете, а самую настоящую ведьму не примечаете...

— Ведьмы разные бывают. «Вия» Гоголя читала? Помнишь, какая краля загубила бурсака Фому?

Вина Зойка пить не стала, только пощелкала орешков.

Отец Константин допивал бутылку, когда в окно кухни постучали.

— Псаломщик мой проснулся, — сказал он, выглянув из окна. — Надо ехать. — Потом приблизился к Зойке вплотную и, глядя ей в глаза, спросил странно дрогнувшим голосом: — Хочешь, подвезу до самой Бацановки? Места в тарантасе хватит.

— А коня моего куда посадим?

— Ты — на коне? — опять взметнул свои брови батюшка.

— А вы думали — на метле?

Уходя, отец Константин погрозил Зойке перстом:

— Будешь гореть в геенне огненной, будешь!

— Вот там и встретимся, — с доброй улыбкой ответила она.

Я сказал:

— Ну, Зойка, околдовала ты попа. Ушел сам не свой.

Зойка сдвинула тонкие брови:

— Пусть не пялит на меня глаза.

ПАКЕТ

Зойка уехала, точнее, ускакала. Стоя у окна, я видел, как упруго она то поднималась, то опускалась в седле, и думал: «Нет больше на свете другой такой Зойки. Счастлив будет тот, кого она полюбит. А полюбит она только особенного человека, во всех отношениях достойного ее — и умом, и душой, и мужской красотой». Когда всадница достигла крайней хаты и скрылась за поворотом, тоска вдруг сжала мне сердце. И опять, как это часто было в детстве, я показался себе ничтожным существом, не способным ни мыслить самостоятельно, ни действовать.

Сторожиha окончила в классе уборку и перед уходом заглянула ко мне в комнату:

— Соколик, ежели что, очерти круг, стань посредине и скажи: «Сгинь, нечистая сила! Да воскреснет бог и расточатся врази его!» И всю нечисть, как ветром, унесет.

— Прасковья, в который уже раз вы учите меня этой

глупости! — разозлился я. — Идите наконец домой и не мешайте мне тетради проверять!

— Иду, иду, соколик. — Она сделала несколько шагов, потом вернулась и, озираясь, прошептала: — А перед сном окна и двери крестом осени. И печку тоже, а то как бы в трубу не влетела...

— Вон! — крикнул я.

Прасковья мгновенно исчезла.

«Вот так и надо действовать в жизни», — сказал я себе, запер двери и полез под тюфяк. Из пакета на стол посыпались листы тетрадной бумаги. Все слова написаны печатными буквами, видимо одной и той же рукой. Бегло прочитав несколько листков, я заметил, что авторы их — из разных селений нашей волости и разных заводов уездного города. Ясно, подлинные письма остались где-то в другом месте или были просто уничтожены, а эти листки — лишь копии. Вот какая предосторожность. Я углубился в чтение со всем вниманием. Да, Илья правильно говорил: грамматика хромала почти в каждом листке. Но зато сколько настоящих, а не выдуманных, как в приложениях к журналу «Родина», трагедий заключено в этих «безграмотных» сообщениях. Даже не верилось, что очень близко от меня происходят такие жуткие события. Вот листок из деревни Кулебякиной, что в семи верстах от Новосергеевки. У крестьянина Мигуленко издохла лошадь. Боясь расстаться с наделом, он впрягся в плуг сам и впряг своих старых родителей. Во время вспашки у матери ущемилась грыжа. Через два дня мать умерла. У отца помутился рассудок. Мигуленко полез на чердак и там повесился. Об этом случае я в свое время читал в газете «Приазовский край», в разделе происшествий. Но там говорилось, что «причины самоубийства не выяснены».

Вот другой случай. В Малой Федоровке безлошадный бедняк Кравченко попал в кабалу к богатею Матвееву. Чтоб не сесть за долги в тюрьму, он вышел из общины, закрепил за собой надел и продал его за полцены тому же Матвееву. Теперь дети пошли с сумой по миру, а сам Кравченко беспробудно пьет. Тащит не только из своей хаты, но и у соседей, в том числе и у своего разорителя. На днях по жалобе Матвеева суд приговорил Кравченко к заключению в арестном доме.

А вот случай из заводской жизни. Мастер металлургического завода Передереев любит заниматься поборами. Но даже тем, кто ему угождает, он по малейшему поводу грозит: «Ты у меня быстро вылетишь за ворота!», и безжалостно их штрафует. Доменщик Крутоверцев осмелился пожаловаться на него дирекции. В тот же день Крутоверцева уволили, как бунтаря. И вот уже пятый месяц он нигде не может найти работы — попал в черный список.

Эти и подобные заметки я принялся перекраивать на все лады, стараясь сделать их предельно сжатыми и в то же время такими, чтобы «суть вопроса была видна как на ладони». И тут я с удивлением и тревогой увидел, что самым трудным для меня делом оказались не запятые и яти, а эта самая суть вопроса. В чем же она? Как ее поймать?

Отодвинув листки-письма в сторону, я стал вчитываться в статью, занявшую целых четыре страницы. Начиналась она так: «Прошло больше года, как умерщвлен ставленник совета объединенного дворянства председатель совета министров Столыпин. Напрасно кое-кто надеялся, что со смертью этого погромщика, покрывавшего страну «столыпинскими галстуками» — виселицами, изменится и политика царского правительства. Столыпинская крестьянская реформа рассчитана была на то, чтобы царизм нашел себе опору в кулачестве, а помещичье землевладение осталось бы по-прежнему нетронутым...». С первых же строк мне стало ясно, что хотя статья была написана той же рукой, что и письма с мест, но автор ее в политике чувствует себя, как рыба в воде. «Уж не «лавочник» ли?» — мелькнула у меня догадка. Ссылаясь на события, описанные в письмах с мест, автор проводил ту мысль, что у трудового крестьянства и у рабочих враг один — царизм. Его-то и должен свергнуть народ под руководством пролетариата. Конечно, статью эту я не переделывал, а только исправил грамматические ошибки (их, кстати сказать, было немного), зато я нашел ключ к обработке писем с мест, так, по крайней мере, мне показалось. И до поздней ночи я не вставал из-за стола.

Зойку я ждал с трепетным нетерпением и каждое утро считал, сколько остается дней до ее приезда. В то же время мною все сильнее овладевал страх, что я не успею

к сроку выправить все письма или сделаю не так, как следует. Под влиянием этого страха я опять перечитывал уже дважды выправленные письма и каждый раз находил, что подправить. Особенно трудно мне было придумать заголовок. Так я трижды менял его для письма о заключении в арестный дом спившегося Кравченко и наконец остановился на строчках из стихотворения Никитина, только чуть перефразировал их:

Да по чьей же он милости пьяницей стал
И теперь ни за что пропадает?

Письму о занесении доменщика Крутоверцева в черный список я дал сначала название «Не смей жаловаться», потом заменил его «Черным делом», потом решил, что лучше всего назвать просто — «Черный список». Но так ни на чем окончательно и не остановился.

А письмо о повесившемся я назвал «Трагедия в Кулебякиной». Чувствовал, что не то, и все-таки не придумал ничего лучшего.

Зойка появилась даже раньше, чем обещала. Когда она осторожно постучала в дверь (а было это в два часа ночи), я выхватил из-под тюфяка заготовленный пакет и положил его около печи: в случае чего, все было бы брошено на горящие угли.

И как я обрадовался, услышав через дверь ее шепот:
— Митенька, открывай скорей.

Я снял болт и медленно, чтоб не щелкнуло в замке, повернул ключ.

— Открывай шире, а то он не пройдет.

— Кто — он? — не понял я и встревожился.

За Зойкой, положив ей на плечо голову, стоял конь.

— Иди, Гриша, только не стучи ножками.

Она взяла коня за уздечку и повела прямо в класс. Такое могла придумать только Зойка.

Гриша остался в классе, а мы с Зойкой ощупью прошли через класс в мою комнату. Пакет я опять сунул под тюфяк.

— Понимаешь, — шептала она, — нехорошо, если кто увидит ночью коня около школы.

— А если кто увидит его в классе?

— Что ж, подумают, что он пришел учиться, — засмеялась Зойка. — Никто не увидит: я уеду до рассвета.

Я зажег ночник. По комнате разлился слабый, синеватый от колпачка свет.

— Вот привезла тебе подарок, — сказала Зойка, вынимая из брезентовой сумки и расправляя темные с помпонами занавески. — Хоть твои окна на улицу не выходят, а так все-таки надежней. Да и тебе уютней будет, а то совсем в комнате голо.

Из двух моих окон одно выходило в класс, а другое — в застекленные сени, поэтому в комнате даже днем было полутемно, тем более, что я окна закрывал газетами. Зойка прикрепила занавески, отошла к двери и оглядела комнату: да конечно же, стало гораздо уютней. От удовольствия мы оба засмеялись. Теперь уже можно было и лампу зажечь, не опасаясь, что кто-нибудь увидит мою ночную гостью.

Зойка сняла ватник и сапоги, а на ноги надела комнатные туфли, извлеченные все из той же вместительной брезентовой сумки.

— Какая ты стала грациозная и... домашняя, — сказал я. — А девчонкой была длиннорукая, долговязая... и противная задира.

— Противная, а сам цыпляет для меня крал.

— Я?!

— Забыл? А кто принес двух цыплят, когда я болела? Я потому и на ноги встала, что бабка мне из тех цыплят суп варила.

— Так я ж их на базаре купил. Украл из кассы в чайной полтинник и купил.

— Ну, полтинник украл — не все равно! — Зойка подошла ко мне и потерлась щекой о мою щеку. — Ох, я ж и любила тебя девчонкой!

— За цыплят?

— За все: и за цыплят, и за «Каштанку», которую ты мне, больной, читал. Из-за той «Каштанки» я и в цирк подалась. Думала, сделаюсь знаменитой акробаткой, тогда и ты меня полюбишь.

— Да я и так любил тебя, Зойка, — сказал я, прижимая ее золотую голову к своей груди.

— Любил, да не так, — загадочно ответила она и мягко отвела мои руки. — Что у тебя есть? Я голодная.

— Картошка есть, огурцы, цибуля. И еще бутылка недопитого попом пива.



Она взяла коня за уздечку и повела прямо в класс. Такое могла придумать только Зойка.

— Тогда пируем! Кстати, я его, попа твоего, сегодня встретила на шляху. Ехал куда-то по требам. Увидел меня, кричит: «Эй, Диана (видишь, я уже Дианой стала у него), когда в Новосергеевке будешь?» Я заглянула в сумку, будто проверила почту, и сказала: «Завтра». — «Ну, так встретимся: я там урок даю». Помахал мне шапкой и покатил дальше.

— Завтра? — удивился я. — А мне говорил, что через месяц. Может, и вправду ты ведьма? Приворожила попа.

— Может, и вправду, — угрожающе сдвинула Зойка брови. — Рыжие — все ведьмы. Так где ж твоя картошка?

И вот мы пируем. До чего ж вкусно! Еще вкуснее, чем тогда, с Илькой. А уж как уютно! И эта уютность, как ни странно, неотделима от глухих постукиваний Гришиных копыт за стеной.

— Господи, ведь он тоже голодный! — спохватывается Зойка. И приподнимает занавеску на окне. Почти упираясь головой в стекло, на стол смотрит Гриша. Он шевелит черными губами, будто что-то шепчет. — Как думаешь, будет он картошку есть? — Зойка берет со стола несколько картофелин, кусок хлеба и несет в класс. А вернувшись, говорит: — Почему я так люблю лошадей и собак? Вот удивительно! И они меня тоже. Во всех цирках дрессировщики мне сцены ревности устраивали: «Ты, говорили, отбиваешь у нас наших питомцев!»

Она убрала тарелки, вымыла их в кухне и вернулась ко мне с лицом, ставшим вдруг суровым, даже требовательным:

— Ты приготовил?

— Приготовил, — упавшим голосом ответил я. — Но не знаю, насколько это мне удалось.

— Дай.

Я полез под тюфяк.

— И больше под тюфяк не прячь.

— А куда же прятать?

— Надо подумать. Может, устроим здесь где-нибудь потайное местечко, а может, в балке сделаем пещеру и будем заваливать ее камнями. Оттуда я и буду забирать.

— Но... — Я замаялся. — Но тогда мы будем видаться реже?

— А что важнее? — спрашивает Зойка и смотрит на меня ледяными глазами.

— Да, конечно... — вяло отвечаю я. — Так бери же пакет.

Беззвучно шевеля губами, Зойка прочитала листок за листком.

— Ты очень много поработал, — наконец сказала она. — И многое лучше стало, даже мне видно. Но окончательно скажут «там». Завтра я опять приеду. А теперь выпускай меня.

— Так ты думаешь, я справлюсь с этим делом?! — обрадованно спросил я.

Вся суровость с лица Зойки мгновенно сошла.

— Митенька, — обдала она меня теплом своих подбровших глаз, — да разве только с таким делом ты справишься! Да ты... Да мы с тобой... — Она не договорила и крепко обняла меня. Ее ресницы вздрагивали у меня на щеке. — До завтра, — шепнула она, отрываясь от меня.

В классе я прижал к себе лошадиную голову и расстроганно сказал:

— Гриша, дай я тебя поцелую.

ВЫВОЛОЧКА

Отец Константин приехал спозаранку и совершенно трезвый. Слегка смущаясь и от смущения покашливая, он сказал:

— Вот, юный друг, я опять к вам пожаловал. Был тут поблизости с дарами. Недужного исповедовал. Дай, думаю, заверну в школу, часок побеседую с детьми, а то как бы не вызвал преосвященный.

Голос был явно фальшивый. Но я сделал вид, что ничего не замечаю.

— Пожалуйста. Хоть час, хоть два.

— А... от инспектора никаких больше предписаний не поступало?

— Разве должно что-нибудь поступить?

— Нет, это я так... Надоели, знаете ли, все эти предписания. Вам — от инспектора, мне — от консистории... Пишут, пишут, а толку никакого. Так я зайду?

— Пожалуйста, пожалуйста, — открыл я перед ним дверь в класс.

Видно, батюшка к занятиям не готовился и к программам относился с полным пренебрежением. Сквозь дверь было слышно, как он то обучал ребят молитвам, то расписывал мудрые деяния царя Соломона, то, перемахнув через весь «Ветхий завет», рассказывал о воскрешении Иисусом Лазаря.

На перемене он спросил уже без обиняков:

— А почтарка не показывалась?

— Ко мне не заезжала, — равнодушно ответил я.

— Гм... Оригинальная девица. И красивая. Ей бы в театрах выступать или в картинах сниматься, а она на паршивом коне по сельским дорогам грязь месит.

Я подумал: «Знал бы ты, какой восторг вызывала она в цирках своим сальто-мортале!»

— Не всем же быть Комиссаржевскими, — сказал я.

— Да, конечно, конечно, — охотно согласился отец Константин. — На худой конец могла бы и попадьею стать.

— А разве священник может дважды жениться? — сорвалось у меня.

Отец Константин густо покраснел.

— Я не о себе, я не о себе, мой юный друг. — Он помолчал и упавшим голосом сказал: — Тащусь я по земле, как блудный сын: все промотал — и то, что было в душе, и то, что в доме.

Удивительно, как он менялся, когда был трезв.

Отправившись в класс на второй урок, он сразу же принялся рассказывать притчу о блудном сыне. Сын этот, как говорится в евангелии, взял свою долю из имения отца, промотал ее и, после тяжких скитаний, вернулся к отцу с покаянием. «И отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и дайте обувь на ноги его... — доносилось ко мне из класса. — И приведите откормленного тельца, и заколите, и будем есть и веселиться, ибо сей сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И пришли гости со всех домов и начали пировать и веселиться».

«Неужели он действительно верующий? — думал я, прислушиваясь к взволнованному голосу священника. — Или просто пришлась ему эта притча под настроение?»

— Так и не было почтарки? — опять спросил он после урока.

— Так и не было, — «с сочувствием» ответил я.

— Гм... Дал бы еще один урок, да ждут меня в Бациановке с крещением младенца. До свидания, добрый юноша. Заверну еще. Кстати, правду мне сказал урядник, будто почтарка доводится племянницей здешнему лавочнику?

— Не знаю, батюшка, — пожал я плечами. — Лавочник наш — человек алчный, я с ним не вожусь.

Прасковья стояла в кухне, держа в руках пальто отца Константина. Лицо ее выражало испуг и нетерпение. Едва священник шагнул, чтобы одеться, как моя сторожиха зашептала:

— Батюшка, а может нечистая сила в коня оборотиться?..

Отец Константин фыркнул:

— Нечистая сила даже твой образ принять может.

— Ой, батюшка, у меня с утра ноги трясутся. На рассвете пришла в школу, глянула, а на полу в классе помет лошадиный. Откуда ему взяться? Я перекрестила его и в печку бросила, в огонь.

— Помет перекрестила? Тю, дура! — гаркнул поп. — Вот я на тебя наложу эпитимию.

— Перекрестила, батюшка, перекрестила! Обезвредила.

Я захлопнул дверь своей комнаты и затрясся от хохота.

А уж как посмеется Зойка, когда узнает, какого страху нагнал ее Гриша на нашу сторожиху!

Но время шло, а Зойка не показывалась. Кончились занятия, ушла, убрав класс, Прасковья, сгустились на улице сумерки, а Зойки нет и нет. Ночь я не спал, прислушивался. Донесется в ночной тиши далекое ржание или стукнет ветер плохо прикрытой ставней — и я бегу к двери. Забылся только перед рассветом. И встал с таким чувством, будто случилась непоправимая беда.

Не появилась Зойка и в этот день.

Зато опять подкатил в своем тарантасе отец Константин. Вид у него был до крайности возбужденный.

— Вы извините меня, дорогой друг, но я хочу дать еще один урок, так сказать, авансом, — сразу же заговорил он при входе, будто предупреждая мое удивле-

ние. — Близится великий праздник рождества Христова — так мне тогда не вырваться.

Признаться, наезды попа уже начинали мешать моим занятиям с ребятами. Но я все-таки сказал:

— Что ж, давайте.

Прямо из кухни он направился в класс, даже не заглянув в мою комнату.

Теперь уже голос его был слышен редко. Глухо и отрывисто он задавал вопросы. Ребята отвечали запинаясь и невпопад.

— А кто перескажет притчу о блудном сыне? — спросил он.

— Я, — донесся до меня знакомый голос Кузи.

— Как зовут?

— Кузьма Иванович.

— Как, как?..

— Кузьма Иванович.

— Гм... Ну, отвечай, Кузьма Иванович.

Тревожно было у меня на душе, но, слушая Кузькину наивную передачу евангельской притчи, я невольно улыбался.

— ...А як прыйшов вин до дому, а руки у его в цыпках, под глазом синяк, на штанах бахрома. Прыйшов и каже: «Батя, я бильше нэ буду». А батько обрадувався, шо сын вернувся, та й каже своим батракам: «Ведыть сюды самого жирного теля. Зараз гулянку зробым». Зажарылы того теля и почалы горилку пить и песни спивать.

— Какие ж они песни пели? — поинтересовался отец Константин.

— Та разни: и «Гоп, мои гречаныкы», и «Гоп, кумэ, нэ журысь».

И опять класс хохотал.

— Ну, Кузьма Иванович, развеселил ты меня, — уже бодрым голосом сказал отец Константин.

Выйдя из класса, он подмигнул мне:

— Слышали? Я б этому Кузьме Ивановичу пять с плюсом поставил за такой вкусный рассказ. Но если бы его наш преосвященный услышал, то наверняка «благословил» бы Кузьку дланью по щекам за столь вольную интерпретацию Христовой притчи. — Отец Константин пощипал бородку и задумчиво сказал: — Да, неприятная

история, сугубо огорчительная... Перед тем, как подъехать к вам, заглянул я в лавочку, чаю купить осьмушку. Спрашиваю лавочника: «Что это племянницы вашей не видно, почтарки волостной?» А он мне: «Племянницу мою бешеная собака покусала. Уехала в Ростов на прививки».

Я почувствовал, как кровь отхлынула у меня от лица.

— А вы, юноша, впечатлительный, — сказал отец Константин, испытующе косясь на меня. — Весьма.

— Всю жизнь боялся бешеных собак, — попытался улыбнуться я.

— Кто их не боится, кто их не боится, — протянул он и вдруг, оторвавшись от меня взглядом, схватил пальто, шапку и вышел вон.

Я диктовал второму отделению задачу, упражнялся с первым в счете, писал на доске слова с новой для младших детей буквой, а в голове повторялось с мучительной назойливостью: «Зойку укусила бешеная собака. Зойку укусила бешеная собака».

Не выдержав, я отпустил ребят раньше времени и отправился в лавочку. Перед прилавком; как и в прошлый раз, хлопцы пили пиво. При виде меня лавочник посу- ровел.

— Дайте свечу, — сказал я, кладя на прилавок монету.

Лавочник взял деньги, завернул стеариновую свечку в бумагу, вырванную из старой книги, и подал мне.

— Значит, конкуренцию мне устраиваете, господин учитель? Что ж, так и запишем, — сказал он с каменным лицом.

— Так и запишите, — вызывающе ответил я.

Вошла женщина, вынула из-за пазухи яйцо и, положив на прилавок, сказала:

— Серныкив.

Лавочник подал ей коробочку спичек. Я зло усмехнулся:

— Да как же вы не грабите народ? Только на одних таких операциях вы скоро построите себе каменный дом.

— Ну и построю! — нагло ответил лавочник. — А вам что за дело?

Ничего не узнав о Зойке, я вернулся в школу. «Ах Тарас Иванович, Тарас Иванович! — мысленно журил я

лавочника. — Хоть бы какой-нибудь знак мне подал! Вот и гадай тут, что предпринять».

Еще одна бессонная ночь, еще один мучительный день — и, когда следующей ночью я принял твердое решение бросить школу и ехать на поиски Зойки в Ростов, в дверь постучали. Готовый ко всему, я бросился к двери.

— Кто?..

— Давай, давай! Открывай!..

Илька! Какую весть принес он мне — радостную или печальную? Но какую бы ни принес, хорошо уж одно то, что он пришел!

— Входи, входи!.. Как я тут измучился! Что с Зойкой, говори скорее!

— С Зойкой? — слегка удивленно спрашивает Илька. — Ничего особенного. Вот она тебе записочку написала.

— Ничего?.. Но ведь она... Но ведь ее собака покусала, бешеная.

— Сам ты бешеный! — смеется Илька. — Она по экстренному заданию отлучилась. Вернется — и опять будет «почтарить». А насчет собак — это мы утку пустили. Надо же чем-нибудь объяснить ее отсутствие.

— Фу, дьяволы! — вздохнул я с облегчением. — Измучили человека.

— Если ты будешь «измучиваться» по каждому такому случаю, тебя надолго не хватит, — сурово сказал Илька.

Теперь, когда на окнах висели занавески, можно было и лампу зажечь. В маленькой записке я прочитал: «Запасайся картошкой: вернусь — пир устроим». Вот как можно двумя строчками поднять человека с земли на небо.

Но с неба Илька меня спустил очень скоро.

— Ты какой заголовок дал заметке о повесившемся крестьянине? — строго спросил он.

— «Трагедия в Кулебякиной», — ответил я, чувствуя, что тут мне будет выволочка.

— А ты знаешь, что об этом самоубийстве писала газета «Приазовский край»?

— Знаю. Там писалось, что причины самоубийства не выяснены.

— Почему же эта газета скрыла от народа причины самоубийства?

Не зная, что ответить, я молчал.

— Потому, что в ту газету пишут кадеты да прогрессисты. С кем они, эти буржуазные либералы? С рабочими и трудовым крестьянством или с царем и помещиками? Корчат они из себя демократов, а на деле боятся революции и демократии, как огня, ругают Маркова, Пуришкевича и Гучкова, а сами в сделке с ними. Так как же ты не воспользовался случаем и не разоблачил их прямо в заголовке? «Трагедия в Кулебякиной»! — передразнил Илья. — Самое обыкновенное обывательское название. А надо было написать: «Кадеты закрывают глаза» или «Кадеты зажмурились». Или еще как-нибудь так, чтоб ударить этих кадюков прямо по глазам. Понятно? С классовых позиций надо, с политических.

— Кадю-юков? — не понял я.

— Ну да! Кадеты — это сокращенное «конституционные демократы», а рабочие их зовут просто «кадюки», потому что здорово уж это похоже на «гадюки».

Илья засмеялся. А посмеявшись, опять принял суровый вид.

Выволочка продолжалась еще долго — и все «с политических и классовых позиций».

— Ну ничего, есть и удачные заголовки. На вот, читай. — Илья вынул из кармана небольшую газету, любовно расправил ее и протянул мне. — Это и твоих рук дело. Любуйся.

От газеты пахло резко и едко. Но боже мой, никогда я раньше не знал запаха приятнее, чем этот запах типографской краски! Да, конечно, газета — дело и моих рук. И не только по части запятых и ятей. Вот я вижу заметки, которые напечатаны совсем так, как я их обработал. Илья просто перехватил, нагоняя на меня жару. Теперь поглядывает, как жадно я читаю, и подмигивает.

Газета называется «Рабочий и крестьянин», а выше названия, выше, значит, всего, стоит неизменный лозунг — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

— Ну, налюбовался? Давай сюда. — И Илья бесцеремонно берет у меня из рук газету и прячет в карман. — А теперь читай вот это. — Из голенища сапога извлекается пачечка тонкой бумаги с отпечатанным на пишущей

машинке текстом. — Читай вслух и «не так, как пономарь, а с чувством, толком, расстановкой». Мне тоже не мешает послушать еще раз эту статью.

Я уже не раз замечал, что Ильяк ввертывает в свою речь слова из литературы, которую мы во втором классе не изучали: значит, много читает. Как у него на все хватает времени!

Читать отпечатанное на машинке приходится поневоле «с расстановкой»: уж очень слабый оттиск. Видимо, печаталось под копирку сразу в десятке экземпляров.

— «Столыпин и революция», — прочитал я название статьи.

— Подожди, — положил Ильяк ладонь на бумагу. — Ну-ка, догадайся, о чем тут может пойти речь.

— О столыпинской земельной реформе, о том, что царизм ищет опору в кулаке, о сохранении помещичьего землевладения.

— Правильно, — кивнул Ильяк. — А главное, как буржуазия, на которую так надеялись наши меньшевики, пошла с дворянами-помещиками на сделку и предала революцию. Вот в чем гвоздь вопроса. Теперь читай да на ус мотай.

Статью мы до тех пор читали, обсуждали, пересказывали и вновь читали, пока Ильяк не спросил:

— Ну как, поумнел?

— Поумнел, — ответил я с удовольствием.

— А кто ее написал, знаешь?

Я подумал и твердо ответил:

— Ленин.

— Значит, и вправду поумнел. Это мы перепечатали из газеты «Социал-демократ», что в Париже выходит и сюда хитрыми путями доставляется. — Ильяк поднялся. — Однако я у тебя засиделся. Вот что, Митя, завтра, когда вся деревня заснет, ну, скажем, часов в десять-одиннадцать, подойди к лавочке и стукни тихонько. Паролем тебе будет: «Не продашь ли, дяденька, махорочки?» А на случай, если на улице встретит тебя какой-нибудь загулявший хлопец, прицепи вот эту штуку. — Ильяк вынул из кармана что-то завернутое в бумагу и сунул мне. Глаза его смеялись. — Тут уж тебя учить не приходится: человек ты в таком деле опытный.

Я развернул бумагу: в ней были усы и борода.

«БОСТОНКА»

В назначенное время я постучал. Впустил меня Тарас Иванович.

— Никого не встретил? — шепотом спросил он, запирая дверь.

— Никого.

— Ну тогда клади свою бороду в карман и проходи в комнату.

В лавчонке было донельзя тесно: ящики с казанским мылом, мешки с крупами, железные баки с подсолнечным маслом и керосином, стеклянные банки, наполненные леденцами, пачки махорки, бечева, даже разноцветные ленты для девичьих кос, — все это громоздилось одно на другом до самого потолка, и просунуться в соседнюю комнату без риска свалить что-нибудь было не так-то просто.

В комнате было полутемно. У стола сидели Илья и мужчина средних лет с мрачным лицом, с давно небритым подбородком. Присмотревшись, я узнал в нем того самого работника Перегуденко, который возит в город песок.

— А, ты? — сказал Илья и поднял фитиль в висевшей над столом керосиновой лампе. — Как раз вовремя. Ну-ка, Васыль, тисни.

На столе неуклюже возвышалось что-то покрытое кожаным чехлом. Васыль снял чехол, и я увидел какую-то странную машину с двумя валиками и торчащим над ней рычагом.

Васыль потянул рычаг. Послышался слабый скрип железа. Васыль снял с машины лист бумаги и подал мне.

— Ну, грамотей, посмотри, много мы тут ошибок наделали? — сказал Тарас Иванович.

Это был оттиск двух колонок газеты «Рабочий и крестьянин».

— Многовато, — покачал я головой, прочитав один столбец.

— Говорил я тебе, что лучше подождать Митю, — с укором глянул на Илью Тарас Иванович.

— Так я ж для практики. Сам набрал, сам и разберу. Пока он поправит заметки, я буквы по ячейкам обратно разложу.

Уйдя с головой в правку заметок, я почти не видел, что Илья делал с набором. Только когда он опять начал

выхватывать металлические буквы из ячеек, на которые был разбит деревянный ящик, я заметил, что пальцы его стали свинцово-черного цвета.

— Это от металлических букв, — объяснил мне Тарас Иванович. — У всех настоящих наборщиков руки такого цвета. Выходит, наш парень уже наборщик высшей категории.

Сказано это было с добродушной иронией, и Илья немедленно отозвался:

— Кто к чему тяготение имеет: одни в наборщики идут, другие — в лавочники.

— Поддел родителя, — вздохнул Тарас Иванович. — А в писании сказано: «Чти отца твоего и мать твою». Непочтительные стали дети.

Хмурый Василь неожиданно улыбнулся, отчего лицо его стало добрым и приятным:

— Все-то вы с шуточками. Веселый народ, дай вам бог удач в вашем святом деле.

— Дело это не только наше, дело это, Василь, всенародное, оттого оно и веселое. — Тарас Иванович протянул мне исписанный лист бумаги. — Ну-ка, Митя, прочти повнимательней. Это у нас передовицей пойдет. Кстати, ты не в претензии, что я тебя, учителя, Митей зову да еще «ты» говорю?

— Что вы, Тар... — Я запнулся, вспомнив предупреждение Ильки не называть в присутствии других Тараса Ивановича и его самого настоящими именами. — Что вы, Дементий Акимович!

На этот раз в статье говорилось о помещичьем землевладении. «Пройдитесь по улицам села Бацановки: что ни дом, то гнилая крыша. От малоземелья бацановские крестьяне обнищали. Но что такое крестьянское малоземелье? Оно не что иное, как обратная сторона помещичьего многоземелья. Тридцать тысяч «благородных» дворян во главе с крупнейшим помещиком Николаем Романовым имеют в Европейской части России семьдесят миллионов десятин земли, то есть столько же, сколько имеют десять миллионов крестьянских дворов. Вот и идут бацановские крестьяне в кабалу к помещику Сигалову, чьи земли раскинулись за селом от горизонта до горизонта, вот и работают они исполу, поливая эту дворянскую землю своим крепким соленым потом. Нет у крестьянина другого



— Ну-ка, Митя, прочти повнимательней.

выхода из кабалы, как ухватиться за мозолистую руку рабочего и вместе с ним пойти на штурм царизма».

— Хорошо, — сказал я, дочитав статью до конца. — Я был в Бацановке и видел эти гнилые крыши. Очень хорошо написали вы, Дементий Акимович, до каждого крестьянина дойдет. Можно мне самому набрать?

— Запятые, запятые расставь да корявости в выражениях подчисти, а наберем мы сами: время не ждет. Ты пока смотри, учись.

Сколько книг я перечитал, сколько газет, журналов, брошюр, а как они делаются, понятия не имел. И теперь передо мной происходило рождение газеты. Пусть маленькой, но настоящей.

Все-таки Илья важничает. Работает, а на меня даже не взглянет. А может быть, просто боится ошибиться, не ту букву взять из ящика.

Зато Тарас Иванович все мне объясняет: и как что называется, и для чего что делается. Машину печатники зовут «Бостонка», изготавливается она за границей. Ящик, разбитый на ячейки, называется наборной кассой. В каждой ячейке своя буква: в одной — «У», в другой — «М», в третьей — «О» и так до последней. Опытный наборщик может вынуть нужную ему букву даже с зажмуренными глазами. Но Илья, сразу видно, такого навыка еще не имеет. В левой руке он держит продолговатую металлическую коробочку (верстаткой называется), а правой вставляет в нее буквы. И я замечаю, как он нет-нет да и ошибается. И тогда вынимает из верстатки букву-ошибку и возвращает ее обратно в ячейку. Это ж сколько времени зря пропадает! В верстатке всего строк десять. По мере того как она заполняется, Илья переносит набор на железный лист с перильцами. А с этого листа переносит набор на лист побольше. Листы эти называются гранками. Под конец он весь набор заключил в раму, подобную той, в которую вставляют фотографические карточки, и вправил в машину.

Конечно, Илья не один набирал: ему в этом все время помогал Тарас Иванович. Моя ж помощь была в том, что я проверял оттиски.

Только Василь ничего не делал: сидел на корточках, крутил козьи ножки и пускал дым в печку.

Но, когда все было готово, наступила его очередь ра-

ботать. Правой рукой он вкладывал в машину лист чистой бумаги, а левой двигал рычаг. Посмеиваясь, Тарас Иванович говорил, что, собственно, газету делает один Васыль, а мы только его подсобные рабочие.

За час Васыль напечатал больше ста газет. Он завернул их в брезент и, прежде чем унести, привязал себе бороду, такую же, какая была и у меня. Через некоторое время вернулся, спрятал машину в кожаный мешок, предварительно разобрав ее на части, и тоже унес. Потом унес и все остальные принадлежности. И все это сделал молча, ни на кого не глядя.

Спросить Ильку или Тараса Ивановича, куда Васыль уносит всю «типографию», я считал тогда неудобным. Только месяц спустя я осмелился задать Тарасу Ивановичу этот вопрос.

— Где-то закапывает, недалеко от берега. А где именно — только он один знает, — сказал Тарас Иванович.

— А как он газеты в город доставляет?

Тарас Иванович усмехнулся:

— В этом ему Перегуденко активную помощь оказывает.

— Перегуденко?! Богатей?! Вы шутите, Тарас Иванович?

— Нисколько. Песок в город кто его заставляет возить? Перегуденко. Повозку с конем кто ему дает? Перегуденко. Вот в этой повозке, под песком, и доставляет Васыль нашу газету заводским рабочим.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Войдя однажды утром в пустой еще класс, я с удивлением заметил, что в нем стало необычно светло и бело. Что такое? Уж не выбелила ли Прасковья стены, пока я спал? Но, выглянув из окна, я сразу понял, в чем разгадка: на земле, на крышах домов, на деревьях — всюду лежал снег. Первый снег! Какая радость! Наконец-то пришла зима! Я ходил от окна к окну и повторял стихи, вычитанные мною в каком-то журнале:

Вот и первые снежинки на окне,
На дороге, на тропинке, на плетне.
Славно выехать из дому на заре:
Все — и хаты, и солома — в серебре.

То, бывало, ребята, не дожидаясь звонка, шли прямо в класс, а в этот день Прасковье пришлось дважды звонить, прежде чем все заняли свои места. Лица у ребят были свежие, разругавшиеся.

В этот же день мы познакомились с последней буквой. Теперь в классе умели читать уже все. Разница лишь в том, что одни читали бегло, другие — с запинкой.

«Не может быть, чтоб в такой день не случилось чего-нибудь хорошего, — говорил я себе. — Обязательно, обязательно случится». В предчувствии радости я вошел из класса в свою комнату — и ахнул: в комнате сидела Зойка.

— Господин учитель, вам казенный пакет. Распишитесь.

Никакого пакета она мне не дала, но, так как дверь в кухню была открыта, а там возилась Прасковья, я взял карандаш и сделал вид, что расписался в разносной книге. В груди у меня было необыкновенно тепло. С большим усилием я сдержал себя, чтоб сказать совершенно ровным голосом:

— Ты, почтарка, наверно, озябла? Не хочешь ли погреться чайком?

— Что ж, мне спешить некуда: всю почту уже разнесла. Угостите, если не жалко.

Как только Прасковья вышла, я схватил Зойкины руки и принялся тереть их, будто они и впрямь застыли у нее на морозе.

— Неужели, Митенька, ты соскучился по мне? — с ноткой удивления спросила она.

— А ты как думала! Конечно, соскучился!..

— Ну, соскучился, так будем вместе чаевничать. Пока позанимаешься, я приготовлю что-нибудь.

Вошла Варя, положила на стол горстку медных монет и ушла, захватив несколько тетрадей.

— Это что же? — Зойка с недоумением посмотрела на целую стопу новых тетрадей, потом — на меня. — Ты торгуешь тетрадями?

— Нет, торгует правление кооператива. — Я коротко рассказал, как возник и как успешно работает наш школьный кооператив. — У нас уже около трех рублей чистой прибыли, — похвастался я.

— И что же вы будете делать с этой прибылью? — заинтересовалась Зойка.

— Еще не решили. Посоветуй.

Зойка подумала.

— Я бы елку устроила: С подарками.

— Елку? Великолепно! — воскликнул я. — Вот отпущу ребят и обсудим с правлением.

Чай, который приготовила Зойка, стоил доброго завтрака: были и яички, и колбаска, и селедочка. Правленцы притащили из класса парту, поставили ее к столу и уселись рядышком. С заботливостью, если не материнской, то, по крайней мере, сестринской, Зойка сделала ребятам бутерброды, размешала в стаканах сахар, вытерла Кузьке губы промокашкой.

— Что же, господа члены правления, будем устраивать елку? — спросила она после того, как я рассказал ребятам об ее затее.

— Будем! — единогласно решило правление.

— С песнями?

— А то как же!

— И с балалайкой, — добавил Кузя.

— А ты можешь на балалайке?..

— Могу. Я могу и гопака танцевать.

Наша беседа подходила к концу, когда во дворе закрипели полозья и в кухню вошел отец Константин.

— Мир вам и я к вам! — сказал он, стряхивая с шапки снег. — Не был зван, но приидеши, ибо метется душа моя, аки белка в колесе. Не угостите ли отца своего духовного чашкой чаю? А чего покрепче, я с собой захватил.

Когда ребята ушли, Зойка сердито спросила:

— Ты как узнал, что я здесь?

— А я не знал, — замотал головой отец Константин. — Ведать не ведал. Конь сам меня сюда привез.

— Если ты меня будешь выслеживать, — продолжала Зойка все так же сердито, — я архиерею пожалуюсь, а то и сама с тобой разделаюсь.

— Какую же ты наложишь на меня епитимию, дочь моя?

— Заставлю тебя поехать в город и там пойти со мной в маскарад.

— В маскарад?! — отшатнулся отец Константин. — Но... Но в какой же маске?



— Ты и без маски за дьявола сойдешь.

Отец Константин опустил голову. Потом поднял ее и с горящими глазами сказал:

— Пойду. С тобой, колдунья, в самый ад спущусь.

Зойка покачала головой:

— Эх, Константин... Извините, как вас по батюшке?

— Павлович. Но нас, иереев, по отчеству не зовут.

— А я вот назову. Константин Павлович, зачем вы народ обманываете? Ведь не верите вы ни в бога, ни в черта. Неужели вам не стыдно дурачить темных людей и поборами заниматься, отбирать у бедняка последний грош?

Что-то дрогнуло в лице священника.

— Без веры всякому человеку трудно жить, — вздохнул он. — А бедняку особенно. С ней ему и горе легче нести, и умирать не так страшно.

— Значит, вы, попы, обманываете людей для их же пользы?

— Не все попы неверующие.

— Но берут-то все?

— Берут все, — опять вздохнул священник. — Трудивыйся алтарю — от алтаря и питается.

— С живого и мертвого?

— С живого и мертвого.

— И ты берешь? — беспощадно допрашивала Зойка. — Ведь берешь же, берешь?

— Пощади меня, девушка, — с мольбой в голосе сказал отец Константин. — Если бы ты знала, как страшно сложилась моя жизнь. Ведь не об этом я мечтал в юности, не об этом!..

— А о чем же ты мечтал? Ну, скажи. Это любопытно.

Отец Константин приподнял рясу, вытащил из кармана брюк бутылку и поставил на стол.

— Вот-вот, — кивнула Зойка. — Народ дурманишь баснями о боге, а себя — коньяком. Так в сплошном дурмане и живешь. А какой бы из тебя добрый молодец вышел! И стáтью взял, и лицом. Повернешься направо — что сизый орел, повернешься налево — что кричит.

Я хотел убрать бутылку со стола, но отец Константин выхватил ее у меня из рук, ударом доньшка о ладонь ловко выбил пробку и налил полный стакан. Чуть поколебался и одним духом выпил все до дна.

— Это — для храбрости. О своей жизни я стараюсь даже не думать, не токмо говорить. И отец мой, и дед, и прадед — все попами были. Отдал меня батя в духовное училище. Из него, известно, прямая дорога в семинарию. Учился я в Екатеринославе, а там и пехотные, и артиллерийские, и всякие другие полки стояли. Как пройдет мимо семинарии какая-нибудь воинская часть под Егерский марш, как гляну из окна на идущего впереди роты офицера, так и взметнется у меня дух. Прыгнуть бы прямо со второго этажа на мостовую, чтоб отпечатывать шаг рядом с командиром!

Проучился я в семинарии четыре года, приехал на каникулы в деревню, в родительский дом, и бухнул на колени перед отцом: «Отпусти, батя, меня в светскую жизнь, век за тебя буду бога молить, отпусти в юнкерское училище». Отец не сразу отказал: «Хорошо, говорит, проучись еще два года, пройди богословские классы, а там, если не передумаешь, вернемся к сему разговору». Обнадежил он меня, и принялся я в специальных двух классах одолевать и догматическое богословие, и богословие нравственное, и священное писание, и гомиетику, и церковное пение. Прямо скажу, из души воротило все это, а зубрил, боялся, что оставят на лишний год. Кончил и опять бухнул перед отцом на колени: «Отпусти, батюшка, не неволь!» А он мне: «Как же я тебя отпущу, коли и приход тебе владыка уже наметил, и слово дал я отцу Предтеченскому обвенчать тебя с дочкой его Аришей. Чем не хороша! Образованная, епархиальное училище с золотой медалью окончила, да и собой приятная, бела, как просфорная булочка». А я в те поры, признаться, по уши был влюблен в одну гречаночку, Мельпомену Назарити.

Встал я с колен и подался в город Чугуев, в юнкерское училище — вопреки воле родительской. Генерал, началь-

ник училища, просмотрел мои бумаги и говорит: «Вот тут у вас по богослужению пятерка в аттестате стоит. Вы как же голос подадите, когда враг пойдет в атаку: «Руби их, сукиных сынов!» или «Господи, воззвах к тебе, услыши нас!» Я вытянулся по-военному и отпрапортовал: «Никак нет, ваше превосходительство, команду подам, как следует по уставу: «Коли их, туды их растуды!» И меня зачислили в юнкера. И обмундировали уже по-военному. Но тут прикатил батя, подал генералу письмо от владыки и увез непокорного сына в отчий дом. Вот и конец первой книги моего бытия. Владыка обвенчал меня с нелюбимой Аришей, постриг в иереи и дал приход.

— Как же тебя в церковь повели? — зло спросила Зойка. — В цепях, что ли?

— Да, в цепях, — серьезно ответил отец Константин. — Но цепи эти незримые. Цепи эти — покорность. Покорность церкви, покорность воле родительской, покорность обычаю, семейным традициям. И сковывают они крепче железных.

Отец Константин выпил второй стакан и, не закусив, а только понюхав корочку, продолжал:

— Так началась вторая книга: семейное счастье. Попадья моя была — что бога гневить — хорошей мне женой. Обходительная, ласковая и собой хороша, а томился я в доме своем, как, сказать бы, в больнице. Лежу с утра в постели, читаю «Русский паломник» и зеваю так, что скулы трещат. «Матушка, говорю, я к тебе сегодня в гости приду. Жди». — «Что ж, говорит, батюшка, приходите». И начинает готовиться: одних пирогов напечет с десятков сортов. Чему другому, а кулинарии в епархиальном училище обучаются прилежно. Когда стемнеет на улице, я поднимаюсь с пуховой постели, причесываюсь, умываюсь, надеваю шелковую рясу и, побрызгав ее духами, выхожу на улицу. Прогуливаюсь, а она в свой черед принаряжается. И вот возвращаюсь, стучу в дверь, спрашиваю разрешения войти. «Здравствуйте, говорю, матушка!» — «Здравствуйте, отвечает она, батюшка!» — «А я, матушка, к вам в гости пришел». — «Пожалуйте, батюшка!» Садимся за стол, кушаем, выпиваем, говорим друг другу любезности, будто на днях только познакомились. И такую игру продолжаем, покуда не уснем. А утром открою глаза — и пожалею, что проснулся.

— Отчего умерла попадья-то твоя? — спросила Зойка.

— От родов. Так, с ребенком, на тот свет и ушла, не разрешилась. А уж как мечтала доченьку нянчить!

Некоторое время мы все молчали.

Зойка моргнула раз, другой и с досадой сказала:

— Знаешь, поп, мне тебя жалко.

Отец Константин вздрогнул, хотел что-то ответить, но вместо того вылил в стакан остаток коньяка и выпил.

— Ты куда сейчас, Константин Павлович? — спросила Зойка.

— Домой, в Бацановку. А что?

— Возьми и нас с собой. Хочется проехать по первопутью.

— С великим удовольствием! — оживился священник. — Сани у меня небольшие, но в тесноте, да не в обиде.

— Дмитрий Степанович, поедem? — подмигнула мне Зойка.

— С превеликим удовольствием! — отозвался я тем же тоном, что и отец Константин. — Кстати, побываем у старого учителя. Мне давно хотелось навестить его.

И вот мы летим по заснеженному шляху: я и отец Константин — по бокам саней, а Зойка — в середине. Кучер даже не вынимает из-под ног кнута, только ту же натягивает вожжи. Справа, из-под снежного покрова, проглядывает зелень озимых. До чего ж это свежо, радостно, красиво! Видно, неспроста в маленьких домиках на окраине города и в деревнях кладут на зиму между рамами окон белую вату и зеленый гарус. Зойка просовывает руку в карман моего пальто, нащупывает там мою руку и вкладывает в нее свою.

На плетнях засеребрилась бахрома,
Вместо хижин появились терема.
Как снежинки, мысли взвились, обнялись,
Завертелись, закружились, понеслись, —

радостно декламирую я и смотрю на Зойку. На ресницах у нее снежные звездочки. Мне хочется взять их губами.

Снег покрыл и все бацановские убогие избы. Теперь они тоже терема.

Отец Константин приглашает к себе в дом, но Зойка решительно отказывается. Нет, нет, нет! Ей надо забрать

в волостном правлении почту и вернуться в Новосергеевку. Вот, может быть, Константин Павлович прикажет кучеру отвезти ее обратно? В таком случае пусть сани через полчаса подьедут к старому учителю. На площади отец Константин со вздохом прощается с нами. До дома Акима Акимовича мы с Зойкой едем вместе.

— Жди меня здесь, — говорит она. — Я быстренько.

И бежит в мельканье белых бабочек.

При виде меня Аким Акимович так поднял руки к лицу, будто хотел протереть глаза.

— Вы?..

— Я, Аким Акимович. Что вас удивляет?

Он взял мою протянутую руку и крепко сжал:

— Так это в самом деле вы?.. А я думал, что после той моей исповеди вы за сто верст будете объезжать меня.

— Но почему же, почему? — в свою очередь, удивился я.

— Сам себе я гадок, сам себе! А уж другим и подавно!

— Вы преувеличиваете свою вину, Аким Акимович. Не вас одного искалечила жизнь. Надо ее переделать, переделать нашу российскую жизнь, тогда и не будут люди так калечиться.

— Да, да, — забормотал он, — да, да... Может быть, может быть... Вот у нас стали расклеивать на стенах хат одну газетку... Не знаю, кто это делает... Так в ней тоже эта мысль проводится. Нельзя, мол, больше так жить, нельзя...

— Что ж это за газета? — с невинным лицом спросил я.

— Газета? «Рабочий и крестьянин» называется. Я, признаться, не вчитывался, просто остерегался долго стоять перед ней, чтоб не донесли уряднику. А крестьяне читают, не боятся. Он уже и нагайку в ход пускал. Все равно читают.

— Так, может, и не боятся потому, что худшей доли, чем у них, уже не придумаешь? — спросил я.

— И так может быть, и так может быть, — закивал Аким Акимович.

— Я, собственно, заглянул к вам, чтоб пригласить на елку. Мы с ребятами устраиваем в школе елку на Новый год. Приезжайте. Все-таки перемена обстановки, а то вы тут совсем закисло.

Аким Акимович замялся:

— Конечно, я вам очень благодарен за внимание, не знаю даже, чем его заслужил, но боюсь быть вам в тягость.

— Приезжайте, приезжайте! — повторил я. — Были б в тягость, не стал бы приглашать.

Зойка стукнула в окно. Я пожал Акиму Акимовичу руку и выскочил на улицу. Сани были уже тут.

— Пое-ехали!.. — крикнул кучер.

Зойка положила мне голову на плечо, закрыла глаза и приказала:

— Читай.

— Что читать? — спросил я.

— Да стихи свои о первом снеге.

— Это не мои стихи.

— Не твой? — разочарованно протянула Зойка. — Ну, тогда... не читай. Я подремлю у тебя на плече, хорошо? Ведь я трое суток не спала.

Я бережно прижал ее к себе, и до самой Новосергеевки она не поднимала с моего плеча головы и не открывала глаз.

С ТРЕТЬЕГО ЯРУСА

У Ильки дел в городе было по горло, и третий номер газеты набирали без него. До этого я не раз заходил в лавочку. Васыль приносил наборную кассу, и мы с Тарасом Ивановичем набирали статьи из «Социал-демократа». Кто доставил свежие номера заграничной газеты, Тарас Иванович не говорил, а спрашивать я считал неудобным. Впрочем, нетрудно было догадаться, что сделала это наша почтарка. Оттого-то она и не спала трое суток.

Однажды, постучав поздним вечером в дверь лавочки, я услышал сердитый голос Тараса Ивановича:

— Ну, чего надо?

Как обычно, я спросил, не продаст ли лавочник пачечку махорки.

— Какая может быть продажа в поздний час! Иди себе с богом! — недовольно ответил лавочник.

«Что б это могло означать?» — размышлял я, возвращаясь домой.

Тревожное чувство не оставляло меня весь следующий день. Вечером ко мне постучал Васыль и сказал:

— Иди. Уже можно.

Я немедленно прицепил бороду и отправился.

— Ни за что не догадаешься, кто у меня был вчера, смеясь, сказал Тарас Иванович.

— Кто же?

— Урядник.

— Урядник?! — невольно воскликнул я.

— Он самый, наш достопочтенный Иван Петрович Квасков. Был у Перегуденко, там недопил, так пришёл ко мне допивать. До того набрался, что в лавке и заночевал. Любопытнее всего, что именно от него я получил самые точные сведения, в каких деревнях наклеивают нашу газету на всякое чуть удобное место и как ее читают. «У вас, говорит, благополучно, а в Бацановке на двери моего собственного дома наклеили, сукины сыны, эту нелегальщину. Просыпаюсь утром, слышу — галдеж. Глянул в окно — толпа. Я — на улицу, а они уже прочли и обсуждают. У самого моего дома митинг устроили, каналы. Да еще благодарить меня вздумали: «Вот спасибо вам, господин урядник, что вы нам мозги вставляете. Теперь мы знаем, кому шеи ломать». Сорвал я с двери газету, скомкал и говорю: «Если кто из вас хоть пикнет про это, в Сибирь законопачу. Марш по домам!»

Посмеявшись, Тарас Иванович озабоченно сказал:

— От него я узнал и кое-что другое. По деревням уже рыщут сыщики. Газета наша целый переполох вызвала в жандармском управлении. Теперь особенно надо держать ухо востро. Конечно, на Новосергеевку меньше всего падает подозрение, тут народ зажиточный, но все-таки шрифтом тебе заниматься больше не следует. Хоть следы от него и смываются с рук, но не настолько, чтоб не рассмотреть их в лупу. Зойке я приказал тоже прекратить на время всякую такую работу. Пусть отдыхает — развозит обыкновенную почту и помогает тебе елку наряжать.

— А как же быть с четвертым номером? — Я уже успел сродниться с нашей газетой, и решение Тараса Ивановича меня огорчило.

— С четвертым номером пока подождем. Печатать будем листовки со статьями Ленина. Тут мы с Васyleм одни управимся. Бороду свою спрячь подальше, лучше всего зарой где-нибудь в песке. А теперь иди. Когда надо будет, я пришлю за тобой Васыля.

Утром Зойка доставила мне служебный пакет, на этот раз действительно от инспектора. В циркулярном письме сообщалось, что во время рождественских каникул общество педагогов устроит для учителей начальных школ чтение лекций на педагогические темы и что приезд учителей в город и посещение ими лекций инспектор считает весьма желательным.



— Как же быть? — озабоченно спросил я Зойку. — Вся затея с елкой пропадает.

— Зачем же ей пропадать! Я с ребятами все подготовлю, а утречком на Новый год ты приедешь и откроешь «бал-маскарад», — сказала Зойка так, будто заранее все предвидела, обдумала и решила.

Отпустив ребят на каникулы, я с Зойкой и Семеном Надгаевским отправился к попечителю. Василий Савельевич встретил нас все с той же ласковой улыбкой на круглом, как блин, лице.

— Уезжаю, Василий Савельевич, — сказал я. — До Нового года не ждите меня. Извольте дать подводу — вот письмо от инспектора.

С «блина» точно сошло масло.

— Лошадь только-только с города вернулась. Мореная она.

— Но у вас же есть другая.

— Есть да есть, да далеко за ней лезть, — вздохнул попечитель.

— Ничуть не далеко, вон она, в конюшне стоит, — сказала Зойка. — И еще возьмите себе на заметку, господин попечитель, что угля в школе и десяти ведер не наберется. Надо срочно подвезти.

— Какая срочность, если занятий в школе до крещения не будет и сам учитель уезжает? — неприязненно посмотрел на Зойку попечитель. — И еще, извините, вопрос

вам задам: вы кто будете, по какой то есть должности указания мне делаете?

— Не обижайтесь, Василь Савельевич, я ж о ребятах хлопочу. Они сами себе елку устраивают, а в холодном помещении какая работа с ножницами да иголкой! Ведь и ваша дочка или сын, наверно, в школу ходят.

— Как же, ходят, — подобрел Василий Савельевич, — и дочка, и сын. Это, конечно, так, елка — это, конечно, для ребят приятность большая. А все-таки, вы кто же будете? Супруга, что ли, Дмитрия Степановича?

Зойка мгновенно порозовела. Я первый раз видел, чтобы она смущалась. Кровь и к моему лицу прихлынула.

— Нет, я ничья не супруга. Почтарка — и только. — И, рассердившись, резко сказала: — Это к делу не относится. Так запрягать, что ли? Где хомут?

Запряг сам попечитель. И даже сел за кучера.

В городе мы накупили сусального золота и серебра, глянцевої бумаги разных цветов, орехов, конфет, книжек с картинками. Из готовых елочных украшений купили только блестящий красный шар да маленький барабанчик. На площади, заваленной елками, Василий Савельевич выбрал дерево хоть и не очень высокое, но густое, пышное и, войдя во вкус нашей затеи, долго торговался. Ему усердно помогал Сема Надгаевский.

— Эх, жалко, надо было колокольчик к дуге подвезать, — сказал окончательно повеселевший Василий Савельевич, когда все закупленное добро было уложено в сани. — Пусть бы все смотрели на нас, какой мы возем школе подарок.

Прощаясь, Зойка как-то странно посмотрела на меня и отвернулась. Я зашагал домой, а мои спутники поехали обратно, в Новосергеевку.

Дома делать было нечего: старший брат, Витя, учившийся в учительском институте, на каникулы еще не приехал, сестра Маша, ставшая к тому времени артисткой, была далеко, в городе Курске, отец задержался на службе в городской управе, а мама была занята тем, чем занимались в этот день все домохозяйки — с раскрасневшимся лицом зажаривала в духовке рождественского гуся. Я отправился на нашу главную, Петропавловскую улицу.

После того как долго пробудешь в деревне, город ка-

жется особенно многолюдным, светлым, нарядным. А тут еще скоро рождество: во всех витринах — сверкающие елки, под елками — жареные гуси в обрамлении свежей зелени, колбасы всех сортов, окорока, торты с вензелями, шоколадные терема. Люди снуют с толстыми пакетами, с рогожными кулями, с елками на плечах. И все спешат, спешат, спешат — улица полна снежного, морозного скрипа.

У театра — толпа. Сегодня «Коварство и любовь». В роли Фердинанда — любимец театральной публики Сумароков. Роль Луизы исполняет Мурская. Когда эта пара участвует в спектакле, гимназисты и гимназистки с ума сходят: орут, визжат, забрасывают сцену цветами. Особенно много приходится поработать Мурской: через оркестр к ней летят десятки гимназических фуражек. «Прикоснись!» — вопят гимназисты. И артистка с пленительной улыбкой возвращает фуражки своим поклонникам. «Коварство и любовь» я видел раньше, но так соскучился по театру, что решил еще раз посмотреть.

Я сидел в третьем ярусе нашего уютного театра, построенного, как говорят, по типу Миланского оперного, и смотрел вниз: городская знать, сияя ожерельями, погонями, золотыми пуговицами, уже заняла весь партер и ложи-бенуар. Стоял тот ровный шум-говор, который не сразу смолкает даже при поднятии занавеса. Притушили свет. И вот, когда голубой занавес с изображением летящего амура взвился вверх и в зрительном зале посветлело от огней рамп, в партер вошли еще двое: впереди шла женщина в тяжелом бархатном платье цвета бордо, а за нею — короткий черный мужчина с лысиной вполголовы. И, пока они шли в проходе между рядами кресел, а затем усаживались в первом ряду, на них были обращены все бинокли и лорнеты. Уже старый музыкант Миллер отставил свою виолончель и взволнованно заговорил с женой о том, что его дому грозит бесчестье, а сдержанный шепот в зале все не прекращался.

— Кто это? — спросил я тихо свою соседку, даму с острым носом и тонкими губами.

— А вы не знаете? Каламбики со своей молодой женой. Жук и роза.

На сцене Вурм обхаживал неподатливого Миллера, Фердинанд и Луиза произносили страстные слова любви,

но все это только скользило по поверхности моего сознания, не возбуждая никаких чувств: весь я был во власти одной назойливой мысли — отвратительная сделка состоялась. Мне хотелось подняться и уйти. И если я все-таки досидел до конца первого действия, то лишь для того, чтобы убедиться, действительно ли это была она. Да, это была она. Когда вспыхнули люстры и публика повалила из зала, поднялись со своих мест и эти двое. Теперь она шла от сцены к выходу с обращенным в мою сторону лицом, и я увидел ее всю — от пышно взбитых волос с горячей диадемой до бархатных туфель с бриллиантовыми застежками. И тяжелый бархат платья, и дамская прическа, и бриллианты — как все это далеко от ее недавних еще девичьих нарядов. Но в побледневшем лице — все та же неизъяснимая прелесть, которая с детских лет вызывала во мне головокружение и сладостную истому. Как пьяный, я спустился по скользким мраморным ступеням и ушел из театра, оставив тех двоих досматривать спектакль о великой любви, чуждой пошлого расчета.

Уйти из театра оказалось куда легче, чем выбросить из головы и сердца то, что я увидел там. Я долго ворочался в постели и, как в ту ночь, когда мучительно обдумывал, отдать или не отдать драгоценную булавку ее владелице, встал, зажег лампу и принялся писать.

Знаю, Дэзи, что письмо это не принесет Вам приятных минут (а ведь все из кожи лезут, чтобы украсить Вашу жизнь), и все же прошу Вас прочитать его до конца.

Помните ли Вы, как мама привела однажды Вас в чайную-читальню общества трезвости, попечительницей которой она тогда была? В чайной ютились пропойцы, бродяги, калеки, нищие, и, когда Вы, сказочно красивая девочка, в нарядном платье появились там, мне, мальчишке, обслуживавшему калек и бродяг, показалось, что на грязном мусоре по воле неведомого волшебника вдруг вырос дивный цветок.

Вы тоже заметили меня, даже пощечетали минутку с мальчишкой-заморышем, и забыли его навсегда.

А он... Каких чудес храбрости, каких подвигов не совершал он в своем воображении, чтобы заслужить Ваше внимание! Ему хотелось взлететь на небо, вернуться



Да, это была она.

на землю с ясным месяцем в руках и украсить им Вашу прелестную головку.

Увы, у меня не было ни крыльев за плечами, ни звезд в кармане.

Но, когда один добрый бродяга подарил мне чудесную книжку о приключениях собаки Каштанки, я проник в Ваш дом, где сияла нарядная елка, и положил эту драгоценную для меня книгу к Вашим, королева бала, ногам.

Я так был бедно одет, что Вы и гимназисты, Ваши гости, приняли меня за ряженого.

Вы подрастали и делались все краше, хотя краше, казалось, быть невозможно, а я оставался все таким же заморышем. Мудрено ли, что Вы совсем не замечали меня, когда я жался под тополем у парадных дверей гимназии, чтобы хоть краешком глаза взглянуть на Вас.

Судьба все же столкнула нас: это я бросил в греческой церкви к Вашим ногам ветку мирты и вместо унылого «Пистево сена феона»¹ спел радостное «Пезо ке гело, сена поли агапо»². Вы, конечно, помните, какой это вызвало переполох в церкви.

Но уже на другой день, когда я спасался от монахов, решивших заточить меня в монастыре на горе Атос, и убежал во двор Вашего роскошного дома, Вы не узнали меня. Вам было скучно, и целый час Вы забавлялись босоногим мальчиком, пока не заподозрили в нем воришку. Тогда Ваши бархатистые глаза приняли такое же выражение, как и глаза Вашего жестокого отца, крикнувшего кучеру: «Выбрось мальчишку на улицу!»

Нет, я не вор. Прошлым летом я нашел в парке утерянную Вами драгоценную булавку и вернул ее Вам, оставшись неизвестным. В письме я просил Вас лишь об одном: потребовать от Вашего несправедливого отца взять обратно из суда жалобу на честного труженика, с такой любовью и тонким вкусом лицевавшего Вашу личную каюту на пароходе «Медея». Ваш жестокий отец жалобу не взял обратно, и человек, им же ограбленный, был заключен в арестный дом.

И еще раз наши пути скрестились. Я рубил сухие ветки в городском парке, а Вы шли по аллее, и солнечные

¹ Верую во единого бога (греческ.).

² Играю и смеюсь, тебя крепко люблю (греческ.).

зайчики играли на Вашем лице. Я так залюбовался Вами, что упустил топор. Если раньше Вы приняли меня за ворешку, то на этот раз я, вероятно, показался Вам разбойником. Но Вы — храбрая девушка. Вы не испугались моего топора и послали меня с запиской к студенту Багрову.

Меня Вы опять не узнали.

Три дня спустя я, одетый уже в учительскую форму, вновь встретил Вас в парке. Я не сказал Вам, подобно бедному телеграфисту из «Гранатового браслета»: «Да святится имя твое!» Нет, подобно Чацкому, я излил на Вас «всю желчь и всю досаду» за то, что Вы не отвели мстительной руки своего отца от бедного мастера. И как же я был счастлив, когда услышал от Вас, что Вы просили отца, даже требовали от него оставить ни в чем не повинного человека в покое. Отец подло обманул Вас, но Вы узнали об этом только от меня.

Я счастлив был потому, что Ваш поступок укрепил во мне веру в человека. «Даже богатые и избалованные жизнью люди, — думал я, — могут быть иногда справедливыми, даже им может быть свойственно чувство чести и человеческого достоинства». И самым отрадным для меня было то, что пример этому показали Вы.

С чудесным чувством я уезжал в деревню учить ребят грамоте. Мне хотелось обнять весь мир.

С тем же радостным чувством я приехал на каникулы в город. Мне предстоит прослушать цикл лекций в Обществе педагогов, чтобы лучше справляться со своей задачей. Но кое-что хорошее я уже успел сделать: полсотни совершенно неграмотных ребят теперь умеют писать и читать. Полсотни! Как же не радоваться!

И вдруг на мою радость легло темное пятно.

Я купил сегодня на галерку билет, чтобы посмотреть спектакль о прекрасной любви двух юных сердец.

И еще не поднялся занавес, как я увидел Вас и спешившего за Вами на толстых коротких ногах богача Каламбики.

Дэзи, знаете ли Вы, сколько было грации и девичьей легкости в вашей фигуре, когда Вы по субботам появлялись в театре! В эти вечера театр бывал переполнен учащимися. Бурно выражали свой восторг гимназисты и студенты, вызывая десятки раз артистку Мурскую, но самые смелые и развязные из них смотрели на Вашу ложу

с робостью и затаенным обожанием. Так неужели они были менее достойны Вашего благоволения, чем делец Каламбики с его двойным подбородком, выпученными глазами и отполированной лысиной, Каламбики, о невежестве которого ходят в городе десятки анекдотов!

Что Вы сделали, Дэзи?! Природа с царственной щедростью одарила Вас. Кому же и за что Вы отдали себя?

Что Вы сделали, Дэзи?!

Я не перечитывал письма. Вложил его в конверт таким, каким оно вылилось из моей души. А на конверте написал всего лишь два слова: «Дэзи Каламбики». Я был уверен, что дойдет и так,

И оно дошло.

ЗАПИСКА

Съехавшиеся учителя бродили по городу и томились. Лекции начались только на третий день каникул в просторном светлом зале женской прогимназии. Своих сельских коллег мне легко было отличить от городских: обутые в сапоги, они осторожно ступали по скользкому паркету и разговаривали вполголоса. Секретарь Общества педагогов, тощий учитель географии, увешанный разными орденами за выслугу лет, поднялся на трибуну и поздравил собравшихся с праздником рождества Христова. Далее он сказал, что целью лекций является посильная помощь учителям начальных школ в их самоотверженном, подчас прямо-таки героическом труде на ниве народного просвещения, и от имени общества выразил благодарность устроителям лекций, в особенности же почтенному председателю общества, предводителю дворянства Николаю Галактионовичу Ремизову и господину инспектору народных училищ Вениамину Васильевичу Добровольскому. Назвав эти два имени, секретарь захлопал в ладоши и поклонился сперва в правую сторону, где сиял генеральскими эполетами седобородый с выхоленным лицом помещик Ремизов, потом — в левую, где, приворясь, будто ничего не слышит, читал местную газету наш инспектор. Собравшиеся тоже похлопали, причем и по хлопкам можно было отличить сельских учителей: били они в ладоши, пожалуй, громче, чем бабы на ставке бьют рубелем по белью. На том кончилась официальная часть.

На трибуну поднялся доктор Котковский, более известный в городе как один из лидеров местных кадетов, чем как врач. Лекция его называлась «Основы школьной гигиены». Все мы, сельские учителя, раскрыли свои тетради и принялись усердно записывать. Но постепенно тетради стали закрываться, а карандаши закладываться за ухо. Когда кончилась лекция и Котковский осведомился, не будет ли вопросов, с минуту длилось томительное молчание. Учитель с круглым обветренным лицом качнулся на своем стуле раз, другой и, наконец решившись, встал и робко сказал:

— Я, доктор, извините, не понял. Вы говорите, что на переменах обязательно надо открывать форточку и проветривать класс. А если, как, например, в моей школе, никакой форточки нет и рама вставлена навечно, никогда не открывается, то как же тут проветрить?

— Почему же ее нет? — недоуменно поднял брови лектор.

— А откуда ж ей взяться, если мы занимаемся в старой избе? Да она, эта самая форточка, и без надобности нам: в избе из всех щелей так свистит, что мы вентилируемся, можно сказать, без передышки и на переменах, и на уроках.

В зале засмеялись.

— Да, ваша школа, пожалуй, в моем совете не нуждается, — попробовал пошутить лектор.

Но тут с разных мест слышались голоса:

— И моя!

— И моя!

— И моя!

Поднялся еще один учитель.

— Господин лектор, вы говорите, что после занятий обязательно надо мыть пол. Но как можно помыть в моей школе пол, если он глиняный?

— А почему же он у вас глиняный? — удивился лектор.

— Так вам же сейчас объяснили, что в нашем уезде под многие школы отведены крестьянские избы.

— А, да! Совершенно правильно, глиняный пол не помоешь, — согласился лектор.

— Я вот относительно кори и других заразных болезней, — поднялся третий слушатель. — Вы говорите, что

массовое заболевание можно предупредить, если при первом же случае обратиться к участковому фельдшеру. В прошлом году у меня заболело корью сразу трое. Я немедленно написал в фельдшерский участок. А участок этот обслуживает чуть не дюжину населенных пунктов. Словом, когда фельдшер наконец приехал, все сорок пять учеников уже переболели и лечить больше некого было.

Едва он умолк, как встал четвертый и, обращаясь уже не к лектору, а ко всем слушателям, иронически сказал:

— Вот вы жалуетесь, что у вас нет форточек, что полы глиняные. Это вам просто не повезло.

— А тебе повезло? — зло спросили его.

— Мне повезло. Да еще как! Слышали небось про деревню Гвоздеевку? Помещица наша, Гвоздеевская, жила в Москве. Ни детей, ни внуков, ни правнуков у нее не оказалось. Так она весь свой капитал, что не успела прожить, завещала перед смертью на постройку школы в своей родовой деревне. И вот выбухали нам школу. Два этажа, восемь классных комнат, рекреационный¹ зал и сорок сороков форточек. А деревня наша малюсенькая, в ней едва набралось шестнадцать учеников. Теперь крестьяне затылки чешут: на какие, извините, воши ее, такую махину, содержать? Разорит она нас, проклятушая.

— Да вы, господин лектор, в деревне когда-нибудь были? — с вызовом крикнул кто-то с места.

Теперь уже заговорили все, слышались голоса:

— Наши школы больные!

— Их не лечить надо, а скрыть и построить новые.

— Какая тут гигиена, когда у всех ребят чесотка!

Лектор беспомощно развел руками и сошел с кафедры.

А на кафедру уже спешил инспектор.

— Господа, это бестактно! — с побагровевшим лицом бросил он в зал. — Бестактно и в отношении уважаемого лектора, и в отношении наших школ — источников просвещения в деревнях. Я не могу допустить, чтоб в моем присутствии называли наши школы больными. Прошу это на будущее учесть и вести себя подобающим образом.

С первой лекции расходились все в молчании.

Вечером преподаватель истории Финевский, баллотировавшийся в Государственную думу от крайних правых,

¹ Зал для отдыха и игр учащихся во время перемен.

то есть, проще говоря, от черносотенцев, прочитал нам двухчасовую лекцию о греческих мифах. А утром следующего дня он же два часа доказывал с кафедры, что все без исключения народности, населяющие территорию Российского государства, пришли под скипетр российских государей абсолютно добровольно и если все же приходилось применять оружие, то лишь против бунтовщиков. Первую лекцию он читал сладкоречиво, вторую — то умиленно, то грозно, то торжественно. Как потом нам объяснил секретарь, лекция о мифах рассчитана была на развитие у сельских учителей эстетических чувств, а лекция об «инородцах» — для поднятия патриотического духа. Учителя слушали покорно, но тетрадей не раскрывали и вопросов не задавали.

Только раз и порадовались мы: это было, когда из Новочеркасского политехнического института приехал доцент Лященко. Он прочитал лекцию о потрясших весь мир открытиях Склодовской-Кюри и ее ученых коллег.

Выключили электричество, и все мы увидели в темноте светящуюся металлическую пластинку, сквозь которую свободно проходили лучи радия. Было такое чувство, будто мы соприкоснулись с тайной, вырванной у скупой природы подвижниками науки: и радостно, и жутко.

И еще было чувство национальной гордости: ведь существование радия предсказал почти за тридцать лет до его открытия не кто-нибудь, а наш Менделеев.

По окончании лекции мы окружили доцента, жали ему руку, горячо благодарили.

— Очень рад, очень рад! — говорил он, оглядывая нас ясными веселыми глазами. — А ведь не напиши я вашему обществу о своем желании прочитать народным учителям лекцию, так бы мы и не встретились.

Итак, единственно нужная, интересная лекция — и та была чуть ли не навязана нашим руководителям.

Зато они не пожалели средств на встречу Нового года. Был и духовой оркестр, и даже шампанское, которое сельские учителя до того видели только на рекламных картинках в журнале «Нива». Говаривали, что деньги «пожертвовали» по подписному листу местные богачи, в том числе и Каламбики.

В двенадцать часов предводитель дворянства поднял фужер и провозгласил здоровье императора. Оркестр

грянул «Боже, царя храни». Кто кричал «ура», кто «дуррак» — все покрыли звуки медных труб.

Начались танцы.

Я хотел уйти домой, чтобы пораньше встать и отправиться в свою школу. Спускаясь со второго этажа, яглянул в трюмо, что стояло на лестничной площадке, и у меня перехватило дыхание: по лестнице поднималась Дэзи. Высокое зеркало четко и ясно отразило ее грациозную фигуру от простой девичьей прически до атласных туфель. На ней было легкое зеленое платье с золотыми пуговицами, поразительно похожее на то, в котором я впервые увидел ее девочкой. Следом за ней шел, звеня шпорами, молодой поручик с нарядными адъютантскими аксельбантами. Глаза Дэзи встретились в зеркале с моими.

— Подожди, Жорж! — взволнованно сказала она и быстрыми шагами поднялась ко мне. — Я знала, что вы будете здесь, и заставила кузена привезти меня сюда. Мы сбежали с бала в коммерческом клубе. Вот вам. — И она вложила в мою руку записку. — Жорж, поедем обратно!

Но так сразу уехать красавице, жене миллионера, не удалось: к ней уже спешил предводитель дворянства.

— Каким чудом, каким чудом! Милости просим, волшебница!

— Не чудом, ваше превосходительство, а чудачеством, — звякнул шпорами поручик. — Чудачества моей кузины сделали меня похитителем: я увез ее прямо из-под носа мужа.

Дэзи хотела ускользнуть:

— Спешу, спешу, спешу, генерал!

Но предводитель дворянства подхватил ее под руку и замотал головой:

— Ни под каким видом! Ах, попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети! Я тоже спешу — меня в дворянском собрании давно ждут, но уеду не раньше, чем вы промчитесь с поручиком в мазурке. Как можно упустить такой счастливый случай!.. Мазурку! — крикнул он капельмейстеру.

Дэзи умоляюще взглянула на поручика. Тот вздернул плечом:

— Я человек военный: воля генерала — для меня закон.

Он взял Дэзи за руку и стал в позу.

То ли никто из присутствовавших не знал, как танцуют мазурку, то ли просто постеснялись танцевать вместе с такой блестящей парой, но по паркету стремительно понеслась только эта пара. Каждый раз, когда поручик с разбегу падал на одно колено, а Дэзи порхающей нарядной бабочкой носилась вокруг него, в зале срывались аплодисменты. Хлопали все, от генерала до иронического учителя из Гвоздеевки. Так, под всеобщие громкие аплодисменты и покинула Дэзи зал в сопровождении молодого черноусого поручика и седобородого генерала.

Я стоял с зажатой в руке запиской. Читать ее в многолюдном зале мне почему-то не хотелось. Когда Дэзи ушла, я спустился в гардеробную и там, у горящего камина, развернул голубой листок бумаги. Дэзи писала:

Я не только прочла до конца, но и много раз перечитала, хоть читать было горько. Вы неправы: я помню и худенького мальчика в чайной, и забавного мальчишку, обещавшего снять с неба чуть ли не все звезды, и белого ангела, спевшего в греческой церкви для меня веселую песенку, и дровосека, непонятным образом превратившегося в учителя. А «Каштанка», подаренная мне, богатой девочке, нищим мальчиком, и сейчас лежит в шкафу среди других моих детских книжек. Я только не знала, что этими разными мальчиками и юношами было одно и то же лицо. Право же, это похоже на сказку. Вы отчитали меня в парке и теперь в письме. Это не только огорчает, но и радует. Мальчик-нищий сказал богатой девочке, чтобы она всегда помнила его. Теперь и я скажу: не выбрасывайте меня из своей памяти. Может быть, вы узнаете обо мне и что-нибудь хорошее.

Дэзи.

Р. С. Я даже не знаю, как вас зовут.

Мне нестерпимо захотелось увидеть Зойку не утром, а теперь же. Я оделся и, даже не заходя домой, отправился в Новосергеевку.

ЕЛКА

Улицы города были пустынные. Только изредка попадался навстречу прохожий, возвещавший о себе за целый квартал скрипом снега под ногами. Да еще слышались то

там, то здесь выстрелы, которыми горожане ознаменовывали наступление Нового года. Вдоль улиц стояли вереницы саней. В ожидании, когда подгулявшие господа начнут расходиться из гостей по домам, извозчики грелись, хлопая себя крест-накрест руками. Пока я выбирался из города, в домах все время светились щели ставен и сквозь окна доносились гомон, пение и топот ног под гармошку.

Едва я обогнул кладбищенскую стену, как все звуки стихли. Высоко в небе плыла луна и заливала своим ровным светом заснеженную гладь поля. Ни прохожих, ни проезжих. Только треснет где-то в морозном воздухе стелбелек — и опять великое молчание природы. И оттого, что снежная целена была беспредельная, что на ней таинственно зажигались и гасли под луной голубые искорки, что торжественная тишина наполняла не комнату, не уютный уголок, а все небо и белую необъятную ширь земли и что среди всего этого великолепия я был один, в сердце проникал холодок. Но в нагрудном карманчике моей тужурки лежало маленькое письмецо с человеческими словами, а впереди ждала меня удивительная девушка, сменившая блеск и славу цирковой жизни на изнурительный труд, бессонные ночи и смертельную опасность. При мысли об этом чувство одиночества замирало и холодок в груди таял.

Новосергеевка спала, но еще издали было видно, что окна школы слабо светятся. «Что бы это могло означать?» — с тревогой подумал я и ускорил шаг. Подойдя, я осторожно заглянул в окно. На моем столе горела лампа. Она тускло освещала стоявшую посередине класса елку и несколько хлопцев и девчат, которые возились вокруг нее. Из них я узнал лишь Семена Надгаевского, остальные мне были незнакомы. Я постучал. Семен всмотрелся и заспешил к двери.

— Пожалуйте, Дмитрий Степаныч, — сказал он обрадованно. — А мы вас только к утру ждали.

— Что за народ тут? — спросил я.

— А это наши, новосергеевские. Ребята спать пошли, так они донаряживают елку.

— Вот когда повстречались! — сказала одна из девушек, круглолицая и темноглазая.

— А разве мы раньше встречались? — удивился я.



Новосергеевка спала, но еще издали было видно, что окна школы слабо светятся.

Но тут же вспомнил: — Ах, вы та самая, которая грози-
лась женить меня!

Все засмеялись.

— Та самая. Мы вам уже и нивисту нашли.

— Вот как? Кто же она?

— А почтарка! Вот дивчина! Весь свит обойдите, а
таку гарну, та красыву, та разумну не найдете. Це ж вона
навчила нас игрушки робить. Подывитесь.

Девушка взяла со стола лампу и пошла вокруг елки.
Что и говорить, елка была нарядная! Но, присмотрев-
шись, я увидел, что все — и миниатюрные терема, и фона-
рики, и разноперые птички, и медвежата, и забавные че-
ловечки, и многое, многое другое — было самодельное.
Оказалось, Зойка сумела заинтересовать украшением елки
не только детей, но и молодежь. А правленцы — Семен,
Варя и Кузя — только ночевать ходили домой, а то все
время игрушки делали да какие-то стишки учили. Какие
именно, Семен не сказал: Зойка велела в секрете держать.

— Где же она сейчас, почтарка наша? — спросил я.

— А в вашей комнате спит, — подмигнула мне кругло-
лицая. Но, видимо поняв неуместность намека, тут же
объяснила: — Намаялась за день с почтой, разморилась
на морозе и заснула. Она ж думала, что вы только утром
вернетесь.

Парень сказал:

— Дмитрий Степаныч, не погордитесь с нами заку-
сить. Надо ж Новый год пославить. У нас и колбаска
есть, и пирожки, и винца полбутылочки.

Мы уселись за мой стол и начали пировать. Кругло-
лицая, мешая русские слова с украинскими, забавно рас-
сказывала, как я убежал от работавших в поле девушек.
Хлопцы смеялись и пододвигали ко мне то колечко кол-
басы, то кусок пирога, то моченое яблоко. Мне было хоро-
шо с ними, но так хотелось, чтобы за столом сидела и
Зойка. Разве попросить девушек разбудить ее? Нет, пусть
спит, ведь намаялась же бедняжка!

— Так, красиво поступаете! Я, значит, не в счёт? —
На пороге стояла Зойка и насмешливо оглядывала нас.

— Матрешенька, — бросились к ней девчата. — Та мы
же пожалели тебя! Ты же так крепко спала!

— Вот так пожалели! Сами пьют, едят, а я должна
губы облизывать?

Зойку тотчас усадили и подвинули к ней все, что было на столе.

— Кушай, кушай! — угощали девушки и хлопцы.

А один даже предложил:

— Хочешь, я сбегаю домой? Там, под стрехой, я спрятал кусок сала — с четверть аршина толщиной, чтоб мне горилку всю жизнь не нюхать.

К салу Зойка осталась равнодушна, а мне сказала:

— Ваш голос, господин учитель, я уже давно слышу. Думала, может, вспомните, что, кроме Гали, на свете есть еще и рыжая почтарка. Но, видно, только Галя у вас на уме.

— Ой, да что ты выдумываешь! — вспыхнула круглолицая. — Он от меня по степу так бежал, что и на добром коне не угнаться.

— А тебя лавочник не ругает за то, что ты в школу ходишь? — осведомился хлопец, который предлагал сбежать за салом.

— Ругает, но я не обращаю внимания. Он хоть и дядя мне, а я с ним не лажу.

— Что ж так?

— Он у нас до ужаса жадный, готов всю деревню раздеть. С меня и то тянет деньги за комнату.

— А ты в школу переходи, — подковырнула Галя. — Учитель с тебя платы не возьмет.

— Я бы перешла, да боюсь, что ты в школе стекла побьешь, — отпарировала Зойка.

Все пошли провожать почтарку. Я еще полюбовался елкой и отправился спать. В комнате я обнаружил приятную перемену: мешок, набитый колючей соломой, с кровати исчез. Вместо него лежал мягкий тюфяк, застланный новым покрывалом. К подушке была приколота записочка:

*Это тебе новогодний подарок
от живодера-лавочника и Матрешки.*

Разбудила меня Прасковья:

— Соколик, вставай, уже народ собирается. Сними ты этот бесовский шар.

— Какой шар? Откуда снять? — протирали я спросонок глаза.

— Шар, что рыжая ведьма на верхушку елки вкатила.

— Но почему ж он — бесовский? Шар как шар.

— Ах, соколик, ведь на вершушку все христиане шестиконечную звезду водружают. Звезду, соколик, а не шар, потому как волхвам путь к яслям Христовым вифлеемская звезда указала. А на шаре сатана катается. Школа-то наша неосвященная, вот к нам ведьмы и катят на бесовских шарах.

Целый день веселились ребята вокруг елки. Заходили и взрослые. Парты из класса были вынесены в сени, так что места хватало всем. Кузя уже пятый или шестой раз танцевал под гармошку гопак и выделял при этом такие кренделя, что вокруг покатывались от смеха. Ребята пели, читали стихи, даже показывали фокусы. Но особенный успех выпал на долю правленцев. Варя, взобравшись на стол, говорила:

Стали зайцы собираться,
Стали зайцы в кучу жаться,
Стали зайцы размышлять,
Как им впредь существовать.
Но у куцего народа
Был в ту пору воевода.

Из кухни вываливался Семен в овчинной шубе и маске медведя, а за ним подпрыгивал Кузя, наряженный зайцем. Медведь ревел:

Как вы смели собираться,
Как вы смели в кучу жаться!
Только лапой наступлю —
Разом всех передавлю!

Дрожа от страха, заяц отвечал:

Но у нас желудки пусты
И хотим мы все капусты.
В этом благо ведь народа.
Кахи-кахи, воевода.

После рева, брани и угроз медведь наконец согласался:

Посему и потому,
Сообразно их уму,
Разрешить им, в самом деле,
Чтоб они капусту ели.
Объявляю: сей народ
Пусть сажает огород.

Тут Варя разводит руками и огорченно говорит:

Но желудки их все пусты
Нет по-прежнему капусты.

А все ребята хором подхватывают:

Ты не дал нам огорода,
Распроклятый воевода!
Отберем мы огороды
У медведя-воеводы!

Стихи эти в ту пору многие знали, их читали эстрадные актеры, но до смысла стихов не всякий доходил. Зойка так их переделала, что один крестьянин, подмигнув мне, спросил вполголоса:

— А не дадут же ти зайцы воеводам по потылицы?

В числе гостей был и старый учитель Аким Акимович. Он забился в угол и оттуда молча наблюдал, как веселились ребята.

Вечером зажгли на елке свечи, еще потанцевали, и правленцы начали снимать игрушки и одарять ими ребят. Кто уносил золоченый орех, кто — теремок, кто — серебряную рыбку. Пете, сыну пастуха, дали новую шапку: из старой у него давно уже вылезала вата. Он долго не верил и прятал руки, не решаясь взять подарок. А когда поверил и надел шапку на голову, то тут же бросился бежать.

Аким Акимович наконец покинул угол и подошел ко мне:

— Дмитрий Степанович, я хочу вас спросить: на какие же средства все это было сделано?

Я подробно рассказал ему о школьном кооперативе. Он слушал, потупясь, на щеке его бился желвак.

— Так, значит... так, значит, это на такие же полушки, как те, которые я отбирал у своих учеников?

Я промолчал. Он схватил меня за руку:

— Дмитрий Степанович, голубчик, скажите: чем я могу искупить свою вину? Ох, как трудно помирать с черной совестью!

— Да бросьте вы, Аким Акимович, толковать о смерти. До смерти вы сможете еще много сделать хорошего. А начните с того, что перестаньте бояться урядника, по-

шлите его ко всем чертям и читайте на здоровье ту самую газету. Она вас многому научит.

— Читать — мало, — грустно сказал Аким Акимович.

— Правильно, нужно и писать, — сказал я в шутку и тут же воскликнул: — В самом деле, почему бы вам и не написать! Вы живете в селе, крестьяне которого работают на помещика Сигалова и живут впроголодь. Опишите это живым словом, пусть все знают, какую царь и послушная ему Государственная дума подарили мужику земельную реформу.

— Что ж, я с удовольствием! — оживился Аким Акимович. — Мне ли не знать! Знаю такое, чего другой и за год не откопает. Но кому же послать? У меня ведь никаких связей нет.

— Пошлите по почте Ивану Петровичу Гаркушенко, в деревню Сарматскую, — назвал я первое пришедшее мне на ум имя. — А подпишитесь фамилией урядника или попа.

Аким Акимович совсем повеселел:

— Это остроумно. Сделаю, обязательно сделаю!

Когда я рассказал об этом разговоре Зойке, она сначала выругала меня за мальчишество, но потом рассмеялась.

— Что ж, если письмо пошлет почтой, оно от меня никуда не уйдет. Так, значит, урядник — наш корреспондент?

— Зойка, а почему ты сделала для меня секрет из «Кахи-кахи, воеводы»?

— Из предосторожности. В случае чего, хлопцы подтвердят, что учитель знать ничего не знал, все сделала почтарка.

Утром я опять отправился в город — дослушивать лекции.

РЕВИЗИЯ

Как-то в перерыве между лекциями на лестничной площадке собралась небольшая группа сельских учителей. Один сказал:

— Мне сегодня делопроизводитель инспектора шепнул, что наш Веня скоро двинется по ревизии. Будто обревизует все школы на побережье.

— А как с ним должны ученики здороваться, когда он

входит в класс? — поинтересовался тот, у кого в школе из всех щелей свистит,

— Это зависит от мужества каждого из нас, — ответил учитель из Гвоздеевки. — Приехал он как-то в Даргановскую школу, вошел в класс и говорит: «Здравствуйте, дети!» Ребята ответили: «Здравствуйте, господин инспектор!» Веня обревизовал, все нашел в порядке, но, прощаясь с учителем, сказал: «Ваши ученики не умеют величать инспектора». — «А как надо?» — спросил учитель. «Так же, как вы пишете на конверте: «Ваше высокородие». — «У меня, господин инспектор, школа, а не казарма», — смело ответил учитель. Веня ответ проглотил, а через неделю перевел непочтительного учителя в далекий хутор.

Об этом разговоре я вспомнил, когда в конце февраля перед окном школы вдруг вырос высокий тарантас. В тарантасе сидела закутанная пледом фигура в фуражке с гербом и кокардой. «Приехал-таки, — подумал я. — Ну, что ж, выдавливать из себя раба так выдавливать». И велел детям на приветствие инспектора ответить: «Здравствуйте, Вениамин Васильевич!»

Прасковья бросилась на улицу, ввела высокого начальника в кухню и принялась раскутывать его. Раскутала и зашептала:

— Ваше превосходительство, а ведь школа-то не освящена. Не освящена, ваше превосходительство, вот грех-то какой!

Инспектор в дороге перемерз. Протянув руки над горячей плитой, он с неудовольствием сказал:

— Что она шепчет, эта старая курица? Ни одного слова не понял.

— Помешанная, — объяснил я. — Не обращайтесь внимания, господин инспектор.

Услышав «старая курица» и «помешанная», Прасковья выпучила глаза и ушла в сени.

Я пригласил инспектора в свою комнату и предложил ему чаю.

— Да, да, — говорил он, сжимая в руках стакан, — горячий чай — это самое подходящее сейчас. Ну, как вы тут? Справляетесь? Слушаются вас дети?

— Сначала не слушались, господин инспектор, а теперь слушаются,

— Так, так. Значит, лекции дали все-таки свои результаты?

— Лекции? — удивился я. — Какие лекции? Ах, да! Те, что на каникулах нам читали? Как же, как же! Результаты превосходные. Особенно от греческой мифологии.

Инспектор взглянул на меня подозрительно. Я состроил самое добродушное лицо.

Войдя в класс, инспектор сказал:

— Здравствуйте, дети!

Это прозвучало точь-в-точь, как звучит «Здорово, ребята!», когда офицер выходит к выстроившимся солдатам.

Ученики встретили инспектора взглядами, полными любопытства, и ответили совсем по-домашнему:

— Здравствуйте, Вениамин Васильевич!

Ревизора будто кто толкнул в грудь. Он вскинул голову и выпучил на меня глаза почти так же, как это делала Прасковья. Я ответил выражением лица, обозначающим: «Вот какие у меня вежливые дети».

Инспектор что-то промышчал и пошел от парты к парте, говоря:

— Ну-ка, девочка, скажи, сколько будет шестью семь. Ну-ка, мальчик, прочти, что написано вот в этой строчке.

Девочки и мальчики отвечали весело, бойко. Инспектор произнес короткую речь о пользе грамотности и направился к двери. Готовый заплакать, Кузька встал и жалобно сказал:

— А меня не спросили...

— В самом деле, господин инспектор, спросите этого малыша, — поспешил я Кузьке на выручку. — Трудно даже предвидеть, кто из него может выйти — замечательный математик, писатель или актер.

— Гм... Ну, что ж, попробуем выяснить, — впервые за все время улыбнулся инспектор. — Помножь тринадцать на три, отними семнадцать и раздели на два.

— Одиннадцать, — немедля ответил Кузя.

— Гм... — Инспектор с минутку подумал, видимо мысленно проверяя правильность ответа. — Гм... А до тысячи считать умеешь?

Кузька улыбнулся, показав выщербленные зубы:

— Умею. Я и до миллиона умею.



— А стихи какие ты знаешь?

— Знаю «Кахи-кахи, воевода».

Я тихонько ахнул и погрозил ему из-за спины инспектора пальцем.

— Читай, — сказал инспектор.

Кузька закрыл глаза, подумал и принялся читать басню «Стрекоза и муравей».

— Хорошо читаешь, — похвалил инспектор. — Но какой же это «воевода»?

— «Воеводу» я забыл, — соврал догадливый Кузька.

— Сколько ж тебе лет?

— Семь.

— Семь?! — Инспектор строго взглянул на меня: — Как же вы его приняли?

— А меня не принимали. Я сам присол, — опять обнажил Кузька щербатые зубы.

Инспектор хмыкнул и пошел из класса.

В моей комнате он сел на табурет и принялся допрашивать и отчитывать меня.

— Какой такой кооператив завелся у вас в школе? Кто вам разрешил? Вот письмо крестьянина Перегуденко: он доносит, что вы затеяли распри с местным лавочником, мешаете его коммерческой деятельности. Где в положении о начальной школе сказано, что при школах могут создаваться какие-то там кооперативы? Распустить — и чтоб я больше об этом не слышал! Второе: кто сообщил детям мое имя-отчество? Почему они приветствуют меня не надлежащим образом? Или вам неизвестно, что я статский советник?

— Известно, господин инспектор, но так, по имени-отчеству, получается человечнее, — спокойно ответил я.

— Что-о? Вы соображаете, что говорите? Значит, чины, в которые нас милостиво производит государь император, не являются истинно человеческими званиями? Откуда вы такого духу набрались? Я назначил вас учителем по протекции господина городского головы. Так-то вы оправдываете наше доверие! Что за вольность такая! Взять хотя бы этого мальчугана. Кто дал вам право принимать семилетних? Опять нарушение утвержденного министерством положения о школах.

— Что же плохого в том, что мальчик учится? — попытался я возразить. — Если б он занимал чужое место, а то...

— Не извольте умничать!.. — прикрикнул на меня расхаживавший начальник. — Чтоб этого вундеркинда завтра же не было в школе!

Я вспомнил способ, которым однажды умиротворил околоточного надзирателя, и рискнул еще раз применить его:

— Ваше распоряжение, господин инспектор, я, конечно, выполняю. Но одновременно обращусь в Петербург к Константину Петровичу с просьбой разрешить мальчику вернуться в школу.

— К какому Константину Петровичу? — уставился на меня инспектор. — Кто такой Константин Петрович?

— Как, вы не знаете Константина Петровича? Это двоюродный брат моей мамы, действительный статский советник. Он служит в министерстве народного просвещения. Недавно мама получила от него письмо: дядя приглашает меня провести лето у него на даче в Петергофе.

Нижняя челюсть у инспектора отвисла. Некоторое время он обалдело смотрел на меня и вдруг заулыбался:

— Как, Константин Петрович—вам дядя? Прия-атно, очень, о-очень приятно! Ха-ха! Вот неожиданность!

— Странно, что вы не знали об этом. Разве околоточный надзиратель вас не поставил в известность, когда собрал перед моим назначением все сведения обо мне? — продолжал я заноситься.

— Да, да, он на что-то намекал, но я тогда не вник должным образом. Очень, очень приятно. А беспокоить дядюшку по таким мелочам едва ли сто́ит. Пусть мальчик ходит. Беру на себя всю ответственность. Действительно, на редкость способный мальчуган. Вы правильно делаете, что прокладываете талантам дорогу, абсолютно правильно!

Перед тем как опять закутаться и уехать, инспектор развернул учительский журнал и под графой «Отметки ревизирующего лица» написал: «Учитель к своим обязанностям относится с большой любовью и добросовестностью».

СТРАШНОЕ ДЕЛО

Близились весна. Грязь на улице была черна и густа, как вакса, а вокруг школы земля уже подсыхала, и от нее поднимался легкий прозрачный парок. Из дворов доносился стук молотка, звон и лязг железа: хозяева приводили в порядок плуги, бороны, сеялки.

В эту пору и случилось то страшное дело, которое всполошило всю деревню.

Семен Надгаевский обычно приходил в школу раньше других: на нем лежала обязанность снабжать ребят тетрадями и перьями еще до первого урока. Но однажды он совсем не явился.

— Кто знает, почему нет Надгаевского? — спросил я.

— А его батьку звязалы, — ответили ребята.

— Что такое? — встревожился я. — Как это — связали? Кто связал? Почему?

— Вин вчора прибив Перегуденко. Утром из Бацановки прыйихалы соцкие с урядником и звязалы.

Я отпустил ребят на час раньше и пошел на Третью улицу. Около небольшого под черепичной крышей дома Панкрата Надгаевского толпились люди. Рябой сотский

с медной бляхой на груди и суковатой палкой в руке лениво говорил:

— И чего вы тут нэ бачилы! Идить до дому, без вас все зробыться.

Другой сотский стоял во дворе, около закрытого на замок сарая.

Я прошел в дом. Женщина, в глазах которой застыл страх, неподвижно сидела на лавке, а Семен стоял около нее с кружкой и жалобно просил:

— Выпейтэ, мамо, выпейтэ.

Я поздоровался. Женщина остановила на мне свои ужасные глаза и ровным голосом проговорила:

— Вот, учитель, и звязалы нашего Панкрата. Звязалы и бросылы в сарай. И замок повисылы. В його ж сарайи и тюрьму йому зробылы. А кажуть, шо е бог на свити.

— Семен, что случилось? Расскажи! — взволнованно попросил я.

Семен поставил кружку на подоконник и всхлипнул:

— Згубыв батю куркуль проклятый, згубыв...

Успокоившись немного, он рассказал мне тяжелую историю.

Перегуденко уже давно нацеливался не только на Бегунка Панкрата Надгаевского, но и на самого Панкрата. Затеяв постройку вальцовой мельницы, Перегуденко не раз закидывал удочку, не пойдет ли Панкрат к нему в работники: кто еще мог таскать по лестнице пятипудовые мешки так, как богатырь Надгаевский! До поры до времени Панкрату удавалось получать отсрочку платежа долга, но перед севом Перегуденко сделал ловкий ход, и у Панкрата за долг увели Бегунка. Пока суд да дело, лошадь поставили в конюшню Перегуденко. Панкрат попробовал уладить дело миром. Взял с собой Семена и отправился к кулаку. «Пойми, у меня ж наследник, — говорил он, указывая на сына, — его скоро женить надо: какой же из него будет хозяин без коня?» А Перегуденко ему: «Ничего, и без коня обойдетесь. Вот же живет Васыль. На что ему своя лошадь, когда их, лошадей, и у меня полная конюшня. А не хочешь разлучаться со своим любимцем — иди на мельницу работать: так и быть, разрешу тебе возить мою муку в город на Бегунке». Услышав такие издевательские слова, Панкрат от ярости взревел. Перегуден-

ко бросился из дома во двор. Панкрат за ним. Когда Семен вбежал во двор, то увидел, что по лицу отца текла кровь, а Перегуденко лежал на земле с закрытыми глазами. Сбежались Перегуденкины домочадцы и отлили хозяина водой, а окровавленный Панкрат вывел своего Бегунка из конюшни и увел домой. Утром приехал урядник. Бегунка он вернул Перегуденко, а Панкрата велел связать и запереть в сарае. «За что? Он же меня первый ударил!» — говорил Панкрат. «Кто кого ударил первый, суд разберет, а пока посиди-ка в остроге», — сказал урядник и уехал в город за следователем.

Я вышел во двор и попросил сотского пустить меня к Панкрату в сарай.

— Шо вы, господин учитель, — замотал тот головой. — Хотите, шоб и мэнэ посадылы?

— Дмитрий Степаныч, — кричал Панкрат через дверь, — сыном моим клянусь, он первый меня ударил!

Урядник вернулся со следователем и врачом судебной экспертизы. Панкрата отправили в город, в острог.

Как только начальство уехало, Перегуденко, до того лежавший в постели и тяжело стонавший, поднялся, отправился в сарай и собственноручно засыпал Бегунку овса в кормушку.

Следствие велось в ускоренном порядке. Уже через неделю «дело о покушении крестьянина Надгаевского Панкрата Гавриловича на жизнь крестьянина Перегуденко Наума Ивановича» было передано в суд и назначено к слушанию на седьмое марта.

Но в самый канун судебного разбирательства произошло еще одно событие, всполошившее на этот раз не только нашу деревню, но и всю волость, весь церковный приход.

Осматривая стройку мельницы, Перегуденко забрался на крышу и оттуда свалился на камни. В бессознательном состоянии его отвезли домой. Придя в себя, он послал за священником. Отец Константин, не заезжавший в Новосергеевку с той поры, как Зойка отказалась войти к нему в дом, немедленно прибыл с дарохранилицей напутствовать больного. Что ему сказал Перегуденко на исповеди перед смертью, в то время никто не знал. Видели только, как поп выскочил на улицу с перекошенным лицом и велел кучеру гнать в город.

В тот вечер мы с Зойкой читали «Эрфуртскую программу». Вдруг — оглушительный стук в дверь. Мы спрятали книжку и с лампой подошли к двери.

— Кто? — спросил я по возможности грозно.

— Открой, Митя, приюти блудного сына! — услышал я знакомый голос отца Константина.

Когда я открыл дверь, то чуть не ахнул от изумления, а у Зойки в руке закачалась лампа: на отце Константине не было ни пальто, ни рясы, ни поповской меховой шапки. Только длинные волосы, разметавшиеся по плечам, изобличали в нем духовную особу, да и то в глазах тех, кто его раньше знал; выглядел он скорее разбойником, обросшим в лесу волосами, чем церковным служителем.

— Что, испугались? — засмеялся он, и его зубы блеснули под шелком усов. — Ну, да я сегодня на всех страх нагоняю.

В комнате он сел на табурет и пытливо заглянул Зойке в глаза:

— Нравлюсь я тебе в таком виде, Матреша?

— Очень! — сказала Зойка. — Атаман разбойников!

— Вот-вот! Так меня и монахи сегодня называли.

— Да откуда вы, отец Константин? — спросил я.

— Был отец, да весь вышел. Не отец я теперь, а просто Костя, как ты — просто Митя. От самого преосвященного я, вот откуда. Дайте чаю погреться — все расскажу.

Чай был на столе. Выпив кружку, неожиданный гость принялся рассказывать:

— Перегуденко-то ваш того, дал дубу. А перед тем исповедовался мне. Много пакости о себе рассказал покойный, последняя же такая: не Надгаевский первый его ударил, а он огрел Надгаевского шкворнем по черепу. Только такой богатырь, как Панкрат, и мог в живых остаться. «Нету тебе прощения, нету!» — крикнул я злодею. Он дернулся и испустил дух. А я помчался к преосвященному. «Так и так, говорю, владыка, завтра суд, ни за что гибнет человек. Разрешите открыть суду тайну исповеди». Рассказал ему все, как было, а он мне: «Сказанное на исповеди оглашению не подлежит». — «Ваше преосвященство, возразил я, но ведь Надгаевский не виновен, почему ж он должен каторжные муки терпеть?» — «Не виновен так не виновен, — отвечает он мне. — На том свете воздастся коемуждо по делам его». — «А, говорю,



*Отец Константин выглядел скорее разбойником, обросшим в лесу
волосами, чем церковным служителем,*

на том свете? А на этом пусть гибнут невинные?! Так вот получи, жестокосердный и несправедливый владыка!» Снял с себя наперсный крест и рясу и кинул к ногам архиерея. Он как взвизгнет: «В Соловки, в Соловки сошлю! На вечные времена, богоотступник!» Двое жирных монахов хотели меня за руки схватить, но я дал одному в ухо, другому в зубы — и был таков! Теперь я вольный казак. Пойду в порт грузчиком, а нет — в цирк борцом! Все лучше, чем обманывать народ и покрывать преступления сильных мира сего. Довольна ты мной, Матреша?

— Так довольна, так довольна, что и сказать не могу! — воскликнула Зойка, вся розовая от восхищения.

— А коли довольна, так дай мне свою руку и пойдем по жизни вместе! Это только попам нельзя дважды жениться. Мне можно! Согласна?

Опустив голову, Зойка молчала.

— Что же ты не отвечаешь? — бледнея, спросил он.

— Константин Павлович, — тоже бледнея, сказала наконец Зойка, — все сделаю, чтобы вам лучше жилось на свете. Вы хороший человек, я вас очень, очень уважаю. Но женой вашей я не могу быть. Простите.

— Не можешь? — дрогнувшим голосом сказал он и, как Зойка перед этим, опустил голову.

Несколько минут длилось томительное молчание.

— Ну что ж, значит, не судьба. Прости и ты меня.

Константин Павлович встал и, неуверенно шагая, пошел к двери.

Больше мы его не видели.

А на богатые похороны Перегуденко приехал поп из города.

ОПЯТЬ ОДИН

С началом весеннего сева в деревнях началось брожение. Дело дошло до того, что бацановские крестьяне, которым осточертело голодать, снимая у помещика Сигалова исполу землю, пришли толпой в помещичью экономию и разобрали сельскохозяйственный инвентарь, а строения сожгли.

Сам Сигалов жил в Петербурге. Из столицы местным властям полетели телеграммы с требованием разделиться с бунтовщиками. Но у местных властей и без то-

го забот был полон рот: на самом большом заводе, металлургическом, вспыхнула забастовка.

Я радовался и гордился: ведь в подготовке всего этого газета «Рабочий и крестьянин» сыграла немаловажную роль, а в газете была частица и моего труда. В ней даже были напечатаны две мои статьи: одна — о педагогическом обществе, которым заправляли кадеты с октябристами, другая — о том, как кулаки эксплуатируют не только бедняков, но и маломощных середняков. Превосходной иллюстрацией для последней статьи мне послужила жуткая история с Панкратом Надгаевским. Поработал я также и над подготовкой к печати многих посланий Акима Акимовича. Да, да, старый учитель исполнил свое обещание: чуть не каждую неделю Зойка доставляла мне конверты, адресованные некоему Ивану Петровичу Гаркушенко в деревню Сарматскую. Со скрупулезными подробностями Аким Акимович описывал жуткую нужду бацановских крестьян, окруженных беспредельными просторами помещичьей земли, но не знающих, куда выпустить курицу. Я даже позволил себе вольность сравнить их с потерпевшими крушение рыбаками: кругом вода, а утолить жажду нечем.

Газету мы выпускали в последнее время часто: я любил ее всем сердцем, а Илька, Тарас Иванович, Зойка и Василь стали для меня самыми родными людьми на свете. Мог ли я думать тогда, что газета останется лишь в моем воспоминании, а с моими друзьями меня опять разлучит судьба!

Вот как все случилось.

Отправляясь в город по делам, я уговорил Прасковью бросить бредни о нечистой силе и переночевать в школе. Для храбрости Прасковья прихватила с собой бутылочку и позвала свою приятельницу, старую бобылку, разделить компанию. Спать они из страха перед домовым не ложились, а все выпивали и закусывали. Перед рассветом Прасковья, войдя во вкус, отправилась в лавочку за второй бутылкой. Кое-как до лавочки она доплелась, но тут силы ее оставили и она растянулась прямо в грязи. Так она лежала у забора и размышляла, удобно ли в столь непристойном виде показаться лавочнику на глаза. Дверь лавочки приоткрылась, и на улицу вышел человек с большой бородой и мешком за плечами. Решив, что

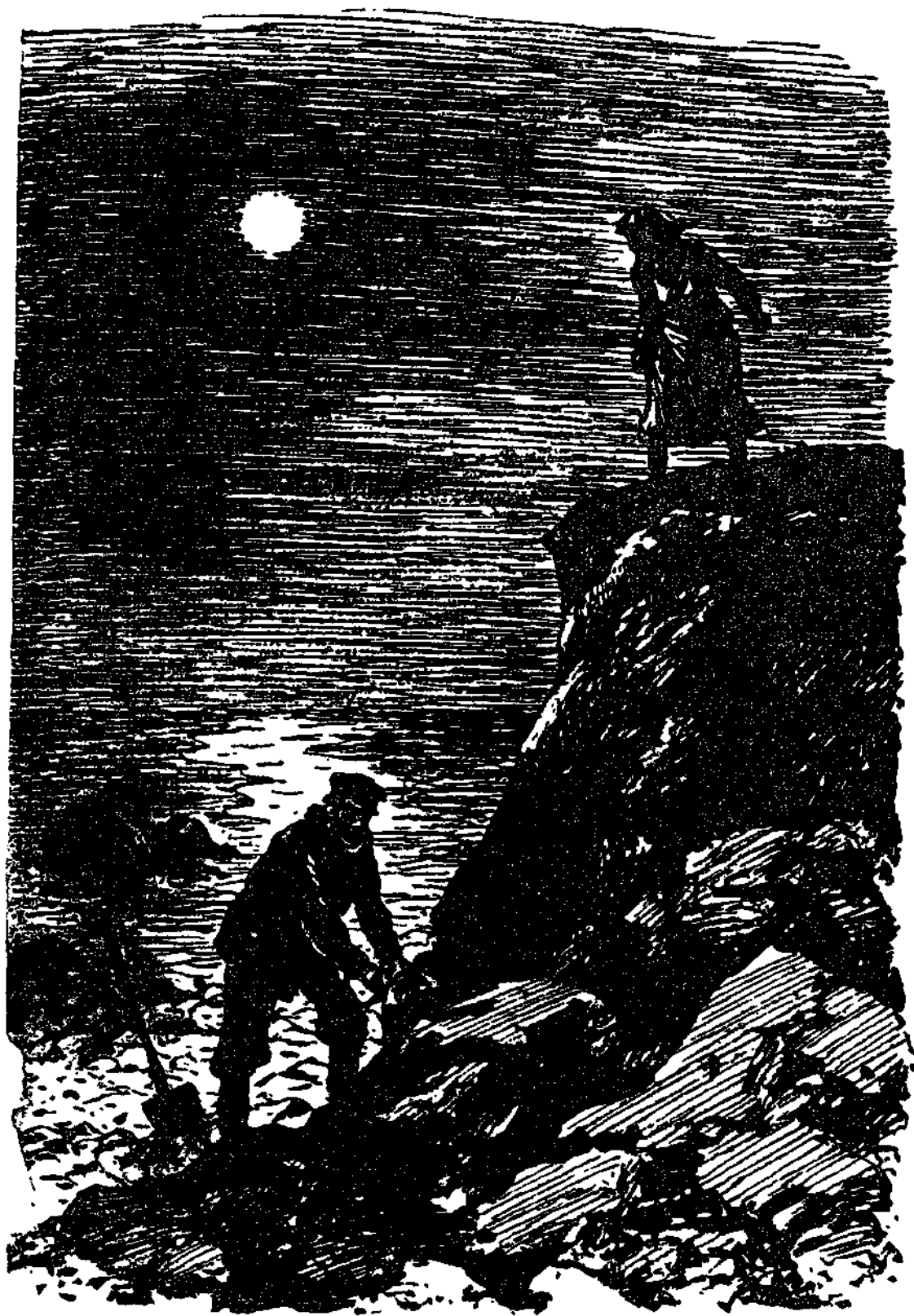
это и есть лавочник, Прасковья затаила дыхание. Человек повернул голову в одну сторону, в другую, но Прасковью, лежавшую в канаве, по-видимому, не заметил и пошел по тропинке, что вела к обрыву. Прасковья поднялась, отряхнулась. Вдруг ей пришла в голову мысль: да лавочник ли это? Чего бы ему лезть ночью в обрыв с мешком за плечами? Уж не оборотень ли морочит ей голову и отводит глаза? Крестясь и шепча молитвы, она подошла к обрыву и заглянула вниз.

Как раз из-за тучки выглянул месяц. Прасковья увидела, что человек роется в земле. Порылся-порылся и пошел наверх. Дрожа от страха, Прасковья сидела за глиняной глыбой и ждала. Человек прошел в нескольких шагах от нее, и Прасковья, прежде чем потерять сознание, отчетливо увидела, что никакой бороды у него не было. Оборотень теперь имел образ не лавочника, а работника Перегуденковых — Васыля. Придя в себя, Прасковья поплелась уже не в школу, где водится нечистая сила, а к дому богача Марченко, где, как она знала, остановился проездом урядник. Правда, урядник — не поп, окропить святой водой тропинки, по которым прошел оборотень, он не сможет, но все же это начальство, а начальство обязано бороться со всяким злом на свете. До рассвета она стояла под окном, не решаясь постучать, а утром, когда урядник сажился в бричку, бросилась к нему и не отстала, пока он не согласился съехать вниз и посмотреть, что за мешок спрятал там оборотень. Внизу в это время Васыль, уложив мешок на дно подводы, бросал в нее лопатой песок. Урядник соскочил с брички и потянул мешок к себе. У Васыля не было другого выхода, как хватить урядника лопатой по голове. Но на помощь начальнику кинулся его кучер, и Васыля связали. Увидев, что было в мешке (а в мешке, конечно, были только что отпечатанные листовки), урядник радостно засмеялся, перетащил мешок в бричку, туда же посадил связанного Васыля и велел кучеру гнать в город.

Об этом во всех подробностях и рассказала мне Прасковья, как только я вернулся утром в школу.

— Вот, соколик, какое святое дело я сделала ночью. Ты бы хоть походатайствовал, пусть мне прибавят жалованья.

Еле сдержавшись, чтоб не придушить ее, я бросился в



*Крестясь и шепча молитвы, Прасковья подошла к обрыву
и заглянула вниз.*

лавочку. Тарас Иванович, Илька и Зойка были уже на ногах, но еще ничего не знали.

— Да, теперь нам здесь не отвертеться, — мрачно сказал Тарас Иванович. — А, черт, как не вовремя! Но ничего не поделаешь. Приходится менять место. И как можно скорее. Добраться бы до Мариуполя, а там — ищи иголку в сене. — Он ласково глянул на меня. — Спасибо, Митя. Славный ты парень, много хорошего сделал для нас. Выполни и еще одно задание. Дам я тебе... гм... гм... этикие железные коробочки. В каждой из них — часовой механизм и... кое-что другое... Отнеси эти коробочки в заброшенную мельницу и заведи ключиком пружины. Сколько тебе понадобится времени, чтоб дойти до мельницы?

— Сорок минут, — сказал я.

— А если поднажмешь?

— Думаю, хватит тридцати.

— Хорошо. Примерно из этого и будем исходить в наших расчетах. Не бойся, раньше времени штуки эти не дадут о себе знать. Так вот, разнеси их по этажам мукомольни и во всю мочь беги в жандармское управление.

— Ку-уда-а?! — отшатнулся я в изумлении.

— В жандармское управление, — спокойно повторил Тарас Иванович. — Там, подлый доносчик, заяви, что собственными глазами видел, как лавочник и еще несколько человек с ружьями за плечами и бомбами в руках пробирались в старую мукомольню. Пусть, каналы, осаждают ее, а мы тем временем... Понял?.. Вижу, вижу, что понял: ты ж парень сообразительный. Мы такими коробочками уже провели однажды полицию. Проведем и теперь.

Тарас Иванович подмигнул Ильке, и они вместе вышли во двор.

— Митенька, — прильнула ко мне Зойка, — опять мы расстаемся. Но ничего, ничего, все будет хорошо. Помнишь, как я наказывала тебе превзойти все точки с запятыми? Теперь вот тебе мой наказ: учись! Все науки превзойди! Ох, как нужны будут ученые люди свободному народу!

— Ты не забудешь меня? — спросил я, чувствуя, что слезы навертываются мне на глаза.

В ответ Зойка еще крепче прижалась ко мне.

Тарас Иванович вернулся с кошелкой в руке.

— Получай. Все налажено. А вот и ключик. — Он вынул из кошелька небольшую железную коробочку и показал, как завести в ней часовой механизм. — Тут их шесть штук, машинок этих. Каждая заряжена на свой срок действия. Беги, не теряй времени. И, повторяю, не опасайся: сделано все надежно. Только в мельнице не задерживайся. Завел, расставил — и гайда!

Илька хлопнул меня по плечу:

— Митя, какое поручение! Аж мне завидно! Ну, до скорого! — Он стиснул меня в объятии.

Боясь, что мне не скрыть слез, я схватил кошельку и выскочил на улицу.

Мельницу со всех сторон обложили жандармы и городовые. Они палили в пустые окна из винтовок и револьверов, а из окон время от времени доносились глухие взрывы.

Только к вечеру, когда подкатила артиллерия и выпустила по толстым стенам дюжину снарядов, храбрые воины осмелились двинуться на приступ. Шли они с ревом и бранью, а вернулись молча, с глупейшими от конфуза лицами.

Я зашагал в свою школу.

Все во мне ликовало.

И в то же время мне было невыразимо грустно.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Повесть первая</i>	
ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ	3
<i>Повесть вторая</i>	
ВЕСНА	: 140
<i>Повесть третья</i>	
ПОДЛИННОЕ СКВЕРНО	260
<i>Повесть четвертая</i>	
В НЕОСВЯЩЕННОЙ ШКОЛЕ	340

К читателям

Отзывы об этой книге просим присылать по адресу:
Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Для средней школы

Василенко Иван Дмитриевич

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАМОРЫША

Повести

Ответственный редактор

Е. М. Подкопаева

Художественный редактор

А. В. Панина

Технический редактор

В. И. Мешалкин

Корректора **Н. М. Кожемякина**

и **З. С. Ульянова.**

Сдано в набор 20/XI 1961 г. Подписано в

печати 18/II 1962 г. Формат 84×108^{1/32}.

14,5 печ. л. — 24,36 усл. печ. л. (23,86 уч.-

изд. л.). А04024. ТП 1962 г. № 346.

Тираж 150 000 экз. Цена 97 коп.

Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика детской книги Детгиза.

Москва, Суше́вский вал, 49. Заказ № 1845.

СКАН И ОБРАБОТКУ ВЫПОЛНИЛ OLEG-1955